

Конст.  
Федин  
10

Конст.  
Федин



*Издательство  
«Художественная  
литература»*

# Конст. Федин

СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
В ДЕСЯТИ  
ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА 1973

# Конст. Федин

СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ

ТОМ  
ДЕСЯТЫЙ

СОЧЕТАНИЕ ЛЕТ

ГОРЬКИЙ СРЕДИ НАС  
ШАГ ЗА ШАГОМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА 1973

Р2  
Ф32

Комментарии  
А. СТАРКОВА

7-3-2  
Подп. изд.

# ГОРЬКИЙ СРЕДИ НАС

*Картины литературной жизни*



## К ЗАМЫСЛУ КНИГИ

С Горьким я познакомился в 1920 году. Нынче, на половине пятого десятилетия с того памятного февральского дня, я могу сказать еще убежденнее, чем раньше, что факт этого знакомства с Горьким сделался громадным событием моей писательской жизни. Первая же встреча с ним положила начало сердечному общению, длившемуся до его смерти.

Живой Горький, с его обаянием, его художническим и моральным авторитетом, нередко бывал первым судьей моих рассказов и повестей. Его роль в формировании зарождавшейся советской литературы двадцатых годов огромна, его участие в писательских судьбах часто определяло все дальнейшее развитие дарований и украшало путь молодого литератора. Горький никогда не уставал пробуждать в писателе интерес к жизни, обращать его взор на действительность.

Книгу «Горький среди нас» я начал писать до войны. В июньские дни 1941 года, в канун войны, первая часть была опубликована в № 6 «Нового мира». Какой я представлял себе книгу, когда задумывал ее и когда писал? Я хотел на своем личном примере и на примере литературных биографий советских писателей, с которыми вместе начинал работу, рассказать о роли Горького в моей судьбе и в судьбе этих писателей. Изображая общение Горького с небольшим числом молодых авторов, моих сверстников, я думал обрисовать его воздействие на советскую литера-



туру в самый ранний период ее возникновения, в процессе начального роста.

Мне хотелось показать жизнь молодого писателя под наблюдающим глазом Горького. Я думал, что интересно видеть споры, поиски — частью неумелые, приблизительные, ученические поиски приемов овладения новым материалом, которым тогда была прошедшая война и революция, поиски новой художественной формы. Мне представлялось, что важнее всего будет конкретность примеров. Поэтому я не привлекал для работы никаких книжных материалов. Я писал только о том, что сам видел, сам пережил.

В своей основе книга кажется мне воспоминательной. Ее объем ограничен местом действия, определенным временем и кругом моих встреч. Это Ленинград, главным образом — первая половина двадцатых годов, и это те молодые писатели, рядом с которыми я жил, которые находились более или менее в одинаковых со мной условиях, — «серапионы».

Я не считал своей задачей писать историю советской литературы. Это громадная задача, и она должна решаться совместно нашими учеными и критиками. Я находил, что моя работа может стать вспомогательным материалом для истории нашей литературы, чем обычно и могут быть всякие мемуары. Ограничивая себя такими рамками, я не стремился всесторонне характеризовать Горького, а хотел лично известными мне фактами показать, как воспринимался он нами в тогдашней обстановке.

Я, как и все, жил тогда в условиях разнородных противоречий. Из пестрых литературных явлений мне казалось поучительным отметить в книге три влияния.

Первое влияние — возглавляемое Горьким. Он стоит в центре, именно *посреди* нас, привлекая к себе, объединяя нас, как центр. Горький, Александр Блок, Ромен Роллан — вот фигуры положительного влияния. Роллана, как и Блока, Горький ставил мне в пример еще в двадцатых годах.

Другим влиянием мне представлялась сама молодежь, в кругу которой я проходил рабочую школу письма, повседневную студию. Молодежь была плодом разнообразных воздействий, но и сама влияла друг на друга силой литературных удач, неудач, достижений, ошибок. Мне пред-

ставлялось, что заблуждения и борьба с ними, то есть поиски правильного, здорового примера в искусстве, с постоянной опорой на авторитет Горького, интересны как живой опыт советских писателей. Поэтому я находил целесообразным ввести в книгу портреты Всеволода Иванова, Николая Тихонова, Михаила Зощенко и других своих товарищей.

Третьим еще имевшимся тогда влиянием могли бы быть представители старой литературы, отходившей в прошлое, но еще обретавшейся подле нас. Я дал картины тогдашней обстановки с этой стороны — претенциозного Дома литераторов в его столкновениях с Домом искусств. На фоне этой петроградской картины выделялись в те годы три литератора: Ремизов, Сологуб, Волынский.

Я понимал цель их портретов в том, что они являлись настоящими антиподами, противоположностями Горького. Своими биографиями они звали назад, в прошлое, были консервативны рядом с революционным, поступательным движением горьковского духа. Труд их я не хотел сравнивать с трудом Горького, я противопоставлял его деятельность всем этим фигурам.

Поставив в эпитафии ко второй части слова Дидро: «Два качества необходимы для художника — мораль и перспектива», я думал подчеркнуть свое понимание роли Горького-художника, открывавшего нам, молодым тогда людям, перспективу будущего, в противоположность его антиподам, которые не обладали такой перспективой. Начавшее складываться советское общество Горький считал будущим России. Антиподы Горького не верили в это будущее и потому не могли иметь плодотворного влияния на молодое советское искусство.

Мне хотелось обратить взор читателя особенно на две из многих причин нераздельного горьковского влияния на молодую литературу: на то, что Горький обладал исторической перспективой, и на то, что он был носителем новой морали. В контрасте между ним и его антиподами я искал художественную выразительность для этой своей мысли. Горький жил, Ремизов представлялся. Горький отдал себя новой России, Ремизов убежал от нее, эмигрировал. Ладанка Ремизова с зашитой в нее родной землей — театр и гримаса. А вдохновенный труд Горького на благо родной земли — подвиг.

Книга моя автобиографична. Но в биографии советского писателя, в формировании его сознания участвуют, конечно, гораздо более разносторонние влияния, чем те, о которых рассказывает моя книга. Неверно было бы думать, что только Горький, или — с отрицательным знаком — его литературные антиподы, или только близкий круг товарищей определяли жизненный путь моих друзей и мой собственный. На нас влияла вся советская общественность, влиял тогда начавший вызревать многообразный, обширный коллектив молодой нашей литературы. Я не останавливал внимания на разносторонности самой нашей писательской деятельности: ведь мы были не только художниками, мы были уже тогда общественными деятелями — мы участвовали своим трудом в газетах, в редакциях журналов, в советских организациях. Облик писателя при широком подходе мог бы получиться менее замкнутым делами искусства, чем в моей книге, хотя естественно, что дело искусства для писателя стоит на первом месте.

Но я не думал писать широкой автобиографии. Я хотел раскрыть только ту сторону моей жизни, которая соприкасалась с влиянием Горького. Мне казалось, что существо моих поисков, — возможно, и не слишком значительное, — делается интересным для читателя оттого, что на глазах читателя оно меняется под влиянием Горького.

Не только направление моих поисков находилось под воздействием Горького, но также поиски моих друзей. Именно Горький внес в работу литературного общества «Серапионовых братьев» тенденцию, которая была очень важна для них, — тенденцию слитности: равноценно — содержания и формы. Именно эта горьковская тенденция сделалась господствующей среди нас, подавив узкоэстетические наклонности, заблуждения. Очень мягко своим искусным воздействием Горький устранял их в среде «серапионов».

Мне хотелось показать этот факт конкретно, в изображении, в рассказе, на живых примерах. Поэтому я решил ввести в книгу письма Горького и документы. Решился рассказать, о чем я писал Горькому и как отвечал он мне. Мне представлялось важным дать примеры повседневного рабочего общения Горького с молодым писателем. Потому что переписка Горького была самым влия-

тельным контактом с мышлением молодого писателя. Он вызывал в своих письмах на спор. И мне казалось — пример подобного спора поучителен. Я изложил свои письма, в которых не прав, и привел письма Горького с его возражениями, которые признаю, почти всегда, справедливыми.

Вообще вся книга должна была бы, по моей мысли, показывать в примерах ту высокую, живую правоту Горького, которую можно назвать исторической.

*1944—1966*

Но нет! Это была действительность, это было больше, чем действительность: это было действительность и воспоминание.

*Лев Толстой*

## 1920—1921 годы

### 1920 - й

Февральский промозглый, совершенно петербургский день. Я иду с Песков на Невский, к Аничкову дворцу, в книгоиздательство Гржебина.

Два дня я провел в необыкновенном волнении: мне сообщили, что Максим Горький приглашает меня прийти — познакомиться. Незадолго ему были вручены два моих рассказа и письмо. Мне передали, что Горький нарочно назначил встречу на неприемный день. Я мог заключать из этого что угодно и то строил многообещающие для себя выводы, то, в страхе, готовился к наихудшему.

Я прождал недолго.

Горький пришел с улицы, закутанный, в меховой шапке, с поднятым высоким воротником долгополой шубы. Я видел его первый раз в жизни. Он был очень большой. Все, кто находился в комнате, когда он пришел, как-то укоротились и стихли. Я мельком увидел его бледное лицо, вылезший из-за воротника мокрый от дыхания светлый ус. Вся его стать — походка и сложенье, то, как он сделал несколько шагов по комнате, пожимая руки служащим, — напомнило мне что-то знакомое по Волге, простонародное, пожалуй — мещанское, — очень сильное, складное и в то же время отягощенное давнишней усталостью.

Он прошел к себе в комнату. Немного погодя ему пошли сказать, что я дожидаюсь.

И вдруг я узнал, что он меня не примет, потому что позабыл дома мои рукописи.

— Он очень извиняется. Как же говорить без рукописей? Он уезжает в Москву, дней на десять, и просит зайти, когда возвратится...

Я ушел.

Не о чем говорить без рукописей? Значит, все свелось бы к разбору рукописей. Значит, от моих писаний не осталось в его памяти ничего, что было бы достойно разговора.

Это было больше чем огорчение. Это был удар.

Я уже год работал в печати. Я редактировал, правда, необычайно убогий журнальчик, потом уездную газету, потом газету 7-й армии. Один из рассказов, которые я послал Горькому, получил премию на конкурсе в Москве. Почти за десять лет до того я сочинил свой первый рассказ. Я начал печататься до войны. Она помешала мне. Но тем самоотверженнее я верил в литературу, как в свое призвание.

В настоящем жару, в лихорадке надежды писал я первое письмо Горькому. Я просил о решающей оценке своей работы, жаловался, что у меня нет и никогда не было живого учителя. Я говорил об уверенности в себе и об отчаянии, сменяющем уверенность. Во мне бродила неискушенная заносчивость. Я подыскивал звучные и кудрявые слова о взлетах и падениях, составляющих восторг моей работы, и гордо заявлял, что не ищущ исцеления и не нуждаюсь во враче. Но смысл письма был очень скромно: мне необходимо было знать, где, в каком направлении и как должен был я себя искать.

Факт обращения к Горькому казался мне жалким, я извинял себе этот шаг только тем, что делал его на десятом году своих литературных мучений. Я думал: посоветуй Горький бросить писать, я все равно не брошу. Я боялся, что как раз так и случится, и предусмотрительно убеждал себя в негодности рассказов, которые, вместе с письмом, отправлял Горькому. Если же в них отыщет он что-нибудь заслуживающее внимания — какое будет счастье!

И вот — не о чем говорить без рукописей...

С упрямством решил я продолжать писать и взялся нарочно за большую повесть. Все перенести, жить ради своего призвания! — о, я должен был подбадривать себя

восклицаниями, потому что при мысли, что я никогда не сделаюсь писателем, жизнь становилась для меня пустой. Все, что я любил, было мне дорого лишь настолько, насколько я признавал себя — хотя бы в далеком будущем — писателем. Я готов был отдать в жертву всю свою молодость, всю жизнь, лишь бы по-настоящему приблизиться к литературе. Так и говорилось наедине с собой: жертва, молодость, жизнь.

Это было обожание писательства — застенчивое, скрытное, но преданное, испытанное горячими угольями времени — с московских Ордынок студенческих лет, с Лаузица, Рудных гор и Силезии плена, с далеких, мечтательных садов Чагана. В разгар гражданской войны, когда окрестности Петрограда еще окутаны были пороховым чадом разбитых полков Юденича, диктуя по ночам в типографии статьи для «Боевой правды», в красноармейской шинели, к которой уже привыкли плечи, с многолетней тоскою голода, к которому не хотели привыкать ни желудок, ни сознание, я думал об искусстве возвышенно, с провинциальной чистотой. Разочарования юношеских занятий литературой делают человека романтичным. Или — может быть — романтика юности наводит на мысль отдаться литературе — самому волнующему, самому коварному из человеческих занятий.

Стараясь работать, я с нетерпением отсчитывал, сколько осталось до назначенного срока, и, не дождавшись, пошел узнать, когда же возвратится Горький.

— Вот хорошо, что пришли, — встретили меня у Гржебина. — Алексей Максимович вернулся и велел за вами послать. Погодите, он, наверно, вас примет сейчас.

Мне опять показалось многозначительным и страшным то, что Горький велел за мной послать, и то, что вдруг — неподготовленный — я, может быть, должен буду с ним говорить. Это была почти отчаянная минута, в которую я, наверно, больше всего думал о том, чтобы не убежать.

— Пройдите к Алексею Максимовичу, — сказали мне, — он вас ждет.

Час спустя, изо всех сил вдохнув холодного воздуха и оглядевшись на Невском, я понял, что очутился в невиданно новом Петербурге. Кирпично-оранжевые стены

Аничкова дворца горели огнем веселого пожара. Райски хороши были неподвижные деревья — замороженные сверкающим инеем, глядевшие из-за чугунной ограды, точно в воду, на проспект, по которому плавали редкие, как будто бестелесные прохожие. Небо было... нет, нельзя описать, какое было небо!

Путь на Пески, равный небольшому военному переходу, я взял в один прыжок. Могущественное спокойствие было у меня на душе. И только мысли я не мог привести в порядок: обрывки горьковских слов, его улыбка, его взгляд — все было заслонено певучим состоянием, возникшим из двойственного, но очень уравновешенного чувства: на меня ложилось тяжелое бремя, и тяжелое бремя казалось мне легким. Я обязан, и я могу! — вот в чем был смысл этого странного чувства, — я могу, я не обманулся, судьба не отвергла мою любовь!..

Так прошли сутки, пока я протрезвел и сел за стол. И тогда, в неожиданной тревоге, я спросил себя: чему ты радуешься? Не изругал ли Горький твои рукоделия? Не застыдился ли ты их? И не растрогало ли тебя простое, человеческое участие? Вспомни, как все было.

И я начал вспоминать.

Горький сильно жмет мне руку и с этим пожатием усаживает меня к столу.

— Садитесь. Вы разрешите быть с вами совсем откровенным?

Внезапный упор на скрытое в нашей речи «о» — совсем откровенным — наделяет эти слова чем-то знаменательным.

Поглаживая ладонью рукопись, он говорит сухо, негромким, низким голосом, и мне кажется, он исполняет давно наскучивший ему долг — поучать и поучать писателей-новичков.

— Идеология, знаете ли, превосходная штука. Но идеология вообще, ради идеологии — это сомнительно...

Философию-то ведь надо изучать. А у нас полагают усвоить ее в один присест, по ее выводам, с кондачка. И идеология получается с кондачка. Куда же это годится?..

Мне думается, устранение физическими средствами этих самых «буржуа» пришла пора прекратить. Одной травлей ничего не достигнешь... .



Я стараюсь не проронить ни слова и заглянуть в самые тайные мысли, которые могут быть сокрыты за этими словами. Меня охватывает страх, что я ничего не удержу в памяти. И вдруг — ни жив ни мертв — я перестаю понимать, что говорит Горький. Я выношу себе приговор: я пропал! Недаром я боялся напускной злободневности: она заразила меня, она погубит меня, как проказа!

Тогда я вижу улыбку Горького — мягкую и будто нерешительно-раздумчивую.

— Ведь вот вам теперь не совсем нравится этот рассказ, — говорит он чуть лукаво и облегченно кладет большие руки на раскрытые листы бумаги.

— Он мне совсем не нравится!

— Ну вот. А придет время, когда вам ни один ваш рассказ не будет нравиться. Все перестанут нравиться.

У него слегка подымается ус, и с этой снисходительной усмешкой он отводит взгляд к окну и мгновение глядит за стекло, поверх улицы. Он не договаривает, но ясно, что усмешку он обращает к себе и хочет сказать: «Ведь вот мне мои рассказы перестали нравиться».

— Надо научиться умению смотреть на вещи, — говорит он, опять упирая на «о». — Отрываться от случайного, внешнего — в этом состоит искусство видеть. Во всей нашей жизни много наносного. Следует стоять от нее поодаль.

Одно мгновение он всматривается в меня сурово и так произносит слово «мы», точно хочет насильно связать себя со мною:

— Мы — поставленные судьбой в особое положение — художники слова, творцы, мы должны стоять выше всех людей и вещей. Это трудно, но мы должны быть крепкими! Крепкими!

Не отрывая руку от стола, он очень неторопливо сводит пальцы в крепкий кулак. Кожа на его лице натягивается, перемещая морщины с одного места на другое, и похоже, что он пересматривает, перераспределяет свое душевное хозяйство. У него так освещаются изнутри глаза, что кажется — в них можно войти. Они светло-синего, не голубого, а того светло-синего цвета, который соединяет в себе мужественную ласку и ум.

Он начинает глубоко кашлять, но во время кашля делается очевиднее сила, живущая в его острых плечах, груди, во всем худом, высоком стане, и эта сила с пренебре-

жением умиряет, подавляет бушующий кашель. Он проводит ладонью по лбу и темени, захватывая и сдвигая тюрбетейку, пестро шитую шелками, и тогда раскрывается его голова, наголо, до голубизны обрита, с чуть приподнятой макушей, и в открывшейся связи его черт — округло выступающих скул, больших, красивых ушей, сильно раздвинутых ноздрей — я вижу нерушимое единство, как в литье.

Он снова улыбается, на этот раз так, будто просит не прогневаться за не совсем приятные вещи, которые он хочет сказать:

— Вы берете голый факт, без отношения его к другому факту или к чему-нибудь большому, важному. У вас все происходит как бы в воздухе. Можно было подойти к рассказу иначе. Можно было бы сказать, что на смену умирающему, уходящему приходит новое. Является смерть, а в это время происходит зачатие новой жизни.

Отлично угадывая движение его мыслей, я вдруг чувствую потребность выступить против себя:

— Я отучился отрываться от окружающего. Меня сковывает внешнее, прилепляет к себе поверхность земли.

Он наблюдает за мной с нисколько не прикрытым любопытством, чуть-чуть не подбодряя: а нуте еще, молодой человек, нуте!

— А вот этого не должно быть, — говорит он очень тихо. — Нужно заглядывать глубже. Ведь вот ваш этот буржуа, — у него нет главного. В конце концов, кто бы человек ни был — буржуа ли, крестьянин, рабочий, аристократ, — у каждого есть какие-нибудь свои цели, мечты, свои человеческие привязанности. Они-то и руководят человеком. Их и надо наблюдать.

Возрастающая ласковость его голоса подымает во мне нестерпимый стыд: все тяжелее мне ждать, когда он наконец скажет, что рассказ не годится и что я бездарен. А он продолжает мучить:

— Сама по себе тема простая: у одного купца умерла мать, и в то же время он справляет свадьбу дочери. Чехов сделал бы из этого шесть страничек.

Я перебиваю в отчаянии:

— И я думал сделать всего две! Но мне помешало как раз то случайное, наносное...

Я вижу опять изучающее меня любопытство, но почти тотчас оно пропадает, и передо мною — тот Горький, с тою невиданной мною ни у кого улыбкой, которая не только озаряет лицо изнутри, но словно играючи вовлекает в это озарение все окружающее. В то же время меня обнимает волна вкрадчивого голоса, и в ее успокаивающем тепле я различаю очень ясные, очень серьезные слова:

— Писать вы можете. Это видно из другого рассказа — «Дядя Кисель». Таких Киселей у нас предостаточно. Весьма возможно — громадное большинство. И это очень верно, что он от свободы ушел в кабалу. У нас все, может, так — в кабалу ушли. Живой человек. Такие есть. И рассказ, даром что коротенький, заставляет задуматься.

Минуту назад смущавшая меня ласковость его голоса сейчас волнует совсем по-другому: ни один мужской голос не вызывал во мне настолько сильного ответного внутреннего отзвука, как горьковский голос, а он становится еще тише, еще серьезнее, еще вкрадчивее, и вот он будто нарочно со всею строгостью и, может быть, с самой беглой мимолетной усмешкой пытается — выдержу ли я?

— Писать вы можете, и можете... боюсь сказать... но это уже будет зависеть от вас...

Он опять глядит так, будто впускает меня к себе в глаза, и я вдруг пугаюсь — не причудилось ли мне: синий его взгляд заволокли слезы. Это длится слишком долго, чтобы я мог ошибиться, и я чувствую, что он делает усилия, чтобы преодолеть растроганность, и — сейчас мне не стыдно сказать — в этот момент меня охватывает смущение и восторг.

В этот момент Горький перестает быть для меня Горьким, каким я представлял его, когда входил в гржебинский кабинет. В этот момент он становится Алексеем Максимовичем — человеком, освобожденным от всего обязательного, с удовольствием и легко отстраняющим облик, настойчиво надеваемый на него славой.

Как будто только и дожидаясь такой перемены во мне, он спрашивает, как у коротко знакомого:

— А теперь я хотел бы знать — вы очень заняты?

Он хмурится, когда я говорю о службе и работе в газетах.

— Это я вот к чему. У нас в издательстве «Всемирная литература» образована секция исторических картин. Воз-

ник, видите ли, план: создать большую серию драматических картин и инсценировок для кинематографа из истории культур всех народов и веков. Да-с, не менее. Начиная с первобытных времен и до девятнадцатого столетия.

Он присматривается ко мне: переносу ли я, как особь, такие большие давления, и, вероятно, ему кажется, что я не совсем задохнулся.

— Так вот, я хочу вам предложить: возьмите любого героя истории, которого вы очень любите или же — очень ненавидите, и напишите, хотя бы одноактное, драматическое произведение... Вы писали когда-нибудь драмы?

— Нет.

— Попробуйте. Попробуйте. Вы с историей культуры знакомы?.. Ну-с, так вот. Возьмите что хотите: Аввакума — так Аввакума, Наполеона — так Наполеона...

Он снова глядит за окно и будто вычитывает там:

— Сен-Симон, например, весьма интересен. И его эпоха... Подумайте.

Он поднимается и, обойдя стол, останавливается передо мною — высокий, прямой.

— Это я даю вам, чтобы поддержать связь. Мне не хотелось бы вообще прерывать ее. Не хотелось бы.

Он видит, что я выдерживаю и этот разряд грома, и, если бы я был скепичнее, я сказал бы — он видит, как дорого обходится мне моя стойкость, и — забавляясь — он увеличивает испытание:

— Заходите ко мне, когда хотите. Побеседуем, поговорим. Я всегда готов помочь вам, всегда к вашим услугам. Здесь я бываю по четвергам, заходите сюда. Или ко мне домой. Я живу на Кронверкском. По вечерам бываю дома — по средам, четвергам и воскресеньям.

Он крепко, не выпуская, держит мою руку. Он держит меня всего обаянием своего лица. Его улыбка, удивительно обращенная к нему самому и потому кажущаяся лукавой, в то же время подтверждает серьезность приглашения.

— У меня там ход путаный. Вы пойдете под ворота, потом направо...

— Да там, наверно, знают, укажут...

— Да, там знают.

Мне на секунду чудится, что он состязается со мной в застенчивости.

— Так приходите, — строго наказывает он, — нам не следует порывать знакомство.

У него подымается левый ус, выше и выше, он смеется, без тени лукавства, добродушно, и наконец выпускает мою руку, долго сохраняющую жар его пожатия.

Когда осенью 1919 года, мобилизованный, я попал в Петербург, город был крепостью. Он так и назывался — «Петроградский укрепленный район», и штаб района стоял в сердце города — в Петропавловской крепости. Белая гвардия Юденича подошла вплотную к городу. Ее командование разглядывало Московскую заставу в бинокли с Пулковских высот. Город собирались взять штурмом либо осадить.

Тогда рабочие Петербурга и Красная Армия сделали напряжение, которое многим могло казаться невыносимым. Они остановили врага, опрокинули его, погнали его вспять. Армия Юденича была уничтожена и опозорена.

Следы этого героического напряжения долго несли на себе каждая улица, каждый дом, каждый камень Петербурга.

В городе жила одна треть населения мирного времени. Многие только уже доживали. Люди страдали от голода, от сыпного тифа, они замерзали, они мучались тысячами мельчайших лишений и болезней, о возможности которых в мирное время не подозревали.

Черным бесконечным пещерам подобен был город по ночам. Выходя в четыре часа утра из редакции, я не встречал на огромном расстоянии от Пяти углов до конца Песков ни одной души. В безмолвии и тьме иногда возникал патруль, проверявший ночные пропуска, и вновь сливался с безмолвием и тьмою.

Но эта голодная, ледяная крепость жила неумирающей верой в свое новое фантастическое завтра.

Бесперывная, захватывающая работа не мешала мне, как всем вокруг, бороться за поддержание быта, в одном шаге от которого стояла смерть. Но в то же время ни на час я не забывал о литературе. Я был совершенно одинок в необъятном городе, во вчерашней столице, не подозревавшей, что на ее проспектах появился еще один молодой человек с мечтой о писательстве, с надеждой на какие-то завоевания и — может быть — славу.

У меня была неутолимая потребность — все понять, и я был уверен, что именно литература лучше всего и выше всего может утолить эту потребность. Самое сильное чувство, с каким я пришел в революцию после пережитой в плену войны, было чувство России-Родины. Это чувство не упразднилось революцией, а составляло единство с нею. Большевики были патриотами. Все другие партии были против большевиков, потому что постыдно ушли от Родины. Большевики постыдное отвергали. Все постыдное объединялось с чужими государствами и властями, выступавшими против Родины. Революция платила за это ненавистью.

Множество людей рассуждало сходно со мной, и — я уверен — многие ждали от литературы большого слова. Ведь так было естественно, что русский художник, в силу традиции, своим бескорыстным участием в событиях поможет точнее увидеть их и оценить. Это были поиски литературного авторитета, хотя слово «авторитет» тогда избегалось старательно, после фатального исчезновения, казалось, самых несомненных больших и малых авторитетов.

А в литературе многое напоминало осажденный Петербург. Тот, кто своим бегством или уходом смешал себя с врагами, перестал существовать для действительности. Оставшиеся по неволе или по безволию в крепости проявляли жизнь только потому, что надо было существовать. В литературе их не было, редкий глаз мог проникнуть в закоулки пещер, приютивших таких писателей от туч и громов. Иные, очень взволнованные, но устранившиеся, как наблюдатели, молчали.

Неверно только одно: думать, что молчание было вынужденным. Это опровергнуто голосом символистов. Они печатали раздумья, порицания. Они печатали то, что можно назвать плачами о России. Болью их сердца была Россия, революция. Даже чрезвычайно лично одержимый темой современности Андрей Белый, жалуясь, что стало невозможно говорить, выражал это многими печатными листами, иногда в форме виртуозных глоссалалий. Но тему России, революции, народа, интеллигенции нес в литературе Александр Блок. Он сказал много трагического. Он ни разу не сказал, что вынужден молчать. Его голос был хорошо слышен. Однако на него не откликнулось эхо литературных пещер.

В этом Петербурге героизма, голода, эпидемий, молчания находился один человек, который как будто стоял

особняком, но на самом деле был средоточием движения, начинавшего тогда свой рост. Человек этот был Горький. Движение было началом советской работы интеллигенции.

Волшебной дудочкой Горький насвистывал песню сбора, и понемногу выглядывали из нор и пещер посмелевшие люди. Что-то средневековое заключалось в появлении на свет божий умирающих цехов: выходили литераторы, отогревая замерзшие чернила, выходили ученые, становясь за штативы с колбами. Горький обладал многими средствами влияния. Главным из них была его личность. Конечно, никто из умных людей не сомневался в чистоте побуждений Горького. Но идейность встречалась в среде интеллигенции нередко. Горький обладал тем преимуществом перед всей интеллигенцией, что его жизнь была переплетена с историей революции и принадлежала ей. Он был биографией своего века. Поэтому его нахождение на этой стороне баррикад, в революции, было естественно, и его призывы не могли иметь ни оттенка случайности, ни расчета. А его прежняя слава, его влияние в искусстве и — поэтому — власть над умами были так велики, что он не нуждался в их умножении.

Человек пронырски может сказать, что волшебная дудочка Горького была хлебным пайком. Но тогда все видели, что тут не таилось никакой военной хитрости: да, и это Горький сделал для культуры. Он был ее составной частью и не мог иметь какого-нибудь умысла, кроме того, который имел: заставить ее жить.

После знакомства с Горьким я не мог бы объяснить происходившее со мной. В душе я читал непрерывные монологи. Это было чувство освобождения. Мне казалось, я выбрался из узенькой, почти непроходимой теснины на простор. Что теперь пора отскабливать с себя болячки прошлого, очищаться. Что мною завоевано какое-то особое право на творчество, конечно — чистое, конечно — настоящее творчество. Что право это мне придется отстаивать, но что я, конечно, его отстою, потому что мой помощник — Горький. Да, я так его мысленно и называл: помощник и освободитель.

Я вспомнил, как в студенческие годы купил в Москве у газетчика «Новый Сатирикон» и, по дороге на Ордын-

ку, раздвинув неразрезанные страницы, увидел у корешка свои первые напечатанные строки. Тогда я скакал и пел. Теперь же во мне что-то сгорело, и я почувствовал, что отныне я должен отвечать перед всеми на свете.

Так день за днем читал я свои счастливые монологи.

В марте меня пригласили в Ассоциацию пролетарских писателей: там должна была состояться встреча с Горьким. В маленькой комнате на Итальянской улице собралось и молчаливо ожидало человек двенадцать.

Горький задержался у входа, изучая пышный рисунок высоких китайских ваз, по-видимому ценимых хозяевами квартиры. На него смотрели, как на строгого эксперта, от оценки которого зависит счастье целого дома.

— Ничего не стоят, — безжалостно сказал он.

Сумрачный, с большим лицом, покашливая, он пожимал всем руки и разглядывал исподлобья обступившие его лица.

— А вы как здесь? — буркнул он мне.

Сели вокруг стола. Горький подождал — не заговорят ли, но все молчали.

Шел дневной час, низкое, серое небо, наползавшее на окна, готово было пролиться мокрым снегом. Тени в комнате ложились безразлично, как в сумерки.

Горький думал вызвать беседу, разговор, но увидел, что от него ждут речи или что-то вроде доклада. Все на него смотрели не отрываясь, точно на знаменитого лектора. Тогда он заговорил.

Голос его был глух, слова медленны, будто трудно было их произносить. Сказав короткую фразу, он присматривался к ней — верна ли она, и если она нравилась — повторял два-три последних слова.

— Необычайно важно теперь понять, что пролетариату принадлежит вся власть, что ему много дано и что с него много спросится. Весьма много. Теперь вы, пролетарские литераторы, обязаны отвечать не только перед одним пролетариатом, а перед всем народом. Ответственность возросла. Задачи появились новые и нелегкие. Нелегкие задачи, да-с...

Он постепенно расправлял плечи, как в работе, которая вначале делается неохотно, но понемногу втягивает, берет работника. А Горький был зол на работу, у него



в руках все горело. Он как будто вымещал: доклад желали послушать? Ну, и пеняйте на себя, слушайте!

— Ныне вам приходится обращаться не только к своему брату. Крестьянство ведь тоже права к революции предъявляет. И справедливо: у него есть своя доля в революции. Ваш язык должен быть понят и крестьянину. Если вы будете петь непонятные ему песни, он просто слушать не станет. Иные же ваши песни ему могут и не понравиться. Особенно если заладите про свою персону петь...

Создание новой культуры — дело общенародное. Тут следует отказаться от узкоцехового подхода. Культура есть явление целостное. Нельзя представлять себе дело так: Пролеткульт создаст культуру пролетариата, а крестьянство что же — должно будет к ней присоединиться? Или же остаться при своей прежней? Как вы полагаете? Я полагаю, крестьянство именно при своей прежней культуре и останется, на уровне почти первобытном. Создать своими руками новую культуру оно не в состоянии. Пролеткульт ему не поможет, ибо жизнь крестьянина складывалась не так, как у пролетария. Совсем не так.

Горький прищурился, пронизывая взглядом завесу неба за окном, и, будто увидев далекую, далекую картину, стал переносить ее размашистыми мазками живописца в петербургскую комнату, обесцвеченную непогожей весной.

Мы увидели бесчисленные маленькие клинья полей. Тащились сивки, бороздя землю сохами и плугами. Стаи грачей перелетали с одного клина на другой, от пахаря к пахарю. Где-то за оврагом приземлилась деревенька. Избы, накрытые почерневшей соломой, тянутся длинным порядком. По исковерканной грязной дороге лошаденка влачит перевернутую зубьями вверх борону. Выбралась за околицу, и деревня словно вымерла — ни души. Старый и малый — в поле, от зари до зари. А ударят морозы, занесут снега — народ по горницам на печках. И снова мертва, безлюдна деревня, пустыньки белые поля...

— Иной мир, — говорил Горький, — иная душа. Высунет человек нос за ворота, глянет направо, налево, пройдет вдоль слепых изб, выйдет в поле. Дорога сливается с небом, глазу не на чем остановиться, ни конца, ни краю. Одни эти пространства высасывают своей пустотой все действительные впечатления, обедняют душу. Посмотрит, посмотрит и — назад, к себе, на полати. Какие бродят в нем

при этом желанья? Какие мысли?.. Иной мир, товарищи... замкнутый и — знаете ли — жестокий мир...

В неподвижности, с которой Горького слушали, было видно не только алчное внимание или невольное благоговение, но и непрерывный внутренний спор слушателей, несогласие с говорившим. Любование речью и опасения перед нею то чередовались на лицах, то необычно совмещались, будто люди созерцали нечто красивое, но угрожающее.

— Представление, что только пролетарий — творец духовных сил, что только он — соль земли, такое мессианское представление губительно. Как всякое мессианство, да-с. Надо искать пути к слиянию с крестьянской массой. Иначе что получается? Вы воспитываете обособленно городской пролетариат, а в это время в деревне процветает Танькина и Манькина вера. Легко понять, какие из сего можно ожидать следствия. В Баварии и Венгрии крестьянство-то пожрало революцию? Пожрало...

Кончив говорить, Горький спросил, не будет ли вопросов. Долго молчали. Потом кто-то задал вопрос, возвращавший к тому, что было сказано. Горький без удовольствия повторил соответственное место своей речи. Опять замолчали. Горький поднялся, поклонился и пошел к двери. Все встали его проводить.

Оставшись без него, сразу заходили по комнате, задвигали стульями, заговорили порознь и вместе. Когда немного охладели, установили порядок, расселись, и неожиданно обнаружилось, что высказаться хотят все и без председателя не обойтись. И каждый брал слово и говорил обстоятельно, избегая краткости и стараясь доказать, что согласиться с Горьким нельзя, хотя таких доказательств не требовалось, так как было очевидно, что здесь с ним никто не соглашался.

В то время находилось довольно много людей, считавших, что в области культуры произойдет простая замена старых форм — новыми. Один этап истории кончился, начался другой. Между ними выкапывается ров, и чем он глубже, тем дело вернее: старое не возвратится, будущее утвердит свою независимость от прошлого. С огромным рвением в Пролеткульте следили — не всплыло бы где-нибудь понятие преемственности, традиции, и это было

естественно, потому что вся контрреволюция звала назад, к прошлому.

Пролеткультисты предполагали изменить бытие деревенской Руси влиянием новой культуры, которая должна была создаваться в революционном темпе силами индустриального пролетариата. Пролеткульт, организованный для этой цели, считая себя экстрактом всего подлинно пролетарского, самоограждался, как суровый орден. Едва родившаяся литература замуровала себя в его стенах и башнях. Господствовал канонический индустриальный мотив горна и вагранки, молота и наковальни.

Тогда, на Итальянской, спор с ушедшим Горьким велся на этих позициях.

Меня поразило, что весь жар несогласия изливался заочно, как будто экзаменующийся ответил, удалился, экзаменаторы остались наедине, обсудили ответ и вывели балл — два: по всем пунктам и вполне единогласно ответ был признан неудовлетворительным. Я тогда не мог разобраться, в чем состояли мнимые, в чем — действительные расхождения с Горьким. Я, например, очень остро чувствовал антагонизм между городом и деревней и не стал бы глубоко вдаваться — насколько верна такая формулировка. На эту тему говорилось больше всего, так же как о том, закончился ли период физического подавления буржуазии, что утверждал Горький, или нет. И еще: не является ли духовной демобилизацией призыв к слиянию с крестьянской массой? Не растворится ли пролетарская культурная среда во всенародной гуще?

Мне только было непостижимо — как могла улетучиться, не оставив следа на чувствах спорщиков, мучительная тревога Горького за судьбу культуры, за будущее нашей страны? Меня страшно потянуло к Горькому.

Было воскресенье, и был вечер, и, значит, Горький был дома и, может быть, даже думал: не зайдет ли ко мне кто-нибудь договорить то, что осталось недоговоренным сегодня, на Итальянской. Но у меня не хватило мужества пойти, — приду, а язык-то не повернется, — и я написал Горькому взбудораженное письмо.

Через несколько дней я узнал, что Горький хочет поговорить со мной о свидании, и вот, опять у Гржебина, он встречает меня улыбкой.

— Читал ваше письмо, читал. Хорошее письмо, очень хорошее...

Кончиками пальцев он кратенько проводит по мягким усам, сверху вниз, рот его прикрыт ладонью, и, может быть, поэтому его оканье получается круглее обычного. Он словно хочет спрятать улыбку, она видна больше с одной стороны — с левой, и вдоль левой щеки ложатся две глубокие морщины. У него такое выражение, что мне кажется, он должен снисходительно попутить: ну и нагородили вы, уважаемый, в своем письме!

Но, останавливая на мне потвердевший, прямой взгляд, он говорит отрывисто, как будто продолжая раздумывать в промежутках между словами.

— Вы мне прямой вопрос в письме ставите: верю ли я, что моя деятельность — не глас вопиющего в пустыне? Я вам так же прямо отвечаю: нет, не верю. Верю ли, что из всего, что сейчас творится в сфере культуры, что-нибудь получится? Не верю, что получится нечто... доброе...

Его рассуждения жестки, он говорит языком исследователя, и странно печален его голос. С холодным недовольством и очень умелыми, изысканными ходами мысли он размышляет материю и в то же время с грустью смотрит на волокна, остающиеся после этой сердитой работы. Да, недостает культурных задатков в массах, недостает понимания важнейших целей в руководящих кругах, и потому возможность известного сдвига от буквы к жизни исключена.

— Исключена, — повторяет Горький, ставя упрямую точку.

Но вдруг он приостанавливается, у него чуть-чуть расходятся сдвинутые брови, он подносит руку к усам.

— Пожалуй, исключена, — добавляет он.

Его лицо теплеет, глубже и глубже делаются складки па щеке, и почти весело он опровергает себя:

— Была бы совсем исключена, видите ли, если бы не один человек, да-с. Есть один человек, который все превосходно понимает и отлично видит. Отлично.

Горький молчит, улыбаясь и с удовольствием видя, что я понимаю его. Потом произносит мягким, низким басом:

— Ленин.

Речь его переходит в совершенно новый строй, он сам будто заслушивается музыкой своих слов:

— Ленин — человек замечательный. Большого ума человек, невиданно большого... Он гибкий. С ним говорить и трудно и легко. Приходишь к нему с определенными мыслями, он выслушивает и сразу выставляет все контра, какие только могут существовать. Возражает всесторонне... Но уходишь от него еще более убежденным в своих взглядах, чем пришел. Это у него такой особенный агитаторский прием. Совершенно особенный...

Ленин — ум практический, необыкновенно быстро все схватывающий, безбоязненно применяющий... Вот его последняя речь о единоличном управлении. Я ему говорил об этом год назад. Тогда это еще не сознавалось необходимостью. Теперь сознается. Я уверен, что Ленин подготовил многих к такому взгляду, прежде чем выступить с речью... Но вокруг Ленина немало людей спутанных...

Горький будто перебирает этих людей в памяти и, оставшись недовольным, говорит:

— Ничего путного не делают. Ничего...

Клубы дыма быстро завешивают его. Он раскуривает новую папиросу от только что докуренной. Сильные руки его хорошо сложены, большие пальцы ровно сужаются к ногтям, папираса, мундштук очень идут к этим пальцам. Все движения, самые маленькие, вплоть до отряхивания пепла, неторопливы, даже медлительны, но точны, не множественны, в каждом из них видно, что они делаются человеком, не знающим бесцельных движений. Дым вызывает кашель, но дым и успокаивает, поэтому усиленные, емкие затяжки делаются словно вперегонки с кашлем. Это единственное, страшно беспокойное, временами почти судорожное движение — кашель. И сквозь кашель:

— Вы что, у них в первый раз были, на Итальянской?.. А-а, так вы их еще не знаете?..

Я сталкивался с очень похожими людьми в провинции и начал рассказывать о переписке с одним занятым человеком.

— Ну, как же, — перебил Горький, — хорошо знаю его. Он еще пишет с прописной буквы слово Творчество... Хотя они все имеют пристрастие к этому слову. Сочинит человек стишок, и, пожалуйста, — Творец... Не ходите туда. Не надо. Вы там ничему не научитесь.

— Но ведь это — жизнь, наша жизнь, — сказал я.

— Нет, нет, вам туда ходить не надо.

— А вот когда я побываю в Доме литераторов...

Он снова перебил меня, на этот раз — смехом, наверно усмотрев в моей реплике попытку к самообороне на другом фланге:

— Ну, это тоже не следует. Туда не ходите тоже!

Я рассказал, как в Доме литераторов, на вечере памяти Герцена, познакомившись с Венгеровым, спросил, верно ли я понял из его речи, что для интеллигенции наступила пора сближения с советскими взглядами, на что он, обратив ко мне взор бога Саваофа, ответил: «Мы — социалисты с молодых ногтей, если кому-нибудь угодно с нами сблизиться — пожалуйста: в наших взглядах нам менять нечего».

— Люди пережитков, — сказал Горький, — не понимают, что им стукнула давность. Не ходите к ним. Держитесь поближе к Дому искусств. Там интересные люди, живые.

Вдруг, наверстывая промедление, он принялся расспрашивать по-деловому:

— Так, значит, выбрали тему для сцен?.. О Бакунине?.. Раньше не занимались Бакуниным?.. Окончательно остановились?.. Завтра можете ко мне прийти?.. Кое-какие книги для вас найдутся. Приходите, пороемся...

У него такое счастливое выражение, будто это не я, а он выбрал тему и с удовольствием собирается писать. Провожая меня, он, как богатый хозяин, не скупится на обещания:

— Пишите, пишите. Сочиняйте. Мы хорошо обставим пьесу. Художники у нас есть, костюмы — тоже. Да все есть, что хотите!

Особняк на Бассейной долго сохранял помещичий вкус: позади, в саду, покачивались старые липы, осеняя приплюснутый широкий мезонин, легко сбрасывая осенью чудесный дождь листвы на маленькую террасу. С улицы над парадной дверью — железный козырек навеса через весь тротуар, по фасаду — ряд узких окон на высоте чуть больше человеческого роста, — можно подпрыгнуть и заглянуть, что делается в зале.

Тот год в зале днем была столовая, куда, с горшочками и судками, приходили литераторы, получавшие на

талоны суп и пшеничную кашу, а вечерами расставлялись рядами стулья и те же литераторы, иногда не успев отнести домой судки, слушали устные художественные альманахи или ученые лекции.

Дом литераторов был первым коллективным пристанищем пишущих людей, и ни прежде, ни после в литературе нельзя было увидеть такого скопления пестроты и уничтожающей друг друга несовместимости, как там. Ядром Дома были журналисты закрытых либеральных газет, естественные безработные, которым чудилось, что небо пало в ту минуту, когда прекратилась газета «Речь». Они были чрезвычайно сдержанны, почти молчаливы, но их солидный вид хранил нечто прозрачно-превосходное, словно они говорили: «Ну, что вы хотите? Ведь все это мы великолепно предвидели». К участию в жизни Дома привлекались старые и молодые, талантливые и бездарные, правые и виноватые. Дом обнесен был стеною некой всеобщности из икон, гениев и почти вундеркиндов, так что самые противоречивые люди могли его взять под защиту — каждый за то, что ему нравилось.

Находился в почетном плену Дома Анатолий Федорович Кони. Как бессмертный девятнадцатый век, опираясь на палки, он являлся в зал, пахнувший обеденной посудой, и перед ним расступались, и ему помогали войти на трибуну, и он говорил о Некрасове так живо, будто Николай Алексеевич только что доставил его в санях к подъезду с козырьком и покатил к себе, на угол Литейного. В двадцать первом году, перед некрасовским юбилеем, я был у Кони, на Надеждинской. Он был не совсем здоров, но я не мог упросить его не подниматься из кресла: с усилиями он высвободился из-под пледов и сделал шаг вежливости навстречу гостю. Я пришел просить его написать что-нибудь для некрасовского номера «Книги и революция» — журнала, который я тогда начал редактировать. Он посмотрел на меня с недоумением, означавшим, что он не верит в возможность такого сочетания: «Книги и революция». Чтобы избежать затруднений, уготованных нашей эпохой, он быстро перебросил меня на полвека назад, и добрый час я прожил с ним в семидесятых годах, боясь, что увлечение, с каким он омолаживался, повредит его здоровью, но не в силах даже замедлить его неудержимый полет в старину. Написать же для

меня он ничего не пожелал, сказав, что пишет о Некрасове для «Вестника литературы».

«Вестник литературы» был реквиемом старой публицистики, старого журнализма. Раз в месяц по его страницам, похожим на сложенную газету, как в помутневшем от времени зеркале, проходили удалявшиеся тени. Это были давнишние мысли, едва тлеющие надежды, обиды, жалобы, и это было поминание умерших; десятки некрологов тянулись из номера в номер журнала, составляя самый мрачный и самый искренний его отдел.

Смерть Александра Блока заняла в этом печальном ряду панихид малозаметное место, — редактор «Вестника» написал о поэме «Двенадцать», что «она является значительным произведением, которое долго еще будет вызывать толки и споры», и тут, пожалуй, единственный раз журнал оказался в разладе с Домом литераторов, по заслуге гордившимся двумя замечательными выступлениями Блока: он читал там свою трагическую речь «О назначении поэта», откуда взлетело над нами его крылатое слово — «веселое имя — Пушкин», и он читал свое последнее стихотворение — «Пушкинскому дому».

В эти большие дни в каком-нибудь дальнем углу Дома появлялась молодежь, глядевшая на все смелым посторонним глазом. Она прекрасно оценивала господствовавшее к ней отношение: ее тут остерегались и поэтому хлопывали по плечу.

Молодой ученый Юрий Тынянов, необыкновенно похожий на Пушкина и не боявшийся усилить сходство отраженными бачками, казался монументальным, наперекор своей хрупкости, и, пропуская мимо себя в дверях завсегдатаев Дома, имел вид человека, перелистывающего архивное дело. Изредка на трибуне взрывался петардой Виктор Шкловский, детски счастливый, что от сотрясения взрыва волнуются бороды маститых старцев. Взрывался и убегал. А старцы покачивали головами.

Так жили-были в особняке на Бассейной...

Горький основал Дом искусств как сознательное противопоставление Дому литераторов. Жизнь должна была строиться здесь не на всеобщности, а на отборе: лучшие писатели, лучшие художники, лучшие музыканты. Правда, музыкантами нельзя было похвастать: в музыкальном отделе обретался один человек, и тот — всегда с



перевязанной рукой. Но среди художников находился Кустодиев. Среди поэтов — Блок.

Купеческий дворец Елисеева на Мойке, угол Невского, вмещал залы, столовую, коридоры с жилыми комнатами, буфетную с резным буфетом и с елисеевским буфетчиком Ефимом, обтиравшим пыль со скульптур и кресел и приводевшим в порядок аскетическую комнату Акима Львовича Волынского. Жилье населялось писателями, в коридорах блюли тишину, щами пахло только на кухне. Все было богаче, нежели в Доме литераторов, кое-что даже изысканное. Остроумие встречалось тут нередко, так же как непрактичность. Попадались лица с сумасшедшинкой, столь родственной таланту, и Ольга Форш, много лет спустя назвавшая Дом искусств «Сумасшедшим кораблем», сделала находку.

В этом доме, в конце коридора, в маленькой комнате с железной койкой и расшатанным стулом, зародился кружок молодежи, участники которого составили часть почти мгновенно возникшей советской литературы. Тогда они ходили по Дому искусств на цыпочках и еще не знали, что здесь завяжется самый большой узел их судьбы.

Дом литераторов завидовал Дому искусств, но скрывал это. Особняк на Бассейной считал себя независимым, а дворец на Мойке был связан с Наркомпросом, связан с Горьким, Горький же сам был чем-то вроде Наркомпроса. Особняк на Бассейной считал себя высоким судьей и за очереди, за сальные судки, за прекращение «Речи», за весь пещерный быт выносил Горькому негласный приговор: «Во всем повинен». Дворец на Мойке отвечивал: «Нет, не повинен». И может быть, лишь немногие из тех, кто себе на уме, добавляли: «Повинен, конечно, но не во всем». Население Дома искусств в политике было либо бестолково, либо наивно. Люди из Дома литераторов обладали деловой, расчетливой сметкой, они были убеждены, что Горький ошибается, возглавляя заседание в Доме искусств, и многозначительный вид их по-прежнему говорил: «Всего этого мы давно ожидали».

Ночью, после работы, я спускаюсь ощупью по узенькой лестнице типографии. Совершенная темнота, пролет холоден, воняет керосином, глубоко внизу содрогается воздух от рычания пущенной ротационной машины. Что-

бы не сбиться и не попасть в подвал, я на площадках отсчитываю этажи: шестой, пятый... Внезапно раздается женский голос:

— Кто это?

Я отзываюсь.

— Вот хорошо. Идемте вместе. Здесь, знаете, ужасные крысы. Давайте руку. На каком мы этаже, на третьем или на четвертом?..

Мы медленно спускаемся рука об руку. На повороте моя спутница говорит:

— Вы ведь слушали Алексея Максимовича у пролетарских писателей? Не находите, что он хватил через край?

Это старая журналистка П. Куделли, постоянно занимающаяся вопросами культуры. Она не согласна с Горьким. Он преувеличивает: непереходимой пропасти, отделяющей наше крестьянство от пролетариата, не существует.

Мы сползаем на один марш, останавливаемся на площадке, и, чтобы преодолеть приблизившийся гул машины, она выкрикивает:

— От Горького так новожиизненцем и веет!

Я кричу ей на ухо, что вопрос о крестьянстве будет, конечно, серьезно, исторически разрешен и не замечать противоречий мы не имеем права. Она кричит мне на следующем марше:

— Противоречия — одно, а пропасть — другое! Об этом социал-демократы давно говорили...

Уж совсем ничего не слышно от гула машины, и мы нащупываем дверь во двор, чуть освещенный мутно-желтыми окнами печатни.

Горький пишет у широкого окна, выходящего на Кронверкский проспект. Я вижу его силуэт, наклоненный над большим, очень упорядоченным и потому как будто пустынным столом. Сверкнул солнечный зайчик на стекле его очков, он глянул поверх них, увидел меня, снял очки. Легко, с угловато опущенным плечом, он шагает ко мне, берет меня за локоть, поворачивает к другому, маленькому столу.

— Ну, вот, пожалуйста.

Он прихлопывает ладонью горку книг, потом, одну за другой, начинает раскрывать книги на титулах, слегка откинув голову, постукивая ногтями по именам авторов и приговаривая:

— Весьма умен, весьма... Но ироничен, все на усмешечке, и часто — без основания... А этот легковесен, но знающ, дает много фактов... В рассуждениях совсем пустой... Не соблазняйтесь... У этого много остроумия и блеска, что подобало бы скорее французу. Однако он последователен: невзирая на немецкое происхождение — совершенно без системы и циник...

Это — пока все, что я отыскал по революции сорок восьмого года. Одна отличная книга запропастилась, не мог найти. Таскают, знаете ли, с полок книги разные черти драповые. Хоть под замком держи. А сколько моих библиотек развеяно по миру! Эта вот четвертая, кажется. Идемте еще посмотрим, может, что-нибудь отыщем.

Полки стоят по-библиотечному — ребром к стене, между ними тесно, но солнечный свет просторной комнаты доходит и сюда. Перебирая пальцами корешки книг, сдвинув брови, Горький говорит:

— Значит, решили остановиться на своем выборе?.. Имейте в виду, что вы вольны взять любого героя истории, — военачальника, философа, ученого. Проповедника или, например, сектанта какого-нибудь. Почему, на самом деле, не взять сектанта?

— Бакунин ведь тоже сектант.

— Конечно... Но заметьте себе, что сейчас очень важно показать, какую роль играла личность в истории культуры. Все равно в какой области — Эдисон, Лавуазье, Данте, Уатт... И вот в наших исторических сценах обязательно должно проглядывать это стремление указать на роль личности в создании культуры, творческое начало личности, дух созидания. Да, именно, — дух созидания. Это и вам необходимо отметить в своей работе... Я, между прочим, организовал книгоиздательство Гржебина для той цели, чтобы поднять в глазах масс значение личности в истории. Это нам совершенно необходимо...

Горький отрывается от книг и, чуть-чуть посмеявась, гудит низким баском:

— Не стесняйте себя никакими рамками. Располагайте самой большой сценой. Хотите цирком — пожалуйста. Или городской площадью — с сотнями, тысячами дейст-

вующих лиц. А то не угодно ли, например, церковную паперть?.. Великолепное зрелище может получиться. Я, знаете, очень верю в эту идею исторических картин. Меня самого подмывало написать. И тема была превосходная — Великий Новгород, Василий Буслаев. Нет богатыря более русского — любил молодец землю, поозоровал на ней, но и потрудился славно!

— Что же вам помешало написать?

— Не что, а кто: Александр Амфитеатров помешал. Рассказал я ему о своем намерении, он ухватился, — я, говорит, напишу. Ну, что поделаешь: отдал ему, что было собрано у меня о Василии. И вот недавно появилась пьеса: «Васька Буслаев»... Хорошая вещь. Я полагаю — лучшее из всего когда-нибудь сочиненного Амфитеатровым. Но, разумеется, я не приписываю себе ничего из достоинств пьесы...

Он хмурится, молчит, потом со вздохом затягивается и сильно выдувает дым:

— Жалко. Очень хотелось самому написать.

Он будто просит извинить его за такое порочное эгоистическое желание и вообще за то, что он говорит о себе.

— Написаны еще две пьесы: Гумилевым и Евгением Замятиным. Интересно. Содержательно. Займет свое место в цикле.

Он опять — за столом, окутанный разводами дыма. Притрагиваясь к немногим вещам, точно проверяя их наличие — синий карандаш, пепельница, очки, линованные листы бумаги, — он рассказывает:

— Мне все чаще приходится иметь дело с нашими учеными. Удивительные люди. В самодельных перчатках, ноги — в одеялах, сидят, понимаете ли, у себя в кабинетах, пишут. Будто с минуты на минуту явится караул, проверить — на посту они или нет... По Уралу, в непроходимых горах бродят — составляют фантастические коллекции драгоценных камней для Академии наук. Месяцами не видят куска хлеба. Спрашивается — чем живы? Охотой живы, как дикари, да-с. И это, знаете ли, не Калифорния, не золотая лихорадка. Бессребреники, а не добычки в свой сундук. Гордиться надо таким народом. А за последние два месяца, по точным данным, в одном Петрограде умерло шестьдесят три ученых... Вот и сегодня сообщили о смерти Федора Батюшкова...

Спасать надо русскую науку... Продовольствия нужно, хотя бы самой дорогой ценой — продовольствия... Раньше, знаете ли, со мной никогда такого не бывало: сердечные боли и ноги припухают. Недостаток фосфора. Сахару нет...

Он резко приостанавливается (вновь ведь про себя!) и растолковывает педагогично:

— При нашей работе нервов без фосфора нельзя...

Он оживает.

— Перед приходом вашим был у меня профессор Ферсман. Он только что беседовал по прямому проводу с Лениным о делах комиссии по улучшению быта ученых. Ленин очень отзывчив и готов помогать. Ферсман заверяет: Ленин держит курс на интеллигенцию.

Опять я вижу его говорящим о Ленине. Едва уловимой игрой мимики, отрывистым движением плеч он с ласковой шуткой изображает разговор: Горький — Ленин.

— Я уж не первый год толкую, что недалёковидные люди раскаются в травле интеллигенции. Придется пойти на поклон к академикам и профессорам, которые посажены совсем не туда, где им полагается сидеть. Всякий раз, как я заговаривал об этом, начиналось беганье вокруг стола, с пристукиванием по нему кулаком и с фырканием. Однако стало очевидно, что без интеллигенции сделать что-либо невозможно... Ну, а господа образованные тотчас возрадовались и восторжествовали. Это, конечно, тоже нехорошо. Нехорошо... Ленин видит зорко. Но ему мешают разносторонне и весьма искусно. Весьма...

Чем дольше я слушаю его речь, тем более крепнет во мне убеждение, что и я мог бы так же говорить, как он, — в том же плавном, звучном размере. А что касается его мыслей, то мне кажется, что я всегда думал так, как он, только его мысли необычайно круглы, будто он их катает, как шар из глины, и я качусь с этим шаром туда, куда он его направит, и не могу остановиться. И наконец я начинаю говорить и говорю долго, оставляя легко одну тему и переходя на другую, которую он мне подскажет, и радуясь, что он поглощен моими рассказами, и у меня такое чувство, будто я всю жизнь только и разговаривал с Горьким, и вряд ли когда-нибудь я так остро ощущал состояние непринужденной искренности, как в этот час.

— Вы должны бывать в кругу молодых писателей, — говорит он, когда я собираюсь уходить. — Особенно советую познакомиться с Александром Блоком. Непременно познакомьтесь. Это... это...

Горький замолкает, отыскивая верное слово. Но слово не находится. Он с нетерпением, но почти беззвучно барабанит пальцами по столу. Вдруг он поднимается и, выпрямившись, — очень высокий, худой — медленно проводит рукой сверху вниз, от головы к ногам.

— Человек, — произносит он тихо и мгновенно стоит неподвижно.

Он говорит мне о Блоке второй раз и оба раза ставит его имя первым в ряду писателей, которых называет молодыми, очевидно — не по возрасту, а по несходству с каноническими фигурами дореволюционного русского писательства. Он говорит о Чуковском, хвалит талант Евгения Замятина и его ум. Но только в одобрении Блока чувство его совершенно не связано. О других он легче находит слова, но осмотрительнее говорит.

Я хочу завязать отобранные книги.

— Дайте-ка, дайте сюда, — требует он, — в упаковке у меня большой опыт.

— И у меня не маленький.

— А давайте померимся!

Он уверенно разглаживает лист сахарной бумаги, ровняет и кладет на него пачку книг, сильно обминает ладонями бумажные сгибы, наматывает на указательный палец конец шпагата и, прижав к себе сверток, перекрещивает его натуго вязкой. Сделав петлю на кисти левой руки, он ловко рвет шпагат, затягивает на кресте обрывок и, преподнося мне готовый пакет, расшаркивается с улыбкой:

— Извольте, сударь!.. Чья взяла?

— Да я тоже не хуже запаковываю.

— Это мы в другой раз посмотрим...

Он провожает меня до выхода, на кухню. Плита шипит, едкий дымок сырой осины просачивается через конфорки, но в кухне жарко, и так приятно постоять и еще немного послушать рокочущее уговаривание:

— Газету вам надо бросить. Газета — яд для вас. Я сам работал в газете. Яд... Вам надо заняться собой как литератором, войти в литературу, работать в литературе.

Слово «литератор» он выговаривает возвышенно, придыхая на ударении и слегка подняв раскрытую руку. Со всем низким басом, будто нарочно втихомолку от свидетельниц, топчущихся вокруг плиты, он говорит об обязанности себя беречь.

— А в газете разве себя убережешь? Она к дарованию беспощадна, она ему враг. Поверьте-ка мне!..

Как посвященный, я уношу в себе его напутствия, крепко держа пакет с книгами, в которых, возможно, сокрыто мое будущее — наставление в труде, тайна искусства, правда жизни, — как знать, как знать... Я вхожу в аллею Александровского сада, пеструю от первых проталин и несвязных пятен снега. У меня горят щеки, может быть — после стояния в кухне, у дымящей плиты, и может быть — потому, что идет весна и солнце греет жарко.

Александр Блок никогда не был отшельником. Он отзывался на жизнь с беспощадностью к себе, к естественной для поэта потребности оставаться наедине с собой. До него в поэзии никто так не принадлежал миру, как он, и никто с такой поэтической верой не сказал: «Слушайте музыку революции!»

В блоковском понимании событий было много отвлеченного и эстетского. Горький чувствовал это и позже не раз говорил о своем отчуждении от Блока. Через десять лет после того, как на Кронверкском Горький великодушным жестом показал, каким он представляет себе Блока, он писал мне из Сорренто:

«Мизантропия и пессимизм Блока — не сродны мне, а ведь этих его качеств — не обойдешь, равно как и его мистику... Поэзия Блока никогда особенно сильно не увлекала меня, и мне кажется, что «Прекрасную даму» — начало всех начал — он значительно изуродовал, придав ей свойства дегенеративные, свойства немецкой дамы конца XVIII в., а она, хотя и гораздо старше, однако — вполне здоровая женщина. Вообще — у меня с Блоком «контакта» нет. Возможно, что это *мой* недостаток».

Но в годы петербургского общения Горький видел, что Блок — единственный поэт, который мог стоять в ряду с ним. Горький знал, что Блок обретается в

тончайшей близости к самому сильному движению века, всего в нескольких шагах от идеологии революции, и в другом письме ко мне выразил это очень ясно:

«Гуманизм в той форме, как он усвоен нами от евангелия и священного писания художников наших о русском народе, о жизни, этот гуманизм — плохая вещь, и А. А. Блок, кажется, единственный, кто чуть-чуть не понял это».

Не художественные, а жизненные черты сближали Блока с Горьким. Основной из них была страстность блоковского отношения к революции. Как великий поэт, Блок был терзаем мыслями о счастье человечества. В прошлом никогда не действуя из побуждений моды, он и после Октября остался чужд политиканству, прямо и строго глядя в лицо жизни. Он знал, что революция борется за счастье человека не в фантазии, а практически, и так же, как Горький, работал в тех формах, какие создавались временем. Он был одним из основателей Большого Драматического театра, много сил отдавая его новому классическому репертуару; он посещал нескончаемые заседания в Доме искусств, в Союзе поэтов, в Театральном отделе; он рецензировал рукописи — драмы и стихи. Он был повседневно на людях. Но каждое его выступление становилось событием, точно он появлялся из затвора и снимал с себя обет молчания.

Я услышал его в первый раз в конце 1919 года. Вымороженная, мрачная комната на Литейном была заполнена окоченевшими людьми в шубах и солдатских шинелях. Они сидели тесно, словно обогревая друг друга своими неподвижными телами. Единственный человек, по принятому когда-то обычаю снявший шубу, находился на кафедре и — без перчаток — спокойными пальцами переворачивал листы рукописи. Это был Блок.

Белый свитер с отвернутым наружу воротом придавал ему вид немного чужеземный и, пожалуй, морской. Он читал монотонно, но в однообразии его интонации таились оттенки, околдовывавшие, как причитанья или стихи. Он мне показался очень прямым и то, что он говорил — прямолинейным. Он говорил о крушении гуманизма, о судьбах цивилизации и культуры. Слова его были



набатом во время пожара, но слушателей, казалось, сковывал не ужас его слов, а красота его веры в них.

Его лицо было малоподвижно, иногда почти мертвенно. Шевелились только губы, взгляд не отрывался от бумаги. Странная убедительность жизни заключалась в этой маске.

Я вышел после чтения на улицу, как после концерта, как после Бетховена, и позже, слушая Блока, всегда переживал бетховенское состояние трагедийных смен счастья и отчаяния, ликования молодой крови и обреченной любви и тьмы небытия.

Такое чувство я переживал и тогда, когда слушал грозную речь Блока «О назначении поэта» и особенно — когда Блок читал «Возмездие» в Доме искусств. Поэма была произнесена как признание из тех, какие высказываются, наверно, только в предчувствии смерти. Я тогда увидел Блока очень большим, громадным. И я понял, что для него искусство было вечной битвой, в которой он каждое мгновение готов был положить свою душу.

Горький не мог не любоваться им как человеком и явлением, но Горький — художник и философ, — вопреки своему скептицизму тех лет, жил в совершенно ином, нежели Блок, жизнерадостном ключе.

Я только раз наблюдал Блока улыбающимся: на одном из заседаний в Доме искусств он устало привалился к спинке кресла и чертил или писал карандашом в каком-то альбоме, взглядывая изредка на соседа — Чуковского — и смеясь. Смех его был школьнически озорной, мимолетный, он вспыхивал и тотчас потухал, точно являлся из иного мира и, разочаровавшись в том, что встречал, торопился назад, откуда пришел. Это не было веселостью. Это было ленивым отмахиванием от скуки.

Я заболел, сидел дома, в шинели, за книгами. В то время появилась маленькая книжечка, почти брошюра — «Воспоминание о Льве Николаевиче Толстом» М. Горького. Я начал читать ее, но это было не чтение: я пил ее маленькими глотками, строку за строкой, и это было подобно действию жгучего напитка, потому что с каждым глотком я больше и больше утрачивал трезвость и все сильнее бредил присутствием в комнате двух чело-

век — одного лично мне знакомого, другого — до сих пор едва известного понаслышке. Двое этих людей, не замечая меня, вели разговор, необыкновенно разорванный, пестрый, моментами почти страшный, возмущавший душу то восторгом, то смятением, иногда заразительно веселый. Тот, кого я знал, все глубже утверждал меня в моем знании. Я слышал отчетливо его низкий голос, обрываемый кашлем, видел его синие, еще совсем юные глаза, любовно, но остро изучающие невиданное чудо мира — того, другого человека, сухопарого, быстро, заросшего седыми волосами бороды, бровей, похожего на русского бога, который «хотя не очень величественен, но, может быть, хитрее всех других богов».

Благодаря маленькой книжечке в бедной обложке я испытал самый ослепительный и самый волнующий бред, телеснее, нежели когда-нибудь, ощутил волшебство искусства, и, если бы меня в ту минуту спросили, видел ли я в жизни Льва Толстого, я ответил бы без колебаний: «Да, видел. Он был у меня на Песках, вместе с молодым Горьким...»

Одна заметка воспоминаний меня очень развеселила. В ней Горький рассказывал, что Толстой любил задавать трудные и коварные вопросы, а лгать перед ним было нельзя.

«Однажды он спросил:

— Вы любите меня, А. М.?

Это — озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует» он, все пробует что-то, точно дратья собираются. Это интересно, однако — не очень по душе мне. Он — черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня».

Я подпрыгнул от восхищения, прочитав это «еще»: а я еще младенец. Какая гордыня, — смеялся я, бегая по комнате в распахнутой шинели, — и где прорвалось! *Еще младенец!..*

Мое воображение было покорено Горьким и все время находилось с ним. Возможно, я даже не замечал этого, как влюбленный, для которого наивность — естественное состояние.

В день его рождения я послал ему письмо, где говорил о цветущих садах, которые насадил бы для него, если бы это было в моей власти. Я не чувствовал неловкости своих излишних, видя в них больше правды, чем

глупости, вероятно полагая, что правда, наравне с поэзией, всегда немного глуповата. Я только весело повторил про себя: а я *еще* младенец. *Еще* младенец!

Наверно, снисходя к моим возрастным недостаткам, Горький не рассердился: несколько дней спустя мне передали, что он благодарит за письмо и напоминает, что я не обязательно должен останавливаться на выбранной теме, но что он позаботится о снабжении меня нужными книгами. Это было уже не первое предложение переизбрать тему, и я задумался: не сомневается ли Горький, больше меня самого, в том, что я осилю поставленную себе задачу? Иль, может быть, он опасается, что Бакунин заведет меня бог знает куда? Но я был поражен, что он все еще думал о моей работе.

Он будто в омут смотрит — не может оторваться от русской деревни — и словно держит мою голову, чтобы я тоже не отрывался, смотрел с ним в омут. Я сижу у него очень давно, а он все говорит о мужике. И с какой стороны ни пробует подойти к тяжбе деревни с городом, все получается плохо.

— Деревня раскусила город. Знает цену всем этим дворцам, магазинам, храмам. Что они сейчас могут ей дать? Она устраивается помимо города: обставляет наилучшим образом всякого пролетария, который умеет хоть что-нибудь делать, — кузнеца, слесаря, механика, — закабаляет его хлебом и квасом для своей надобности. А городской пролетарий с радостью бежит в деревню. Что ему прикажете делать, если он не сделался администратором, если стоят фабрики, заводы? И, знаете ли, деревня его не отпустит, она его закрепостит. Закрепостит... Беда, однако, в том, что это, конечно, выход на время, паллиатив. Кустарь-пролетарий в деревне достаточно беспомощен. Сырья-то ведь нет. Как же он даст крестьянину все необходимое? Мертвой петли, которая душит страну, ему не снять. Вот тогда мужик станет лицом к лицу с заморским купцом. Что изволите? — скажет иностранный капитал мужику. — Орудия земледелия? Пожалуйте. Предметы обихода? Извольте, сколько угодно.

По резким выступам его челюстей видно, как сжал он зубы, на секунду вечно подвижные складки щеки и лба

отвердевают и под нависшими бровями стыннут померкшие глаза; тянет, всасывает черная глубина омута.

— Когда мужик увидит, — говорит он с обидой, — что господин иностранец своими товарами шутя затыкает все дыры крестьянского хозяйства, вот тогда, доложу я вам, он возьмет в свои руки власть.

Горький взбрасывает на меня испытующий взгляд — напуган ли я? — и вдруг сам крайне напуганно повторяет:

— Возьмет, доложу вам, власть и продаст заморскому купцу всю Россию!

Ему кажется, что он мало проявил настойчивости, утверждая меня в своем мнении, и что страх должен быть упрочен доказательствами.

— А что вы полагаете? Не продаст? Всенепременно продаст. Для него Россия никогда не существовала как государство. Почему же не продать? Он знал свою деревню, пожалуй, свою волость, в наилучшем случае — свой уезд. Что такое для него Урал, Донец, Кавказ, Карелия, Сибирь? Пустые слова. Я говорю о мужике-великороссе, а он-то именно и придет к власти, неизбежно придет, ибо он подлинное большинство, единственная действительная сила во всей России...

Когда он, со всех сторон теснимый жизненными фактами, ищет в них противоречий и когда как будто все вокруг укрепляет неоспоримость его взглядов, он в конце концов находит единственного вдохновляющего его человека и, не соглашаясь с ним, вдохновляется его решительными возражениями. Этот оппонент — Ленин. Горький напоен, насыщен им и, куда бы ни забредал в своих поисках, все возвращается к неизбежному краю угла.

— Ленин сознает эту опасность — неизбежный приход мужика.

Горький молчит минуту, и вдруг я слышу со вздохом вырывающееся сожаление:

— Да не всегда Ленин все знает. Есть люди, которые от него, как от царя, концы прячут. Вот придет к нему кто-нибудь вроде вашего покорного слуги с данными, с доказательствами в руках, разложит все это перед ним, тогда он за голову схватится, бегать начнет, чертыхаться. И уж всегда как-нибудь отразится в его действиях такая беседа. Всегда...

Горький долго не двигался, потом, сжав кулак, внушительно пристукнул по столу, с какой-то неутолимой тоскою вздохнул и сказал, почти жалуясь:

— Не умеют у нас ничего делать. Работать не умеют. Не могут взять в толк, что процесс переворота позади, что надо теперь всенародно взяться за стройку.

Он с силой потер ладони, так что хрустнула кожа, пальцы его заходили по краю стола: ему не хватало работы.

Потом, разведя руками и быстро усмехнувшись необычной усмешкой, будто обнаружив нечто не только удивительное, но и достойное любовного рассмотрения, сказал:

— Не разберешь российского человека. Не пускает его старое, крепко держит. Хоть оно и тяжело, хоть и ненавистно, но оторваться от него боязно. Попробует иногда, возьмется за новое, ошибется, окроветится и скорей назад, — жутко. А потом — мстить, мстить, все равно — кому; жестоко мстить за свою ошибку. Необыкновенно много в русском человеке звериного. Народники неправильно изображали его нестяжателем, богоносцем, всепрощающим и покорным. Чехов, Бунин, отчасти другие исправили эту ошибку. Но не вполне, не вполне. Жесток так называемый российский человек и притворяется мистиком.

— Только притворяется?

— Конечно, притворяется, — опять усмехнулся он и объяснил лукаво: — Из опаски!..

Я рассказал историю со слов одного попа-расстриги. Поп этот был популярен у крестьянского прихода, что вызвало подозрения в епархии, и в село прислали благочинного — посмотреть, все ли гладко. Не успел благочинный приехать, как к нему повалили прихожане, с несусветными жалобами на попа: он-де говорит, что постов блюсти не надо, и требы правит не согласно с требником, и великий выход в обедню совершает по-староверски. Словом — накрючкотворили такое, что у благочинного голова кругом: поп-то, выходило, и безбожник и старовер, — без архиерея не распутаешь. И благочинный полетел к архиерею. А не успел он выехать из села, прихожане всем миром — к попу, кто с чем: с курочкой, с яичком, с салъцем, с меркой овса. И — в ноги, с повинною: прости, Христа ради. Поп надивиться не может.

«Да чего же вы на меня наврали?» — спрашивает. «Наврали, говорят, прости, Христа ради: попутало!» — «Да как же вам не совестно было врать-то?» — «А ты, батюшка, у нас все равно больше не жилец, тебя отсюда уберут, а нас засудят, если мы на тебя не покажем. Ну, вот и не вмени нам в вину, грешным, — попутало!»

Горький засмеялся, раскашлялся, долго подавляя кашель, густо дымил, и сквозь дым искристо поблескивали его заслезившиеся глаза.

— Был у меня знакомый, — сказал он, успокоившись, — приказчик Ивана Дмитриевича Сытина, человек крутой складки, не мечтатель. Возымел он идею — ввести в нашей деревне китайскую культуру пшеницы, грядковую. Дело пошло у него здорово, пшеница родилась превосходная. Односельчане были ошарашены — чудо. «Снимать будешь?» — вопрошают его. «Буду». — «Шутник!» — смеются. А пшеница колосится невиданная, как кустарник, глядят они и не верят очам своим. Ну-с, для первого раза стоптали: недосмотрели, видите ли, пустили скот — скот все подергал и помял. Однако новатор не сдался и насадил на другой год много больше, и пшеница закустилась еще краше. Тут уж трудновато было стоптать — велико пространство. А посеум сожгли...

Я сразу вспомнил прошумевшее сельскохозяйственное состязание знаменитого писателя Гарина-Михайловского с крестьянами.

— Как же, как же... Гарина я знал хорошо. Был у него и в деревне той самой, где он воевал. Представил он мне мужиков, которые его палили, и заводилу главного — могучего парня. Выпили вместе. Хлопнул я парня по плечу, спрашиваю, что, мол, их попутало. «Верно, попутало. Барин он замечательный, — кивает на хозяйина, — душа, можно сказать, человек... А вот поди!» — «Вы меня не проймете, — отвечает Гарин, — я на своем настою, добьюсь своего». — «Ты верно это, — говорит мужик, — ты барин во какой, жилистый, ты можешь...» А другой разъясняет: «Ты образованный, ты живо встанешь на ноги, а мы — темные, так ни с чем и останемся...»

Рассказывая, Горький скупился на жесты, руки его двигались не больше обычного, занятые мундштуком, пеплом, папироской. И голос не поднимался — по-прежнему негромкий, глуховатый. Он рассказывал оттенками

произношения и мимикой, не подчеркнуто, но с яркой точностью изображая крестьян. Артистизм его передачи совершенно покорял, — люди были так видны, что становилось и весело и страшновато. Было такое впечатление, что он держит этого загадочного российского человека в руках, как статуэтку, но, привычно ощупывая ее изгибы, отказывается признать, что они ему знакомы.

— Тут некая странная вера в судьбу, — говорил он, точно вглядываясь в свои мысли. — Чем ее разрушишь? Как были темными, так и останемся, — вот другие — те образованные, инакие. Ненавидят они этих инаких люто, за темноту свою, что ли? А оторваться от стари не могут. Боятся.

Задумавшись, он вдруг опять ласково вспомнил Гарина:

— Неугомонный был человек. Раз запахал сорокадесятинное поле и посеял на нем мак. Как зацвело оно, понимаете ли, — красный океан!.. Всю жизнь был убежден, что доконает мужика, привьет ему охоту к новому. Неисчерпаемой веры был человек...

— Конечно, густой мрак разлит по всему земному шару, однако неравномерно. Неравномерно. На юге Италии безграмотных не меньше, чем у нас. Суеверия, темнота, косность и все прочие сопутники необразованности. Но народ по-детски восприимчив ко всяким новшествам. Стоит культурному северу Италии что-нибудь изобрести, как южане тот же час перенимают, усваивают, вводят у себя. Мне пришлось наблюдать одну затяжную сельскую драму. Село занималось шляпным промыслом, и вот несколько кустарей отважились ввести турбины и поставить у себя механические станки. Других это возмутило, и турбины полетели ко всем чертям. Спустя год турбины опять были поставлены — и снова разрушены. И так пошло из года в год: одни ставят, другие рушат. Но с каждым годом число турбин возрастало: это противники механизации поодиночке присоединялись к застрельщикам. И, наконец, все село начало делать шляпы по-новому, на механических станках.

— Это трогательно, — сказал он, помолчав, — ибо свидетельствует о культуре. Культура чувствуется там в каждом простолудине, течет в крови, заложена в изве-

стке костей. Культ мадонны, например, — совсем не пустой звук, а действительно культ. Мадонну любят. Не то что у нас — богородицу и разнообразных божьих угодников...

На человека взгляд там тоже несколько иной. Не один раз бывал я свидетелем таких сцен: стоят два итальянца лицом друг к другу, кулаки свирепо сжаты, уши посинели от злости, дрожат и сыплют неудержимо ругательствами. Но чтобы ударить — этого нет. Ударить человека нельзя. Убить можно. Ножом убить. Хотя убийства случаются довольно редко. Но ударить человека итальянец не может... За все время, пока жил в Италии, я только два раза видел драку...

Его воображение быстро, с привычным беспокойством возвратилось домой — мир не без утехи, — он вспомнил о русских ученых:

— Представьте — последнее время их отношение к советской власти в корне переменялось. Другой власти сейчас в России и быть не может, в этом они между собою сходятся. Как ни тяжелы условия, в которые они поставлены, они свое дело делают, и — дело необыкновенное, замечательное. Желание работать у этих людей непрестанно растет. Удивительные люди!.. Их следует как можно шире привлекать к работе, ибо более всего нам не хватает знаний. Вот теперь начинаются мирные переговоры с Латвией, Польшей...

Он вдруг потрогал кончиками пальцев усы и беззвучно засмеялся.

— Извините, я не совсем понимаю, чему сейчас радуются: победили Антанту, кончено дело! Как дети радуются.

Его глаза горели, он слишком явно радовался сам, но суровее, взыскательнее становились его слова.

— Конечно, победа — вещь весьма приятная. Но победа пока не достигнута, нет, не достигнута...

Да-с, так вот. Шлют мне чуть не всякий день гонцов с посланиями: собери сведения о племенном составе уездов, на кои притязает Латвия; дай справку о количестве тамошних фабрик и заводов, составь записку о ценностях Публичной библиотеки, на которые заявляет притязания Польша; отыщи данные о собрании графов Залуцких.



Откуда у меня все это, помилуйте! Ну, составили мы записки, хорошо. Да что толку? Отстоять надо их, защитить. Кто это будет делать? Знания, простых знаний не хватает, вот что!

Он смеется: действительно, откуда ему все знать? Но тотчас он обстоятельно рассказывает, как призывал к себе академиков, хранителей библиотек, знатоков искусства, как составлялись записки о богатствах наших хранилищ, как доказывалось, что богатства эти — русское достояние и претендовать на него соседи наши не имеют права.

— Ну-с, отправили мы эти записки нашим мирным делегациям. Надо теперь стоять на своем. А для сего потребны знания. Много знаний, да-с...

Когда он начинал расспрашивать, не легко было утишить его любовь к пытливости, насытить же было невозможно. Интерес его к рассказчику был беспощаден по требовательности и весь отражался на лице, будто он слушал всеми складками, морщинками лица, и мне часто казалось, что если только одна из них переставала жить, это значило, что Горькому скучно. Его увлекали рассуждения, но больше он дорожил фактами, бережно складывал их в необъятные хранилища своей памяти.

Тогдашний быт города давал раздирающие душу наблюдения, у Горького было множество источников для собирания их, но он, наверно, не упустил ни одной возможности услышать что-нибудь житейски примечательное.

Я рассказал ему об одном знакомом многодетном наборщике, семья которого так терпела от голода, что ее страдания довели этого человека до навязчивой идеи, страшно пугавшей его: побросать всю семью через окошко на мостовую и самому кинуться за нею следом. Он не верил, что в России голод. Никаких недостатков, по его убеждению, в действительности быть не могло, всего было вволю. Однако же он голодал? Да, но голодал вследствие сокрытой тут хитрости: его не кормили, потому что голодным «легче управлять», он думает только о хлебе. От слов этого несчастного веяло убежденностью смертника. Он повествовал о своем отчаянии мертвым голосом, без остановок в конце фраз, раскачивая туловище по привычке наборщика. «Семья у меня уже третий раз пухнет с голоду. Нас — пя-

теро детишек да мы с женой. Нынешний раз все семеро пухнем, самый меньшенький тоже. Ну, ребята-то больше лежат. А у меня поутру ноги в валенки влезут, а как постою у кассы, ночью сымать — хоть ножницами режь, не стащишь: набухли полны валенки. Домой я по целым дням не захожу; скрываюсь: все-таки легче. А то как входишь в горницу, ребята все со своих лежанок повскакают, кричат: «Папа, папа пришел!» И все пятеро мне на руки смотрят — с чем пришел. Только жена в сторонку отвернется... Что с ними делать? Я ночью, когда прихожу из типографии домой, смотрю на них, как они спят. Думаю — взять вас за ноги и покидать всех по очереди через окошко. За вами — мать. Потом самому кинуться туда же. Квартуем мы на шестом этаже. Лучше ничего не придумаешь. Кормить нас больше все равно не будут. Зачем кормить? Сейчас дай мне корку хлеба, я все исполню, что заставят. А сытый еще подумаю...»

Горький встал, очень взволнованно подошел к окну, стуча пальцами по спинке кресла, долго глядел вниз, в глубину Кронверкского, потом круто повернулся ко мне и сказал тихо:

— А вы знаете? Ведь он это непременно сделает, этот рабочий! Удивительно, как еще он этого не сделал до сих пор...

Страшно уверившись в такой угрозе, наверно увидев ее с высоты где-то на мостовой улицы, он стал горячо убеждать меня в ее «справде». На ближней к столу полке, в грузной кипе разнокалиберных бумаг, папок, пакетов, будто собранных со всех концов мира, он принялся что-то нетерпеливо разыскивать, перебирать, теревить. Он вытянул толстую переплетенную тетрадь, сел к столу, надел очки, живо сказал:

— Придвигайтесь ближе.

Тетрадь была шита неопытными руками, грубо, но, как видно, основательным человеком, любящим самодельничать. Большие листья тяжелой бумаги были плотно, расчетливо исписаны старательным нелегким почерком. Горький нашел страницу, отчеркнутую синим карандашом.

— Это «Описание жизни» сделано русским крестьянином центральной полосы. Прислал он его мне с назидательным письмом, по-видимому, затем, чтобы я поучился разуму.

Он начал читать очень тихо, медленно, с усилием разбирая написанное, гибко приспособляясь к капризному строю речи полуграмотного автора.

Я увидел человека, эпически спокойно, с достоинством и крайне внимательно к предмету описания рассказывающего, как он ночью топором отрубил головы своим трем малолетним детям, поцеловал с нежностью мирно спавшую жену, хватил и ее тем же топором по шее и таким кратким способом освободил всю свою любимую семью от земной юдоли. Его судили, нашли, что он действовал в состоянии аффекта, и отправили на каторгу. Мотивом убийства он приводит голод, в котором постоянно жила семья.

Горький словно законфузился и, приподнимая один ус, сказал в тоне просьбы о снисхождении:

— И вот, поверите ли, наряду с таким звериным поступком человек высказывает весьма немало здравых и хороших, положительно хороших мыслей. Подите разберите...

Он отыскал в «Описании жизни» другие помеченные карандашом места и прочитал мне наставления о браке. Оказалось, убийца считал брак высшим и благословенным видом любви и выражал глубокое убеждение, что жениться должно исключительно с намерением осчастливить любимого человека, а отнюдь не из корыстных побуждений или эгоистических чувств.

— Вот куда мы должны обратить все наши взоры — на русского человека, — еще раз сказал Горький, закрывая тетрадь, которая упруго скрипит в тугих, словно лыковых, шгах корешка.

Он поглядел на меня в упор просвечивающим, резким взглядом и сказал:

— Вам надо писать. Больше писать. Каждый день.

Что-то присуждающее было в его голосе, как в приговоре.

— Что вы сегодня, сударь, изволили делать?

— Хлеб пек.

Он мгновение помедлил, потом спросил очень серьезно, со знанием дела:

— Тесто сами ставили? Или без закваски?

— Пресным.

— Какова получилась выпечка? Крутовата, наверно? Пресняки невыгодны: быстро сохнут и на сухари не годятся — как камень... А еще что делали?

— Стирал.

— Приходится?.. Гм-гм... Ну-с?

— Суп варил. Сегодня праздник, много всякого переделал.

— Гм... А... писать не удалось?.. Успели? Ну те, ну те, расскажите...

Рассказывать надо было решительно все — о замысле, о плане, о характерах. Он требовал подробностей, мелочей, недомолвки не нравились ему. Вначале он присматривался ко мне с подозрением, насупившись, сдвинув брови. Потом прояснел, стал улыбаться не то иронично, не то поощрительно и вдруг залился странно тихим, почти беззвучным, но таким торжествующим смехом, точно разгадал загадку, над которой давным-давно бился.

— Хорошо, черт возьми! Жарьте, жарьте, это у вас должно получиться...

— Не знаю еще, что это будет, может быть — Вагнер?

Но он будто не хотел слышать меня:

— Определится во время писания. Жарьте. Вы — на верном пути, остальное придет само. Первый акт хороший получится.

— Но я не вижу ни второго, ни третьего...

— Ничего не значит. Главное есть...

Горячась, он заходил между полок, отыскивая какую-то книгу, нервно выдергивая за корешки ненужные томики, опять вспоминая «чертей драповых», перепутавших, растаскавших библиотеку, и все посмеиваясь, наверно, не моему рассказу, а больше тому, что увидел за ним своей фантазией. Книга так и не отыскалась.

— Я говорил насчет книг для вас с Николаем Осипычем Лернером... Совершенно незаменимый книгочий. Влюблен в книгу.

Покачал головой, сказал с восхищением, прикрыв глаза:

— А какой лентяй! Есть, знаете ли, в его лени даже нечто грациозное...

Когда я прощался, он взял меня за плечи и проговорил на ухо сокровенным шепотом:

— Женщину непременно введите. Без женщины нельзя...

Как-то я зашел к Гржебину, чтобы оставить для Горького подарок. Горький был в издательстве, и я передал подарок лично. Это была изданная в Венеции книжечка Нерсеса Клаэнского, патриарха всеармянского. Мне показалась она любопытной лингвистически, так как содержала одну и ту же вещь в переводе на двадцать четыре языка. Горький оценил курьез, и мне было приятно, но я тотчас забыл об удовольствии, потому что оно вытеснилось изумлением. Полистав книгу и проверив — верно ли там двадцать четыре языка, Горький сказал:

— Да, был такой. Кажется, в двенадцатом веке. Он еще другое имя носил. Если не ошибаюсь — Шноргали. Он был не только богослов, но и поэт... Книге место в Публичной библиотеке. Не обидитесь, если я передам?.. А что в Венеции издано — понятно. Вам известно о тамошней армянской колонии?..

И он стал говорить о венецианских армянах так, будто только что приготовился читать курс по истории Армении.

В те дни велись переговоры о мире с Финляндией. Ход их вызывал тревогу, иногда недоумение.

В первый раз в разговоре с Горьким я услышал от него имя Троцкого.

— Тут дело ясное: некоторые из делегатов наших ведут себя во вкусе Троцкого. Они хотят сорвать переговоры. Хотят войны. И главным образом войны хочет Петроград. Москва стоит за мир...

Он помолчал раздраженно.

— Сил много накопилось...

Мы вышли на улицу, его дожидалась лошадь, он спросил, куда я иду.

— Садитесь, подвезу.

Стояла весенняя слякоть, на Караванной выбоины торцевой мостовой были заполнены лужами, кучер ехал медленно, прохожие, сторонясь пролетки, жались к домам.

— У меня, понимаете ли, нога болит, — сказал он, — расширение вен, не могу ходить...

Он долго молчал, явно недосказывая чего-то, и хмурился. Мне было недовко слышать объяснение — почему он ездит, а не ходит пешком, и у меня вертелось на языке

что-то вроде признания за ним права на любые удобства. Чем дальше мы ехали, тем неприятнее становилась очевидная недосказанность. Где-то у цирка, когда шагом поднимались к Симеоновскому мосту и подул настойчивый ветер, Горький сильно надвинул на глаза широкое поле шляпы, сказал:

— Едешь на лошади, тебя встречают такие ненавистные взгляды: «буржуй».

— Не всегда же так думают.

— А как же еще думают?

— Думают — «комиссар»...

Он довольно засмеялся и с задором начал выглядывать из-под шляпы на разношерстных пешеходов, бежавших через мост.

Рядом с войной, революцией, насущным хлебом, теплом и холодом литература не занимала никакого места. Даже для профессионалов-писателей она казалась несуществующей. Одни думали, что она умерла, другие считали, что после золотого и серебряного века она вступала в век бесславия, упадка, вырождения. Но главное — всем было очевидно, что для прожития, для поддержания земного бытия литература не нужна. Это не могло не укреплять убеждения, что жизнь — одно, а литература — другое. Жизнь — это война, революция, хлеб, дрова. А что такое литература?

Когда в первую мировую войну американцы снаряжали войско на фронт, в Европу, им пришлось подумать над тем, какую книгу для чтения следует положить в походный ранец американского солдата. Они долго выбирали и остановились наконец на романе Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никкльби». С этим романом, в котором совсем не говорится о войне, американцы и провели всю войну. Так был решен вопрос, что такое литература, и так он решался не только американцами: литература есть нечто ценное своим отличием от жизни, в ней хорошо то, что это — не война, не революция, не хлеб и не дрова.

Но кроме профессионалов-литераторов, считавших, что литература умерла, и, таким образом, причислявших себя либо к покойникам, либо к бессмертным, во время революции взялось за перо невиданное множество людей;

особенно — молодых, с целями, совершенно отличными от рассуждений профессионалов. На фронте читали Диккенса, чтобы не думать о фронте, чтобы отдыхать от него. Но фронт не давал человеку роздыха, днем и ночью ежесекундно работая над разрушением его психики, — в результате — побежденным оказался не фронт, а Диккенс, ибо на войне начали читать не «Николаса Никкльби», а фронтовой роман Анри Барбюса «В огне». Множество людей взялось за перо после войны и революции, побуждаемое к тому потребностью осмыслить жизненный опыт, хотя редко сознавая природу своих побуждений, особенно при столкновении с высокими требованиями искусства.

В те годы появилось выражение «литературная студия». То, что прежде считалось возможным в живописи, в театре — изучение мастерства, технических приемов искусства, — было допущено в литературу. Стали учиться писать, как раньше учились рисовать или делать реверансы, и нельзя установить, кто изобрел эту форму занятий — ученики или учителя. Созданием Горького была студия переводчиков с иностранных языков, организованная при издательстве «Всемирная литература». Близкие к Горькому выдающиеся руководители привлекли в студию молодежь, мечтавшую сочинять, а не переводить. Два-три человека из этой молодежи сделались потом писателями, большинство же рассеялось сначала по другим студиям и кружкам, потом по другим дорогам жизни.

Я пережил единственное студийное занятие, оставшееся в моей памяти. Произошло это в Доме искусств, среди довольно разнообразной публики, преимущественно писавшей стихи, что тогда было повсеместным и очень стойким общественным недугом. Корней Иванович Чуковский сделал перед студийцами анализ рассказа никому не известного начинающего автора. Анализ был шедевром, достойным, в свою очередь, студийного изучения как образец критического разбора. Единственным недочетом разбора был, пожалуй, чуть крупноватый калибр пушек, из которых расстреливался воробей. Но и этот недочет обращался в достоинство перед лицом публики, с огромным воодушевлением наблюдавшей, как разлетаются от канонады спичечные свайки рассказа. Чуковский говорил увлеченно, легко, с убеждающей наглядностью, точно он был физиком, показывающим разборную модель. Аудитория много смеялась, но и немало размышляла. Пушки гро-

хали весело, воробей после каждого выстрела робко ощупывал себя — неужели жив? — и в ужасе ожидал следующего снаряда.

Воробьем этим был я, а произведением, подвергнутому разбору, был тот самый рассказ, о котором Горький сказал, что Чехов сделал бы из него шесть страничек. Случилось же все это так. Горький сказал обо мне Чуковскому, и тот познакомился со мной. В кухне Дома искусств, за чисто выскобленным липовым столом, где иногда повар потчевал писателей чаем, в присутствии Александра Николаевича Тихонова, я прочитал Чуковскому маленький, напечатанный в газете рассказ, и он спросил — есть ли у меня что-нибудь ненапечатанное и побольше. С чувством обреченного я послал ему рассказ, казавшийся мне, после горьковского отзыва, чем-то вроде конфузного проступка юности. Я делал это не ради самоистязания, а просто потому, что у меня ничего другого не было, и, наверно, потому, что после Горького любой урок представлялся мне вполне по плечу. И вот я сидел среди смеющихся над мною людей и думал только о том, чтобы они не узнали во мне воробья. Но Чуковский проявил настоящее великодушие, ни разу не поведя взглядом в мою сторону, и, когда свертывал операцию и его батареи замолкли, сказал с проникновенным чувством:

— Я только удивляюсь, как этот автор, уже не раз печатавшийся, мог сочинить подобный рассказ...

Кое-как выбравшись из зала, я вернулся домой с ощущением, будто меня чудом вынули из-под трамвая. Отлеживаясь и приходя в себя, я изучал урок, на который напросился сам. Я корил себя непониманием абсолютных литературных основ — сюжета, композиции, я осуждал себя за дурной стиль. Но в глубине души я сознавал, что эти грехи не слишком тяжки, замолить их перед богами искусства легко. Незамолимый же смертный грех есть грех *выбора*, грех ошибочного, неправильного или кому-нибудь не угодного выбора предмета повествования. В студиях это тоже превосходно понималось. Но в студиях на это возражали так: все темы хороши, все темы равны, неравно искусство. Это было началом рассуждений, которые потом варьировались многие лета. Я рассуждал: искусство состоит в том, чтобы наилучшим образом выразить жизнь чувства; наилучшим образом может быть выражено только самое ясное чувство, то есть правда.



И тогда сам собою напрашивался вывод: прав тот, кто, находясь на фронте, бросил читать «Николаса Никльби», прав тот, кто написал «В огне».

Что же такое литература — действительно ли в ней хорошо то, что это не война, не революция, не хлеб и не дрова, будет ли она жить или умрет? — эти вопросы с необычайной страстью, хотя иногда молчаливо, решались именно наряду с войной, революцией, теплом и холодом, в студиях или помимо них. Вскоре и я решал их уже не один, а с целой плеядой людей, которые смело и молодо разожгли и покончили спор между «Николасом Никльби» и «В огне».

Как бы строг ни был Горький в суждениях о литературе, он вселял в писателя постоянно одно и то же сильное чувство: ты хозяин, ступай и управляй хозяйством, называемым литературой, оно — твое. Ни один критик не думал о литературе так возвышенно, как Горький. Но как часто критики говорили: литература — вещь высокая, тебе ли войти в нее? — становись на колени, ползи. Горький предостерегал от таких критиков.

В Горьком видят учителя первого советского поколения писателей. И это верно, он был его учителем. Но учительство Горького не сводилось к надзору за языковыми неправильностями, допускаемыми писателем, за стилистикой и прочей литературной грамотой. Влюбленный в русский язык, обожающий искусство письма, Горький не мог пройти мимо искажений речи, насилий над языком, мимо равнодушия к форме произведения. Но о Горьком надо сказать, что прежде всего он учил вдохновению. Он учил вере в дело литературы, он убеждал в его величии.

Как это достигалось? Я всегда расставался с Горьким в необыкновенном подъеме. Все мои силы сосредоточивались на устремлении к литературе. Но это никогда не вытекало из разговора о литературной технологии, почти никогда не вытекало из разговора только о литературе. Это являлось результатом вспышки разнообразных интересов, подожженных Горьким. Его кажущийся пессимизм заключался в том, что он упрямо отстранял от себя все, что мешало его любви и вкусу к жизни. Эта горьковская любовь к жизни и населяла меня необычайной радостью бытия. Сама пестрота беседы с ним, ее извилистость, гибкое

чередование утверждений и отрицаний пробуждали счастливую жажду работать воображением. И тогда литература представляла чудесным инструментом, единственно способным воплотить работу воображения.

Как писатель, Горький не соблазнял никого подражать себе, я не помню, чтобы он поставил в пример свое искусство. Он даже не говорил о нем. Хорошо видя повсюду рассеянные следы своего художественного влияния, он не помышлял о создании школы. Но его искусство было частью той биографии века, какую была его личность, а пример его личности на наших глазах становился могущественным образом современности, и каждый новый писатель обращал свое лицо к Горькому, чтобы видеть и учиться.

Дорога через пустынную Неву, мимо крепости, аллеями Александровского сада, составляющего одну сторону Кронверкского проспекта, казалось мне самой значительной в жизни. Сколько раз я по ней промчался, пролетел или прошел в нерешительности, в раздумье, с лихорадочным ощущением, что вот сейчас я буду говорить с Горьким или — вот сейчас я только что говорил с ним...

Мягким, почти беззвучным вечером, дымя папироской у раскрытого окна, но вдыхая не дым, а пряный ток майской зелени, он посмеивается:

— Нельзя сказать, чтобы у нас не было критиков, знающих толк в форме. И говорят они отлично — заслушаешься. Вам, конечно, тоже придется их слушать. Да, непременно слушайте, слушайте...

Он покашивает на меня пытливым глазом из-под опущенных бровей.

— Слушайте, но... не слушайтесь... Не следуйте вообще советам критиков, вредный для нас народ, очень вредный. Я это говорю не потому, что кто-нибудь из них повредил мне, нет. Но они нам гораздо больше вредят, чем приносят пользы. Вообще не слушайте никого, работайте самостоятельно, доходите до цели сами.

Он как будто нарочно упрощает рассуждения, и я говорю:

— Но вы ведь называли мне критиков умных и знающих.

— Да, конечно. Однако ум и знание не мешают им говорить весьма легковесно. Их слова не имеют никакой внутренней силы. Им часто приходят в голову превосходные мысли. Но мысли не дают ростков, не распускаются, а загнивают на корню. Они это чувствуют и словно страшатся — не стоит ли за их спиной некий человек, который вот-вот перечеркнет все, ими только что сказанное или написанное?

Кажется, он старается внушить мне целебный, по его мнению, скептицизм. Я не понимаю — зачем? Но мне стыдно своего недоумения, я помалкиваю, а он нет-нет да улыбнется и опять повторяет вдруг понравившуюся фразу:

— Слушайте, но не слушайтесь. Относитесь ко всему с недоверием...

Эти слова, как привет, сопровождают разговор о книгах по истории, противоречащих одна другой, о том, что не только толкования фактов, но и сами факты взаимно уничтожаются при столкновении. Он судит об историках уважительно, как о сильном противнике, но за уважением слышится сдержанное торжество уверенности, что — как там никак, а он противника подомнет! Наконец мне становится ясна его цель: он предлагает мне «недоверие» как средство освободиться от абстрактного, безусловного уважения перед книгой. Слушая его, я начинаю видеть, что, несмотря на жизненный «опыт», которым внутренне уже гордился, я все еще школьник по своему отношению к божкам науки, что я коленопреклонно люблю книгу, вместо того чтобы владеть ею, что критика, повергающая меня в сомнение, сама должна быть подвергнута сомнению.

— По-видимому, все теперь будет заново пересмотрено, — говорит он. — И заметьте, какое интересное явление: очень многие берутся сейчас за большие работы. При этом, во-первых, чувствуют потребность кого-нибудь исторически реабилитировать, поправить какой-нибудь ложно установленный взгляд, а во-вторых, необыкновенно сближаются, почти сродняются со своим героем, начинают его любить. Этого раньше не бывало. Исследователь честно увлекался своим героем, тщательно, настойчиво изучал его. Теперь не то. Дело героя, исторического лица становится кровавым делом автора. — Он шутливо разводит руками. — Знамение времени, что ли?..

Он сказал мне, чтобы я написал что-нибудь для «Северного сияния», а когда я спросил, что это за журнал и что ему нужно, он произнес отечески назидательно:

— Не извольте забывать свою главную работу, да-с. Все эти «Сияния» не должны ей мешать.

— Мешают работать старые темы, давно созревшие.

Он отозвался не раздумывая, точно продиктовал хорошо известный рецепт:

— Набросайте их на бумагу, запишите. Тогда они сразу отвяжутся.

Летом я увидел Горького рядом с Лениным.

Это было в июле, на открытии Второго конгресса Коммунистического Интернационала. То, что на конгресс приехал Ленин, то, что он выступал в городе, который недавно с великими жертвами отстоял свои стены от врага, то, что сюда съехались представители рабочих партий чуть ли не всех частей света, — все это делало празднество триумфальным. Но в этом триумфе заключались ноты жесткие, непреклонные: борьба все еще шла, борьба не на жизнь, а на смерть, и конгресс проводили со сжатыми губами, с решимостью биться до конца.

Появление Ленина было разительно.

Песчано-желтое горенье люстр, притушенное сильным дневным светом, как будто увеличивало волнение наполненного людьми зала. Духота во дворце накапливалась задолго до начала конгресса. И вдруг напряжение разнородного света ламп и солнца, духоты и длительного ожидания разрядилось в аплодисментах, которые обрывчато возникли на хорах, потом начали сливаться и медленно сползать вниз, захватывая, точно сдвигая с места, дворец: наклонив голову, как будто рассекая его встречный поток воздуха, впереди толпы делегатов, через весь зал шел Ленин. Он быстро поднялся на места президиума, и его не было видно, пока разрасталась и длилась оvação. Потом он внезапно снова появился, легко взбегаю по проходу амфитеатра вверх. Его увидели, и вокруг того места, где он остановился, начало стягиваться кольцо людей, плотнее и плотнее, и гудение аплодисментов опять словно качнуло зал. Ленин дружески говорил с Михай Цхакая, все больше наклоняясь к его уху, и наконец, словно рассердившись

на беспорядок, махнул рукой, почти прорвал кольцо людей и устремился вниз.

И вот он должен был выдержать третью овацию, когда ступил на трибуну для доклада. Он долго пересматривал бумажки на кафедре. Потом высоко поднял руку и потряс кистью, чтобы утихомирить неумолкающий зал. Один среди клокотавшего шума, он, точно обороняясь, вдруг вынул из жилета часы и показал их, сердито стуча пальцем по стеклу циферблата, — ничего не помогало. Тогда он снова принялся нервно перебирать бумажки, как будто не в силах заставить себя примириться с печальным нарушением порядка.

Первые же слова Ленина удивительно жизненно сблизили его со слушателями. Он говорил не очень громко, мягко грацируя на звуке «ре», высоким голосом, говорил деловые, прозаичные слова, но в необыкновенном, истинно ораторском воодушевлении. Он перечислял цифры, приподнимая к глазам записочки, и все было в его словах практично-ясно, без украшений и орнаментов, но речь его, слитая в единство с простым, вразумительным жестом, с подвижностью и легкостью всего тела, казалась огненной по самому смыслу.

Большой мир открывал Ленин перед конгрессом, мир борьбы за человечество силами первого на земле Советского государства. Казалось, он брал за руки историю и вводил ее в зал, а она послушно разворачивала перед нами деяния только что разбитой Польши и подавленного Врангеля, деяния их защитницы — Англии, вдруг проникшейся миролюбием и предложившей посредничество между Советами и контрреволюцией. Ленин запечатлевал миг истории. Но в деловых его словах, подобных выкладкам учебного, билась, как сердце, мечта нового мира, и конгресс не только следовал за движением ленинской мысли, но будто касался ладонями ленинской души.

Ложа журналистов, в которой я сидел, находилась рядом с трибуной. Я не отрывал глаз от Ленина, и у меня появилось убеждение, что я написал бы его портрет по памяти, будь я художником.

Я смотрел на него и тогда, когда кончилось заседание и он, в толпе делегатов, пошел к выходу из дворца. Было страшно тесно, в духоте и давке сотни людей старались протолкаться вперед, чтобы ближе увидеть его, и все вре-

мя, пока двигались по кулуарам, по круглому залу и вестибюлю, он был сдавлен народом.

Вдруг высоко над ним, над толпою я увидел голову Горького. В самых дверях все остановились, потом очень медленно, словно выплывая, начали просачиваться на подъезд. Ленин и Горький так и вышли из дворца, соединенные, сжатые людьми, почти рука об руку, но и тут, на возвышении подъезда, шествие опять остановилось, и тогда, протискиваясь со всех сторон, к ним подступили фотографы, щелкая затворами, прячась от солнца под черными суконками и платками.

Горький стоял у колонны, позади Ленина, без шляпы, голова его, залитая солнцем, была видна далеко, кругом повторялось его имя.

Я увидел на лице Горького новые черты, каких не помнил из прежних встреч. Он был, наверно, до глубины взволнован и преодолевал волнение, и это сделало его взгляд жестким, всегда живые складки щек — неподвижными. Он показался мне очень властным, и все лицо его словно выражало непреклонность, которая только что прозвенела в речи Ленина и которой дышал весь конгресс.

Стиснутый толпою, глядя через плечи и головы людей, я изо всех сил старался не пропустить какого-нибудь движения этих двух человек, стоявших рядом, — Ленина и Горького. И мне казалось: все лучшее, что я когда-нибудь думал о Горьком, воплощено в нем в этот миг, в этой близости к Ленину — к высшему осмыслению всего происшедшего в мире.

К Европе интерес Горького очень насторожен, как к предмету драгоценному, но таящему неожиданности. Он не может, вероятно, даже не хочет скрывать ревнивую зависть, когда речь заходит о том, что там начали *строить*.

— Нансен рассказывает мне — Бельгия уже восстановлена. Это, понимаете ли, за полтора года. Недурно работают господа...

Руки его становятся беспокойны, он гасит недокуренную папиросу, вставляет в мундштук свежую, она ломается, он кидает ее мимо пепельницы, кашель, усилившийся за последние месяцы, долго душит его, не отпускает.

— Готовятся господа, готовятся. Самовары, знаете ли, фабрикуют, по тульским образцам, ни более и ни менее. Зачем? Колонизировать нас с помощью самоваров. Смее-тесь? Напрасно. Вполне серьезно. Изготавливают впрок русскую утварь, таблетки какие-то рыбные делают — уверены, что Россия за таблетки на все пойдет... А почему же не делать таблетки? Дostatку хватит на любые таблетки для нас и на самовары...

Вот ученым в европах платят туговато. Нансен говорит, что зарабатывает меньше лопаря, который достиг в послевоенные годы почетного положения: исполняет самые грязные работы, на кои не найти других охотников.

Он передает рассказы Нансена со всей серьезностью, и они рисуются ему безотрадными для нас, но потом он отыскивает в старом Западе не столь уж мрачные, а даже слегка забавные черты и, точно раскрыв знакомые страницы Диккенса, над которыми когда-то добродушно улыбался, обретает спокойное равновесие наблюдателя.

— Вернулся из Англии один сотрудник Красина. Спрашиваю: ну, как, будет революция в Англии? Нет, говорит, не будет революции. Как, говорю, не будет, а что же там будет? Футбол, говорит, будет, футбол и пока более ничего... Состоялся там в одном графстве замечательный матч. Так, понимаете ли, рабочие заводов явились к хозяевам: мол, отправляемся смотреть матч, никак не можем пропустить такое событие, а прогульные часы отработаем в другие дни... Стадион в одном месте устроили на восемьдесят тысяч человек, а в другом — на пятьдесят две. Удивительный народ! Дед и отец смотрят, как защищает ворота сын. Три поколения. Дед впился пальцами в отца. И оба дрожат, вот как дрожат...

Он показал, как впилась рука в руку и как дрожат англичане. Вышло очень хорошо, ему самому понравилось, и он тронул усы, прикрывая довольный смешок...

В его любви к работе, к делу рук человеческих нет ничего показного. Он отдыхает, когда видит плоды умения, мастерства, изобретательности.

Наверно, в сотый раз поворачивает он в своих пальцах фигурки из нефрита и кости, показывая мне коллекцию японских и китайских кустарных изделий. Но словно впервые открыл он и признал непостижимую ловкость

кустаря, виртуозную изысканность его догадки, с какою решались головоломные задачи создания этих крошечных чудес искусства. Он упивается радостью, как человек, только что сделавший открытие, и его рассказ есть настоящее посвящение меня в труд безвестного дальневосточного резчика: я вижу, каков был тот первозданный кусок сырья, который взял в руки мастер, вижу неуклюжий самодельный стан, обтачивающий материал, затем поочередно — инструменты для долбления, резьбы, шлифовки. Увлекающая меня, он увлекается сам — ведь всюду сокрыто человеческое знание: вот так белится слоновая кость, а вот так полируется нефрит. А сверх всего этого, да, именно сверх всего — выше неотступности усилий, дьявольского терпения человека, его эластичного, как ящерица, ума — венцом всего возносится искусство. И в какой же действительно раз до умиления любитесь Горький костяными изваяниями!

Но вот он быстро устанавливает фигурки на место, закрывает стеклянную дверцу шкафа и отворачивается.

— С прекрасным расставаться трудно. Трудно... Двенадцать лет ушло на собирание... Если бы не такое время, ни за что не расстался бы. Отдал бы разве в музей... Но если бы сейчас нашелся покупатель — продал бы... Нужны деньги. Прорва денег. Уйма денег... чтобы быть сытым, да-с...

Тень пронесется мгновенно, он идет в кабинет, садится за стол, и тотчас найдена другая тема или, наверно, не другая, все та же тема работы, дела мысли и рук человеческих. Видимая пестрота его разговора никогда не производила впечатления рассыпанных осколков случайно узнанного. Наоборот, он был систематически мыслящим человеком, непохожим на самоучку, и не только в литературе, философии, но и в естественных науках, физике и химии. Он мне рассказал с проникновенной благодарностью о супругах Кюри, которых лично знал и в лаборатории которых бывал, живя во Франции. Когда из разговора он увидел, что я немного знаю химию, он сразу бросил популярный язык и начал великолепно, в подробностях говорить о явлениях радиоактивности элементов.

Это, конечно, поражало в нем, но я признаюсь, что власть его над собеседником проявлялась еще неотразимее, когда он рассказывал о своих наблюдениях жизни.



— После Октября я иногда ходил на митинги, послушать, что говорят рабочие. Переодевался, конечно. Кепочку подобающую, пальтецо. Эдаким слесарем... Раз возвращаюсь домой, смотрю — барку разгружают с дровами на Неве. Забрался я на барку. Костерчик горит. Подсел к огню, вокруг — женщины, красногвардейцы. Заговорил — слушают. Начал объяснять смысл другой работы — не на барке с дровами, а в лаборатории, в кабинетах над книгами, то, как облегчают ученые труд грузчика, маляра, землепашца. Разгрузка остановилась, слушают, не шелхнутся, только в огне поленца поправляют. Вижу — уставился на меня молодой парень, прямо заглатывает меня глазами, губа нижняя отвисла, и слюни, понимаете ли, тягучие слюни тянутся с отвислой губы...

Тончайшими мимическими сдвигами он представил разинувшего рот парня, добродушно засмеялся, махнул рукой.

— Ну-с, знаете ли, сосед его, постарше, тихонько так вот пальцем снимает у него с губы эту тянучку. И тот ничего, не обиделся, только всхлипнул, — слушает дальше... Думаю: попытаю я — что они скажут, если узнают, что разговаривают с писателем? Назвался. Одна бойкая женщина мне в ответ: «А что же ты воображал? Мы сразу увидали, кто ты есть». Начали мне задавать вопросы, поверите ли, — совершенно неожиданные по смелости вопросы. Я только поворачиваюсь, а они — и о том, и о другом. Женщина та бойкая спрашивает: «Как же теперь вы с богом поступите?» Строго, говорю, поступим. Тогда тот парень-то, разиня, молчал-молчал, да как опять всхлипнет, и тенорком: «Уж платить, говорит, так заодно всем...»

Горький прищурил глаза, покачал головой.

— Бесстрашный народ, удивительно бесстрашный...

Я вошел к нему, как всегда поглощенный предстоящей встречей, и не заметил, что в комнате, наверно между книжных полок, находился кто-то, кроме нас. Во время разговора он берет меня под руку, слегка поворачивая:

— Вот. Познакомьтесь. Тоже писатель. Всеволод Иванов. Из Сибири. Да-с.

Спиною к печке стоит человек в потрепанной полувоенной одежде, в обмотках на ногах. Это наскучившее

обмундирование давно обрело на нем измятую бесцветность, которая приобретается в походах. Лицо и руки его землисто-пепельны, худобою, почти испитостью и тем, что было видно, как его вытренировала ходьба, он производит впечатление беглеца.

— Ужас что рассказывает! — вздыхает Горький.

И правда, он рассказывает ужасное. Он только что приехал или пришел с Востока, видения колчаковщины еще стоят у него в узких глазах, за маленькими стеклами пенсне, не идущего к широкоскулому лицу. Он был два года в кипении гражданской войны и вышел из нее невредим, если можно выйти из нее невредимым. Он рассказывает об ужасе очень малословно, коротенькими, оборванными фразами. Руки он держит за спиной, лицо его словно безразлично к тому, что он говорит, голос тих.

— Вырвут красноармейцу из живота кишки. Набьют гвоздком на столб. Гоняют прикладами вокруг столба, пока все кишки на столб наматываются.

— На какой столб? — по-деловому строго спрашивает Горький.

— Все равно — на какой. На телеграфный.

— Страшен человек, — говорит Горький, растирая руки, как в ознобе. — Страшен. А партизаны что?

— Партизаны ничего. Партизаны — народ легкий. Легко умирают.

Горький смотрит на Иванова испытующе, но любопытство и сочувственное восхищение явно берут верх: что-то эпическое есть в невероятных рассказах беглеца, вряд ли он привирает, — слишком много видал, — если же прикрашивает, то так талантливо, что было бы жалко не слышать его жутких прикрас. Но главное — какую убедительную опору находят горьковские представления о российском человеке в рассказах этого подлинного свидетеля гражданской войны! Все подтверждается: страшен человек...

И вот беглец поселился на Выборгской стороне, в бывшем алтаре домашней госпитальной церкви, и с потолка на его стол благостно глядят раскрашенные евангелисты Марк и Лука, Иоанн и Матфей. На столе происходит странная жизнь, ничуть не подобная таинству на господнем престоле: громоздятся, рвутся, режутся исчерканные карандашом листы меловой бумаги с цветными таблицами, картами, картинками. На выдранных из энциклопедии вклейках Всеволод Иванов с горячей быстротой, как

будто преследуемый видениями ужаса, пишет рассказы об ужасе. Горький изредка зовет его к телефону. Выбегая из алтаря в соседнюю квартиру, Иванов слышит его внимательные расспросы: «Хлеб получаете?.. Пишете?.. Отлично, продолжайте».

Это было началом забот Горького о хлебе насущном для никому не известных молодых писателей, и Всеволод Иванов первым из них, с мешком за спиной, стал в очередь за пайком в Доме ученых. Однако Всеволод Иванов испытал не только нежную заботу Горького, но и всю меру его требовательности, заставившей добиваться полноты и красочности успеха.

Я узнал Всеволода-писателя по книжечке маленьких рассказов — «Рогульки», которую он сам набрал и напечатал в Сибири. Неожиданно музыкальные по языку картины этих рассказов изображали словно впервые открытую, далекую и как будто фантастическую страну, хотя описываемые люди, да и все детали были чрезвычайно реальны. Эта особенность сочетаний фантастики с реализмом ошеломляюще пышно проявилась в повестях и в первых рассказах, получивших известность.

У меня нет сомнения: это один из самых смелых писателей послеоктябрьского периода. Он добился химического сродства между вещами трудно сочетаемыми — жестокой правдой и невесомой легкостью воображения. Его проза о гражданской войне стала одним из истоков советской литературы. Его товарищи должны были признать, что ему первому после войны удалось с художественной силой ввести новый революционный материал в искусство письма — то, из-за чего билось все юное поколение русской литературы.

Кто из нас не помнит, как в Доме искусств мы слушали Всеволода, как по-горьковски испытующе мы на него смотрели, как любопытство и восхищение брало верх над скепсисом: вряд ли привирает — слишком много видал; а что прикрашивает — так разве мы не пожалели бы с болью, если бы не слышали его изумляющих прикрас!

Это происходило несколько месяцев спустя после того, как Горький в своем кабинете познакомил меня с человеком, похожим на беглеца.

Может быть, одним из самых счастливых открытий, которое сделал Горький среди писателей, и был Всеволод Иванов.

Конец декабря был тяжек, мрак надвинувшейся зимы охватывал голодный город с медленной, тупой неотступностью. Пожалуй, слух о том, что заболел Горький, не мог особенно удивить: не мудрено заболеть в такую пору. Но все тревожнее говорилось о его болезни.

В соседней с кабинетом комнате, за ширмочкой, он сидел на кровати, высунув из-под китайского широченного красного халата забинтованную ступню. Он хмуρο бранился на ногу — какой-то смехотворный нарыв под ногтем большого пальца, и вот, не угодно ли лежать в постели, — трудно придумать что-нибудь досаднее. Но это ворчанье слишком старательно отводило внимание от другой болезни, посерьезнее нарыва. Капель душил его частыми, долгими хватками, и уже не создавалось впечатления, что Горький справляется с ним пренебрежительно: нужны были страшные усилия, чтобы подавить его выматывающие приступы.

Я никогда не видал его таким измученным, мне страшно быть ему в тягость, я хочу выйти, но он заставляет меня сесть. Едва только кашель отпускает его, он говорит быстро, точно торопится высказать как можно больше, пока есть дыхание. Наверно, у него жар, он слишком раздражен, привычная округлость его речи исчезла, слова как будто не обструганы, полны заноз.

Но его тема не отступает от него ни на шаг, и в эту минуту за этой ширмочкой, у кровати, становится невероятно, что он видит происходящее в самой глуши и в самом водовороте жизни многоликой и как будто далекой страны.

— Организовать труд — это сейчас самое главное. Надо вкоренить во всеобщее сознание важнейшую мысль: необходимо устройство субъективной, личной жизни, некая культура личности. Необходимо. Иначе захлестнет темная, инертная масса. Мужики-то непременно — захотят «попробовать». Сметут все. С годок поживут одни, сами. Потом увидят, что ничего не вышло, позовут варягов. Не чужих, а своих. Но позовут, позовут...

Надо бросить думать, что простым перекидыванием людских масс с одного фронта на другой можно чего-нибудь достичь. Необходим подбор человеческих особей по призваниям. Труд должен быть коллективный, организованный — несомненно. Но организованный свободно, то есть по принципу свободного выбора профессий.

Троцкизмом ничего не добьешься... Ленин понимает это. Он совершенно согласен с такого рода тактикой и на хозяйственном, и на культурном «фронтах». Ленин-то вообще все понимает...

Горький улыбается, но улыбка делает еще очевиднее, как мучительно ему преодолевать болезнь. Опять он рассерженно показывает на ногу, — палец, ах, если бы не палец! — но уже приступает новое удушье кашля.

И все же, все же настолько внедрилось правило: никогда не забывать о работе, — что он не может обойти постоянный вопрос:

— А как самое главное?

Он уже читал часть написанных мною сцен и все горопил — когда конец? Но писать было немыслимо — я был занят на службе ночью и днем, и он это хорошо видел.

Вдруг он скинул забинтованную ногу с кровати.

— Помогите-ка.

Уговорить его не вставать я не мог. Хромая, он дошел до стола, выбрал бумагу, надел очки. Исхудалый, в очках, он стал похож на начетчика. Продольные морщины лба, делавшие его веселым, исчезли, появились глубокие поперечные, удлинившие переносицу. Щеки опали, серый день безжизненно отсвечивал на коже, матовой, как картон.

Я увидел, как Горький пишет. Большая, гладкая рука, без жил и угловатостей, деликатно держит невесомое перо. С острия пера прыгивают по отдельности, как будто насаживаемые на невидимый стержень, быстрые колечки букв. Колечки легко катятся по строкам, догоняя друг друга. Строки образуют на листе ровный участок, точно заранее размежеванный инженером.

— Ну, вот. Что вы скажете по поводу такого плана?.. — Он прочитывает мне очень убедительное письмо начальнику Петроградского укрепленного района товарищу Аврову. План состоит в том, что Авров должен отпустить меня из армейской газеты на службу к Горькому — в Экспертную комиссию Наркомвнешторга, и по письму выходит, что Экспертная комиссия сделает в моем лице бог весть какое приобретение, ибо я не могу «соблазняться разными блестящими пустяками», а в то же время Авров совершит благодеяние, потому что в Экспертной комиссии я «имел бы часа два-три в сутки для работы над собой, чего невозможно достичь, работая в газете».

— Ступайте в Петропавловскую крепость, Авров — там.

Он очень доволен своим планом и увлекает им меня, хотя я решительно недоумеваю — что за экспертизу дам я собранному Наркомвнешторгом венецианскому стеклу, или французской бронзе, или старым фламандцам?

Я уношу с собою письмо — первое письмо Горького, правда адресованное незнакомому человеку, но посвященное целиком мне. На лестнице я перечитываю письмо. Одно слово задело меня, когда я слушал Горького, и теперь это слово причиняет мне странную обиду. Там сказано очень лестно о моем даровании, но заканчивается письмо так: «Думаю, что Вы не откажете помочь мне и этому юноше, заслуживающему серьезного внимания».

Не сбился ли я со счета? Нет, мне и в самом деле двадцать восемь лет. Чего-чего не видел я на свете! И вот — юноша, я все еще юноша! — и для кого? Для человека, мнение которого способно повернуть мою судьбу... Мне было очень обидно...

Но понемногу я утешил себя. Конечно, я был для него юношей: он видел меня глазами литератора, и мог ли он сказать — доживу ли я в литературе до зрелого возраста? Как часто люди, обладающие жизненным опытом, уверены, что, если бы они захотели, довольно было бы им сесть за стол, и они стали бы писателями. Им следует напомнить, что умение слушать и даже слышать музыку не означает способность ее сочинять. Накопленные жизненные познания еще не создают писателя, и потому даже мудрый старец не должен огорчаться, если писатель назовет его ребенком в литературе.

Зрелость моя еще не начиналась, но первым шагом к ней был этот истекший мой первый год с Горьким.

#### 1921 - й

Начало тысяча девятьсот двадцать первого года было самой тяжелой полосой для Горького того времени. Болезнь его быстро развивалась, а трудно сказать, какой другой недуг может сравниться с туберкулезом в своей изощренной способности нарушать равновесие духа. Много лет спустя Горький писал мне в Швейцарию:

«Очень обрадован мужественным тоном вашего письма, — хорошее настроение это как раз то, что определено и серьезно помогает в борьбе с надоедливой болезнью. У меня было три рецидива да воспаление легких, не считая ежегодных бронхитов, — вот и летом схватил в Ленинграде грипп с температурой до 40 гр. и, знаете, мне кажется, что я преодолеваю эти нападения не столько с помощью медиков, как напряжением воли. Назойливая и кокетливая болезнь, есть в ее характере нечто от старой девы».

Но самое напряжение воли требует наличия и затраты сил, а для благоприятного исхода борьбы с болезнью тогда недоставало главного — хороших жизненных условий. И «старая дева» могла торжествовать: ее капризы отзывались все чувствительнее на Горьком.

Я увидел его в январе, в Доме искусств, на вечере, посвященном всемирной литературе. Сидя за маленьким столом, он открыл вечер кратчайшим вступительным словом, всего из нескольких фраз. В беззвучии присмирившего зала было слышно его дыхание. Он преодолевал усталость, собирая все свои силы, — это бросилось в глаза и необычайно встревожило слушателей.

Его настроения были, конечно, связаны с болезнью, и, может быть, в ней, а не только в области идейной следует искать причины тогдашнего пессимизма Горького.

Горький должен был открыть вечер, посвященный всемирной литературе, речью. Он и открыл его, но не речью, а кратчайшим выступлением, причинившим глубокую боль тем, кто умел слушать. Волнение, с каким он вышел и сел за маленький стол, тотчас передалось залу. Десять — двадцать сказанных им фраз были выслушаны присмирившими людьми в совершенном беззвучии. Это был отказ произнести речь, признание «непосильной задачей говорить о литературе всемирной в то время, когда нет литературы русской».

— Всемирная литература есть, как таковая, существует, как таковая, существовала всегда. Русской литературы, как таковой, никогда не было...

Страшно прозвучали эти слова в устах Горького, которого все здесь воспринимали как одного из создателей русской литературы, и кончил он говорить со слезами. Как будто не помышляя перебороть себя, он спросил:

— Может быть, будут вопросы?

Ему ответили молчанием.

Он ушел, покачиваясь, широко и медленно ступая, точно вдруг потеряв свою легкую походку.

На смену вышел Евгений Замятин, и был момент, когда показалось неправдоподобным, что может существовать такой сдержанный голос, такая уравновешенная и — право — благонадежная тема, как фантастика Герберта Уэллса...

Во всей последующей литературной жизни не было у меня потрясения, сходного по своей физической силе с тем, которое доставил мне этот вечер о всемирной литературе. Те же слова, произнесенные другим человеком, имели бы, конечно, незначительное действие. В то время привычно было слышать не только заглушенное рыдание, но и вопли. В устах Горького всякий звук становился криком фанфар, стенанием меди. И когда, в конце выступления, он очень тихо сказал, что писателю ничего не остается, как «выйти через черный ход и делать незаметное дело, которое все же принесет, должно принести, свои плоды», тогда этот призыв к малым делам, ставивший крест на самом понятии — «Горький», — поколебал надежду в глубине ее основания.

Для меня очевидно, что совершавшееся тогда с Горьким было его «настроением». Но настроение приобретало характер состояния духа, идеологии, будучи передано аудитории в обобщенной форме. Факт этот мог быть понят только исторично, и обмолвка Горького, что «русской литературы, как таковой, никогда не было», это понятие — «как таковая» — перекликнулось с блоковскими словами.

«...Художник у нас «и швец, и жнец, и в дуду игрец». «Будь пророком, будь общественным деятелем, будь педагогом, будь политиком, будь чиновником, — не смей быть только художником!»

Так выражалась вся извечная трагедия русского писателя и вся мера его гордыни, вся бездонность его страдания: он, конечно, всегда мечтал быть только художником, ценою отказа даже от миссии пророка, убежденный, что искусство заключает в себе довольно прорицания. И состояние духа художника объясняли очень точно слова того же Блока, сказавшего о тогдашнем периоде:



«Разрушение еще не закончилось, но оно уже убывает. Строительство еще не начиналось. Музыки старой — уже нет, новой — еще нет. Скучно...»

Февраль принес еще одно волнующее переживание, оставившее по себе память. В годовщину смерти Пушкина Александр Блок произнес на собрании Дома литераторов речь «О назначении поэта».

Речь содержала утверждение трагической роли поэта и Пушкиным лишь обосновывала главные мысли. Поэт — сын гармонии, гармония же — порядок мировой жизни, — это начальное положение придало речи общественную остроту, исключительную даже для Блока. По виду ярко логичная, упорядоченная, как все во внешней форме у Блока, речь не только не укрощала хаоса, она раскрыла все смятение души, все отчаяние поэта. Она завершилась безотрадным выводом, что конечные цели искусства «нам неизвестны и не могут быть известны». И хотя в ней повторялись такие слова, как «веселые истины», «веселое имя: Пушкин», «забава», «здравый смысл», она создала впечатление обреченности искусства и с ним — самого Блока.

В этом смятении, в этом отчаянии Блок был — сказал бы я — прекрасен; такой же малоподвижный, как всегда, прямой, с лицом-маской, чуть окрасившимся от прилива крови, такой же тихий. Тут он тоже перекликнулся с Горьким — этой тишиною слова, прозвучавшей криком. И еще: тоска мучительной зависти слышалась в том, как он произносил имя Пушкина, — не мелкой зависти обойденного, конечно, ибо даже рядом с величием Пушкина Блок не был мал, а той невольной зависти, какую боль должна испытывать к здоровью.

Блоку недоставало веселости, как воздуха, легкости — как воды, и он говорил об этом с тоскою.

«Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта — не легкая и не веселая; она трагическая...»

Когда в душной передней толпились около вешалок, тесня со всех сторон Блока, с ним рядом очутился старый писатель, один из тех, что составляли внутренний лик Дома литераторов, известный критик. С очевидным удовлетворением, но с болезненной миной он посочувствовал Блоку:

— Какой вы шаг сделали после «Двенадцати», Александр Александрович!

— Никакого, — ровно и строго отозвался Блок. — Я сейчас думаю так же, как думал, когда писал «Двенадцать».

Он сказал это так, что искусителю не пришло в голову его оспаривать. Возможен ли был с ним спор вообще, — даже если бы спорщиком оказался человек более чуткий, нежели всплывший около вешалок Дома литераторов? Блок был целен: он слушал музыку мира, нераздельную с музыкой революции, и для него была единая жизнь поэта, трагедия, которая продолжалась, которая подходила к концу. Все, что он писал до исхода своих дней, писалось так же, как «Двенадцать», — с неотступной страстью и с непреходящей печалью сердца.

Горький быстро, неслышно в каких-то мягких туфлях ходит по кабинету, от двери к двери. К столу он приближается только затем, чтобы переменить папиросу, останавливается только затем, чтобы подавить кашель. У него нет охоты разговаривать, он подергивает головой, промывает в усы: «Гм-м!», или буркнет коротко: «Так-так».

Март верен себе — беспросветно серо, по-зимнему зябко, но кажется, что холод лежит только на поверхности земли, а над его поясом простерлось что-то волглое и вот-вот разверзнется и польет.

— Снеготаяние было бы не ко времени, — говорит Горький.

Космы дыма тянутся за ним в одну сторону, потом обратно в другую.

— Говорят, нынче лед не отличается толщиной, — проносит он неодобрительно и опять замолкает.

Когда я шел к нему через Неву, на мосту явно слышалась канонада. По ледяному простору реки и далекого залива глухое ее рычание накатывалось волнами. Вероятно, стрелял Лисий Нос — он ближе всего к устью Невы — или Ораниенбаум, но может быть, это были корабельные орудия: контрреволюционные мятежники Кронштадта еще не сдавались, и кругом уже говорили, что крепость придется брать штурмом, по льду. Петроград снова оцетинился штыками войск, рабочих отрядов, патрулей. Опять, как в дни обороны от Юденича, тресканный, барабанный топот

войны наполнил улицы. Сквозь гул военной поступи слышны были полувнятные крики споров, несогласий, увещаний, угроз, появилось и облетело город новое для питерцев волжское словечко «волынка», где-то на островах «волынили» новоявленные «волынчики»: это были люди, рассчитывающие сорвать барыши с мятежа кронштадтцев.

События слышались явственно на Кронверкском. Горький сдерживал тревогу, но не скрывал ее, и было видно, что жил за стенами дома, в грохоте орудий, на улице, на митингах, в криках — «долой волынку».

— Черт побери, однако, — сказал он с невеселой насмешкой, не переставая ходить, — этак скоро, пожалуй, Васильевский остров начнет стрелять по Петроградской стороне...

Вдруг он спросил новым тоном, как будто ставя точку на тревоге:

— Письмо вам мое доставили?

— Какое письмо?

— Я вам в Москве письмо написал, насчет вашего «Бакунина». Отправил с оказией.

— Ничего не получал.

— Гм... Ну, погодите, получите. Я полагал — с оказией вернее. Один такой человек подвернулся, довольно юркий. А выходит — письмо доставляет, как с долгой в восемнадцатом веке.

— А если оно пропадет? — спросил я в испуге.

— Не пропадет, — ответил он с неожиданным безразличием, и я увидел, что он уже опять думает о Кронштадте, а я словно позабыл Кронштадт, одна мысль вытеснила собою все остальное: что, если письмо пропадет?..

Оно и в самом деле не нашлось никогда, — какой-нибудь любитель автографов запер его на ключик, услаждая свое тщеславие, а жизнь пошла так, что Горькому некогда было вспоминать о пропавшем письме. На этом кончились разговоры Горького со мною об «исторических картинах». Первую половину моих сцен он одобрил, какое впечатление оставили они в целом, я так и не узнал. Он передал их Театральному отделу, по-видимому — со своим отзывом, потому что они были сразу приняты к постановке и никогда не были поставлены, что вполне отвечает похвальному театральному обычаю — не ставить пьес, принятых из вежливости. Если же моя работа Горь-

кому не понравилась, то, пожалуй, напрасно я горевал, что письмо пропало: нечего рисоваться — слаб человек...

Нельзя было, конечно, настаивать на разговоре о моей «исторической картине» в тот день, когда шаги живой истории так грозно раздавались за окном. Это был великий перевал, и я видел в этот час Горького, я видел, насколько слух его был во власти музыки времени.

И, однако, еще раз подтвердилось, что будни литературы живы для него во всякий час, — прощаясь, он говорит, он повторяет мне настойчиво:

— Вы непременно должны объединиться с молодежью Дома искусств, войти в ее кружок. Это будет чрезвычайно важно для вас. Не откладывайте. Всеволод Иванов дал мне слово, что там будет. И вы дайте... Ну, вот и отлично!.. Потом мне расскажете, как вам понравился этот молодой народ, по-моему — весьма одаренный. Весьма...

Кружок литературной молодежи, в который меня ввел Горький, получил известность под именем «Серрапионовых братьев» или просто — «серрапионов». Его состав установился быстро и затем все время не менялся. Это были прозаики Всеволод Иванов, Михаил Слонимский, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Лев Лунц, Николай Никитин, Константин Федин, поэты Елизавета Полонская, Николай Тихонов и критик Илья Груздев.

Жизнь кружка была связана с Домом искусств. В комнате Слонимского, похожей на номер актерских «меблирашек», каждую субботу собирались мы в полном составе и сидели до глубокой ночи, слушая чтение какого-нибудь нового рассказа или стихов и потом споря о достоинствах и пороках прочитанного. Конечно, нужны были бы незаурядная дисциплина и ангельские характеры, чтобы на протяжении многих лет выдерживать эти сидения в банке консервированного табачного перегара, если бы не страсть к литературе, заменившая нам и дисциплину, и вообще все мыслимые добродетели. Эта страсть объединила дружбой людей, чрезвычайно различных по художественным вкусам, и эта страсть была не мимолетной, — она с самого начала исключила возможность любительского отношения к искусству и упрочила в нас чувство призвания.

Можно было бы спросить: кто из «серрапионов» был «главный»? Никто.

Мы жили в ближайшем соседстве с дореволюционными писателями, настоящие вихри разнородных эстетик кружились рядом с нами, множество влияний обтекало нас, и можно было бы также спросить: кто из старших писателей был «главным» в глазах «серапионов»? Никто.

Несказанным девизом «серапионов» было наставление Горького, которое он дал в разговоре со мной о критике: «Слушайте, но не слушайтесь».

И в сущности, «главным» был Горький, побуждавший каждого решать задачу самостоятельно, в отдельности. Ибо среднего, общего решения в литературе не могло быть, Горький никому не подсказывал, что и как надо делать, и молодая литература рядом с ним, с его подавляющей индивидуальностью была совершенно свободной.

Каждый из нас пришел со своим вкусом, более или менее выраженным и затем формировавшимся под воздействием противоречий. Мы были *разные*. Наша работа была непрерывной борьбой в условиях дружбы. Мы не помышляли ни о какой школе, ни о какой «группе», и поэтому Горький, далекий от насаждения школ, легко признал нас явлением жизненным.

Мой приход к «серапионам» сопровождался ссорой. Я встретил в мрачной комнате изобилие прони, смеха, веселости, потехи, и все это с виду было направлено на краеугольные устои ее святейшества — литературы. Искусство есть плод исканий, мук и раздумий художника, оно серьезно, оно ответственно перед высшим судьей — человеком, — это было самым сильным из моих убеждений и самым драгоценным из всех чувств. А тут шутили с литературой, вели с ней игры. Я понимал, что это — манера. Что здесь любят Пушкина и чтут Толстого не меньше, чем я. Но манера эта казалась мне странной. Здесь говорилось о произведениях, как о «вещах». Вещи «делались». Они могли быть сделаны хорошо или сделаны плохо. «Хаджи-Мурат» был сделан отлично. «Дон-Кихот» был сделан непревзойденно. Успенский Глеб делать вещей не умел. Успенский Николай делал их не плохо. Для делания вещей существовали «приемы». Для приемов имелось множество названий. Но можно было объясниться и без названия, употребляя общие понятия и говоря, что вещь сделана в приемах Гоголя, в приемах Лескова. Отсюда, само собою, было недалеко до Гоголя и рукой подать до Лескова, до тех шуток и веселых издевательств, в кото-

рых Гоголь и Лесков оказывались — о, ужас! — в одной куче со всеми нами. Как мог я перенести подобное?

На третьем собрании я излил отстоявшийся протест против «игры» в защиту «серьезности». Удар принял Лев Лунц.

Стычка была жестокой. Истина сидела где-то в углу комнаты, ухмыляясь, за спинами «серационов», поддерживавших Лунца или соблюдавших нейтралитет.

Спор велся так.

Лунц говорил: русская проза перестала «двигаться», она «лежит», в ней ничего не случается, не происходит, в ней либо рассуждают, либо переживают, но не действуют, не поступают, она должна умереть от отсутствия кровообращения, от пролежней, от водянки, она стала простым отражением идеологий, программ, зеркалом публицистики и прекратила существование как искусство; спасти ее может только сюжет — механизм, который ее расшевелит, заставит ходить, совершать волевые поступки, традиция сюжета находится на Западе, мы должны привести эту традицию оттуда и оплодотворить ею нашу лежачую прозу, поборов в себе пошлость, внушенную литературными дядями, боязнь перед романом приключений, учась у того писателя, который владеет секретом действия, будь то Стерн или Дюма, Стивенсон или Конан Дойль, и нечего брать русскую литературу под защиту, она настолько велика, что в защите не нуждается, ограждать ее от западного соседа — значит обречь на повторение пройденного, а великое, будучи повторено, перестает быть великим. Поэтому наш девиз — на Запад!..

Я говорил так: мечта литературы состоит не в том, чтобы размножать книжные образцы, все равно какие — западные или русские, важно — к чему будет приложен механизм той или другой традиции, ибо ничего не получится, если мы, ради придания подвижности русской прозе, заставим Обломова ездить на трамвае, материал литературы определит сам, какой нужен механизм для его жизни, материал литературы есть чувство, и все дело в том — обладаешь ли чувством, которое хочешь выразить, какими средствами ты это достигаешь — безразлично — с помощью прославленного сюжета или с помощью презренной риторики, — все средства хороши, и они, во всяком случае, хороши в «Пиковой даме» и в «Портрете», хотя эти повести — в прямом родстве с якобы бессюжетной

русской прозой, и так как чувство всегда идет в ногу с временем, всегда современно, то нельзя себе представить в наше время писателя без страсти ко всему создаваемому революцией. Поэтому сначала нами должно быть во всей глубине понято, что мы хотим сказать, тогда мы найдем, как надо сказать...

Лунцу было двадцать лет. Я никогда не встречал спорщиков, подобных ему, — его испенял жар спора, можно было задохнуться рядом с ним.

— Признавайтесь, признавайтесь! Намерены ли вы изучать законы литературы? — кричал он, потрясая трепещущими руками, по-библейски воздетыми над головою.

В конце концов, все в этой комнате были намерены изучать законы литературы, и вопрос о том, существуют ли они, как таковые, — можно ли рассматривать, как сделано произведение, в независимости от того, *какому* содержанию оно посвящено, — этот вопрос на всякие лады поднимался многие годы подряд.

Мы были разные. Шутя и пародируя друг друга, мы разделяли «серапионов» на веселых «левых», во главе с Лунцем, и серьезных «правых» — под усмешливым вожделением Всеволода Иванова. В постоянных схватках нащупывалась цель нашего совместного плаванья, и в конце концов внутренне все признали, что она у нас одна: создание новой литературы эпохи войны и революции. Это понимание историчности задачи, приходившее медленно, делало нас *одинаковыми*, несмотря на все наше различие.

«Серапионы» были плодом своего времени не только в общепринятом смысле. Среди нас находились совершенные юноши с опытом, который дается родительским домом, университетом и кинематографом. Но большинство из нас прошло необыкновенные испытания, и никогда в иное время семь-восемь молодых людей не могли бы испытать столько профессий, испытать столько жизненных положений, сколько выпало на нашу долю. Восемь человек олицетворяли собою санитаря, наборщика, офицера, сапожника, врача, факира, конторщика, солдата, актера, учителя, кавалериста, певца, им пришлось занимать десятки самых пестрых должностей, они дрались на фронтах мировой войны, участвовали в гражданской войне, их нельзя было удивить ни голодом, ни болезнью, они слишком долго и слишком часто видели в глаза смерть.

О чем же они могли писать, чем было наполнено их воображение, что они хотели сказать?

Да, они любили, они держали у себя в кармане «Николаса Никкльби». Но их рука сама собою писала «В огне».

Первыми из «серапионов», кто сумел ввести в литературу новый материал войны и революции, были Всеволод Иванов со своими «партизанами», Николай Тихонов — в балладах о войне, Михаил Зощенко — в рассказах о странном герое, интонация которого слышится читателю уже двадцать лет подряд.

И примечательно: именно введенный ими в литературу новый материал наметил черты новой литературной формы.

Несколько лет позже Горький писал мне из Сорренто:

«Я, видите ли, не токмо мастеровой-литератор, но прежде всего человек, *верующий* в литературу и — простите слово! — даже обожающий ее. Книга для меня — чудо».

Эти слова я привожу не в первый раз и не устану приводить, потому что считаю их жизненным кредо Горького, едва ли не целиком объясняющим все влияние его личности на молодую литературу.

Вера в литературу и обожание ее сделали Горького вдохновителем молодого советского поколения писателей, учившегося у него этой вере, этому обожанию. Но очень важно было для судьбы молодого поколения другое качество Горького-писателя — его отношение к труду. Произнося слово «литератор» на свой особенный, неповторимый лад, в котором слышалось изначальное уважение к литературе, к письменности, Горький называл себя мастеровым-литератором, потому что всю жизнь не расставался с тем профессиональным ощущением своего труда, с каким живет мастер, и потому что с детских лет помнил, что народ произносит слово «мастеровой» с любованием и даже щегольством. Он гордился своим литературным цехом и, как цеховой мастер, любил и умел показать работу личным примером, никогда не боясь самого грубого, чернового труда. Он знал силу поощрения, похвалы и одобрял охотно, с удовольствием.



— Как это у вас превосходно получилось! — кто из талантливых писателей не слышал от него этих живительных слов, сказанных тихо, мягким басом.

Но, поощряя, он искусно и нередко жестоко критиковал. Хорошо известно, что никто не перечитал столько писательских рукописей, сколько прочел их Горький. Критика его сочетала раскрытие и оценку существа темы с необыкновенно мягким видением стиля и особенно — языка.

Рукописей «серапионов» он прочитал немало.

И вот обычный горьковский автограф — лист линованной бумаги с отграфленными полями, ровные рядки строк, отставленные друг от друга буквы: Горький прочитал четыре очередных рассказа «серапионов» и пишет:

«Нищий»

«По теме — скверный анекдот из кошницы Ив. Бунина. Рассказан равнодушно и механически. Никакой тайны — как только баба пустила нищего в избу, — тотчас догадываешься, что он ее или изнасилует или убьет. А раздражений для этого акта мало. Написано же — особенно вначале — много».

«Повесть о портном»

«Вещь интересная, сделана не без грации, но — места-ми — чувствуется торопливость, несдержанность в словах. Некоторые приемчики отдают запахом старины, реставрировать кою едва ли следует. Напр. «будем далее называть его N». И — не слишком ли хорошо помнит автор Гоголя, который в рассказах этого стиля беззастенчиво подражал Гофману? Засим: эпитет «легкомысленный» не оправдан. Нарочито и шутливо запутанное расположение частей очень выиграло бы, будь все части равномерны, а так — архитектура рассказа несколько тяжела».

«Красные и белые»

«В отличие от прежних работ — в этой чувствуется вялость и многословие. Резкой индивидуальностью *своей* речи автор награждает всех героев, и это делает их однолицыми, особенно способствует этому манера повторять слова и фразы одни и те же, но в различных тональностях. Это очень хорошо при чтении вслух, но утомляет, когда читается глазами. Слащавость Феоктиногова — почти сахарин. Не вижу ни красных, ни белых, — даны обыкновеннейшие бытовые люди почти фотографически

точные. И нет в рассказе загадки, не чувствуется попыток заглянуть *через* изображаемое в злые основы его. Вообще этот рассказ менее удачен.

«Тюха» — это есть у Андреева, в «Савве».

«13-я ошибка»

«Это хороший рассказ, но — в данном его виде — совершенно «нецензурный». Пуля — в конце — слишком мелодраматически страшен. Не оправдан его садизм. Что это — от природы или от рассудка, от карьеризма? В маскараде как будто спрятан некий намек — опасный для автора. Монумент А[лександра] III не снят, а скрыт в ящике, так что эффектный конец фразы «нет царя в голове» — не оправдан. Написано несколько лениво, местами же поспешно, музыка получается с переборами, особенно — в описаниях. Девушка требует еще каких-то живых черточек, хотя и так хорошо. Но — все-таки, все-таки! — в ней — жизнь, та, которая раздражает своей красотой, грацией, знанием какого-то смысла, — многим, что вызывает у Пули и ему подобных зависть, ненависть».

«Во всех рассказах заметно, что внешняя логика фактов преобладает над психизмом, над внутренним содержанием их. Это — противоречит общему направлению «Серап. братьев», — ведь уже можно говорить о чем-то общем в них, невзирая на различие индивидуальностей.

А. П.».

Комната в конце коридора елисеевского дома вскоре сделалась известной всей литературе. Редко кто из писателей не заглянул в какую-нибудь субботу на собрание «серапионов». Мы, правда, далеко не всех жаловали, считая, что человек, сам не умеющий писать, не может научить писать другого, и дебатировав — «пустить или не надо» такого-то писателя, высказавшего желание к нам прийти.

Но были старшие товарищи и учителя, для которых двери стояли открытыми и которые придали нашим субботам профессиональный и художественный характер, поставивший этот своеобразный «лицей» высоко над уровнем всевозможных студий. Это были Ольга Форш, Мариэтта Шагинян, Евгений Замятин, Корней Чуковский. И конечно, это был Виктор Шкловский, считавший себя

тоже «серапионом» и действительно бывший одиннадцатым и, быть может, даже первым «серапионом» — по страсти, внесенной в нашу жизнь, по остроумию вопросов, брошенных в наши споры.

С влиянием Шкловского связан один из самых острых тезисов, долго бытовавший у «серапионов»: содержание литературного произведения равно сумме его стилистических приемов — гласил этот тезис. Практически он ничего не означал, потому что, даже экспериментируя, нельзя посредством сложения стилистических приемов получить в литературе нечто живое. Но в области анализа этот инструмент обладал большим действием, приучая наносить основные сечения при «вскрытии», при разборе произведений. Из этого тезиса должно было вытекать безразличие к «флагу над крепостью», то есть к общественному содержанию искусства, к политике. «Шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения, противопоставления мира миру или кошки камню — равны между собой», — писал тогда Шкловский. И на самом деле «серапионы» в тот юношеский период бытия не раз и с порядочной бравадой заявляли о своем аполитизме. Но по существу это было полемикой с теми из критиков, которые всякое изучение технологии искусства называли «формалистикой». Мы были одержимы мечтой об искусстве возвышенном, служащем справедливости, и очень чувственно верили в силы революции. Поиски же такого искусства могли не сопровождаться полемикой.

По первым рассказам «серапионов» без труда читались следы борьбы, происходившей на субботах, борьбы различных представлений о «должном» в искусстве.

Очень индивидуально было «должное» Евгения Замятина — писателя изысканного, однако с сильными корнями в прошлом русской литературы. Он много придавал значения языку, оживлял его провинциализмами и теми придумками, какими так богат Лесков. Он насыщал свои повести яркой, находчивой образностью, но почти в обязательном порядке, так что механизм его образов бросался в глаза и легко мог быть перенят любым способным, старательным последователем. Замятин был вообще того склада художником, которому свойственно насаждать последователей, заботиться об учениках, преемниках, создавать школу. Не слишком терпимый к чужому вкусу, он весь талант направлял на заботы о совершенстве своего

вкуса, своей эстетики. Его произведения всегда бывали безупречны — с его точки зрения. Если принять его систему, то нельзя найти ошибок в том, как он ею пользовался. Если крупного писателя можно угадать по любой странице, то Замятина нехитро угадать по любой фразе. Он вытачивал вещи, как из кости, и, как в костяной фигурке, в его прозе наиболее важной основой была композиция. Тут проявлялась еще одна сторона его сущности — европеизм. Выверенность, точность построения рассказов Замятина сближали его с европейской манерой, и это был третий кит, на который опиралась культура его письма.

Первые два кита Замятина — язык и образ — плыли из морей Лескова и Ремизова, что в значительной степени предрешало его судьбу — трагическую судьбу писателя, как Ремизов, навсегда отдавшегося сражениям с мельницами стиля. Молодой не только по годам, но и по литературному возрасту — моложе символистов, — по самому духу своему гораздо более революционный, чем они, и такой же, как они, принципиальный по художественным целям, Замятин вдруг высказывал взгляды, родившие его с консерваторами, с теми духами молчания, которые прятались у гражданской войны в пещерах. Он убедил себя и убеждал других, что вынужден молчать, потому что ему не позволено быть Свифтом, или Анатолем Франсом, или Аристофаном. А он был превосходным бытовиком, его пристрастие к сатире было запущенной болезнью, и, если бы он дал волю тому, чем его щедро наделила родная тамбовская Лебедянь, и сдержал бы то, что благоприобрел от далекого Лондона, он поборол бы и другую свою болезнь — формальную изысканность, таящую в себе угрозу бесплодия. Он обладал такими совершенствами художника, которые возводили его высоко. Но инженерия его вещей просвечивалась сквозь замысел, как ребра человека на рентгеновском экране. Он оставался гротескостером литературы. Чтобы стать на высшую писательскую ступень, ему недоставало, может быть, только простоты.

И так, гнездясь плечом к плечу на кровати, на подоконнике, на раздобытых в соседней комнате стульях, приоткрыв дверь, чтобы не задохнуться табаком, мы проводили эти вечера: Чуковский читал перевод веселого и виртуозного романа О'Генри — «Короли и капуста», Шагинян — назидательные статьи по искусству, Форш — московские бытовые рассказы. Покуривая из тоненького

мундштука, ловко выплевывая кольца дыма, скептически улыбался Замятин. Шкловский, казалось, бегал по комнате, несмотря на узость пространства. Уже знакомы и близки друг другу были молодые лица — усмешка Зоценко, хохот Тихонова. Напоследок уговаривали Всеволода Иванова прочитать стихи по-казахски, и непонятный язык наделял происходящее такую загадочной важностью, что мы расходились по домам, точно приподнятые парадом.

На улицах было по-весеннему влажно и тепло. Фонари не горели. Но кое-где лампочки мерцали в магазинных окнах, мылись стекла, красились вывески. Начиналась новая эпоха, еще неизвестная, под кратким и странным именем: нэп.

— Понимаете ли, реформы! Серебряную валюту вводим, торговлю открываем, черт побери!..

Горький крепко трет руку об руку, плечи его расправились, он очень бодр, решителен, даже кашель его стал как-то тише.

— Голова кругом пошла — до чего много дел всяких. До помраченья рассудка. До обалдения!..

В его счастливых глазах ясно проглядывает игривая улыбка, будто он хочет сказать — мол, не обессудьте, что он такой наивный, молодой, увлекающийся, хотя полагалось бы ему быть серьезным и, может быть, даже маловерящим. В том, как он прислушивается к своим рассказам о новостях, есть что-то похожее на сосредоточенность ребенка, рассматривающего поразительную игрушку: она еще не сломана, ее механика не обнаружилась, но предстоят два-три движения — и посмотрим тогда, есть ли чему удивляться...

Однажды Горького спросили, пишет ли он что-нибудь.

— Какое! — ответил он и махнул рукой. — Заговорил!

Это был период говорения в редакциях, издательствах, эпоха комиссий, коллегий, правлений, комитетов.

Так и теперь, смеясь, он тоже машет рукой:

— Поверите ли, каждый день теряю бумаги — прямо страсть как...

Он удивленно проводит взглядом по ворохам бумаг, их вид напоминает ему какое-то дело, он принимается торопливо разыскивать его. Это совсем новые дела, или нет, это все те же дела, какими он был занят всегда, по

в них появилось нечто новообретенное, дела новой эры, означающей шаг истории. Он погружается в них, он пьет их, и, когда в трубку, через которую бежит, струится питательная материя обновляемой жизни, попадает нечто испробованное прежде, он сердится.

Стол его неузнаваем. Обычно он просторен, на нем нет лишних, ненужных вещей, к его порядку Горький относится без снисхождения. Поражает тот факт, что рассказ «Двадцать шесть и одна» был написан Горьким в то время, как рядом в комнате лежал покойник, — поражает особенно, когда знаешь, что Горький не мог работать, если какой-нибудь нож для разрезания книг исчезал с отведенного ему места. Теперь же на столе не осталось следа обычного порядка — из-под бумаг даже не проглядывает зеленое сукно, и Горький роется в них самозабвенно.

Какая неистребимая страсть в его увлечениях, какая потребность в вечно новом, будь то человек, или вещь, или событие! Каждое явление — истинное чудо, если оно что-нибудь приносит, дает, обещает. Он требует, чтобы к нему несли творения рук человеческих, вещи, краски, звуки, душу, наконец, просто — морду какую-нибудь замечательную или разительную глупость. Ему все мало — давай, давай! Если ему ничего не несут, он сам идет «к горе»: вот и этой весной — Москва не приедет к нему на Кронверкский, и он все чаще ездит в Москву, все дольше живет там, а возвратившись, готовится к новой поездке.

Перебирая бумаги, он внезапно приостанавливается, смотрит на меня, снимает очки.

— Это что у вас торчит в кармане?

— Рукопись одна. Рассказ.

— Позволительно спросить — это для меня?..

— Я обещал одному журналу...

— А-а, — тянет он обиженно. — Ну-ка, дайте-ка сюда.

Он прочитывает несколько строк, говорит с холодным равнодушием, едва слышно:

— Так, значит, не дадите мне?

— Я для вас и принес.

— Ну вот, это другой разговор. Возьму с собой, в Москве почитаю.

Он с удовольствием разглаживает рукопись и бережно присоединяет ее к целой стопе других неведомых манускриптов, которые, наверно, тоже поедут с ним в Москву.

Я гляжу, как ему искренне приятно, что вот человек отнял у него время недаром, порадовал как-никак рассказом, и мне вспоминается история, случившаяся с сотрудницей одного издательства — Верой Валерьяновной Томилиной.

Горький был не в духе, а надо было с ним говорить по редакционному вопросу, и Томилиная придумала хитрость: она надела на себя замечательную старинную брошь из крупных рубинов. Как только она поздоровалась с Горьким, он увидел брошь и уже больше не сводил с нее глаз.

— Вы извините, что я прерываю. Я обязуюсь дослушать вас до конца и поступить совершенно в духе вашего убеждения. Но скажите, пожалуйста, у вас никогда не возникало намерение продать вот эту брошь?..

И дальше, увлекаясь подробностями истории броши, разглядыванием рубинов, припоминанием легенд об этом камне, Горький восстановил душевное равновесие и охотно занялся работой.

А ведь сейчас дело шло не о рубиновой брошке, — ветер истории дул со свежей силой. Горький дышал расправленной грудью и, оставаясь собою, казалось, перерождался.

— Вот погодите, — говорит он на прощанье, — вернусь на пасху домой, лягу и буду лежать, отдыхать. Приходите тогда, говорить будем. Обо всем. Да непременно приходите!

Учиться у литературного наследия — об этом слышишь не редко. Но только учиться — достоинство малое, потому что учиться больше не у кого и негде, кроме наследия. Надо уметь быть наследниками, уметь обладать, владеть наследством, стремиться быть не ниже его. Нет ничего плохого даже в подражании, важно знать — зачем подражаешь.

Совсем юный Лев Лунц был оставлен при университете по кафедре романских литератур. Специальностью он избрал литературу испанскую и жил волновавшей его фантазией близостью с образами Лопе де Вега, Сервантеса, что отвечало всему его духу. Он писал прозу и пьесы, не боясь стилизации, пародии, подражания, переплетая свой смелый голос с интонациями то забытыми

в литературе, то хорошо известными, то одинаково ожидавшими у него и в фигурах исторических, и в условных. Он работал бурно, легко и относился к достигнутому с иронией, все время спеша вперед. Он был бы лишь «первым учеником», если бы не эта способность понимать свое экспериментаторство, если бы не ирония. Один из самых молодых среди нас, он был, пожалуй, самым взрослым, потому что очень сознательно бился за обладание самыми большими богатствами литературного наследия, не смущаясь извилистостью путей.

Резко подвижной, как бы вечно трепещущий, Лунц обладал многими чертами детства, но в то же время — одною такой, которая свойственна почти исключительно взрослым: он страстно любил детей.

— Торжественно клянусь вам, друзья: у меня будет не меньше двенадцати человек детей.

Несомненно, дети тоже любили бы его, — в таких характерах заложена притягательность чистоты. Почти все улыбались, видя Лунца. А что за хохот стоял в зале Дома искусств, когда Лунц режиссировал «кинематографом»!

Эти представления устраивались «серационами» как импровизации: «актеры» сами сочиняли сценарии, разыгрывая их тут же, под рояль. Лунц был главным импровизатором и режиссером. Он оглашал «надписи», которые немедленно воплощались исполнителями ролей. Так возникли законченные кинопародии на окостеневшие формы кинодраматургии. Так возник прославившийся немой «фильм» «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова», в котором участвовали все «серационы», в том числе и обладатель фамильных бриллиантов. Для кое-кого из участников этих пародий шутки кончились серьезно: музыкант, сопровождавший «фильмы» на рояле, бросив музыку, стал небезызвестным советским кинорежиссером, а другой участник импровизации пошел на сцену и много лет спустя блестяще сыграл роль Карла XII в картине «Петр Первый». Шутка и смех никогда не пропадают даром, они — лучшие педагоги на свете...

В окраске, которую «серационы» получили в советской литературе, тон Льва Лунца был одним из сильнейших. Его статьи воспринимались как «серационовские» декларации. Они, впрочем, никогда ими не были. Как у всех людей, верящих в свои слова, его речь звучала не только



страстно, но и догматично. Он говорил от себя, но казалось — за ним стоит множество единомышленников.

О своих трагедиях Лунц сказал, что «в них участвуют страсти, а не чувства, герои, а не люди, правда трагическая, а не правда житейская». «Вместо театра настроений, голого быта и голых фокусов я попытался дать театр чистого движения. Быть может, получилось голое движение, — не беда! Мелодрама спасет театр. Фальшивая литература, она сценически бессмертна! А для меня сценичность важна прежде всего».

Это было, во всяком случае, подлинной декларацией Льва Лунца.

В 1924 году Лунц умер. Мы собирались посвятить его памяти сборник и просили Горького написать о Лунце. Он ответил:

«Дорогой Федин, я получил письмо от Слонимского, он предлагает мне написать статью о Лунце. Я уже пробовал сделать это, но — не сумел. Не вышло. И — вижу — не выйдет. Не знаю, почему. Принужден отказаться от участия в сборнике и сожалею об этом.

Я мало знал, мало наблюдал Лунца, но мне он и лично нравился — своей скромностью, серьезностью, и как на литератора я возлагал на него большие надежды. Талант чувствовался в том, как он смотрел на людей, в его хороших глазах. Какая бессмысленная смерть!..»

Пройти мимо этой смерти Горький, однако, не мог и скоро напечатал в своей «Беседе» некролог — «Памяти Л. Лунца».

«Лев Лунц умер 9 мая — умер в санатории около Гамбурга, от какой-то неопределенной болезни, «развившейся на почве нервного истощения», как мне сказали. Он знал, что умирает. Умер тихо, без мук, без стонов и жалоб.

Он прожил только двадцать два или двадцать три года. Ученик профессора Петрова — кафедра романской литературы — он, кончив университет, был командирован советом профессоров в Испанию для изучения испанской литературы. За границу он выехал уже больным и пролежал в санатории около года. За это время им написана пьеса, напечатанная здесь<sup>1</sup>. Кроме нее, он написал еще

---

<sup>1</sup> В «Беседе», пьеса «Город Правды». — К. Ф.

несколько пьес: «Обезьяны идут», «Вне закона», и «Бертран де Борн». Из его рассказов я особенно люблю один: «В пустыне»; это прекрасно написанная стилизация библейской легенды об исходе евреев из Египта.

Я уверенно ожидал, что Лев Лунц разовьется в большого, оригинального художника, — он обладал беспорочным талантом драматурга. Живи он, работай, и, наверное, — думалось мне — русская сцена обогатилась бы пьесами, каких не имеет до сей поры. В его лице погиб юноша, одаренный очень богато, — он был талантлив, умен, исключительно — для человека его возраста — образован. В нем чувствовалась редкая независимость и смелость мысли; это качество не являлось только признаком юности, еще не искушенной жизнью, — такой юности нет в современной России, — независимость была основным природным качеством его хорошей, честной души, тем огнем, который гаснет лишь тогда, когда сжигает всего человека.

В кружке «Серационовых братьев» Лев Лунц был общим любимцем. Остроумный, дерзкий на словах, он являлся чудесным товарищем, он умел любить. Трудный 19-й и 20-й годы, когда «Серационовы братья» — как все в блокированной России — голодали и некоторые из них целыми днями старались неподвижно лежать, чтобы хоть этим приглушить сжигавшую боль голода, Лев Лунц был одним из тех, кто думал о друге своем больше, чем о себе.

Тяжело писать об этой горестной утрате, о безвременной гибели талантливого человека».

Талант, ум, знания обладали для Горького колдовским притяжением. Но в Лунце, помимо его личных качеств, была особенность, которая, конечно, увеличивала любование Горького молодым писателем: Лунц был выучеником и поклонником романских литератур, а романские литературы влекли к себе Горького всю жизнь.

В замечательной литературной автобиографии Горького — «О том, как я учился писать» — он трижды повторяет важное признание: «Я очень многим обязан иностранной литературе, особенно — французской...», «Настоящее и глубокое воспитательное влияние на меня, как пи-

сателя, оказала «большая» французская литература — Стендаль, Бальзак, Флобер; этих авторов я очень советовал бы читать «начинающим». Это действительно гениальные художники, величайшие мастера формы, таких художников русская литература еще не имеет. Я читал их по-русски, но это не мешает мне чувствовать силу словесного искусства французов...», «Из всего сказанного о книгах следует, что я учился писать у французов. Вышло это случайно, однако я думаю, что вышло не плохо, и потому очень советую молодым писателям изучить французский язык, чтобы читать великих мастеров в подлиннике, и у них учиться искусству слова...»

Так поднимая французов, Горький должен был с огромным интересом наблюдать за работой русской молодежи с ее призывом обратиться «на Запад» за изучением формы.

Любовь Горького к французской литературе загоралась чрезвычайно сильно в моменты, когда, остро недовольный тем, что им делается, он задавал себе новые, труднейшие задачи. Истинный, бесстрашный художник, он вслушивался в советы, проверял себя разнообразными вкусами. Полосу бурного и настойчивого пересмотра своих художественных приемов Горький прошел в начале двадцатых годов, в результате чего появились чудесные книги рассказов и воспоминаний, украсившие собою все, что создал Горький.

В одном письме ко мне этого времени Горький пишет:

«Дорогой Федин, посылаю вам «Дело Артамоновых». Прочитав, сообщите, не стесняясь, что вы думаете об этой книге и, в частности, о Вялове, о Серафиме. О личном моем мнении я, пока, умолчу, дабы не подсказывать вам тех уродств, которых вы, м. б., и не заметите...»

Как только я ответил, Горький написал мне:

«...спасибо за ваш отзыв об «Артамоновых». Я считаю, что ваши указания на недостатки конструкции — совершенно правильны. На это же — почти вполне согласно с вами — указал мне и М. М. Пришвин, художник, которого я весьма высоко ставлю, и человек насквозь русский. Даже — слишком, пожалуй. Он по поводу «Безот-

ветной любви» пишет мне: «Это и французы написали бы». Чувствуете высоту тона? Знай наших! А для меня его «и французы» — лучший комплимент, какой я когда-либо слышал...»

Нет сомнения — Горькому действительно был приятен невольный комплимент Пришвина, потому что ему доводилось слышать порою совсем иные отзывы о своем пристрастии к французам. Художница Валентина Михайловна Ходасевич передала мне один разговор, который у нее произошел с Горьким, когда она гостила у него за границей.

— Последний номер «Беседы» видели? — спросил Горький.

— Видела.

— Рассказ там один некоего Василия Сизова не читали?

— Не помню. Может, и читала.

— Гм. Вряд ли читали. Иначе запомнили бы. Он несколько необычно построен: в нем действует герой из неоконченного романа...

— А, припоминаю, как же... действительно, читала...

— Ну, как по-вашему?

— По-моему — ужасная чепуха!

— Вон как... Ну, благодарю покорно.

— Это почему?

— А потому, видите ли, что аз есмь грешный автор сей чепухи...

Псевдонимом Вас. Сизов Горький подписал «Рассказ об одном романе», написанный в европейском французском вкусе — с замысловатой композицией и не без пародийных намеков на слишком сугубо «офранцузившихся» российских эмигрантов.

Свою черту неутомимных поисков новой формы Горький ясно отразил в другом письме ко мне. Прислав в альманах «Ковш» рукопись рассказа «О тараканах», он просил меня написать о впечатлении, которое производит рассказ. «Мне было бы весьма интересно — и полезно — знать, мерцает ли в нем нечто не «от Горького»! — это серьезный вопрос для меня...»

Горький мог быть спокоен, потому что во всем написанном на протяжении последних полутора десятилетий его писательской жизни мерцало очень многое «не от

Горького», точнее — от нового Горького советской эпохи. Но нет, он не мог быть спокоен: спокойствие не присуще художнику — вечному ровеснику молодости, каким был Горький.

«Михаил Леонидович!»<sup>1</sup>

Рассказы Зоценко и ваш я прочитал, — мне очень хотелось бы побеседовать с ним и с вами по этому поводу.

А также, нужно бы мне поговорить со *всей* компанией вашей по вопросу об альманахе, который вам следовало бы сделать.

Поэтому — не соберетесь ли вы все ко мне в пятницу, часов в 8, в 1/2 9-го?

Если решите — известите меня об этом завтра.

Жму руку.

5.V—21

*А. Пешков.*

Опять распахнуто окно кабинета на Кронверкском — неверная, язвительная весна Севера началась теплом.

Горький, упираясь кулаками в подоконник, жмурится на небо. Ему неудобно стоять высунувшись наружу, но он долго не может расстаться с ощущением пригретости, ласки солнца. Потом он поворачивается лицом в комнату, глаза его после света кажутся потерявшими зрачки, и он словно отсутствует еще некоторые секунды.

— Хорошо, — говорит он, резче обычного окая, — почти как на Капри... в январе месяце...

Потом начинаются содрогания кашля, и в промежутки между ними он выдыхает:

— Капри, черт побери... Не законопатить ли опять... это самое... уважаемое окно в мир...

Он живет, ничуть не уменьшая своего разбега, взятого, наверно, с юности, — это и есть «напряжение воли», которым он преодолевает болезнь. Он так же подвижен, даже более прежнего легок, еще больше вокруг него людей, он говорит безудержнее, алчность свою к искусству он как будто умышленно возбуждает, все время говоря о нем.

— Была у меня молодежь, — рассказывает он. — Побеседовали. Я говорю им: так писать, как они пишут,

<sup>1</sup> М. Л. Слонимский.

нельзя. Что они делают? Берут «Шинель» Гоголя и придумывают, какой эта шинель должна быть в наше время.

Он делает кругообразное движение пальцами, точно выворачивая наизнанку воображаемое одеяние.

— Куда это годится?.. Кроме того, пишут так, что ежели пришло бы желание перевести их сочинения на иной язык, из этого ничего не получилось бы: где же их поймут, кроме какой-нибудь Калужской губернии? А ведь надо писать так, чтобы все поняли...

Но народ обещает нечто значительное... Хорошо будет писать Лунц. Зощенко тоже будет писать. Весьма интересен, весьма...

Его улыбка идет по следам памяти — любованию разнообразными писательскими качествами сопутствуют оттенки добродушия, снисходительности, а то вдруг — коварства или мгновенного охлаждения.

— Плохо, когда недостает культуры. Но быть чересчур литератором — опасность не менее серьезная. Можно ведь долго писать под Замятина, потом под Ремизова, потом еще под кого-нибудь. Что толку?..

Любопытно следить за Шкловским. С ума сошел человек на сюжете. Написал книжку про Розанова, а Розановым в ней и не пахнет, все про сюжет. Если не освободится от этого — ничего не выйдет. Но какой талантливый человек...

А всех их, вместе взятых, побьет Всеволод Иванов. Большой писатель, большой...

За каждой сменой его чувств, тончайше отраженных лицом, я вижу одно — очень стойкое, неотступное. Это жажда отыскать что-нибудь *хорошее* у другого писателя, особенно — у молодого выделить это хорошее и одобрить. Как редко встречается такое чувство в литературе! Любить работу ближнего становится утраченным искусством. Горький владел им от природы, так же, как любознательностью, и, конечно, совершенствовал его усердно, так же, как свою любовь к литературе вообще. Есть люди, склонные попрекнуть Горького чрезмерной щедростью на похвалы. Спору нет, ему доводилось и ошибаться, и разочаровываться в своих надеждах. Но кто учтет, сколько создано отличного в советской литературе благодаря безбоязненному и всегда целеустремленному поощрению Горького?

Обособленный от узких вкусов, стоявший всегда над школами, Горький мог одобрять явления, исключаящие друг друга. Однажды он нетерпеливо спросил меня:

— Вы слушали Маяковского?.. Послушайте... Прочитал мне свои «Сто пятьдесят миллионов». Какой, скажу я вам, человечец!..

Другой раз он дивился Чапыгину:

— Написал, понимаете ли, пьесу — «Гориславич», на языке двенадцатого века. Непосвященный даже не уразумет. Поставить ее в театре нельзя. Да и прочитать едва ли можно. Но человек, как волшебник, перепахнул через тьму времени и заговорил языком двенадцатого века так, точно всосал его с материнским молоком. Для этого способности мало, надо иметь нечто большее. Необыкновенные вещи должно ожидать от этого чудодея...

Прощаясь, я испытываю малоприятное ощущение: мне хотелось поделиться новостью, но я не знаю, как начать.

Нечаянно Горький помогает мне, когда я одеваюсь в передней.

— Что у вас в газете? — показывает он на сверток.

— Да это журнал с моим рассказом.

— С каким рассказом?.. Ах, это который я знаю...

У него такое скучающее лицо, и я настолько чувствую себя виноватым в этой скуке, что выпаливаю:

— Мне дали первую премию за рассказ на конкурсе Дома литераторов.

Серьезный, даже словно рассерженный, он делает ко мне шаг, будто хочет сказать: ага, вот ты и попался!

— За какой рассказ? Я его знаю?.. А почему мне раньше не показали?.. Никому не показывали?..

Я должен посвятить его во все подробности дела, и я вижу, что в нем борются два впечатления: событие доставляет ему удовольствие, он весело потирает руки, и в то же время ему обидно, что существовала какая-то тайна, в которую его не посвятили, — а ведь он всегда был хорошим товарищем и уж кто-кто, а он сумел бы сбечь тайну...

Конкурс этот был примечателен тем, что из шести выданных премий за лучшие рассказы пять присуждены оказались «серационам», участвовавшим в состязании потихоньку друг от друга. Результаты были неожиданны прежде всего для премированных, потому что они увидели друг друга как бы чужим взором или, может быть,

сняли со своего взора пелену предубеждений. Что-то шуточное и озорное было в этом нечаянном взаимном разоблачении, и оно скоро примирило «левых» с «правыми»: оба крыла убедились, что жизнь предоставляет им место, несмотря на различие, и что прав Горький с его широтою понимания литературы. Вслед за «серапионами», но уже совсем не радостно, поражен был Дом литераторов, обнаруживший, что ненавистный Дом искусств успел высидеть целый выводок молодых писателей, тогда как Дом литераторов никакими подобными произрастаниями похвастать не может, и опять-таки Горький к этому факту имеет слишком демонстративное касательство!..

— Какой пассаж, — смеялся Горький. — Так принесите мне ваш рассказ!..

Я принес ему вместо одного два рассказа. Как всегда, он с необычайной быстротою прочитал и вернул мне рукописи с отчетливыми надписями на обложках.

На «Саде» — «Очень хорошо, но, местами, встречаются лишние или не точно взятые слова».

На «Молчальнике» — «Мне этот рассказ кажется написанным манерно и холодно. В его описательной части я чувствую что-то надуманное, не верное; в диалогической нечто очень старенькое, слишком знакомое. Фабула первой части плохо связана со второй. Я, читатель, не верю, что молчальник первой части — герой конца рассказа. 30 лет тому назад интеллигенты еще не умели говорить и думать так, как написано письмо, — т. е. говорили не этими словами».

Такой отзыв, какой справедливо заслужил мой «Молчальник», был для меня решающим: рассказ никогда не появлялся на свет божий из недр моего стола.

Я приглядываюсь к тому, как свет и тень горьковской критики распределяются в отношении множества писателей. И прихожу к убеждению, что плохие отзывы Горького умалчиваются, а хорошие разглашаются. Горький был человеком большого равновесия — к такому выводу приходят все, кто его близко знал. И по-моему, надо разбить легенду о его чрезмерной щедрости на похвалы.

Летом состоялось одно из собраний «серапионов» у Горького на Кронверкском. Вот как об этом вспоминает участник собрания Корней Чуковский:



«Я часто видел их вместе: серапионов и Горького. Разговоры у них шли непринужденные, разговоры товарищей по общей работе. Один из таких разговоров я и хочу привести здесь, чтобы показать, каков был тон тогдашних отношений.

— Какого я слышал вчера куплетиста, — сказал Горький, — талант. Он даже потеет талантом. Пел между прочим такие стишки:

Анархист с меня стащил  
Полушубок теткин.  
Ах, тому ль его учил  
Господин Кропоткин?

Федин, вернувшись тогда из Москвы, рассказал, что в Москве его поразило, как мужик влез в трамвай с оглоблей. Все кричали, возмущались, а он — никакого внимания.

— И не бил никого? — спросил Горький.

— Нет. Приехал, куда надо, прошел через вагон и вышел с передней площадки.

— Хозяин! — сказал Горький.

Заговорили о крестьянах. Федин очень живо изобразил замученную городскую девицу, которая, изголодавшись в городе, приволокла в деревню мануфактуру и деньги, чтобы обменять на съестное. «Деньги? — сказала ей баба в первой же избе. — На что мне твои деньги? Поди-ка сюда. Сунь руку. Сунь, не бойся. Глубже, до дна. Вся кадка у меня ими набита, и каждый день муж играет в очко и выигрывает тысяч 100—150».

Девица была в отчаянии, но улыбнулась. Баба заметила у нее золотой зуб сбоку. «Что это у тебя такое?» — «Зуб». — «Золотой?» — «Золотой». — «Что же ты его сбоку спрятала? Выставила бы спереди. Нравится мне этот зуб, я бы тебе за него картошки сколько хочешь дала...» Девица взяла вилку и выковыряла зуб. Баба сказала: «Ступай вниз. Набери картошки сколько хочешь. Сколько поднимешь». Та навалила много, но поднять не могла. Баба равнодушно: «Ну, отсыпь».

Горький на это сказал:

— Вчера я иду домой. Вижу, в окне свет. Глянул, сидит человек и «ремингтон» починяет. Очень углублен в работу, лицо освещено. Подошел какой-то бородатый. Тоже стал глядеть и вдрут: «Сволочи! Чего придумали?

Мало им писать, как все люди, так и тут машину присобачили. Сволочи!»

Потом Горький заговорил о рассказах Серапионовых братьев, которые должны были выйти под его редакцией в издательстве Гржебина.

— Позвольте поделиться моим мнением о сборнике. Не в целях дидактических, а просто так, потому что я никого не желал поучать. Начну с комплиментов. Это очень интересный сборник. Впервые такой случай в истории литературы: писатели, еще нигде не печатавшиеся, дают литературно-значительный сборник. Любопытная книга, всячески любопытная. Мне, как бытовика, очень дорог ее общий тон. Очень сильно, правдиво. Есть какая-то история в этом, почти физически ощутимая, живая и трепетная. Хорошая книжка.

Тут Горький заговорил о том, что в книге, к сожалению, нет героя, нет человека.

— Человек предан в жертву факту. Но мне кажется, не допущена ли тут — в умалении человека — некоторая ошибка? Кожные раздражения не приняты ли за нечто другое? Ведь и при коллективизме роль личности оказалась огромной. Например, Ленин. А у вас герой затискан. В каждом данном рассказе недостаток внимания к человеку, а в жизни человек все-таки свою человеческую роль выполняет...»

Торопя нас с подготовкой сборника рассказов и стихов, Горький написал к нему предисловие. Оно не было опубликовано. Выражая собою с точностью тогдашнее настроение Горького, эти несколько строк заключают мысль, которая, как зерно, сохранила и в будущем вырастила неувыдаемый горьковский оптимизм: «Русская литература живет, развивается, совершенствуется». Как далека эта мысль от сказанных еще в начале года усталых слов: «Русской литературы нет!»

Вот что написал Горький:

«Жить в России трудно.

На эту тему ныне так много пишут и говорят, что, кажется, совершенно забыли старую истину: в России всегда было трудно жить.

Истину эту глубоко чувствовал А. С. Пушкин, ее знал Чаадаев, знали Лесков, Чехов и все крупные люди оригинальной страны, где — между прочим — в XX-ом веке,

в эпоху торжества разума и величайших завоеваний его — был предан анафеме Лев Толстой.

Основным и любимым делом большинства русских людей являются жалобы на трудность жизни и несчастную свою судьбу. Некоторые граждане — количество их ничтожно — ставят себе в обязанность утешать жалобщиков, а одним из наиболее веских и популярных утешений общепризнан афоризм:

«Чем ночь темней, — тем звезды ярче».

Я склонен считать этот афоризм почти аксиомой.

В самом деле: может быть, уродливые и тяжелые условия жизни вообще и всегда надо считать необходимыми условиями развития крупной личности? Жжет, бьет людей со всех сторон и — множество бесполезно погибают, а единицы становятся духовно крепче, значительнее?..»

Раз поздно вечером на каком-то заборе, по соседству с газетами, мне бросилась в глаза мокрая от клея маленькая афиша. Невзрачный зеленовато-серый клочок бумаги, наверно, не остановил бы внимания, если бы не траурная рамочка, его окаймлявшая, и если бы не одно слово, напечатанное покрупнее: Блок. Я подошел к афише и не помню — сколько раз принимался прочесть ее как следует от начала до конца и все никак не мог, возвращаясь к началу и опять где-то застревая. Смысл афиши был уловлен сразу, но мне, вероятно, хотелось считать, что я его не понял.

*«Дом искусств, Дом ученых, Дом литераторов, Государственный Большой Драматический театр, издательства: «Всемирная литература», Гржебина и «Алконост» извещают, что 7-го августа в 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часов утра скончался*

*Александр Александрович Блок.*

*Вынос тела из квартиры (Офицерская, 57, кв. 23) на Смоленское кладбище состоится в среду 10 августа, в 10 часов утра.*

О том, что Блок тяжело болен, говорилось давно и с волнением, но смерть поразила всех. Была в ней не только присущая смерти неожиданность физического исчезновения, и было не только то, что опять великим русским поэтом «не преиден» какой-то предел — Блок умер,

молодым, — но странно ощутилось, что с Блоком отошла прежняя, старая эпоха, та, которая, дожив до революции, сделала шаг в ее владения, как бы показав, куда надо идти, и упала, обессиленная тяжестью своего дальнего пути. Стало очевидно, что уже никто *оттуда* не сделает такого шага, а если повторит его — в том не будет подобного мужества и подобной тоски о правде будущего, какие проявил Александр Блок. Множеством людей понималось, что теперь высшие поэтические ожидания перелгаются на будущее. Но каждый равно чувствовал, что Блок не уносит с собою в могилу трагедию прошлого, но оставляет нам ее в живое поучение, как наследие истории, и это означает, что он бессмертен.

И вот последний земной день Блока — очень синий, ослепительный, предельно тихий, словно замерший от удивления, что в мире возможна такая тишина. Гроб — не на руках, а на плечах людей, которые несут без усталости и не хотят сменяться, невзирая на усталость. И впереди — больше всех запоминающийся, в раскиданных волосах, будто все время говорящий, бормочущий с Блоком — Андрей Белый. Народу не так много, но и очень, очень много для того времени, довольно безлюдного. И так — до кладбища, какими-то ущербными линиями Васильевского острова, по которым, вероятно, недавно гулял любивший помногу ходить Блок.

Смерть его на некоторый миг вызвала окаменение в литературе — старой и молодой, — пока происходило осознание потери. Беззвучие стояло в залах и коридорах Дома искусств. Затем сразу очень много стали говорить, писать, выпускать книг, печатать статей, и повсюду, совершенно без расхождений, в момент глубочайшего революционного размежевания литературы было осознано то, что в двух словах выразил Белый: «...в созвездии (Пушкин, Некрасов, Фет, Баратынский, Тютчев, Жуковский, Державин и Лермонтов) вспыхнуло: Александр Блок...»

Издательство «Алконост» соединило в последний раз голоса символистов вокруг памяти Блока, бывшего редко идейным центром символизма, но сближавшего его представителей силой своего чувства и своим человечнейшим обликом. Все больше жизнь наполнялась иными голосами, нестройно врывавшимися в последние уголки века, который считал себя «серебряным». И, наконец, в гранки

набора вариантов «Возмездия», «Котика Летаева» словно противоестественно вплелись неожиданные, уличные, мещанские речи Зоценко, кержацко-мужичьи словеса Всеволода Иванова, библейские перепевы Лунца, гофманиада Каверина. Отсюда или приблизительно отсюда должно было прийти будущее, и, полууступая ему не то что дорогу, а край обочины, «Алконост» набрал и отпечатал альманах «Серапионовых братьев».

Это была с виду одна из самых убогих книжечек, которую можно выпустить, совершенно не веря в то, что она кому-нибудь понадобится. И когда «серапионы» увидели осуществленным сборник, о котором заботился и хлопотал Горький, когда они взяли в руки это произведение книжного и бумагоделательного искусства, они подумали — свершилось: если это явление может служить каким-нибудь началом, то лишь началом полного бесславия.

В таком состоянии духа я еще ни разу не поднимался по узкой лестнице на Кронверкском, — и это не оттого, что уже по-октябрьски холодно и сумрачно, не оттого, что я болен, нет, — я знаю, что иду сюда последний раз, что иду прощаться: Горький уезжает лечиться, как тогда говорили — в Наугейм, затем, наверно, в Финляндию. Что могло быть лучше? Я слишком хорошо знал, что он подходит к черте, за которой, может быть, уже нет исцеления; ясно представлял себе, каким его увижу, когда войду и он поднимется навстречу. Но одно слово — *прощание* — жестоко омрачало, невольное себялюбие противилось примириться с необходимостью: Горькому это нужно, ему будет хорошо, но будет ли хорошо мне, нам, всему миру надежд, который им заложен с такой доброй волей, с такой быстротой? Конечно, он обязан ехать лечиться: умереть — не столь большая хитрость, страшный уход Блока был свеж в памяти и все еще поражал своей стремительностью. Но что делать с чувством жалости, с горечью сознания, что вот сейчас я буду говорить с ним в последний раз?..

Много позже Горький привел в воспоминаниях о Ленине его письмо, окончательно решившее отъезд за границу:

«...А у Вас кровохарканье и Вы не едете!! Это ей же ей и бессовестно и нерационально.

В Европе в *хорошей* санатории будете и лечиться и втрое больше дела делать. Ей-ей. А у нас ни леченья, ни дела — одна суетня. *Зряшная суетня.*

Уезжайте, вылечитесь. Не упрямитесь, прошу Вас.

Ваш Ленин».

Меня вновь удивило, что больше всего Горький проявил заботы о других, о тех, с кем он расставался. Но он говорит и о себе, неловко, конфузливо усмехаясь, по очереди приподымая то одно, то другое плечо.

У него прибавилось на лице складок, и они обвисли. Глаза его стали горячее, и синева их — даже прозрачнее, но жар не оживил взгляда, а только оттенял усталость, точно насильно втиснутую в каждую черту.

— Чуть не умер в Москве, доложу вам, да-с. Никогда ничего такого не случалось. Бывало, что грозила опасность, но не чувствовал ее. А тут почувствовал, понимаете ли, почувствовал возможность умереть.

Он засмеялся с жизнерадостным, детским изумлением и, раскрывая глаза, повторил несколько раз:

— Почувствовал возможность умереть... Очень возможно, понимаете ли, очень... Нашли у меня какое-то особое расширение сердца... и что хуже всего — приходится этому верить...

Резко переходя к серьезности, будто спохватываясь и одергивая себя за ненужный разговор, он спрашивает:

— А с вами что происходит, сударь?

Я только что вышел из клиники и скоро должен был ложиться на операцию, и когда я сказал ему это, он заволновался, принялся расспрашивать — кто будет оперировать, кто — заботиться после операции.

— Операция пустяковая, — не веря в свои слова и в то, что я обманусь ими, сказал он. — Но что вы будете делать после операции? Питание нужно, — вот ведь какое... неудобство. А где взять питание, гм?..

Он долго кашлял, все время тряся оттопыренным указательным пальцем, показывая, что найдена некая мысль и чтобы я потерпел, пока он откашляется и ее выскажет.

— Вот погодите... — выговорил он, едва отдышавшись, — за границей выйдут мои книги, получу гонорар, пришло денег. Всем серапионам.

Вдруг он сказал с проникновенной лаской:

— Заботьтесь о себе. Скажите своим, чтобы они о вас тоже заботились. Да, да, заботьтесь друг о друге... Я эту группу особенно близко к сердцу принимаю. Надо ее спасти, сохранить во что бы то ни стало...

Он шагнул ко мне, улыбаясь своей однобокой улыбкой, которая привела меня когда-то в смятение, и неуклюже, сдерживаясь, потрогал, помял меня за плечо.

— Похудели вы здорово, — пробурчал он тихо. — Так, значит, Греков будет вас резать?! Хороший хирург, мастер... Конечно, может быть, лучше, если бы это сделал Федоров...

Он смотрит на меня с тревогой, но тотчас уверенно возражает себе:

— Главное — послеоперационный период. А это мы наладим. Наладим, непременно!..

Еще один раз, последний раз испытываю я мгновенное ощущение, будто в его глаза можно войти, и вот этого ощущения уже нет, оно позади, как позади все.

Я стою внизу, у выхода под ворота, и, прежде чем выйти, мне необходимо пересилить мешающее мне чувство, мешающее тем, что я его не понимаю. Мне нужно собрать очень много сил, обыкновенных телесных сил, и, когда наконец они собраны, я с неожиданным освобождением говорю себе: а ведь я — счастливый человек. Какой счастливый!..

Два качества необходимы  
для художника — мораль и  
перспектива.

Дидро

## 1921—1928 годы

Рассказывая, Горький очень ревниво приглядывал за слушателями. Если где-нибудь внимание отвлекалось, он хмурился, если его слушали хорошо, он входил во вкус. Почти всегда он рассказывал о чем-нибудь удивительном и сам дивился тому, о чем говорил, и тому, как говорил. Это было любованье своей силой, своим даром рассказчика. Как большинство художников, он был природным актером, как актер, он не мог не дивиться своему артистизму.

Так, с удовольствием слушая себя и удивляясь необычайному явлению, о котором говорил, Горький рассказывал мне однажды:

— В году восемнадцатом, когда вскрыт, знаете ли, пенилось от событий, ночью зовут меня к телефону. Некий матрос, видите ли, непременно желает со мной разговаривать. Подхожу. Голос такой серьезный: «Это товарищ Горький?» — «Я». — «А какое можете доказательство привести, что это — вы?» — «Если бы, отвечаю, вы к Шаляпину звонили, он, может, пропел бы что-нибудь в телефон, а мне что прикажете делать?» — «Ну, говорит, теперь я вас узнал по разговору, я прежде вас на митинге слышал. Нам, говорит, вот тут понадобилась справочка. Мы сейчас в одном доме на Троицкой обыск делаем, так попали в комнату — ничего понять не можем: с потолка чегонашки разные свешиваются, картонные, а то — шерстяные, на стенках — ведьмаки да лешие, письма в закорючках, может, научные, не разберешь. И хозяин сам — не то колдун, не то домовый, а говорит —



я, дескать, писатель. Застали его — он из раскрашенных бумажек бесенят клеит...» — «Постойте, говорю, фамилия его не Ремизов ли?» Матрос даже повеселел: «Значит, он вам и правда знаком? А мы, говорит, не поверили, что вы его знаете. Неужели он — писатель?» — «Да, говорю, и притом писатель известный, выдающийся». — «А мои братаны, говорит, попятились, как его увидели, думали — он не в своем уме». — «Именно, говорю, в своем, только ум у него чудак». — «Как же с ним быть?» — «Оставьте его в покое». — «А с чертями что теперь делать? — спрашивает. — Неудобно как-то». — «И чертей, говорю, оставьте в неприкосновенности». — «Всех?» — «Всех до одного». Вздохнул серьезный товарищ. «Ладно, говорит, поступим согласно вашей справки. Разрешите, если еще на какого писателя нарвемся, опять к вам обратиться?» — «Что же, говорю, обращайтесь, такое, видно, мое дело. Но желаю вам не попадать в столь затруднительное положение».

Горький подтягивает вверх угловатое плечо, морщины на его лбу густеют, приподнимая брови, он словно хочет спросить — в какие только отношения его не ставит судьба к русским писателям? Но за недоумением скрыт его интерес именно к этим необыкновенным, разнovidным людям, к русским писателям, зажигающим его любознательность на протяжении целой жизни то своим глубокомыслием, то мечтательностью, то причудами, то аскетизмом. В непотухающем интересе к ним содержится оттенок благоговения перед собственным призванием, постоянно сравниваемым с теми плодами, какие дают подобное призвание в иных руках.

Пример Горького невольно впитывался молодой, близкой к нему плеядой писателей, учившихся ценить не только любимые литературные явления, но и те, которые противоречат личному вкусу, и дорожить этой способностью, потому что она совершенствует личный вкус, а не подавляет его. Чудесно сказал Флобер в одном из писем по поводу далекого ему Эмиля Золя, роман которого — «Нана» — он должен был признать: «Надо уметь восхищаться тем, чего не любишь».

Горький, словно полиглот, изучающий языки из неодолимого любопытства к их структуре, изучал писателей, потому что не мог не изучать их. Окруженный ими, под перекрестными их взглядами, он состязался с ними

в проницательности: они разгадывали его, он разгадывал их. Улыбкой, вызванной воспоминанием о Ремизове, Горький как будто говорил: этого-то я вижу превосходно, за всеми его чертами, за всеми иероглифами...

Сутулый, схожий чем-то с Коньком-Горбунком, чуть-чуть впрыскав бегит по Невскому человек, колюче выглядывающий из-за очков, в пальтеце и в шапочке — Куковников, именно Куковников, — человек с этой фамилией-причудинкой, надетой на себя Алексеем Михайловичем Ремизовым много лет позже, в Париже, в числе прочих псевдоимен и обличей, какими он назывался и в какие рядился. Он прячет большой, многоумный затылок в поднятый воротник, а подбородок и губы выпячивает, и крючковатый немалый нос его чувствительно движет кончиком, вероятно — принюхиваясь к тому, что излетает из выпяченных уст. Уста же глаголят нечто скорбное, или рекут гневное, или лепечут нежное, или струят язвительное, или изливают сердечное, и все это в изысканном, но в таком русском слове, какое обмывалось на красных блюдах, протиралось расшитыми полотенцами, хоронилось на божницах либо доходило к нам в кованных родительских рундуках.

О, конечно, все это было стилизацией! Вся жизнь была стилизацией, и вся письменность тоже — почти шуткою, забавой, но сколь роковой забавой и какую душераздирающей шуткой! Если на свете бывала арлекинада не на подмостках, а в обыденной человеческой жизни, то на русской земле страшнейшие и несчастнейшие арлекины, которым вкусить земное блаженство мешала раз и навсегда надетая маска, бывали не однажды в литературе, и среди них, может быть, заглавным был Ремизов.

В первые годы революции, когда стреляли на улицах, и прибывали с фронтов солдаты на съезды, и шли конференции, конгрессы, и новой религией сделались заседания, Ремизов придумал шуточное общество, названное им «Обезьянней великой и вольной палатой», в сокращении «Обезвөлвал». В палату выбирались только литераторы, и выборы производил сам Ремизов, носивший звание «старшего канцеляриуса», в то время как сочлены палаты величались кавалерами, князьями, епископами и многими другими титулами, придуманными для каждого

отдельного случая, иногда лестными, иногда насмешливо позорящими, вроде, например, «великого гнида». Знаменитый пушкинист Павел Елисеевич Щеголев звался «старейшим князем», беллетрист Вячеслав Шишков — «князем Бежецким и Сибирским». Был в палате «епископ обезьянский смиренный Замутий, в мире князь обезьянский Евгений Замятин». Но больше всего числилось «кавалеров», и многие из них знали друг друга только по именам, потому что палата не устраивала собраний и вообще никакой общественной жизни не вела, а существовала как бы в абстракции, в фантазии ее канцеляриуса. Он возводил в звания и раздавал титулы, вел счет кавалерам, писал и разрисовывал «обезьяньи лавровые грамоты», которыми наделялись новопосвященные. Это были забавные ремизовские документы, сплошь увитые его замысловатыми росчерками, вязь из букв и слова, с печатями, заключавшими в себе чертовские знаки, изображения уродов и непонятные надписи глаголицей, которую Ремизов изучил совершенно.

Он был выдающимся каллиграфом и в отношении своем к письму испытывал явно нечто сближавшее его с Достоевским, то упоение красотой начертаний, какое передал Достоевский словами князя Мышкина, то мечтательное любованье буквой, литерой, которое мы теперь знаем по рукописи «Идиота», где перо Достоевского договаривает недосказанное текстом и где оно достигает над нами власти, равной пушкинским страницам с профлями женщин, всадниками и автопортретами. Ремизов витиевато договаривал пером витиеватые свои вымыслы и расшаркивался, приседал, строил рожи, наставлял рога загогулинами прописных и строчных букв вдобавок к тирадам и к подражаниям всяческому архаизму. Истоками его каллиграфии были славянские рукописи и книги, букет их он вдыхал с любовью, чувствуя за архитектурой славянщины привлекавший его цельностью уклада мир русской старины. Одежда, украшения тут только дополняли душевный строй, к которому тянулся Ремизов.

Если бы его чудачества были простым средством войти в литературный быт, они могли бы заинтересовать только собирателя курьезов. Но поверхность, выставленная им напоказ, была связана с глубиной явления гораздо крепче, нежели ложки в петлицах футуристов —

с «левым» фронтом литературы. Ремизов мог быть и в действительности был всеобщейшим «правым» фронтом литературы.

Его культом была старина. Жития, притчи и сказки были нерушимым углом его веры, как русская палеография — его любовью. В сказке он черпал свою эстетику, в притчах и житиях — свое исповедание.

Сказка, вся из преувеличений мечты, из прямоты мудрости, из насмешки наблюдения, покорила Ремизова, пожалуй, больше всего последним качеством, остро выражающим ее народность. Он развил ее злую, издевательскую, насмешливую, шуточную сторону. Играючи владея сказом, он перекладывал народные сюжеты своим изощренным языком, брал ходячие анекдоты, вплоть до солдатских, давние поверья и делал из них шедевры облагороженного фольклора.

Шутка шла из культа сказки. Ремизовский черт был и глупым, и умным, как в сказке. Ремизов забавлялся им, придавая ему все оттенки, мыслимые между умом и дурью, шалил с ним и в конце концов верил в него, как верит в черта сказка, со всей серьезностью и даже трусовато: аминь, аминь, рассысья!

Смысл чудачества состоял в том, что черти, домовые, водяные, лучше заслоняли Ремизова своими обросшими паленой шерстью телами, а он стоял за ними сосредоточенный, с колючим взглядом остроумца, противопоставляя *необъяснимое* решительным попыткам времени все объяснить.

Я учусь у народа — мог бы рассуждать Ремизов, — а народ с чертями, так куда же денешься от черта и без черта? Народ мудр, однако народная мудрость не могла всего объяснить, отдав целые поля во власть неизведанному. Это неизведанное влечет к себе воображение, как белые пятна географической карты тянут к себе путешественника. Но насколько скуднее была бы карта без белых пятен и, смотрите, как поник мир, когда отменили черта. Так пусть же черт существует в шутку, если его нет всерьез. Движение, желающее все объяснить, странно и мучительно, в нем есть болезненная натянутость. Вместо того чтобы так нетерпеливо торопиться в неизвестное будущее, не лучше ли задержаться в прошлом, сделать шаг назад? Это желание обернуться назад может быть выражено связью с чем-нибудь первобытным, ну, хотя

бы с обезьяной, благо что люди, вознамерившиеся все объяснить, любят начинать свой прямолинейный танец от обезьяны.

Чудесные времена! Не было никакой регламентации, была только воля: живи на любом дереве, висни на любой ветке. Мы произошли от обезьяны, и — о, ужас! — сколько мы утратили, пока сделались тем, что мы есть! Вспомняем же наших счастливых праотцев, собравшись в Обезьянью великую и вольную палату...

Так мог бы рассуждать основатель Обезвеволпала, да и как бы еще рассуждал он — иронический насмешливый человек, — реставрируя для своих цивилизованных обезьян титулы кавалеров, князей и сан епископов, то есть все то, что отошло в прошлое? Если бы матрос, пришедший к Ремизову с обыском, застал его не за вырезанием чертенят, а за изготовлением княжеских грамот, он, пожалуй, телефонировал бы не Горькому, а тому, кем был послан на работу: чертенята обозначали явную отсталость от века, а что могли обозначать отмененные революцией князья и архиереи?..

Ремизов шутил, это, конечно, понимали все, кто мог понимать. В годы гражданской войны он напечатал, в библиофильских тиражах, несколько крошечных — в ладонь — книжечек, среди них — «Царя Додона» с такими рисунками искушенного Бакста, что военная цензура придержала выпуск книги из типографии, чтобы сначала осведомиться, как в подобных озорных случаях поступают с печатными произведениями: с военной точки зрения как будто — ничего смущающего (военные могут еще и не такое!), ну, а как с не военной? Цензуру сначала одобрили, но Ремизов доказал влиятельным лицам, которые побаивались прослыть невеждами, что, какое бы изображение Бакст ни сделал, он, Бакст, есть искусство, и потому «Царя Додона» надо сохранить для вечности и выпустить в свет. И случилось так, что суровые времена именно в этом отношении не обидели вечность.

Озорство Ремизова и Бакста открыло собою хоровод изданий, подобных «Царю Додону». Федор Сологуб напечатал «Царицу поцелуев» — новеллу без простодушия Мазуччо, но с его деревенской откровенностью. Михаил Кузьмин отыскал в поэзии Анри де Ренье самые прельстительные вирши для рисунков Митрохина. Все это было только заповкой, подхваченной хором безыменных

сластен, которые лакомились сами и вызывали слюнотечение у других.

Ремизов шутил, озорничал больше и дольше всех. Но у него кривились губы, вздрагивала челюсть, веки его были докрасна изъедены скупой, но не просыхавшей слезой. Бывают такие русские дома в тихих городках или в деревне, с узорчатыми, игривыми наличниками на окошках, резанными плотником под веселую песню. Но в окошках этих, за черными, отливающими перламутром стеклами, ледком стынет что-то обреченно-тоскливое, и во всем доме сразу чуешь притаившуюся немилосердную судьбу. Таким русским домом, отданным навсегда недолимому року, был Ремизов.

В сороковую годовщину смерти Достоевского Ремизов произнес «Слово» о нем в Доме литераторов. Я смотрел в лицо Ремизову, когда он, прискакывая, как будто слясь выпрыгнуть из-за кафедры, на которую опирались его раскинутые руки, взывал к аудитории смятенным голосом. Было что-то жгучее и неистовое в ремизовском прославлении России Достоевского, в покаянии и в гневе, какие клокотали в этом «Слове». Лицо Ремизова вдруг передергивалось, на миг искажаясь от боли и страсти, хотя видно было, что он себя изо всех сил удерживает в ораторской черте, почти боясь вырваться из нее в иступление, в пророческий, в шаманский крик. Он произносил каждую фразу с напряженной ясностью, но мне все казалось, что он вот-вот забормочет, как в припадке, и в его смертной бледности, наполненной трепетом, в его губах, забелевших по уголкам, было что-то эпилептическое.

С самой большой яркостью услышал я в его речи причитание о России, о той, ушедшей России, перед которой ахнул мир, когда Достоевский вывел ее в наготе каторги, подвалов, меблированных комнат и чердаков, не постыдившись бездонности ее падений и восславив детскую чистоту ее любви.

Это причитание перекликалось с плачами символистов о России, но Ремизов выражал свои убеждения видениями, образами, как истинный эпик, веря в силу картины больше, чем в силу логики, тогда как изобразительность, а с нею философия Андрея Белого захлебывались в ритмических вихрях его словесной музыки, а Блок уже испытывал наслаждение от нараставшего в нем логического таланта публициста.

Ремизов нежно любил Блока, и он восхищался Белым, как учитель может восхищаться учеником, но истоком родства всех троих гораздо меньше была стихия слова, чем необычайно близкое ощущение России как оплакиваемой утраты. Прежняя Россия соединила эти три имени в истории литературы.

Тут, в самом корне ремизовской темы, уже ничего не было от стилизации: она была национальной до болезни, до нетерпимости, до огня и меча, как в «Дневнике» Достоевского, где национальное начало всех начал становилось угрозой всякому инакомыслию. Не только национализм соединял Ремизова с Достоевским. Как психолог, как романист, он шел по следам своего божества, отыскивая и строя русские характеры, как ключи к познанию России. Его биография сложилась странным подобием биографии Достоевского, маленьким, конечно, подобием, отражением в капле воды, но все-таки отражением великой планеты. Ремизов был на севере в царской ссылке, его путь встретился с волчьим рыском Савинкова-Ропшина, он прошел сатирическими журналами 1905 года, потом общественное в его тяготениях перемежилось с интимным, анархическим, и, наконец, он весь влился в русло национального. Эти повороты биографии происходили где-то рядом с обрывами, безднами Достоевского и навсегда связали с ним Ремизова.

Но родство с Достоевским не сделало Ремизова его рабом. Он был слишком капризной птицей. Любовь к «Житиям», откуда он взял множество мотивов для своих сказаний, должна была сделать его последователем другого писателя — Лескова, богатства которого происходили из тех же родников — притч, сказок, лубка, Четых-Миней. Так возникла ремизовская форма — хроника русской жизни, семейные истории, родовые, родословные русских людей.

Летом восемнадцатого года Ремизов гостил в дорогобужской усадьбе Соколовых. Семья эта хранила увлекательные истории о крестьянах, духовенстве, богачах Смоленской губернии, и особенно поэтично рассказывала о поместных героях Марья Ивановна Соколова — мать писателя и путешественника Соколова-Микитова, обязанного ей всей прелестью своего лирического дарования. Ремизов не мог не заразиться ее рассказами и тут же, в усадьбе, за маленьким столом с узорчатой мраморной

доской, записывал, переключивал, приукрашал только что узнанные дворянские романы, веселые похождения сельского дьякона, странствия в Оптину пустынь, воспоминания о прославленных смоленских людях. В соседнем, Емельянинском уезде, неподалеку, находилось имение Михаила Погодина — друга Гоголя. Дядя Соколова-Микитова в молодости служил у Погодина, и в семье жила память о сердитом старике, в доме которого береглась, под стеклянным колпаком, дорогая реликвия: цветная жилетка Николая Васильевича Гоголя-Яновского.

Одни эти имена — Гоголь, Погодин — в обстановке глухой усадьбы, под тенью неизменных лип и в солнечной тиши яблоневого сада, разговоры за вечерним чаем о житейской доле словно еще витавших поблизости людей старины породили в Ремизове тот музыкальный подъем, какой называется вдохновением, и он создал свои лучшие по чувству родной земли хроники, нечто вроде земского, усадебного письмовника — погодинского письмовника о смоленских судьбах.

Нежность Ремизова к русской земле, раскрытая в письмовнике, сочетала в себе страсть и женственность и была его настоящей писательской сущностью. Никакая гримаса, никакое юродство или скоморошничество не могли скрыть этой главной серьезной стороны его искусства. Кажалось, выросши из подспудных корневищ родины, он сам стал корнем и ушел в землю так, что его не выкорчует никакая сила.

И вдруг он сделал такой шаг, что мы, молодые писатели, принимавшие людей такими, какими они хотели казаться, разинули от удивления рты и онемели.

После одного вечера в Доме искусств я шел домой вместе с Ремизовым. Засунув пальцы глубоко в рукава, сутулясь, ежась и вздрагивая (мне казалось, что Ремизов вечно дрожал от внутреннего холода), он говорил потихоньку, с лицом юродиво-верующего, будто посвящая меня в потайные свои убеждения.

— Ну, вот и появляются молодые, из медвежьих углов, кто с посада, кто с городища. Я всегда говорил — погодите, придут, откуда никто и не ждет, явятся преемствовать, и с полным правом: не инкубаторные и не го-мункулы, а с отцом и матерью — равно и от русской



революции, и от русской литературы. Я счастлив, что был прав, что вижу теперь, как вы все рождаетесь, что стою при самом начале, при родах, и что буду кого-нибудь по-вивать, как бабка. Счастлив, счастлив.

Он касался меня беглым взглядом, мгновенно улавливая, что я верю его словам, и продолжая еще сокровеннее:

— Счастлив, очень счастлив, что всю революцию просидел в Петербурге. Ну, что там они поразъехались, наши писатели, по заграницам? Что они там видят? С кем живут? Жалко мне их. Взять хоть бы Алексея Толстого. Отказался бы от своего «графа» и жил бы тут. Ведь он это понимает, что не в «графе» дело, а вот пооди!.. Пропавшие они, эти эмигранты, пропащие...

В то время в литературе из года в год раздавались жалобы, и было привычно слышать поскрипывание зубов, видеть печаль, усталость. Не удивительно, что я обрадовался, когда голос веры излетел из такой хилой оболочки. Особенно убеждало, пожалуй, как раз то, что оптимизм принадлежал человеку болезненному, жалкому своей физической незащитностью. Он мне показался сразу сильнее, больше, внушительнее. «Значит, не все плачутся и скрипят зубами,— думал я,— есть писатели, глубоко соединенные со своей землей, не бегущие от ее судеб. И как хорошо, что эта национальная гордость проявляется в настолько сложном художнике, как Ремизов, по существу — в изысканном эстете». Я был очень рад такому открытию.

В начале лета 1921 года Ремизов, встретившись со мной, сказал, что я возведен в «кавалеры обезьяньего знака» и что он уже изготовил соответственную грамоту, которая скоро мне будет вручена. Он поздравил меня важно и серьезно — настоящий канцеляриус, — и это увеличивало шуточность положения. Потешный акт был следствием того, что Ремизов прочитал мой рассказ «Сад», поэтому я испытывал нечто вроде признания, сделаться «кавалером», хотя бы и «обезьяньим», мне было внове!

Но тут неожиданно разнесся слух, что Ремизов бежал за границу.

В первые дни никто из молодежи не поверил этому. Ждали, что все разъяснится, что он так же вдруг объявится, как исчез, что он уехал куда-нибудь в глушь,

в уединение, отдыхать. Зоценко говорил мне, что бегство такого человека в чужие страны было бы противоестественно, как переселение рыбы на жительство в горы: Ремизов и его уверял, будто бы счастлив, что просидел всю революцию в Петербурге, и что эмигранты — пропащие люди. Но прошло еще некоторое время, и сам Ремизов позаботился рассеять сомнения: от него пришли письма из Ревеля, в которых он печалился обо всем покинутом, из множества околичностей выходило, будто он никогда не бежал бы, если бы его не заставили либо чуть ли не похитили.

С этого момента Ремизов не переставал писать наполненные жалобами, тоскою, иногда даже отчаянные письма с перепевами своих плачей и причитаний о России. Он продолжал за границей пестовать Обезьянью великую и вольную палату, и рассказывали, будто вывез с собою и носил на груди в ладанке горсть родной русской земли. Он вывез с собою даже русского черта, и много позже, в Париже, передавалось, будто бы держит этого черта в кухне, у плиты, в каменном угле или в брикетах, вероятно, потому, что русскому черту во всяком ином французском месте слишком чисто. Однако, будучи много лет спустя в Париже, я увидел, что русский черт отступился от Ремизова бесповоротно, — расскажу об этом позже.

Тогда же, в год эмиграции Ремизова из Петербурга, вся его писательская сложность в моих глазах упростилась, сделавшись преимущественно голым явлением стиля.

У Горького бывали в литературе особые нелюбви, пристрастия, недружелюбия и даже ненависти. Так как литература не делилась им на живую и мертвую, но вся существовала в одном непрерывном ряду писателей, стоявших поближе и подальше от Горького, то, например, с Капнистом или Хемницером у него могли быть столь же оживленные отношения, как с Пришвиным или Пастернаком. В свой объективизм оценок он умел внести страшно много личного, и были литературные репутации, с которыми он сводил счеты всю жизнь.

Именно так он не любил Достоевского. Это была не только неприязнь политическая и объективная, неприязнь к автору «Дневника» и «Бесов». Нет, Горький

не мог простить Достоевскому его каких-то интимных интонаций, создающих музыку морали, окраску всей системы чувствования писателя. В конце концов, Горький пресжил огромную и сложно построенную жизнь, не изменив изречению, прославившему его молодость: «Человек — это великолепно!.. Это звучит... гордо!» А сколько раз литература вспоминала Достоевского в связи с иным изречением: «Человек — подлец: ко всему привыкает»? Меня поразило, когда я узнал, что Горький предложил считать своего Луку просто жуликом, как всех «примирителей». Но потом я увидел в этом образец его жестокой последовательности. Достоевский в силу иной последовательности, конечно, не был бы к Луке так безжалостен.

Воспринявший от Достоевского его мораль, а в общественной мысли — его национализм, Ремизов должен был сделаться естественным антиподом Горького. Где-то в далеких началах они встретились за Четвыми-Минеями, почти в начетнической любви к письменности, к литературе. Но выводы из одной и той же книги они сделали разные, и цели их разминулись. Ремизов видел в русских людях необыкновенно много заманчивого, влекущего, выступал их плакальщиком и ушел от русской земли, унеся с собой горстку ее в ладанке. Горький же находил в «российском человеке» столько невнятного, отталкивающего, звериного, однако всегда оставался с русской землей не символично, а в беспримерно страстной действительной связи. И опять последовательно и со всем холодом он отвергал и содержание ремизовской мысли, и всю его хитроумную, изощренную технологию.

В письме ко мне из Берлина, посвященном работе «серапионов» и вопросу — «как писать», Горький сравнивает двух мастеров — Андрея Белого и Алексея Ремизова:

«Белый — человек тонкой культуры, широко образованный, у него есть своя оригинальная тема, ее, пожалуй, другим языком и невозможно развивать, она требует именно того языка, тех хитросплетений, которые доступны и уместны только для Белого. Ремизов — человек, совершенно отравленный русскими словами, он каждое слово воспринимает как образ и потому его словопись безобразна, — не живопись, а именно словопись. Он пишет не рассказы, а — псалмы, акафисты»,

Возвращаясь к Белому, Горький говорит о нем, что он «чувствует нечто, что даже и всей роскошью его слов, всей змеиной гибкостью языка его — выразить трудно».

И замечательно — тут же Горький спохватывается, верный своей обычной позиции — не создавать школ, побуждать молодого писателя не к подражанию, а к самостоятельности:

«Но — не поймите, что я рекомендую вам Белого или Ремизова в учителя — отнюдь! Да, у них — изумительно богатый лексикон и, конечно, это достойно внимания, как достоин его и третий обладатель сокровищами чистого русского языка — Н. С. Лесков. Но — ищите себя. Это тоже интересно, важно и, может быть, очень значительно».

Разве это не флюберовский дар — восхищаться тем, чего не любишь? Неукротимый интерес к явлению, личная заинтересованность в его бытии, и в результате — с точностью взвешенный, как бы бесстрашный приговор: да, я имею дело с одним из обладателей сокровищами русского языка — Алексеем Ремизовым; его мастерство я буду изучать, но следовать ему не стану, потому что оно неприемлемо для моего понимания искусства. Опять и опять звучит знакомое назидание: слушайте, но не слушайтесь.

Таков был высший принцип Горького-художника, и таков был плодотворнейший принцип Горького-учителя в действительно рабочем его общении с молодой литературой.

Я лежал в Обуховской больнице. На третий день после операции Греков зашел ко мне в палату и, улыбаясь, присел на постель.

— Ну, как — ничего? Ничего, — ответил он сам, одобрительно кивнув.

От него пахло табаком, его седые усы были безжалостно протравлены никотином. Я смотрел ему в умные, усмешливые глаза, стараясь угадать — плохо мое дело или нет.

— Мне о вас докладывали ассистенты. Сам я, каюсь, не заглядывал: все равно эти три дня ничем не мог бы

помочь. А теперь — дело в шляпе: выжили. Должен сказать, мало удовольствия резать знакомого человека.

Он опять кивнул — ничего!

Кроме докторской привычки обращаться с больными, как с детьми, он обладал умением говорить о жизни и смерти запросто, как будто стоял с природой на равной ноге. Кое-когда брала верх природа, кое-когда — он. Он чаще. Его слава была большой. Работая на старой, громадной фабрике смерти — в Обуховской больнице времен Екатерины, — он мог позволить себе не стеснять свою врожденную дерзость, и это выработывало его хирургический жест, его прием — неповторимый, сразу опознаваемый, как почерк.

Много позже я присутствовал на одной из его операций. Он работал размашисто, сильно, грубовато, и если уж вскрывал человека, то распутывал все его хозяйство, словно шутя перебирая в больших руках внутренности и — к моему великому испугу — стряхивая с операционного поля отпавшие с сечения кусочки жирового покрова, как крошки со скатерти — на пол. Он ощупью всовывал назад пересмотренные органы и, дойдя до кишок, размещал их сверху как-то приблизительно, наскоро, будто уложив в посылку вещи, набивал пустые места стружками.

— Все образуется, — сказал он, вскинув на меня глаза, — сами найдут, где им лучше.

Он взял иглу, наложил один шов, взял вторую иглу, но бросил ее:

— В Америке это доделывают студенты.

Его помощники стали оканчивать работу: посылка зашивалась легко и быстро.

Эта манера, этот почерк был далеко известен. Как-то я показывался одному профессору в Берлине. Не успел он взглянуть на давний послеоперационный шрам, как спросил:

— Грековская работа?

Рука Грекова — позволено сказать — не церемонилась — резала щедро, широко. Он был автором многих уникальных операций. Во время революционных боев в феврале, в июле, в октябре к нему несли с улицы раненых. Одну за другой он сделал несколько операций по поводу ранения в область сердца, и люди оставались живы.

Он рассказывал:

— Самое замечательное в этих операциях не хирург. Самое замечательное — сердце. Приносят человека, с виду — мертвец. И ясно, в чем дело: рана либо в грудь, либо под лопатку. Прямо, без подготовки, кладут его на стол, делают резекцию трех ребер, и вот вынимаешь из грудной клетки сердце, облитое кровью, и пока нащупываешь — где рана, оно почти неподвижно у тебя в руке, а нащупаешь, и заткнешь пальцем рану, и остановишь кровотечение, так оно начинает биться в руке, и тут уж его надо держать как следует, — оно, того и гляди, вырвется, и все крепче и крепче бьется и с непонятной властью гонит, гонит кровь. Чудо! И уж только давай наркоза, а то мертвец-то ожил и, чего доброго, еще очнется, не даст и швов наложить... Это, знаете ли, — вот когда оно в руке трепещет, — это я ни с чем в жизни не могу сравнить...

И, держа растопыренную свою большую руку и глядя на ладонь, Греков ждал молча, когда пройдет растроганность, и тем, кто слушал его, тоже бывала нужна эта минута молчания.

Однажды к нему привели девушку, которая остановилась в росте и во всем развитии. Он нашел, что болезнь происходит от приращенного порока, ее бедренные кости были посажены чересчур узко. Он предложил расставить кости. Идея и ему казалась рискованной, но выбора не было: девушка превращалась в уроду и очень страдала. Родители ее дали согласие на операцию. Он выдолбил новые вертлужные впадины в безыменных костях таза и раздвинул бедренные кости. Этот небывалый эксперимент над природой больная перенесла, но окончательный исход операции долго не был известен Грекову, потому что родители увезли дочь далеко в Сибирь. Года через три он получил письмо с фотографией, на которой была снята молодая цветущая женщина с ребенком на руках. Женщина была ему не знакома, и только из письма он вычитал, что это его пациентка, на которой он когда-то, исправляя небрежность природы, поставил опыт создания человеком тазобедренных суставов. Оказалось — после операции девушка выросла на шесть вершков, вышла замуж и родила здорового ребенка.

Если такой врач не только не хвастается своими удачами, а как будто сам немного удивляется тому, как у

него все выходит, он внушает, конечно, серьезное доверие больному.

Но когда, проснувшись от тягостной боли во всем теле, вдруг узнаешь, что был без сознания три суток, что отравился хлороформом марки каких-то киевских кустарей, что у тебя воспаление легких и твой хирург говорит, что теперь — дело в шляпе, ты выжил, — тогда естественно заглянуть в его глаза с сомнением. Мне показалось все же, что каким-то чудом Греков уже распознал хороший исход. Он был лекарем пироговской складки, в сущности — художником, придававшим большую важность тому своеобразию науки медицины, которое дало ей право называться искусством. И конечно, у него была очень развита догадка, интуиция, чутье.

Но ни наука, ни искусство не имели особой власти над человеком в то время, вскоре после гражданской войны. Высшая власть все еще принадлежала быту. В необъятную, как крепость, больницу мои друзья приносили вязанками дрова, чтобы согреть палату, где я лежал. Кастрюльки с едой, лекарства, подушки, простыни, все, не исключая термометра, больной вынужден был добывать за пределами больницы. Она предоставляла только свои крепостные стены, редкие дозоры врачей и полумертвую вахту санитарок.

И вот однажды, следом за гостинцем в виде плоски киселя или пшенной каши, мне был принесен сверток, перевязанный шпагатом. Это были деньги. Это была целая пачка, целый ворох деньжищ, с подсчетом которых мог бы совладать только банковский кассир. Это был один миллион рублей. Разумеется — инфляционных рублей, коих потребовалось бы, скажем, двести тысяч, чтобы купить на базаре одну курицу. Но все-таки один миллион рублей, еще не успевший получить презрительную уличную кличку «лимона». И что всего поразительнее — этот миллион был прислан мне Горьким.

Михаил Словимский, озолотивший меня этим душем кредитных бумажек и чрезвычайно довольный произведенным впечатлением, старался усилить эффект подробностями и говорил с улыбкой;

— Горький пишет, чтоб ты тратился только на еду, и непременно велит сообщить — как ты себя чувствуешь... Он поручил всем серапионам за тобой ухаживать... Нам теперь в два раза страшнее за тебя. С твоей стороны

было бы просто свинство, если бы ты умер... Пожалуйста, сделай одолжение, не подведи нас...

В самом деле, казалось неловко отплатить за такую заботу иначе, чем основательным выздоровлением. Но и помимо шуток, мне ведь не раз пришлось гадать, как надо держать себя перед лицом повелительного великодушия, с каким Горький являлся в моей судьбе в час нужды. А тогда было начало целой полосы острого внимания Горького к судьбе молодой литературы, — когда он, из Херингсдорфа, из Саарова спрашивал то одного, то другого: что вам нужно, чего не хватает для жизни, что мешает работе? Он вдруг прислал каждому «серапиону» по костюму, и так как ни один костюм не был по мерке, то перед нами стала невероятная шахматная задача: каждый должен был проиграть по партии всем своим партнерам и в то же время выиграть одну партию сам. Всеволод Иванов получил от КУБУ третью, потом четвертую пару сапг и, наконец, взмолился перед Горьким: помилосердствуйте, мне не сносить их всю жизнь! Пятнадцать — двадцать лет спустя эти странные факты подверглись юмористическим описаниям. Но хотя они были веселы и в момент их совершения, мы чувствовали тогда их героическую природу больше, чем веселость.

С прозрачной отчетливостью увидел я Горького в момент прощанья с ним на Кронверкском, — как он, закашлявшись, тряс указательным пальцем, чтобы я подождал, дал ему откашляться, и как потом сказал:

— Вот погодите, за границей выйдут мои книги, получу гонорар, пришлю денег. Всем серапионам.

И последние его слова:

— Главное — послеоперационный период... Ну, это мы наладим.

И правда: вся моя диета в Обуховской больнице и после нее была обеспечена сказочным миллионом, свалившимся мне на койку неожиданно-негаданно. Говоря попросту, для меня это было спасением жизни.

Перед выходом из больницы я рассказал о миллионе Грекову. Он знал Горького. Как многие ученые, которым Горький был близок за годы революции, он говорил о нем с трогательной доверчивостью, как будто опасаясь неточным словом задеть собственное чувство признательности к нему.



— И какой у человека полет! — сказал он под конец. Он проводил меня, когда я расставался с палатой. Он был весел и относился ко мне, как к своему произведению, и я подумал, что в этом было нечто подобное отношению Горького к писателям помладше.

— Приходите ко мне, — сказал он, слегка подмигивая. — Я вам позволю, и мы с вами проверим за столом, правильно ли я вас перешил...

То, что представлял собою в те годы дом Грековых, никто не назвал бы салоном. Это был скорее дом отдыха, где изредка сходились в довольно нечаянный круг люди искусства и науки, самые разношерстные по талантам и возрасту, объединенные либо радушием, либо благоговением хозяев.

Грековы жили на Ямской, впоследствии переименованной в улицу Достоевского. Весь этот район окрашен мрачно, его дома тусклы и жмутся друг к другу, точно от страха, — петербургские на одну выкройку дома-ровни, прямые, но как будто сутуловатые, с непроницаемыми, большими окнами, которые хочется населить тайной. Именно здесь должен был жить Достоевский, должны были жить его герои, да они здесь и жили, и они преследуют воображение, крадутся за тобою по пятам, едва на тебя опустится сырая тень узких улиц и глянут на перекрестке одинаковые, темные, высокие углы домов. Вот отсюда и должен был выйти через любые ворота тот человек и пойти к своему преступлению, мимо тебя, хоронясь от тебя, по Ямской, к Пяти углам, и дальше по Вознесенскому проспекту на Сенной рынок, и еще дальше, по Садовой. То есть все это, конечно, сочинено, и маршрут того человека, наверно, тобою позабыт и потом воссочинен заново но важно то, что именно здесь все запечатлевалось Достоевским, доказавшим, что сочинение превосходит действительность сжатостью, собранностью своей правды, и вот эта правда: окрестности Ямской были и остаются заповедным районом Достоевского, для тебя и для всех, навсегда.

В этом районе и находилась неожиданная по внешнему контрасту с ним квартира — профессорская квартира с большой приемной-залом, с кабинетом хозяина и медицинской комнатой, со многими отдельными апарта-

ментами для домочадцев, с целыми квартирами в квартире и среди них — кабинетом хозяйки, откуда не то чтобы раздавалась мелодия дома, но звучал явственный, постоянный обертон. Можно было бы, не выходя из квартиры, писать о жильцах ее роман, и тогда скрытая, очень глубокая печать выжглась бы на посвященных им страницах, где-то в подпочве страшно сблизив их судьбы с тем именем, которое витало за пределами квартиры, над Ямской. Докторская, профессорская слава провела дом в неприкосновенности через войну и революцию, и — немного обветшав — он всплыл, как в гавань, со своими картинам и лампами, со своими диванами и с концертным роялем, всплыл в новые времена, чуть-чуть покачиваясь на волне домашних событий.

Мелодия дома пелась и пелась не переставая. Лейтмотивы попеременно вылетали из кабинета профессора и кабинета его жены, громогласно соединяясь в столовой, где хлебосольство масштабов истинно дореволюционных бушевало в схватке с гостями, медленно отступавшими под его напором. Лейтмотивом хозяина была любовь к настоящим, большим в своем деле людям. Лейтмотивом хозяйки было ее обожание искусства и славы.

Многие из писателей относились к дому Грекова с поощрительной иронией. Им казалось, что они были значительнее, взрослее или умнее традиций, которые их тут встречали. Особенно так настраивали литературные занятия самой хозяйки, всю жизнь писавшей повести в чересчур домашней манере. Она очень тяжело переживала свои роковые неудачи, конечно, погибла бы от них, если бы великодушный муж не примирился с ее слабостью и не издавал бы иногда ее сочинения, так что она могла подносить друзьям свои книги с трогательными надписями. В этой истории с выпуском повестей на собственные деньги и с консервированием изданий в каком-нибудь из квартирных углов или на чердаке было нечто простосердечное и широкое, соответствовавшее духу всего дома. Литературная слабость или даже болезнь хозяйки (гораздо более распространенная, чем могут себе представить нелитераторы) была, конечно, обременительной. Но я нахожу, что слабость эта возмещалась ее восторженным преклонением перед литературой. Уже совсем зрелый человек, она казалась студенткой Высших женских курсов, которая замерла в экзотическом состоянии.

Однажды ее первый рассказ удостоил похвалы Михайловский. После этого странно было бы, если бы она не считала заблуждением все неодобрительные отзывы о ее трудах. Но как у ценителя литературы, у нее было единственно — я полагаю — правильное отношение к ней: эмоциональное. Она могла и рассуждать о литературе, но это было неважно. Она любила ее, и это было все. Она уничтожила бы человека своими слабыми руками, если бы он посмел сказать о литературе, что это — просто бумагомарание. И я оправдал бы ее.

Поэтому я не принадлежу к тем людям, которые говорили о доме Грековых снисходительно. Нет, я считаю, что в иную эпоху его непременно назвали бы салоном и о нем писалось бы в каждом мемуарах.

Находясь в самом петербургском углу Петербурга — в углу Достоевского, — дом был не очень петербургским. В нем жили добротные краски провинции, но — провинции в столичном масштабе. Интерес к людям здесь часто переходил в дружбу, искренность господствовала, веселье было бесхитростным, и только чопорный либо очень зазнавшийся человек мог себя чувствовать у Грековых не на месте.

Чудесно было находиться среди гостей, когда худенький мальчик, с тонкими поджатыми губами, с узким, чуть горбатым носиком, в очках, старомодно оправленных светящейся ниточкой металла, абсолютно бессловесный, злым букой переходил большую комнату и, приподнявшись на цыпочки, садился за огромный рояль. Чудесно — ибо по какому-то непонятному закону противоречия худенький мальчик за роялем перерождался в очень дерзкого музыканта, с мужским ударом пальцев, с захватывающим движением ритма. Он играл свои сочинения, переполненные влияниями новой музыки, неожиданные и заставлявшие переживать звук так, как будто это был театр, где все очевидно до смеха или до слез. Его музыка разговаривала, болтала, иногда весьма озорно. Вдруг в своих сбивчивых диссонансах она обнаруживала такую мелодию, что у всех приподнимались брови. И мальчик вставал из-за рояля и тихонько, застенчиво отходил к своей маме, которая румянилась, улыбалась, как будто аплодисменты относились к ней, а не к ее бессловесному сыну. И когда музыканта обступали со всех сторон, требуя поиграть еще, а он сидел,

сердито опустив под очками глаза и держа руки на острых, мальчишеских коленках, мама говорила:

— Ну, поди, Митя, сыграй еще.

Митя тотчас послушно вставал и по-детски угловато шел к роялю. Прикоснувшись к клавиатуре, он опять быстро мужал, наполняясь действительностью, без которой немислима большая музыка, и те, кто обладал способностью предчувствовать, уже могли в сплетении его причудливых поисков увидеть будущего Дмитрия Шостаковича.

Иногда музыку слушали из столовой. Все откидывались на спинку стульев. Только один человек, не меняя позы, сосредоточенно глядя в тарелку, потрагивал вилкой листочек салата или хлебный шарик. Грузный, с плечами борца, с подбородком, положенным на грудь, этот человек сосредоточивал на себе все взгляды, в то время как музыка, словно обойдя и проверив комнату за комнатой, овладевала притихшим домом. Некоторое почтительное умиление распространялось среди слушателей. Потом, когда музыка смолкала, все принимались аплодировать, и грузный человек постукивал тихонько вилочкой по краю тарелки, как концертмейстер — смычком по скрипичной деке. Его спрашивали осторожно, будто на ощупь:

— Какого вы мнения, Александр Константинович? Ведь как будто исключительным пианистом обещает быть молодой человек?

Он отвечивал очень тихо, подумывая и передыхая после каждого слова:

— Я... полагал бы... что... может... выработаться... музыкант.

Затем он сопел, пожевывал губами, наклонял голову к вопрошавшему и добавлял:

— Немного... суховат... Но техника... конечно... налицо...

И сразу трогалось от гостя к гостю и вслух и шепотом:

— Одобрил технику!.. Да, Глазунов одобрил!

Тогда из зала появлялся исполнитель — светлолицый курчавый юноша, на редкость правильных черт лица, правильного сложения, каких-то правильных, безошибочных линий, полных такта и стройности. Его приветствовали:

— Bravo, bravo, Софроницкий!

А он, с красными пятнами на щеках, не видя никого, глядел на Глазунова — что тот скажет. И Глазунов пристукивал по краю тарелки вилочкой, на этот раз — скупее, всего — раз, два! — строго, как учитель, отвечая на вопрос ученика, — хорошо ли выполнен урок: да, хорошо. И тут у Софроницкого еще краснее делались пятна на щеках, и он уже с облегчением принимал похвалы и слева и справа.

Пиршественным апогеем за столом бывало пение Павла Захаровича Андреева. Он принимал аплодисменты по-актерски: да, да — говорило его счастливое, повелительное лицо, — вот так и должно быть, — вы будете аплодировать, а я — принимать аплодисменты, на то я и актер, на то вы — публика. Ну, еще, еще! Я ведь не говорю, что не буду петь, я с удовольствием спою, но попросите еще, еще, еще. Ну, вот так, отлично... Он распрямлялся — медленно, как будто продолжая говорить: смотрите, какой я красочный, большой, великолепный. Действительно, он был красив, — прямой, широкогрудый, монументоподобный. Он откашливался могуче, набирая грудью титана воздух, и вся громадина стола, с холмами русской снеди, с озерами питей, все знаменитости вокруг стола и все простые смертные сладостно погружались в донное царство его баса. Он пел жизнетрепещущий «Гимн Гименею», и в этот миг, наверно, самым нескладным и злым супружеским парам казалось, что их брачные узилища повиты неувядаемыми розами блаженства.

Как хорошо слушали музыку и пение академики, профессора, врачи! В отношении художников к искусству есть что-то похожее на отношение настройщика станка к своему «агрегату»: чересчур большое понимание механизма. А эти лица и — может быть, особенно лицо самого Грекова — превращались искусством в роденовские маски, существом которых является переживание. Это были потребители искусства. Они покрывались слезами, они сияли, они зажмуривались, чтобы ничто не мешало слушать. Я был счастлив от одного созерцания такого счастья. Эти люди освобождались от своего повседневно. Кравков забывал о своих подопытных птицах, о своей лаборатории, за трудами которой следила вся физиология. Турнер переставал думать о своей ортопедии, о своих студентах, о своей Военно-медицинской академии. Молодые врачи учились у стариков, насладившись тру-

дом, наслаждаться досугом. Они тоже благодарно потребляли искусство...

Литературный диван дома бывал самым разноцветным. С улыбкой отдыхающего сатира посасывал мундштучок Замятин. Исподтишка пытал каждого бесовским взором Ремизов. Существо самого чистого сердца в мире — Шишков — Человек-Добро, — заштриховав сетью морщинок лукавые глаза, смеялся беззвучно. Топыря накрахмаленную манишку, выпирающую из смокинга ободом, будто собравшись укатить бог весть куда на этом колесе, что-то торопился дожевать Василий Иванович Немирович-Данченко.

— Вы один все такой же блестящий, как всегда, — горковала ему хозяйка.

И он, гремя тугой манжетой, скользнув пальцами по бакенбардам, рассыпчатым и поблескивающим, как рис, отвечал с кокетливым задором и слегка шепелявя:

— Старая гвардия умирает, но не сдается.

Иной год появлялся за столом и оглядывал его, как комендор боевую башню, — с чего начать? — непререкаемо молодой Алексей Толстой. Иной год набирались, кто знает — откуда, непререкаемо старые писательницы «Живописного обозрения» и «Журнала для женщин».

Все эти люди, среди которых можно было найти как инвалидов Плевны, так и молодежь, едва начавшую возвращаться домой позже определенного мамы часа, не проявляли особой приверженности к салону на Ямской, хотя многие гости, перестав бывать на грековских вечерах, возобновляли потом посещения через год, два и больше. Но все-таки в собраниях что-то было похоже на те богатые вокзалы узловых станций, где подолгу ждут пересадки довольно часто ездящие все теми же местами пассажиры: буфетчику давно уже примелькались эти лица, и то они исчезнут, то снова появятся, а поезда идут, идут все в одних направлениях и все по одному расписанию, пожелтевшему на стене и с замусликанной дыркой на том месте, где означена эта станция.

Но был один непререкаемый пассажир на этом вокзале, постоянный, вечный гость дома, его действительный член — Аким Львович Волинский.

И здесь могла бы начаться особая глава или даже целая книга.

— Пришел Аким Львович! Пришел Аким Львович!

Весь дом устремлялся в переднюю. Гостя разоблачали, он проводил рукою по лысеющей голове, подсушивал платком заслезившиеся выпяченные глаза и начинал величественно здороваться.

Он был маленького роста, очень худой, с лицом истощенным, перерезанным вдоль и поперек морщинами, настолько подвижными и сборчатыми, что казалось, будто кожа его лица заготовлена на череп значительно большего размера. Но и его череп был не мал — с высоко вскинутым лбом, с глазницами величиной в старинный пятак и с надменной горбиной носа. Его скруток напоминал тогу, не потому, что был плохо сшит (он когда-то был сшит прилично), но благодаря позе римлянина, которая была присуща Акиму Львовичу. Он ходил как будто на котурнах, поворачивался медленно всем узеньким корпусом, жестикулировал приподнятой и отодвинутой от корпуса рукой, вращая кистью и оттопыривая изогнутые пальцы. Он говорил лаконично и даже не говорил, а как бы оглашал невидимые заповеди скрижали. Просто рассказывать он не был в состоянии, он мог лишь держать речь, ему было доступно только ораторство. Он был очень ласков со всеми людьми, но в ласке его заключалась такая снисходительная благосклонность, что он должен был сам себе казаться высокопоставленной особой. Он несомненно сочетал в себе чувство особой избранности, какое сопутствовало великолепному идальо из Ламанча, с благородной привлекательной скромностью, украшавшей незабвенного рыцаря. Мне представляется, что он никогда не усомнился в величии своего призвания и это, конечно, отразилось на его манере. В полной гармонии была его внешняя стать с его воззрениями на искусство, важность которого для него была столь велика, что свое жреческое служение ему он воспринял как нечто государственное. Он мне сказал однажды по поводу своего сочинения о Рембрандте:

— Я передаю этот свой труд государству!

И, словно в свете молний, я увидел Акима Львовича на парадном возвышении, перед лицом затаивших дыхание академиков: торжественно он подносил свиток пергамента государственному сановнику в орденах, и уже мерцали над его откинутой головой словно оживавшие листья лаврового венка. Стояли же мы с Акимом Львовичем на каком-то перекрестке канала Грибоедова, неподалеку от

Госиздата. Но я тогда же понял, что он ни при каком случае не мог бы сказать: «Я передаю свой труд Госиздату». Не Госиздату, а государству, именно, именно государству, — так приподнято он думал о деле искусства и своей миссии литератора.

И вот, маленький, в сюртуке, с платочком в кончиках пальцев, которым только что вытерты слезящиеся глаза, точно римлянин, увенчанный призом за некое героическое деяние, Аким Львович принимает приветствия друзей, обступивших его с любовью в передней комнате грековского дома.

Авторитет Волынского был здесь обожаем. Его выступления за пышным столом сводились, правда, к самым шутливым или чувствительным тостам. Но в несколько слов он всегда вкладывал частицу самого себя — своего отношения к искусству, к призванию.

Когда-то он приобрел известность как противник Михайловского, которого он атаковал несколько беспредметно и декларативно, побуждаемый Лесковым отдать этой борьбе все силы. Хозяйку дома, когда она еще была студенткой и написала свою первую повесть, Михайловский похвалил. Однажды кто-то вспомнил о журнальных дуэлях Волынского с Михайловским, и, как ни отмалчивался Аким Львович, воспоминатель все добивался, всегда ли тот был справедлив к Михайловскому. Тогда Волынский сказал:

— Я принужден чрезвычайно сожалеть, что один раз оказался, волею судьбы, несправедливым к такому блестящему своему оппоненту, каким был покойный Михайловский. В одном случае я должен был бы не только согласиться с его суждением и одобрить его образ действий, но и сам поступил бы совершенно так же, как поступил он. К сожалению, ни Михайловский, ни молодая писательница Елена Грекоза своевременно не посвятили меня в то значительное обстоятельство, что он приветствовал ее литературный дебют. Позвольте считать, что вы, наш дорогой друг, Елена Афанасьевна, являетесь виновницей единственной допущенной мной несправедливости к Михайловскому: мне не пришлось его приветствовать за то, что он приветствовал вас.

И Аким Львович элегантно поднял бокал вина в честь хозяйки,



Он всегда бывал разителен своим жестом — театральным, но таким естественным, что никому бы не пришло в голову сказать, что этот человек рисуется, и в моем представлении об уходящем Петербурге, о первых годах Ленинграда он остался словно врезанный в доску графюры.

В белые ночи по застывшему Невскому шествовал он от Грековых к себе в Дом искусств — черная, маленькая, но странно внушительная фигурка — в сюртуке и большой шляпе. Оттопырив палец и держа его перед носом, будто обращаясь к нему, он вычитывал что-нибудь из своих невидимых скрижалей. Это бывали исторические экскурсии в древность, в библейские темы времен, философские рассуждения о живописи или импровизации о танцах.

Впрочем, последняя тема развивалась обычно не на Невском, а на Мойке, по дороге из Мариинки, после какого-нибудь балета. И тут Аким Львович проявлял себя неудержимым, огненным мечтателем, потому что балет был не только его страстью, предметом идеальных вдохновений, — балет был его религией, во всяком случае, одной из его религий.

Да это и не могло быть иначе. Человек, который не писал, не сочинял, а создавал книги о Достоевском, о Лескове, о Леонардо да Винчи, о Рембрандте, не мог, конечно, просто пописывать о балете, как газетный критик, как репортер. Балет был для него явлением, стоявшим в ряду этических основ человеческого духа. Приход Спесивцевой он назвал «рождением богини». Юная Лидия Иванова — балерина с судьбой Адриенны Лекуверр — воспринималась им как категория небожительства.

Он писал о балете гимны на языке, соединявшем научный трактат с любовным бормотанием, лабораторный анализ с богослужением. И снова он не написал, а создал книгу — книгу о стальном носке, как мифическом боге, и назвал эту книгу, как жрец, — «Книгою ликований».

Но ему было мало книг, мало бесчисленных огромных статей о балете, печатавшихся журналом «Жизнь искусства» с почтительным недоумением и даже страхом. Как жрец, он не мог удовольствоваться одними заповедями и требником. Ему нужны были храмы, ему нужен был Олимп.

И он создал храм, куда ходил ежедневно и где молитвенно отдавался приношению жертв своему богу. Он учредил школу классического балета, и я видел его по утрам за созерцанием экзерсисов маленьких учениц, когда они, расставленные на сцене, как на обаятельных постелях Дега, с цирковым усердием и трудом изучали позиции номер такой-то и такой. Аким Львович смотрел на этих будущих Адриенн со сладостной болью восхищенья, мысленно отсчитывая такты музыки, и казалось, что самый запах мышечных усилий поглощался им, как нектар.

Он отдавал последний грош своей любимой школе, он торговался за нее, за ее будущее с театром, с педагогами, с самим государством, а сам жил в пустой комнате, с одиноким, кухонным столом посередине, с железной кроватью, жил, как послушник, на хлебе, селедке и чае и не представлял себя, не мог себя представить в иной жизни.

Его комната в Доме искусств была наиболее уважаемой, мимо нее проходили бесшумно, у его дверей не останавливались поболтать, Ефим говорил у ее порога шепотом:

— Аким Львович трудятся.

Аким Львович всегда трудился, то есть писал, а если нельзя было писать, за отсутствием света или из-за невозможности водить замерзшей рукой по бумаге, Аким Львович размышлял. Ибо Аким Львович был человеком не только мечтательным, экстатическим и театральным, он был человеком серьезным, и его серьезность корнями своими уходила в давность, была историчной.

В конце прошлого века Волынский вел журнал «Северный вестник», в восьмидесятых годах руководимый Короленко и Михайловским и считавшийся настолько почтенным, что Антон Чехов — уже знаменитый писатель — слегка побаивался его. Напечатав в журнале рассказы «Степь» и «Огни», Чехов признался, что уже теперь ему нелегко решиться «выкинуть тру-ля-ля» — написать какой-нибудь «водевильчик», — потому что подобное легкомыслие «Северный вестник» ни за что не простит.

Лев Толстой дал себя уговорить серьезной редакции и поместил в «Северном вестнике» один из самых известных своих рассказов.

С гордостью и торжеством Аким Львович посвящал меня в это отдаленное событие. Сидя на своей плоской

больнично-убогой койке, прислушиваясь, как отзывается пустая комната на его грассирующую речь, он говорил:

— Итак, рукопись Льва Толстого была у нас в редакции. Она называлась «Хозяин и работник». Мы прочитали ее со слезами на глазах. В тот же час она была в руках наборщика. Лев Николаевич поставил нам условие — прислать ему корректуру. Его требование было для нас священно. Как только были готовы гранки, мы отправили их в Москву, в Хамовники, и стали с нетерпением ждать их, когда они вернутся. И вот проходит день за днем, неделя, другая, а гранки не возвращаются. В редакции — страшное волнение. Мы вынуждены перенести печатание рассказа в следующий номер и пишем об этом в Москву. Наконец гранки приходят. Но, боже мой! Что это такое?! От прежнего текста рассказа не осталось камня на камне, каждая гранка исчеркана вдоль и поперек рукою Толстого так, что совершенно невозможно править корректуру. Но хуже всего то, что неистовый автор, так беспощадно поступив со своим рассказом, в письме к нам просит снова прислать ему гранки на корректуру. Мы тотчас отдали сделать новый набор и отправили гранки, прося Льва Николаевича как можно скорее их возвратить. Опять началось ожидание, опять пролетают недели, опять мы отодвигаем публикацию рассказа и пропускаем очередной номер. Письмо за письмом летит в Москву. И вот снова прибывают гранки рассказа, и — о, ужас! — снова мы насилу разбираемся во вставках, перечеркиваниях, перекройках Толстого и абсолютно теряем головы перед новым требованием — еще раз прислать гранки — на корректуру. Теперь уж осталось немного исправить — писал нам Лев Николаевич, — и он не задержит долго корректуру... Мы заставляем типографию еще раз перебрать весь рассказ, и редакция решает, что я должен лично отвезти Толстому гранки и вернуться в Петербург с окончательной правкой. Это была неслыханная дерзость, но — скажите — что нам оставалось? Рассказ Толстого был обещан при подписке, наши недоброжелатели, конкуренты, враги начали распускать слухи, что «Северный вестник» обманывает подписчиков, что у редакции нет никакого произведения Толстого и никогда Толстой не даст, конечно, ничего «Северному вестнику». Мы обязаны были сделать решительный шаг, этого требовала наша честь. И я по-

ехал к Толстому. Вы представляете, это происходило в девяносто пятом году. Мне было тридцать с небольшим. Поверьте, — я трепетал. Но когда меня встретил взор Толстого, взор, который для каждого взглянувшего в него становился воротами во вселенную, мой трепет превратился в ликование. Лев Николаевич был со мной ласков и добр. Он сказал: «Вы беспокоитесь, что подумают о нас с вами читатели? Я тоже беспокоюсь о том же. Поэтому я так долго и работаю над рассказом. Спасибо, что вы привезли мне гранки. Возвращайтесь спокойно в Петербург, я скоро приплю вам корректуру». Я думал — все сделано, и вернулся домой победителем. Но скоро это заносчивое чувство прошло: гранок опять не было и не было. А когда они прибыли, увы, — мы увидели знакомую картину: все пестрело исправлениями, и автор требовал прислать еще одну корректуру. Вы думаете, на этом кончилось? Нет, так продолжалось и дальше! Четвертый раз нам показала эта история коварством, в пятый — пыткой. Но и пытке приходит конец. Наступает день, когда гранки возвращаются к нам с долгожданной надписью — «Можно печатать», — и в конце концов мы держим в руках «Северный вестник» с «Хозяином и работником» Толстого... Вы помните этот шедевр! Я знал тогда все пять вариантов наизусть. И вот сейчас я сказал — пытка. Да, нельзя назвать другим словом мое терпение, мое страстное желание скорее напечатать Толстого. Но я присутствовал при рождении шедевра, и никто лучше меня не понимал, что, если бы Толстой потребовал не пять, а двадцать пять корректур, мы с благоговением должны были бы произвести такую работу. Помните ли вы описание метели в рассказе? В первоначальном тексте оно занимало целых две страницы. Затем Толстой сократил его до одной. Потом — до полстраницы. И в последней корректуре осталось только две-три фразы о метели. Но что это за фразы! Вы телесно ощущаете низвергшуюся на землю снежную массу, вы слышите на своем лице, у себя на руках жгучую влагу облепивших вас снежинок. Этот титан был волен над всеми силами природы. И я был свидетелем того, как он играл стихией у меня на глазах...

Этот рассказ Волынский излил со страстью оратора, ступившего на трибуну после долгого принужденного молчания. Он был детски счастлив своим кристальным

воспоминанием и счастлив тем, что никогда не поступался серьезностью своего кристального отношения к литературному делу. Он рассматривал себя бессребренным служителем его. Таким послухом в литературе и объясняется происхождение книг, подобных книге о Леонардо да Винчи, за которую город Милан избрал Вольтинского своим почетным гражданином. Нет сомнения, что за книгу о Рембрандте его ожидала бы не меньшая слава в городе Лейдене.

Против цирка, у Симеоновского моста на углу Фонтанки, в маленькой лавке под названием «Книжный угол», застал я однажды старика, ведшего разговор, который не мог не привлечь внимания. Да и сам старик тотчас останавливал на себе взгляд — бумажной сухостью лица, желчными извивами двух недвижных морщин над углами рта и какою-то стеклянной трезвостью светлых серых глаз. Искра узеньких очков находилась в язвительной переключке со всем лицом, усиливая холод глаз и надменно-насмешливое и горькое очертание губ.

Старик говорил со спокойной, навязчивой интонацией уверенного в себе педагога. Его почтительно и даже робко слушал молодой человек.

— Сравните начертание нашего печатного алфавита с латинским, букву за буквой. В латинском наборе, одну за другой, встречаешь буквы с выходящими над средним уровнем строки частицами, как в буквах l, t, d, h, или с опускающимися в междустрочье частицами, как в буквах f, g, p, q. Это дает известную опору для глаза при чтении. Глаз легко улавливает эти отступления от нормы, и, в результате, зрение не так быстро утомляется, как при чтении русского печатного текста. В нашем алфавите букв с подобным начертанием меньше ровно в два раза, чем в латинском. Это буквы р, у, ф, б. Значит, по-русски читать для зрения тяжелее в два раза, чем на любом языке с латинской азбукой. И значит, упразднение в русском алфавите буквы ъ, подымавшейся над средним уровнем строки, нанесло вред нашему зрению. По-нятно?

Молодой человек кивнул. Мне показалось, что если бы он не торопился это сделать, то старик прикрикнул бы на него — «поди, стань в угол!».

Я подождал, когда, распрощавшись с требовательной и даже вызывающей вежливостью, старик медленно вышел из лавки, и спросил: кто это?

— Федор Сологуб, — ответили мне.

До того как близко познакомиться с ним, я увидел его еще раз во «Всемирной литературе». И странно — опять он наставнически внушал или выговаривал слушавшему его литератору, на этот раз нечто на математическую тему, о какой-то геометрической лемме, и слушавший имел такой вид, будто ему стыдно, что он позабыл лемму, а Сологуб был доволен, что пристыдил человека, и посмеивался над его растерянностью.

Он любил ставить собеседника в тупик, вызывать смущение, неловкость. С людьми ненаходчивыми или застенчивыми он играл, как кот с мышью, и тогда беззвучный его смех, гладкое стекло его взгляда, перекликаясь с игрой очков, торжествовали над жертвой открыто и беспощадно.

Может быть, потому, что смущению поддавалась легче всего молодежь, Сологуб предпочитал общаться с ней — если приходилось общаться и возможен был выбор — с кем поговорить. Ровесников своих он не жаловал, проявляя к ним неотступную придирчивость. Стоило в его обществе заговорить старухе или старику, как обычная тайная насмешка превосходства исчезала с лица Сологуба, и, нацелившись, он только ждал минуты, чтобы рассмеяться открыто в глаза противнику.

Ум его был изысканно-точный, земной. Он презирал словесность, — то напластование фраз и красотостей, какими часто облачают мысли романтики и фантасты. Поэтому он не мог выносить Акима Волынского, и они были противны друг другу, как масло и вода.

Встречаясь на заседаниях Всероссийского союза писателей в середине двадцатых годов, Сологуб и Волынский вызвали впечатление, что, может быть, еще в девяностых годах прошлого века они чего-то не поделили между собой в «Северном вестнике», где возник этот псевдоним — Федор Сологуб, и с тех пор все делят, делят и не могут поделить мировоззрения, славы, авторитета, кресел на заседаниях, — бог знает чего. Как вседержитель-судия, изрекая сентенции, вносил предложения, декламировал резолюции председательствовавший Волынский. Безукоризненно вежливо Сологуб просил

у Волынского слова. Безукоризненно вежливо Волынский предоставлял Сологубу просимое слово. Подшилочками колкостей и усмешечек Сологуб обпиливал пафос Волынского. В благородном негодовании Волынский отвергал язвительные возражения Сологуба. Раззадоривая, Сологуб подбрасывал в огонь реплики, ремарочки. Волнышками рассыпались стекла его очков. Он розовел от наслаждения. Он скатывался в комочек, как паучок, чтобы прыгнуть на жертву. Сладко было ему видеть, как выпячивались громадные глаза Волынского, сбились и растягивались гармоника его морщин. Боль пылкого сердца, трепет праведной крови радовали Сологуба. Трезвый его взгляд говорил: как мне хочется, так я шучу, — ты пророк, а я тебя съем, я тебя медленно, глоточками выпью до доньшка!

Эти сцены фехтований обыкновенно разыгрывались вокруг предмета, который справедливее всего назвать нулем.

*Волынский.* — Как ни покажется ограниченным, даже, быть может, мизерным и низводящим в житейское подполье нас, общество деятелей интеллекта, вопрос о бытовой поддержке наших товарищей, — долг нашего коллектива, долг каждого из нас как человека, долг нашей чести рассматривать этот вопрос с тою же скрупулезностью, с тем же педантизмом, с какими исследователь изучает явления космоса, как бы они ни были ничтожны. Было бы безнравственно, если бы общество писателей, всегда стремящееся быть самому себе примером, заболело микроспией или впало в состояние, при котором предметы кажутся глазу меньшими, чем они есть на самом деле. Прошу вас обсудить, таким образом, наш следующий вопрос — об оказании материальной помощи нашим сочленам, обратившимся к нам за такой помощью по достойным сожаления мотивам нуждаемости.

*Сологуб.* — Разрешите вопрос.

*Волынский.* — Слово для вопроса предоставляю Федору Кузьмичу.

*Сологуб.* — Не будет ли любезен наш уважаемый председатель разъяснить, о каком подполье он говорит?

*Волынский* (несколько растерянно, но с доброжелательной улыбкой). — О, разумеется, своей метафорой я не хотел ввести никого в заблуждение, как не могу допустить, что она будет истолкована тенденциозно. Я упустил из виду силу привычки, подсказывающей нам рас-

пространенное понимание слова «подполье» как политического термина. Я имел в виду, употребляя еще одну метафору, теснину общественной жизни, в которую нам необходимо спуститься, чтобы коснуться самых тривиальных сторон бытия — хлеба и воды.

*Сологуб.* — Не вижу ничего тривиального в хлебе и воде.

*Волынский* (примиряюще). — Не будем спорить о словах, Федор Кузьмич. Все зависит от точки зрения. Хлеб и вода — понятия евангельски простые, и в то же время из-за хлеба свергаются царства.

*Сологуб.* — Однако, Аким Львович, позвольте еще вопрос. Сколько наших сочленов обращается к нам за помощью?

*Волынский.* — Я держу в руках — раз, два, три, четыре — четыре заявления.

*Сологуб.* — Какой суммой располагает в настоящий момент Союз писателей?

*Волынский.* — Попросим нашего казначея, Анну Васильевну, посвятить членов правления в состояние его кассы.

*Ганзен.* — В кассе сейчас наличными три рубля двадцать копеек и, кроме того, на два рубля почтовых марок.

*Сологуб.* — Таким образом, верно ли я понимаю ваши слова, Аким Львович, как предложение спуститься в некое подполье или теснину, захватив с собой почтовые марки на два рубля и наличными три рубля двадцать копеек...

*Волынский* (взволнованно). — Я прошу вас...

*Сологуб* (беззвучно хохоча). — ...захватить почтовые марки... и коснуться тривиальных и одновременно евангельски простых сторон бытия...

*Волынский.* — Я просил бы не задерживать течение нашей работы хотя бы и остроумными шутками...

*Сологуб* (вдруг с ледяной степенностью). — Позвоительно задать еще вопрос: предохраняя нас от опасности заболеть микропсией, не впадаете ли вы, Аким Львович, в макропсию, то есть в состояние, при котором видимые объекты кажутся больше, чем они есть?

*Волынский.* — Как председатель, я полагал бы...

*Сологуб* (неумолимо). — Как председатель, я прошу вас дать мне возможность уточнить свой вопрос. Не увеличим ли мы наше могущество, если будем обсуждать



этот вопрос, в то время как на каждого нуждающегося нашего собрата приходится наличными всего по восемьдесят копеек?

*Волынский.* — Я обращаюсь к правлению: целесообразно ли продолжать наше заседание, когда некоторые члены убедительно демонстрируют свое желание его прекратить?

«Некоторые члены», в лице Федора Кузьмича, наблюдали за смятением председателя за застывшей усмешкой, которая долго держалась на полураскрытом рту с большими желтыми зубами и была будто облита глазурью. Голова Сологуба в такую минуту пугающе-резко очерчивалась, и тут мне вспоминается странный случай.

Живя летом в деревне Лужского уезда, я однажды на прогулке встретился с историком Кареевым. Мы проходили мимо сельской церкви, он вдруг взял меня под руку и сказал: «Зайдемте, я покажу вам кое-что весьма интересное». В церкви, в полусвете вечернего часа и в полной безлюдности, Кареев подвел меня к большой почерневшей от копоти «гогофе» и, показав необыкновенно длинным желтым ногтем мизинца на «Адамову голову» в подножии распятия, быстро сказал мне на ухо: «Федор Сологуб». Череп и правда будто улыбнулся мне желтой улыбкой Сологуба, так что я попятился, а старик Кареев, разглаживая свою бороду-фартук, с полным наслаждением захохотал тут же в церкви.

С тех пор, думая о Сологубе или встречаясь с ним, я видел всегда пергаментную, матово поблескивавшую костью «Адамову голову» и ее навеки неподвижное очертанье...

Но нет, это нельзя понимать так, что лицо Сологуба было похоже на череп. Оно обладало поэтической значительностью и даже красотой, свойственной людям исключительной внутренней сосредоточенности. Но в какие-то моменты оно как бы умирало, и этому впечатлению, конечно, содействовала легенда Сологуба-поэта. Когда он оцепеневал в злорадном превосходстве, которое мертвило все остальные его чувства, невольно заставлял он вспомнить, что ведь Сологуб есть синоним неприятия жизни, ужаса, страха жизни. Тогда в воображении лицо его подменялось «Адамовой головой».

Отдадимся могиле без спора,  
Как малютка своей колыбели, —

холодящий призыв этот стократ повторился в стихах и прозе. Сологуба — в удивительных по ледяной чистоте своих граней его «перезрелых творениях», как назвал их Белый. Призыв этот сделал из его имени то, чем оно стало в истории русского декаданта, — поэта смерти, то литературное обличье Сологуба, которое он не мог бы с себя снять, даже если бы захотел. Если бы он начал доказывать со всей присущей ему математической последовательностью, что он любит жизнь, никто не поверил бы ему. Если бы он возопил, и кричал, и стонал бы, что он привязан к радостям земли и весь свой век готов отдать только им, никто не услышал бы его. Так приросла к нему гипсовая маска смерти, созданная, вышлифованная его собственными усилиями. Он облек себя в саван, и кто же придаст значение его отчаянным жестам, какими он старался содрать с себя тщательно сотканное им самим одеяние смерти?

Еще лет за пять до революции Горький высмеял поэта Смертяшкина, покоровшего любителей его «поэзии» стихами, в которых были такие строки:

Со всяких точек зрения  
Мы только жертва тления.

Сологуб принял сатиру на свой счет и жестоко обиделся, написав протестующее письмо Горькому. Он не хотел, не мог смириться, что его, писателя Сологуба, клеймят тождеством с могилой. Горький ответил: успокойтесь, это не вы, это Смертяшкин — «тот безымянный, но страшный человек, который все — в том числе и ваши идеи, даже ваши слова — опрощает, тащит на улицу...».

В ответе этом слышался роковой для Сологуба ответ современности: вы не вольны в природе своей славы, маска ваша сильнее вас, вы надели ее, и для общества вы обозначены ею навсегда...

Однажды я попросил Сологуба подарить мне одну его книгу. Мы стояли в его комнате перед полкой с книгами вдвоем, никто не мешал нам. Он достал книгу, которую я просил, потом вдруг начал торопливо выдергивать с полок книгу за книгой, спрашивая:

— А эту вы знаете? А эту вы читали?.. Вот эту вам хотелось бы иметь?.. Эту я вам тоже подарю... И вот еще одну... А этой у вас нет?..

Проза и стихи, переводы и увесистые тома собрания сочинений — тяжелая пачка книг лежала передо мною, и аккуратно, нитяным почерком, с дореволюционной прописной фитой Федор Сологуб тонко начертил на каждой книге дарственную надпись.

По тому, как он заспешил, выдергивая с полок книги, как ему было приятно вызвать мою признательность за неожиданное подношение, я понял главную, скрытую драму Сологуба — его обреченность на одиночество.

Неуловимо смягчался этот, может быть, беспощадный человек при малейшем знаке внимания к нему. Вот появилась на скучном заседании коробка чайного печенья, и женская рука отбирает на тарелку любимое Сологубом лакомство. Стекло его взгляда плавится и тает, морщины вокруг рта мягко ползут вверх. По-мальчишески щурится суровый старик на председателя:

— Пока я буду занят печеньями, советую вам преспокойно провести все вопросы, вызывающие с моей стороны оппозицию...

Вот Сологубу сообщают, что на выставке писательских книг его трудам уделена особая витрина. И тотчас летит в ответ телеграмма, полная трогательных, благодарственных слов.

Вот, рассматривая фотографию, на которой Сологуб снят с женою за праздничным домашним столом, я говорю что-то сочувственное. И в ответ начинается раскрытие воспоминаний, страсть которых отчаянно борется с обстоятельной точностью рассказа.

Да, я одинок, одинок, и неужели не будет конца моему одиночеству?! — сколько раз был подавлен такой крик, да и вырвался ли он хоть раз у Сологуба?

Какой-то разговор со мною он кончил тоскливым сожалением:

— Хорошо бы, как прежде, надеть смокинг, воткнуть в петлицу хризантему и пойти вечером в клуб...

И я понял, что плохо не то, что больше не надевают смокингов и что нельзя купить хризантему: в сером непроглаженном своем пиджачке и без цветка в петлице Сологуб с великим счастьем пошел бы куда угодно, но некуда было ему идти. Его никто не звал. Его нигде не ждали.

Давно, давно он отвратил от себя жизнь славословиями смерти, и жизнь отвергала его,

В этом состояла драма жизни Сологуба, но этой драмой она не заканчивалась. Она заканчивалась трагедией его смерти, заключающейся в том, что он звал смерть, как избавление от страха жизни, а смерть явилась мстительницей.

Она явилась не сразу, а подкрадывалась исподволь, с ехидцей и заставила своего певца сначала прорешетировать гибель, а потом медленно погибнуть.

Жена и друг Федора Сологуба, соавтор многих его крупных произведений, в том числе таких, которые носят только одно его имя и приписывались всегда только ему, человек нераздельно-слитной судьбы с его популярностью и мучениями, с его одиночеством и страстями, с его исповеданиями и философией — Анастасия Чеботаревская исчезла однажды в осенний день, и следов ее не могли отыскать. Рассказывали, будто бы видели женщину, которая бросилась в этот день с моста в Неву, и тела ее не нашли. Сологубу предоставлялось считать конец неизвестной этой женщины участью его жены. Ему дано было много времени, целая зима, чтобы он привык к мысли, что все кончено, что жена ушла, не простившись. А потом, весной, она пришла проститься: когда вскрылась Нева, перед самым домом, где жил Сологуб, у Тучкова моста, всплыла утопленница. Сологуб был приведен к трупу для опознавания. Он пришел молча, застегнутый на все пуговицы, взглянул на погибшую, сказал: «Да, она», повернулся и ушел, застегнутый, ровным шагом, так же, как пришел. Ни движения руки, ни перемены в лице: бесплодны изливания мук перед неумолимым роком.

Смерть могла усмехнуться над своим поэтом: ты думаешь подавить рыдания и выстоять перед моим всемогуществом? Поживи с памятью о твоём друге, о гибели второго твоего «я», и посмотрим, отдашься ли ты своей могиле без спора...

Как-то раз Сологуб сказал мне:

— Я знаю точно, от чего умру. Я умру от декабрита.

— Что это такое?

— Декабрит — болезнь, от которой умирают в декабре...

Выражение лица его было шутливо-презрительным, как будто ему было до боли противно все знать о своей смерти и саму смерть, и шуткою он извинялся, что не

может не презирать этого чувства противности, отвращения от смерти.

И правда, он накликал на себя свой «декабрист»: в декабре двадцать седьмого года, прикованный одышкой к постели, в темном углу, за шкафом, он едва слышно выговаривает по одному слову, по полуслову между мучительными вздохами, по полуслову о том, как терзает его смерть, как хочется ему выброситься через окно на улицу или хоть завопить через окно на весь город, но и до окна доползти — нужна сила, а все силы, до последней капли, уходят только на то, чтобы вздохнуть и еще раз вздохнуть.

— О, если бы немного полегче вздохнуть! — выдавливает он с мукой.

Глаза его потеряли всю стеклянную трезвость и горят, сарказм исчез, жизнь, жизнь трепетала в его тоске о легком дыхании. Он спорил, отчаянно, иступленно спорил с могилой. Страх смерти заменил собою былой страх жизни, и, приближаясь к могиле, он словно оживал, и уже лицо его не напоминало «Адамовой головы», и ничего нельзя было в нем увидеть, кроме жажды — быть, быть, быть!

— Скоро я к вам в союз приду в деревянном сюртуке, — сказал он мне на прощание.

И он действительно, все в том же декабре, пришел в Союз писателей и пролежал сутки — день и ночь — на столе, в своем деревянном сюртуке. Я продежурил около него бесконечную ночь, и мне казалось, что новое лицо его говорило, что он, в сущности, очень любил жизнь, а свою несчастную игру со смертью проиграл и сдается.

Мы украсили деревянный сюртук цветами. Не помню — среди них как будто не было хризантем.

Мы привыкли к тому, что Горький — это реальность. Где бы он ни находился, где бы ни жил, он занимался нашими делами, устраивал наши судьбы, кого-то родственно пестовал, кого-то нещадно бранил, с кого-то взыскивал и — кстати, словно между прочим, — всегда оставался русским писателем, самозабвенно преданным своему призванию. Мы не можем себе представить своего времени без Горького, он входит составною частью в это обиходное понятие — наше время: в наше время был

Горький. Он принадлежал нам. Попробуйте отнять у нас эту нашу собственность — как сузится, повянет мир нашей культуры, как сиротливо станет жить среди книг, лишенных общества бесстрашного, вызывающего имени Горького.

Мы так привыкли к нему, что стало как бы подразумеваться, что Горький и должен был быть таким, каким он был.

Но ведь это чистейшая фантастика в облике реальности! Стоит только провести по лицу ладонью, взглянуть освеженными глазами в явление, с которым мы чересчур сжились, как оно нас глубоко поразит...

Где-то на берегу Неаполитанского залива, в голубом свете вод и неба, соединенных тишиною, в городке, прославленном звучнейшим именем Торквато Тассо, работает человек, познавший радость этого моря и этого неба, приносящий дань вековой гордости этого имени, наполненный нежной благодарностью к чудодейственному углу природы, когда-то исцелившему этого человека от болезни и давшему приют в годы его изгнания с родины. Но, несмотря на всю силу привязанности и уже почти сыновней близости к своему давнему пристанищу, все помыслы и все сердце человека каждый миг прикованы к стране, раскинувшейся в беспредельности на севере и востоке, с морями и небом совсем иных красок, с именами совсем иных звучаний.

Горький не увозил с собою на чужбину, как Ремизов, горсточку русской земли в ладанке. Русская земля была увезена им в своей душе. Он днем и ночью мечтал о будущем этой земли, он создавал ее будущее трудом, в котором вдохновение состязалось с упорством.

Связи Горького с Родиной начали возникать с момента отъезда его в Сааров, под Берлином, и затем налаживались в Герингсдорфе и в Сан-Блазиене, но лишь с устройством в Сорренто они достигли размаха, о каком будет рассказываться внукам. Связи эти осуществляли книги и печать, рукописи и письма. Горькому писала Россия — старая и молодая, писал Советский Союз голосами своих разноязычных новорожденных республик, как будто все, кто был прикосновенен к культуре или хотя бы просто — к грамоте, считали необходимостью говорить с Горьким. Он оказался поверенным в делах нашей культуры.

Случалось, что почта ему привозилась на лошади, потому что почтальон, несмотря на всю свою расположенность к «синьору Горьки», был не в силах дотащить к нему, в виллу Каподи, гору бандеролей и писем.

Нельзя сказать, что умение вести огромную переписку беспрецедентно в нашей истории. Традиция эта принадлежит девятнадцатому веку — самому развитому из тех столетий, когда человечество простодушно допускало, что можно быть счастливым без радио и без телефона. Ближайшим Горькому примером мог бы служить Короленко, о котором известно, что с некоторыми корреспондентами, прикосновенными к литературе, он переписывался на протяжении восемнадцати — двадцати лет. То же можно сказать и о горьковском многотерпении, с каким он читал рукописи неисчислимых авторов: Короленко и тут был его предшественником, если — не учителем. По записям самого Короленко, его биографы подсчитали, что в промежуток с 1900 до 1918 года он прочитал 4500 рукописей и на один из этих годов пришлось более 500 рукописей. Горький читал рукописи всю жизнь, и читал не меньше Короленко.

Факты эти прежде всего свидетельствуют, что русский народ привержен письму. Однако никто в мире не обвинил бы нас в том, что мы излишне аккуратны в переписке. Я так определил бы русское понимание переписки: пишет тот, кто нуждается в ответе, тот же, от кого ждут ответа, молчит.

Горький удивительно ярко нарушал это наше распространённое правило. Я хотел бы видеть сколько-нибудь серьезного человека, который не получил бы от него ответа на свое обращение. Он превзошел все примеры внимательности к пишущей особи, и если его можно в чем упрекнуть, то только в излишней гуманности к ней.

Он нес свой крест с невероятной кротостью, и если жаловался на усталость от переписки или рукописей, то либо с полным смирением, либо в шутку. За пятнадцать лет переписки с Горьким я припоминаю только две подобные жалобы.

Однажды я просил Горького стать во главе редакции «Издательства писателей в Ленинграде», и он написал в ответ:

«Дорогой мой Федин, согласитесь, что быть редактором номинально — я не могу, а фактически редактировать — как же это возможно? Затем: примите во внимание мою загруженность работой и корреспонденцией. Вот это письмо вам — сегодня одиннадцатое...»

И в конце письма — совсем в тоне извинения:

«Вы, Федин, знаете, что я не ленив, работы не бегу, но мне так сейчас много нужно свободного времени, что, право же, я отказываюсь от предложения вашего на основаниях солидных для меня. И — повторяю — отказался бы, даже будучи в Петербурге.

Не сердитесь на меня...»

Или вот в другой раз, много позже:

«Третьего дня послал вам книжку, а ответить на письмо удосужился только вот сегодня. Воеет ветер, как 16 тысяч кошек, изнемогающих от любовной страсти, стреляют двери, на чердаке возятся крысы, второй день не получаю московских газет, какие-то черти клетчатые прислали сегодня две толстущих рукописи и одну — не очень. Когда я буду их читать? Нет у меня времени! И — охоты нет рукописи читать! Начитался я, довольно! Пожаловался и — стало легче...»

Стало легче, и эта шуточная жалоба на надоевшие рукописи сейчас же сменилась опять вспыхнувшим интересом к литературе, и письмо заканчивается обычной для Горького просьбой: «Если напишете... — поблагодарю».

Сколько разбросано по его письмам таких «если!» «...если вам не лень — снабжайте!»<sup>1</sup>, «Напишите — обрадуется», «Не лень — напишите». Ему было мало писем, приходивших по инициативе его корреспондентов, он еще сам побуждал их к писанию, — пишите, пишите! — почти уговаривал он, лишь бы не замедлялся ни на час бег бесконечного полотна, соединявшего его с почтамтами России.

---

<sup>1</sup> Фактами из жизни Европы. — К. Ф.



Мне случалось подолгу не отвечать на вопросы, заданные Горьким, но я не помню, чтобы он задержался с ответом на мое письмо. Аккуратно нанизывая отдельные колечки букв на ровные стержни строк, собственно-ручно выводя адреса на конвертах, он немедленно отзывался на любое дело, на всякую новость, вел споры, вникал в литературные замыслы, в настроения, в личную жизнь.

«Вы совершенно напрасно уничтожаете письма «с жалобами», посылали бы их такими, как они написались; и тогда вам не пришлось бы дважды и трижды терзать себя одним и тем же. Я — человек достаточно грамотный и, вероятно, сумею прочесть то, что вам нужно сказать мне, хотя бы вы и сказали это не вполне «оформлено».

Ему было жалко уничтоженных писем, ему было жалко, что он узнает не обо всех настроениях, которые мешают моей работе, он чувствовал себя обделенным, потому что получил двумя-тремя письмами меньше.

К этой жажде переписки, к жажде чтения рукописей присоединялась неутомимая алчность к книге. «Книга — для меня чудо», — писал Горький.

Одержимый страстью к литературе, Горький ни разу за свою жизнь не терял в нее веры. В тягчайшие годы испытаний для культуры, когда война угрожала втоптать ее в землю, когда в ней разочаровывались тысячи ее работников и служителей, а в ее нужности народу отчаивались такие писатели, как Андрей Белый, Горький не испытывал ни тени сомнения в важности дела литературы. Он был именно одержим страстью к литературе — этим словом он сам определял состояние, какое должно быть свойственно писателю.

Желая сказать мне нечто одобрительное, он как-то написал:

«По вашему письму видно, что вы становитесь «одержимым», обреченным литератором».

Не знаю, почему мне показалось это ироничным. Тогда он поторопился обстоятельно разъяснить свою мысль.

«В моих словах, что вы становитесь «одержимым, обреченным» литератором, — не было скрытого укора, вы ошибаетесь. Одержимость, обреченность — неизбежна, необходима для человека, который всем существом своим любит дело и предан ему. Именно вот эта «одержимость» и создает таких монолитных людей, как Пушкин, Достоевский, Шелли и Лермонтов, Ленин и Гарибальди и т. д.»

«Обреченный» на эту страсть к литературе, Горький никогда не поколебался бы сказать, что книжное, письменное дело есть дело великое, нужнейшее для жизни. Что книга есть достояние народа, его гордость.

Молодой человек, собираясь отдать свою жизнь литературе, совершенно закономерно спрашивает себя и о степени серьезности избранного дела, и о его полезности, смысле, достоинстве. Сотни и сотни раз слышит он бытующее мнение, что сочинительство — не труд, что следует работать, а не заниматься маранием бумаги, что стишки писать может всякий. Он ищет нравственной опоры гораздо чаще и судорожнее, чем его сверстник в любой другой профессии, в другом призвании.

Кем же должен был стать такому молодому человеку писатель, сказавший о себе, что «книга для меня — чудо», писатель, который за чудом книги всегда видел другое чудо — чудо ее автора?

Имена, имена, имена — десятки имен, совершенно неведомых русской литературе три-четыре года назад и вдруг, после гражданской войны, прянувших из-под земли, действительно как грибы в грибное лето.

И как бывалый грибник — от гриба к грибу, — нагнувшись, не поднимая глаз, пробирается густым книжным бором собиратель, ищущ Горький.

«Кто такой Леонов, нет ли новых «начинающих»?»

«Недавно прочитал книжку Чадаева «В гуще обыденного». Это — не искусство, а газетные заметки, но — какой огромный материал к познанию современности дает эта печальная книга!»

«Что это за книга Пантелеймона Романова «Русь»?»

«Не слышали ли имя Роман Кумов? Где он? Он

выпустил небольшую книжку рассказов и написал пьесу «Конец рода Коростомысловых», еще до войны. Интересный».

«Здесь мои знакомые, умеющие ценить подлинную литературу, восхищаются «Кюхлей» Ю. Тынянова. Я тоже рад, что такая книга написана. Не говорю о том, что она вне сравнения с неумными книжками Мережковского и с чрезмерно умным, но насквозь чужим «творчеством» Алданова. Об этом нет нужды говорить. Но вот что я бы сказал: после «Войны и мира» в этом роде и *так* никто еще не писал. Разумеется, я не профессор Фатов и Тынянова с Толстым не уравниваю, как он, Фатов, уравнивает Пантелея Романова со всеми русскими классиками. Однако, у меня такое впечатление, что Тынянов далеко пойдет, если не споткнется, опьянев от успеха «Кюхли».

«Какая интересная книга «Республика Шкид»...»

И так непрерывно, из письма в письмо, то с порицанием, то с похвалой, то с гневом, то с улыбкой — о Борисе Лавреневе и Шкловском, о Семенове и об Эренбурге — о десятках и сотнях имен. И вот среди разнообразия имен — настойчиво выделяемые Горьким Николай Тихонов, Михаил Зощенко.

Если бы мне нужно было назвать наиболее завершенный характер, какой я встретил за свою жизнь, я указал бы на Николая Тихонова. Чудо душевного постоянства олицетворялось в самой внешности этого необыкновенного человека: и двадцать лет назад он был таким, как сейчас — поджарый, легкий, седоволосый, с глазами, сверкающими в быстром движении грубоватых сильных мышц лица. Глухие взрывы тихоновского смеха раздавались в наших спорах при всякой встрече, и было в них что-то по-военному внезапное, как в выстрелах — веселящее и бесповоротное.

В том, как он читал среди нас свои стихи, было тоже нечто военное. Обрывисто и страшно взрывалась его краткая строка, с гулом отдаваясь в глубине его торопливо дышащей немного узковатой груди. Читая стихотворение, он всегда спешил, точно бежал, рвался к концу и, кончив, сияющим взглядом окидывал нас, улыбаясь, спрашивая

всем своим порывом — ну, как? Если сам он находил в стихах что-нибудь несовершенное, неудачное, он первый хохотал, задавая тон всем нам и словно говоря: это только работа, работа, вот погодите, я напишу завтра по-настоящему!

Он стремительно летел вперед, к новым и новым преодолениям, истребляя, проглатывая такое количество разнообразнейшего материала, что этих груд наблюдений, книг, переживаний, этих гор исписанной бумаги хватило бы на целую поэтическую школу.

Его собственно литературный путь вовсе не похож на телеграфный провод. Внутренне Тихонов проделал головокружительные похождения по планете Поэзии. Тропы его путешествий, скитаний, исследований в области сочинительства не менее переплелись и завихрились, чем перепутья его доподлинных вечных странствий по нашей стране.

Еще до революции он написал и напечатал повесть. Но потом он отдался стихам настолько, что казалось, никогда не вернется к прозе. О первой повести он не любил вспоминать, о его тяге к повествованию никто и не мог думать после того, как «Орда» и «Брага» показали властное его хозяйствование в стихе. Но он вдруг дал несколько отточенных рассказов в прозе и, захлебываясь от увлечения необычными сюжетами, начал писать повесть за повестью.

Тот, кому придется заниматься благодарным трудом изучения Тихонова, столкнется не только с крупными сменами жанровых пристрастий поэта, но и извилами его формальных поисков внутри каждого жанра, изысканных и капризных.

И, однако, все же Тихонов остается самым прямолинейным поэтическим характером в русской советской литературе, потому что никто у нас не бывал столь верен раз найденной теме и привержен одной излюбленной задаче, как он. Тема эта — война, задача — поиски героя.

Уже в «Орде» — в маленькой книжечке с большим голосом, заставившим обратиться на себя целое поколение участников еще не отгремевших событий, — уже в «Орде» вспыхнул воинский дух, который горит затем во всякой строке, написанной Тихоновым. «Орда» была итогом войны, высказанным на языке поэтическом, и притом — языке революционном. Воинственность была новым

качеством этих стихов. Странное и редкое для былой русской традиции родство фронтового оружия с оружием поэтическим устанавливал Тихонов, братство боя с поэзией.

Горький, конечно, сразу расслышал эту медь, прозвеневшую в огромном оркестре, и стал выискивать ее морозный звук повсюду, где он мог раздаться.

В одном из первых писем ко мне он говорит:

«Те стихи Тихонова, которые мне удалось прочитать, рисуют передо мною автора человеком исключительно талантливым, хотя он и пишет иногда плохо, пример — поэма об индийском мальчике. Есть у Тих. изданные стихи? Не пришлет ли он мне? Спросите».

Страницей ниже Горький пишет о явлениях, характерных для современности, и, называя Толлера, Шервуда Андерсона, Роллана, Пиранделло, говорит в этом ряду и о Тихонове, «у которого есть какая-то удивительная черта: он живет бегом и прыгает через все, что ему внутренне мешает».

Через одно письмо Горький опять спрашивает: «Что Тихонов, не прислал бы мне свои книжки? Стихи его — прекрасны».

Еще через письмо: «Получил книги Тихонова. Прошу Вас: передайте ему мой искреннейший привет и мое восхищение: очень хорошо, стройно растет этот, видимо, настоящий».

Да, он — настоящий, если этим словом обозначается единство душевной жизни поэта с его повседневным делом и отсутствие в ней дисгармонии.

Мне всегда казалось, что Тихонов как бы не переносит мирного времени. Когда окончилась гражданская война и он начал следить за тем, как рассеивались и словно исчезали в толпе гражданских одеяний привычные военные шинели, на его лице отразилось огорчение. Романтический герой, собранный в пластичный образ войны, как будто отходил в прошлое. Тихонов не мог примириться с этим грустным расставанием. Он был уверен, что под бесчисленными новыми обличьями и ликами мирных будней живет и набирается силы его добрый знакомый и боевой товарищ — умный полководец, неутомимый солдат либо просто лихая голова — рубака и смельчак.

Отправляясь в «Поиски героя» (как он назвал одну из своих книг), в тумане и какофонии нэпа Тихонов не раз испытал разочарование: бывшие всадники спешили, побросали затупленные клинки и ковырялись за сальными верстаками. Вера верой, а недавние герои деградировали — это было ясно и не такому искушенному глазу, как тихоновский.

Тогда поэт снарядился искать продолжения войны в горы Кавказа и в Среднюю Азию. Земля, которую он знал по книгам лучше любого географа, дохнула на него прохладой ущелий, ветрами ледников, звоном водопадов. Вся жизнь с этих лет пошла в нераздельном сочленении путешествий с пожиранием книг. Совершалась настоящая погоня за сверхобычным, выдающимся, отмеченным природой и человеком. Восхождения на горы сменялись, сопутствовались армиями книг. У всех напих новых писателей, по сравнению с Горьким, недоставало любознательности. Мы можем покаяться и в ленности и в нелюбовытстве. Один Тихонов мог бы поравняться в любознательности даже с Горьким. Он накоплял, накоплял факты, познания, отгачивая изобретательность, работал над выдумкой с усердием и неустанностью полководца, готовящегося в поход.

И вот уже тогда, за много лет до начала второй мировой войны, можно было с точностью видеть, что самым готовым к походу писателем, когда зазвучит труба, будет Тихонов.

Так и случилось. В кампанию против белофиннов Тихонов вступил богато вооруженным. Герои его поэм и стихов, рассказов и повестей, его «Военные кони» ожили и выступили маршем. И так они прошли, со своим певцом, обледенелыми лесами Карелии и Финляндии и, спустя немного больше года, вместе с ним построились к беспримерной обороне Ленинграда.

Тихонов — военный писатель во всех отношениях — по свойству возвышенного и прямодушного стиха, по характеру мышления, бесстрашного и предприимчивого, по привязанности к воинскому оружию, по пониманию военного искусства. Он без раздумья меняет один род оружия на другой. Он отказывается от стиха, от поэзии и становится газетчиком, публицистом. Его душевный склад весел, глаз его меток, его товарищеский дух испытан огнем.

Он — Денис Давыдов русской поэзии советского времени. Как для Дениса, для него выше всего отечество, как у Дениса, его талант возжигается от соприкосновения с армией, которой он верно служит.

Богатства, накопленные Тихоновым в его поэтической памяти, удивительны.

И у него есть мечта, к которой он возвращается, когда остается наедине со своим письменным столом, наедине с неудержимым своим воображением, — мечта написать роман, мечта создать такое эпическое произведение, в котором уложилось бы, в гармонии, все великое и еще рассеянное, что он собрал своим глазом на протяжении четырех войн. Выдающееся свойство тихоновского таланта — накапливать наблюдения — должно соединиться с тем качеством, которое Тихонову предстоит пробудить в себе в полную меру: с художественным синтезом.

Осуществит ли Тихонов свою мечту? Разумеется, он должен это сделать, уж потому, что это — его мечта, и потому, что он обладает чертой редчайшей, так замечательно определенной Горьким: он прыгает через все, что ему внутренне мешает. В умении таким путем преодолевать препятствия есть тоже нечто военное, может быть — военная хитрость.

Живущие в лучших произведениях Тихонова образы героики русского народа будут им слиты в обобщенную картину. В ней будет поэтически показано развитие народного характера в эпоху величайших гроз. Перед этой картиной мы долго будем останавливаться, размышляя об истории нашего народа.

Николай Тихонов будет при этом стоять перед нашим взором, исторически включенный в картину, им самим созданную.

Шуточные черты в жизни «Серационовых братьев» никогда не были значительны. Смеялись много, но перья не ладили с весельем. Кинопародии в Доме искусств ставились только до отъезда Лунца. Но и Лунц, придумывавая смешные постановки, в то же время писал трагедии.

Без умысла подражать знаменитому «Арзамасскому обществу безвестных людей», несколько раз «серационы» вели протоколы. В протоколах пенилось молодое озор-

ство, но веселья не получалось. Не укоренились и прозвища. Изредка приходило на память, что Всеволода Иванова зовут «братом Алеутом», а Николая Никитина — «братом Ритором». Приклеилось только одно прозвище, ставшее нарицательным для всех нас, — «серапионы», но никакого оттенка шутки в нем не было, оно широко распространилось как литературная кличка, и только.

А соблазн шуточности, пародийности, игры, казалось бы, подкарауливал нас на каждом шагу. У всех перед глазами еще стоял усмехающийся Ремизов со своим «Обезвельволпалом». Отлично был изучен иронический Замятин. Виктор Шкловский, озабоченный отысканием самой «правильной» традиции, от которой следовало бы начать танец новой литературы, подносил нам, со своими афористическими комментариями, Лоренса Стерна — мастера смеха в английской прозе, умеющей, как известно, смеяться лучше всех иных европейских литератур.

Все эти влияния скользнули почти бесследно по поверхности нашего словесного искусства, не затронув его корней.

Мы очень дорожили смехом. Как дыхание не может состоять только из вдоха, но включает в себе и выдох, так же точно нельзя построить искусство на одном вдохе — на серьезности, оно требует выдоха — смеха, во всех его мыслимых оттенках, от улыбки до хохота. Однако вполне в духе русской литературной традиции, с ее подавляющим большинством «серьезных» писателей, книги наши, вдохнув в себя воздух окружавшей нас новой жизни, с усилием задерживали облегчающий выдох.

С нами были два писателя, одаренных природным умением смеяться: Михаил Зощенко и Лев Лунц.

Зощенко мог бы один сделать за всех нас необходимый выдох, уравновесив нашу серьезность своим юмором. Но основа его таланта влекла его в русло сатирической литературы. Сатира, однако, тоже не исчерпывала всех его склонностей. От сентиментальных повестей в духе Гоголя он перешел к иным поискам и начал работать над жанром повестей-рассуждений, повестей-исследований, будто с разочарованием отдаляясь от смеха.



Лев Лунц проявил свой юмор кинопародиями в Доме искусств. Но и он, придумывая смешные постановки, вроде «Фамильных бриллиантов Всеволода Иванова», в то же время писал трагедии с ядами, шпагами, казнями и войнами, писал стилизации, черпая вдохновение в самой скорбной и величественно-мрачной книге человечества — в Библии.

Смерть Лунца оставила по себе отметины на истории нашего развития: с ней мы утратили черты запальчивой веселости в нашем литературном темпераменте, и она явилась как бы преддверием испытаний для нашей дружеской связи.

Очень хороший майский вечер. Жадный до богатства, грезящегося где-то рядом, за перекрестком, и в то же время небогатый, почти бедный, но красивый Невский проспект. На углу Троицкой — что-то среднее между пивной и кафе. За узеньким столиком с пивными бутылками, на мраморе которого бледно меркнет поздний свет, тесно и неудобно сидим мы, все, кто остался в живых, девять из десяти, или только с ощущением, что все, кроме одного, который никогда больше не будет с нами: в этот день, поутру, пришло известие о смерти Льва Лунца.

Мы вспоминаем о нем все, что можно вспомнить, и мы с грустной усмешкой спорим — кто следующий? — потому что Лунц ушел первым.

Его уход объединил нас своей внезапностью, своим трагизмом, сжал нас в тесное кольцо, и это был апогей нашей дружбы, ее полный расцвет, и с этого момента, с этого года кольцо начало слабеть.

Никто лучше Горького не говорил и не сказал об этой дружбе.

Вот как начинается первое письмо ко мне Горького, присланное из Саарова:

«Очень обрадован всем, что вы пишете о себе — и как пишете — о той душевной связи, которая скрепляет Серрапионов. Ваша дружба — это, действительно, оригинальное, и ценное, и небывалое явление в литературе. Таланты столь разнообразные, так резко раз-

личимые — вы связаны не «тенденцией эпохи», не общностью философии, не «школой» наконец, а — видимо — чувством крепкой дружбы, углубленным — как мне хочется думать и как это, вероятно, и есть — чувством искренней дружбы, углубленным общим для всех вас серьезным и любовным отношением к священному делу искусства. Не разрывайте этой связи, — вот самый дельный совет, который может дать вам всякий человек, который внимательно присмотрится к вашей работе и честно оценит ее крупное значение. Дружба — чувство, плохо развитое в России, и если вам удастся надолго сохранить его, оно будет и вам взаимно полезно, и другим покажет нечто необычное. Держитесь крепче!»

Дружба эта сохранена была на десятилетия, но, конечно, в ее окраске происходили изменения, неизбежные во времени, — наивные, слепительные тона весны заменялись глубиной и спокойствием летних колоритов, разноречием, столкновением красок осени. Любовь есть чувство многотонное, ее радость отравляется ревностью, в ревности таится ненависть. Но и без таких уподоблений ясно, что резкое различие талантов, о котором писал Горький и которое отмечали наши критики, содержало в себе неизбежность расхождений.

События молодости стремительны, как шквалы. Еще вчера я думал, что мой друг исповедует ту же эстетику, что и я, а сегодня вышла в свет его книга, я прочитал ее залпом и выпустил из рук с обидой разочарованья: нет, я думаю не так, как он! Но вот проходит миг, я слышу опять его голос, и снова во мне поет созвучие волнующее и смятенное: нет, нет, я не ошибался, друг мой остался моим другом!

Мы росли по-разному, одни быстро, другие медленно, но общий наш рост был бурным. Не прошло и полутора лет после того, как Горький горячо поощрял нашу дружбу, а я уже мучительно чувствовал испытания, которым она подвергалась.

Произведения «серапионов» быстро переставали быть ученическими, экспериментальными. Подсказанный теоретиками взгляд на них как только на явления стиля старел, едва родившись, усложнялся требованиями жизни. Каждый из нас с напряжением всех сил и страстью готовился преодолеть дьявольскую неподатливость материала войны

и революции средствами искусства. И каждый шел к этому своим путем, наступая с позиций борьбы за новый язык, новую занимательность повествования, новое содержание героев.

Легко объединить Гоголя и Гофмана словом «романтика» или сказать, что этих писателей сближает фантастический мир их героев. Но когда музыку Гоголя мы слышим за чтением Зоценко, а Гофман обнаженно-прямолинейно светит из рассказов Каверина, становится слишком очевидной враждебность Гоголевой фантастики Гофману и понимаешь, что Зоценко и Каверин не могут ужиться под одной романтической крышей, будь она построена даже братскими руками. И когда внутренние противоречия «серапионов» из учебного, технологического спора внутри кружка или внутри Дома искусств делались фактом большой литературной жизни и претендовали на то, чтобы стать фактом общественным, тогда я понимал, что люди этого спора должны уметь не только взаимно восхищаться успехами, но и негодовать друг на друга за неудачи и провалы.

Однако понимание, что наша дружба подвергается расшатывающим ударам развития, еще не означало, что удары не причиняли нам страданий. Любовь всегда уходит с болью. И первые расхождения «серапионов» я переживал с великой тоской, в страхе отгоняя призрак разрыва.

Я описал наконец свои потрясения Горькому. Вот начало его ответа:

«Дорогой Федин, спасибо вам за интересное письмо, тоже очень взволновавшее меня и тоном его, и содержанием. «Я говорю об этом с болью», — пишете вы, изображая процесс «оттачивания» характеров в среде Серап. братьев. Я прочитал эти слова с радостью, она будет, конечно, понята вами, если я скажу, что процесс «оттачивания» характеров есть процесс роста индивидуальностей, с чем и вы, наверное, согласитесь. Это — положительное явление социальной жизни. Величайшие эпохи возбуждения духа творились, творятся и долго еще будут зависеть от духовной энергии индивидуумов. Итальянское — сиречь общеевропейское — «возрождение» было торжеством индивидуализма. Вам, может быть, и кажется парадоксальным взгляд на современную русскую действительность тоже

как на возрождение индивидуализма? Но я думаю, что это именно так: в России рождается большой человек и отсюда ее муки, ее судороги.

Мне кажется, что он везде зачат, этот большой человек. Разумеется, люди типа Махатма Ганди еще не то, что надо, и я уверен, что Россия ближе других стран к созданию больших людей. Это отнюдь не мешает коммунизму и социализму, а они, в свою очередь, не в силах помешать этому, ибо — тут процесс стихийный, тут как бы совершается создание нового атома, дабы он организовал некое новое психическое существо».

Итак, не следовало отчаиваться. Весна проходила, блеск и буйство ее красок потухали, но на смену им являлась гармония более сложная и более зрелая. Одно за другим индивидуальные наши имена начинали звучать все более независимо от коллективного имени «серапионов». Внешне эта эмансипация шла быстрее, нежели внутренне. События стремились распылить нас, но бетон нашей дружбы еще не искрошился.

Репутация целого зависела от славы его частей. Индивидуальность утверждалась ради самой себя, но ее самосознание находило удовлетворение в том, что попутно, своей славой она создает имя обществу, которому принадлежат Зоценко, Всеволод Иванов, Николай Тихонов, книги которых завоевывали читателей все увереннее, годами говорили о себе: мы — «серапионы».

Однако все явственнее было видно, что то, что Александром Блоком названо «молниями искусства», рождается только в столкновениях. Что дружба — состояние мужественное, не боящееся испытаний; что исторически нейтральных дружб не бывает; что дружба — это страстное чувство, а не сахарная водица.

И наконец, в сокровенной глубине души я услышал голос, который хорошо известен художнику: если это нужно будет для искусства, должна быть принесена в жертву даже дружба. Вражда в литературе, в искусстве не может умалить художника, если она вытекает из разности убеждений. Микеланджело и Леонардо да Винчи враждовали. Толстой, Тургенев, Достоевский были в ссоре. Искусство — не салон. А дружба видимая, с показными поцелуями при встречах и с привычным общением на «ты»,

легко создает безразличие друг к другу и желание обходить серьезность разноречий, которые только и дают искру мысли и вдохновения.

Убеждение это крепло, становясь надежным средством самовоспитания, и к тому времени, когда журнал «Новый Леф» заявил в одной из передовых статей, что «Иванов и Федин — наши ярые литературные враги», я уже хорошо знал цену литературной вражде и принял это заявление вполне уравновешенно, потому что вражда задорного Лефа с нами покоилась на естественной и основательной взаимности.

Ремизов, Волынский, Сологуб — вряд ли я мог бы назвать еще писателей подобного значения и подобных достоинств из тех, с которыми мы столкнулись в начале пути, чтобы характеризовать отношение к нам уходившей в прошлое литературы. Для одного из них художественная мысль черпалась в письменности и была причудлива, как ходы книжного червя. Другой упивался ликованиями вытравленного тела, предпочитая быть учителем балета, дабы не вспоминать, что прежде хотел быть учителем жизни. Третий наблюдал за общественной борьбой с отчужденностью и превосходством через холодно поблескивавшее стекло очков. Все трое, хотя по-разному, они, пожалуй, готовы были довольствоваться грековским салоном, располагавшим многими данными для милого и умного отдохновения и никакими — для деятельности в искусстве.

Они относились к нам, как нумизматы — к новым, получившим хождение монетам, еще не ставшим историей, непригодным для коллекций, которыми они дорожили. Нам предстояло долго пробыть в обращении, потерять вульгарный блеск новизны, грубость рельефа, чтобы рука коллекционера потянулась за нами с интересом и любопытством. А пока они воспринимали нас как нечто сомнительное, испытывая такое ощущение, будто мы не пришли, а ворвались в литературу.

С нами же, в нашем отношении к ним, происходило как раз обратное: мы рассматривали их как монеты прошлого, уже получившие бархатное место в коллекциях музея, мимо которого нам полагалось ходить на цыпочках.

Горький жил вне музея. Он был рад, что мы стремились идти рядом с ним в грубых сапогах, в которые нас обула война и революция. Он и не думал выжидать того

времени, когда мы будем похожи на монеты, уже занявшие место в музейных коллекциях. Чтобы установить нам цену, нумизматы хотели видеть, насколько мы способны повторить качества прошлых художников, будь то Достоевский или Чехов, Печерский или Боборыкин. Горький же радовался всему, что в нашей работе могло быть отнесено за счет человека войны и революции, всему, что приносило новую эпоху в литературу, — и меньше искал в ней сходства с прошлым, чем отличия от него. Быть наблюдателями — так можно определить позицию еще оставшейся в России старой литературы по отношению к нам. Быть опорой — так мог бы назвать Горький позицию, с которой он протягивал нам руку.

Он считал, что мы недостаточно поняли свое право на создание литературы, недостаточно почувствовали себя хозяевами в ней и, очевидно, слишком мало несем обязанностей перед нею.

После пятой годовщины «серапионов», поздравляя нас, он писал мне:

«Сомнительно, конечно, что это история литературы», — пишете вы. У меня этого сомнения — нет. Да, вы, «Серапионы», история литературы. В невероятно трудные годы, в условиях, отчаянно тяжелых, вы сумели остаться «свободными художниками» именно «вопреки законодателям вкусов», как вы пишете, вопреки создателям канонов или — точнее — кандалов для души. Это — заслуга не малая. Ее — не забудут. Не забывайте и вы то время, когда в голоде и холоде вас не покидала «одержимость», когда чувство дружбы так хорошо, крепко держало вас на земле и не дало погибнуть вам.

Дело прошлое: немало страха натерпелся я за вас, когда, наобещав вам «три короба» всякой всячины, уехал из России и ничего не мог сделать, будучи обманут, как это со мною бывало и бывает нередко. Но вот вы все-таки преобороли внешнее, выжили здоровыми и твердо идете своим путем. Путь — верный».

Эти строки звучат лестной оценкой. В действительности это было поощряющее требование — ставить себе большие задачи и не бояться самого строгого судьи — истории.

На товарищеской пирушке, устроенной по случаю пятилетия, мы отделились тому завидному удовольствию, какое

испытываешь, возвратясь из трудного похода домой, найдя любимых людей, любимые пустышки своего угла и самого себя среди них — все, все на прежних местах. Это была ночь хохота, сентиментальных воспоминаний, добродушных издевательств над нашей общей молодой славой, нашими романами в литературе и романами в жизни. Играл баян — модное чудовище, покорившее тогда все пивные и чайные, танцевали фокстрот — странную пляску, отцом которой была война, а мать — изнуренное доводное танго, перечитывали старые лунцевские сатиры на «серапионов», приходя в показной ужас от его страшных и смешных пророчеств.

За всей неиссякаемой силой молодости, за всей студенческой простотой безалаберного веселья слышался внутренний зрелый голос убеждения: да, мы начали хорошо и дружно, и отдаем этому приятному дань; но дело уже не в том, чтобы пестовать дружбу, а в том, чтобы доказать ее плодородность. Мы написали немало книг, нам предстояло написать гораздо больше. И вряд ли скромность, а пожалуй, только юмор не позволяли нам с серьезностью произнести то, что мы говорили на этом юбилее в шутку и что сказал вполне ответственно Горький: да, конечно, и мы, «серапионы», были частью истории литературы.

Еще в двадцать третьем году Горький дал перевести на французский два рассказа: Фебина «Сад» и Зощенко «Виктория Казимировна». Они появились в Брюсселе в передовом журнале Бельгии «Le disque vert» и были первыми в Западной Европе переводами из советских прозаиков.

Горький написал к ним большую статью, показывающую страстность его веры в будущее нашей молодой литературы.

По статье, озаглавленной «Серапионовы братья», видно, в каких подробностях хотелось ему записать всю зачаточную жизнь движения, которое представляло собою своеобразную часть зарождавшегося советского литературного искусства.

Возникновение «серапионов» Горький относит к 1919 году и ядром группы считает поименно несколько молодых людей из студии переводчиков при издательстве «Всемирная литература». Он описывает задачи этой студии, перечисляет ее руководителей, рассказывает, как выделились

в особую группу литературно одаренные прозаики и поэты, и называет всех тех, кто постепенно примкнул к ним впоследствии.

«...группа приняла имя «Серапионовых братьев», взяв его у романтика и фантаста Гофмана. Все они начали писать рассказы и стихи, подвергая работы свои взаимной жестокой критике и подробной оценке руководителей. Эта критика скоро внушила им общий лозунг:

«Писать очень трудно».

Они хорошо помнят этот лозунг и при встречах шутя говорят друг другу: «Здравствуй, брат! Писать очень трудно». Талантливость этих юных людей, а также искусство руководителей их дали за два года совместного труда результаты, которые я решаюсь назвать исключительными. «Серапионовы братья» серьезно и глубоко полюбили труд литераторов, увлеклись со всею энергией юности изучением творчества. Все они жили в условиях невыносимо тяжелых, некоторые из них, истощенные голодом и холодом, нередко принуждены были лежать целые сутки, для того чтоб не так остро чувствовать голод. Хлеб и селедка считались роскошью среди них, целые недели приходилось питаться только сушеными овощами. Эти условия особенно тяжело отзывались на юношах, уже ранее подорвавших свое здоровье, каков, например, М. Зощенко, отравленный на войне ядовитым газом. И почти каждый из них еще ранее того, как почувствовал тяготение к литературе, уже испытал слишком много тяжелого. Юные годами, они вступили на поприще литературы зрелыми людьми, с хорошим знанием о человеке и с живым интересом к нему.

Нет сомнения, что многие из них погибли бы в эти тяжелые годы холода и голода, если б всех «братьев» не связывало искреннее и крепкое чувство действительной дружбы и если б они не умели самоотверженно помогать друг другу. Это они умеют. В тяжелой истории русской литературы я не знаю ни одной группы писателей, которая бы жила так братски, без зависти к таланту и успеху друг друга, с таким глубоким чувством солидарности и бескорыстной любовью к своему делу, которое я, не находя другое слово, называю священным...

Я слежу за духовным ростом «Серапионовых братьев» с великими надеждами. Мне кажется, что эти молодые люди способны создать в России литературу, в которой не будет ни квиетизма, ни пассивного анархизма Льва



Толстого, из нее исчезнет мрачное садистическое инквизиторство Достоевского и бескровная лирика Тургенева. Русское «скифство», «евразийство» и прочие виды скрытого славянофильства или хвастливого национализма не найдут сторонников среди «Серрапионовых братьев».

Дальше Горький указывает на интерес «серрапионов» прежде всего к человеку, на признание ими необходимости общения с «духом и гением Запада» и, переходя к отдельным характеристикам молодых писателей, на первом месте говорит о Льве Лунце и о его статье «На Запад!», оценивая ее как решительную, смелую, хотя и не очень убедительную. Конечно, Горький не мог предвидеть, что спустя год он повторит сказанное о Лунце уже в его некрологе.

Интереснейшей фигурой среди «Серрапионовых братьев» является Вениамин Зильбер<sup>1</sup>, фантаст, поклонник Гофмана, обладающий острым воображением и юмором, но еще не выработавший своего языка. Он очень молод, как и подобает Вениамину, но у него есть все для того, чтобы стать оригинальным писателем.

Значителен Михаил Зощенко, автор оригинальной серии «Рассказов г. Синебрюхова», писатель почти уже сложившийся, он нашел свой стиль, свои слова: это, я надеюсь, вы увидите по его рассказ[ам] «Виктория Казимировна» (в перев[оде] «Аполлон и Тамара»). Синебрюхов — русский солдат, участник пагубной европейской войны, это Санчо Панса до знакомства с Дон-Кихотом.

Много обещает Михаил Слонимский; он тоже еще не нашел пока своего пути, но он обладает упорным и осторожным характером искателя. Его сборник рассказов «6-й стрелковый полк» имеет крупный успех.

Всеволод Иванов и Николай Никитин уже нашли определенное место в современной русской литературе, оба они — особенно Иванов — пишут много и весьма популярно. Они перегружены впечатлениями хаотического бытия России и не совсем еще научились справляться со своим богатейшим материалом. Мешает им и щегольство провинциализмами языка. Они слишком увлекаются местными словарями пестрой России, где почти каждая губерния говорит своими словами. Это делает их рассказы почти не переводимыми на европейские языки. Но успех не опьяняет их, наоборот: они скорее испуганы им и единодушно

---

<sup>1</sup> Зильбер — В. Каверин.

пишут мне: «Нас очень хвалят, и мы чувствуем, что это нехорошо для нас». Это — искренно сказано. Я вижу, как оба они стараются преодолеть хаос своих впечатлений...

Константин Федин — серьезный, углубленный в себя писатель, работающий осторожно. Он из людей, которые не торопятся сказать свое слово, но говорят его хорошо. Сейчас он пишет большой роман, и я слышу, что работа удается ему. Он учился в одном из университетов Германии, жил некоторое время в Бельгии.

Я не считаю себя знатоком русской поэзии, но, по общему мнению знатоков ее, Тихонов обладает очень крупным талантом. Его увлекают сильные люди, героизм, активность — как раз все то, что совершенно необходимо России и что старая литература не воспитывала в русском народе...

Вот краткая характеристика тех людей, от которых не один я ожидаю обновления русской литературы, эта литература, посвятив огромное количество сил освещению проблем социального бытия, слишком мало уделяла внимания человеку самому по себе. Ныне значительность личности в процессе истории все возрастает, о чем громоподобно говорит нам история наших трудных дней».

Горький романтик не менее в жизни, чем в своих сочинениях. Воображение его всегда немного фантастично, а говоря житейски — он любит необыкновенное и нередко хочет видеть его там, где его нет. Относительно молодой литературы он имел невинные заблуждения, приукрашал ее, хотя не без лукавой улыбки, с какой мудрые люди говорят сказки: не люблю — не слушай.

Он всегда считал, что я учился в каком-то германском университете. Бог его знает, откуда он это взял! Может быть, он это придумал, чтобы увеличить любопытство бельгийского читателя к молодому русскому рассказчику; возможно, что мое долгое пребывание в Баварии, Саксонии, Силезии было подменено в его памяти чьими-то германскими университетами; а может быть, это из тех случайностей, по каким он, например, Зильбера настойчиво называл Зильбергом даже после того, как тот начал подписываться Кавериним.

В самом начале переписки со мной на мое заявление, что «писать очень трудно», Горький ответил:

«Писать очень трудно» — это превосходный и мудрый лозунг. Не отступайте от него, и — все пойдет хорошо. С этим лозунгом — один и верный путь — к совершенству».

Приведя этот лозунг в своей статье и, при случае, повторяя его, Горький дал повод говорить о нем как о своеобразном приветствии и сам легко поверил в это, после чего пошел слух, что мы разговариваем так, как изобразил Горький: «С добрым утром, брат во Серапионе. Писать очень трудно!»

В его идеализации молодых литераторов скрывались, конечно, дальновидные педагогические намерения. Но склонность наделять нас чертами романтиков отвечала его собственному романтизму. Ему страшно хотелось сделать нас красочнее, чем мы были.

Сам — мастер жизни, создатель небывалой биографии Максима Горького, он удивлялся нашим биографиям, и его забавляла возможность сделать их более пышными и замысловатыми.

Вопрос о биографии писателя поднимался в нашей среде до принципа методологического. Об этом писала критика формальной школы: какой должна быть биография писателя, сколько биографий надлежит иметь писателю — одну, две или, может быть, более? В этом не было ничего анекдотичного, ибо прошлое русской литературы показало сложнейший пример Льва Толстого, который, кроме писательской биографии, обладал биографией помещика, педагога, боролся за биографию пахаря и ремесленника, стремясь подавить, разрушить традиционное, кабинетно-книжное течение литературной жизни, заменив его подвигом труженического жития. Разнообразие подобных примеров в нашей истории велико: Чехов был врачом, Лермонтов — офицером, Салтыков — чиновником, Кольцов — прасолом, Горький испробовал не две и не три профессии, далеких от литературы, как бухгалтерия от музыки.

Иметь вторую биографию, чтобы питать ею первую, — это означало черпать знание жизни не за счет писательской профессии, а вне литературной среды, вне книжных представлений. Воззрение это обязывало нас быть крестьянином, инженером, путешественником, рабочим — кем

удовно, в надежде таким путем добиться обогащения и возможного совершенства литературного труда.

Такой обогатительный метод недостаточно ценил самую сущность писателя — его мысленный взор, воображение — и невольно предавал земле важнейшую задачу, стоявшую перед революционным поколением русских писателей, — задачу усвоения культуры.

С биографиями у нас обстояло роскошно. Напечатав несколько рассказов, «серапионы» тотчас выступили со своими жизнеописаниями, и одно перечисление профессий, испробованных столь молодыми людьми, сделало номер журнала «Литературные записки», где появились автобиографии, сказочно увлекательным.

Но как обстояло с культурой?

Поколение войны и революции должно было сменять своих предшественников. Старая Россия уходила быстро и безвозвратно. Мы понимали, что нельзя являться на ее место голыми. Мы обязаны были дать нечто новое. Но ничто новое не может возникнуть самопроизвольно, и какова же была наша культура рядом с культурой наших предшественников?

Ленин дал сжато выраженную формулу отношения к наследию, к познаниям, накопленным в прошлом: «Хранить наследство — вовсе не значит еще ограничиваться наследством».

Мы были достаточно культурны, чтобы хранить наследство, чтобы с необходимым разумением пользоваться готовым. Но для того, чтобы не ограничиваться хранением, чтобы воздвигать здание выше — какими силами мы обладали?

Я беру только одну группу наших предшественников, явившихся к эпохе революции зрелыми художниками, — символистов, и только одну, второстепенную область их работы — переводческую. Благодаря труду трех поэтов — Брюсова, Блока, Бальмонта — в обиход русской художественной культуры вошли такие новые для нас мировые понятия, как Верхарн и поэзия Армении, Эдгар По и Руставели, зазвучали такие имена, как Уитмен и Уайльд, предстали обновленными доктор Фауст и Гейне, Шелли, Кальдерон и Грильпарцер.

Если взять столь обширное понятие в нашем художественном сознании, как Скандинавия, скандинавские литературы, то мы обязаны этим понятием всего двум-трем

переводчикам, среди них А. В. Ганзен и К. М. Жихаревой. Максимилиан Волошин блестяще оценил одну из заслуг Федора Сологуба, благодаря которому «Верлен стал русским поэтом». Разительно много может сделать один человек, и как мало надо, чтобы лишиться невозместимой ценности: стоит только потерять этого одного человека. Михаил Лозинский, с его виртуозным стихом и верным чувством прозы, пополняя и совершенствуя долгие годы наше знание испанцев, французов, англичан, вдруг, изучив иранский язык, упрочил бессмертие Фирдоуси в языке русском, а затем заново открыл нам «Божественную Комедию» Данте.

Русская культура славится не одними уникальными явлениями, число коих велико, но широтою всего круга дарований, обогащавших наше представление о мире.

Издательством «Всемирная литература» Горький объединил около ста писателей — переводчиков западных литератур и почти пятьдесят знатоков Востока. Эта армия культуры тысячами книг, которые ей предстояло выпускать, действительно могла повести сражение, намеченное Горьким в издательской декларации, кончавшейся словами:

«Да вспомнят люди на празднике зверя и скота обо всем истинно человеческом, чему века служили, чему учили мир гении и таланты».

История предложила молодым писателям принять наследство из сильных рук. Вот почему Горький был крайне серьезен в своем отношении к нам. Его переписка с нами состоит из терпеливых подталкиваний к работе и работе. Он ждал от нас не вторых и не третьих биографий, которые могли быть без труда и даже с удовольствием придуманы им или нами, но — естественно — биографии русского писателя большой культуры.

В середине двадцатых годов я дважды подолгу жил в глубине Дорогобужского уезда. Охота в живописных, нетронутых лесах, рыбная ловля в отдохновенных заводях маленьких притоков Угры, деревенские лица и деревенские дела — все это опутывалось покровом обычной простоты, давало отдых чувствам и предпочитало невмешательство ума. Дом моего друга Соколова-Микитова был населен аксаковским духом обожания природы. Здесь не

могло быть и следа барства, но труд был несложен, его спокойствие и благодушие выростали из его неизбежности. Земля все объясняла, не всегда убеждая своими объяснениями. По контрасту с окружающей тишиною мы заводили разговоры о пережитом в далеких путешествиях на Запад и Восток и, расставив под вечер жерлицы на щук, оглашали безвестные берега Невестицы именами Лондона и Александрии, Нюрнберга и Афона, Дрездена и Стамбула.

Но тем более властно заполнялось воображение окружающим миром, когда, оглянувшись на отходящую в сумрак природу и услышав отчетливый вечерний разговор, который вдруг доскользнул по реке из деревни, мы возвращались туда, где находились.

Смоленщину в те годы обуревала жгучая горячка: с настойчивостью воды, рассочившей плотину, крестьяне уползали из деревень на хутора. Получив иной раз самый захудалый участок на болоте или в лесном сплошняке, отрубник бежал к себе в глушь и яростно, не щадя пота, копал канавы, чтобы осушить землишку, или корчевал лес, заваливая чем попало всякие следы дорог, которые могли привести стороннего человека на обособившееся хозяйство. Мысли об устройстве своей жизни особенно от общества лежали подколodным пластом в сознании хуторян. Повернуть эти мысли, разворошить так, чтобы хуторянин взглянул на себя обновленным глазом, казалось, было нельзя. Всякие разноцветные оттенки имели эти мысли, но главная и самая неподвижная из них состояла в том, что хутор непременно должен наделить человека счастьем.

Меня интересовала не социальная сторона явления, а биологическая, скрытая, интимная — сокровенность чувств хуторянина, цепкость его надежд, его ожидание сказки, родом своим вышедшей из лесной глуши и манившей человека назад, в глушь. Среди хуторских чаяний возникали дикие, почти величественные уродства, пройти мимо них не мог бы ни один художник, и повестью «Трансвааль» я отдал им должное в своей книге о деревне.

Горький в то время производил тщательную работу освобождения своей памяти от огромного груза бытия. Одна за другой выходили его книги с рассказами о былом, воспоминаниями, заметками из дневников. Российский

человек, с которым прожиты были давние годы страстей по дорогам Родины, заново проходил мимо Горького в его соррентском уединении. Никогда еще Горький не давал такого обилия портретов, никогда с такой привязанностью не писал картин русского жанра, никогда так многокрасочно не показывал окостенения противоречий в старом русском укладе — борьбу мечты с мерзостью, как в эту плодотворную пору прощания с прошлой жизнью. Магнит России действовал неотвратно, не было силы в мире, которая способна была бы оторвать от этого магнита талант Горького, и любой русский вопрос, любая русская тема засасывала его в рассуждения и споры, как в водоворот. Он писал с усладой и влюбленностью, и его письма в эти годы — настоящая музыка страсти...

Перенасыщенный деревенскими впечатлениями, я обрушил их на далекое Сорренто. Не все в моем письме состояло из понимания происходящего, скорее это был первозданный хаос чувств, сквозь который пробивались наблюдения очень свежие и живые рядом с верованиями, отмиравшими во мне так же, как в старой деревне.

Вспоминая выступление Горького на Итальянской перед пролеткультовцами, сравнивая разговоры его о русском человеке с вывезенным мною из Смоленщины путаным, не легко поддававшимся развитию обликом деревни, я невольно оказывался нападающей стороной. Так был порожден философский спор о крестьянине, о художнике, о тенденции в искусстве, о морали.

«Вчера получил ваше глубоко интересное письмо, дорогой Федин.

Вы, конечно, совершенно верно говорите, что в моем суждении о крестьянстве я и неправ, и прав. И, разумеется, вы знаете, что наши правда-неправда — родные сестры, а также знаете и то, что не дело, не задача художника открывать и утверждать истины. Вполне допустимо, что «неправда» есть только умершая, отжившая истина, а правда — истина живая, рожденная как вывод из ряда новых фактов бытия. Сие не очень новое соображение, да неуклюжее, вызвано вашими словами о мужике, «постоянно противодействующем понукающим».

Нет ли здесь ошибки у вас? Ведь «понукающие» несут в жизнь именно живую, новую истину, и поэтому они являются творцами культуры. Именно — они. Так всегда было и будет. Лично я привык думать, что «постоянное противодействие» истекает у людей из желания покоя, «более или менее устойчивого равновесия». К этому «равновесию» стремятся не только люди, но и так называемая «мертвая материя». И даже те ученые люди, кои утверждают, что материи — нет, а существует лишь энергия, не могут отрицать, что и энергия стремится к энтропии, к состоянию покоя. Наверное, и я тоже хочу достичь этого состояния, хочу решительного и все разрешающего вывода, продолжая, однако, думать, что все мои симпатии на стороне «понукающих» и что мне органически враждебно постоянное противодействие мужика неосознанным требованиям истории.

Все это я говорю потому, что мне показалось: в письме вашем вы покорствуете фактам. Это вредно для художника, который, по существу своему, принадлежит к секте «понукающих». Именно таков истинный художник, таково искусство, которому он обреченно служит. «Истинное искусство не философствует, не проповедует, оно только любит», — говорит один из героев романа, который я пишу. Я прибавил бы к его словам: и ненавидит.

Итак, истинный художник, по существу своему, принадлежит к секте «понукающих», то есть тех сил, которые творят историю, — к делателям нового мира. Но он — не проповедник, не философ, он творит историю особыми, только ему свойственными силами любви и ненависти. Его сфера — чувство, жизнь сердца. Он не имеет права покорствовать фактам, то есть примиряться с произвольным течением действительности. Он должен ненавидеть и любить. Тогда он и будет, побуждая, «понукая» к деланию нового мира, творить его историю.

Примирился ли я с впечатлениями, которыми населила меня дорогобужская глушь? Разумеется, нет. Да это отрицал и Горький. Он только что прочитал вышедшую в то лето мою «Наровчатскую хронику» и, очень лестно для меня оценивая эту повесть, говорил, что по ней не видно, чтобы я «безусловно покорствовал фактам».



«И вообще, я вас не вижу способным покорствовать. Вы — человек хорошо, спокойно упрямый. Вы становитесь все более художником. Чепуха, что все у вас «неустойчиво», как пишет в «Н. Мире» Вешнев. Это материал неустойчив, а не вы. Почти все современные молодые писатели и поголовно все критики не могут понять, что ведь писатель-то ныне работает с материалом, который зыблется, изменяется, фантастически соединяя в себе красное с черным и белым. Соединяя не токмо фантастически, но и неразрывно. И современное искусство слова еще не настолько мощно и всевластно, чтоб преодолеть эту сложность бытия, где правда с неправдою танцуют весьма запутанный и мрачный танец. Надо помнить, что такого времени еще не было и что крупнейшие произведения искусства почти всегда — не современные. «Война и мир» разве современна годам, когда писалась? А — «Фауст»? «Дон-Кихот»?»

Да, да, материал современности зыблется — это ощущалось мною до физического страдания, да и не одним мною, а всей молодой литературой. Десятки раз уподоблял я этот материал сухому песку, который, будучи зажат в горсти, тем больше утекает сквозь пальцы, чем сильнее сжимаешь кулак. Только тот хорошо знает это коварное и насмешливое свойство материала современности, кто годами пытался удержать в своей руке как можно больше песку нынешнего дня, несмотря на великий и часто легкий соблазн работать на мраморе прошлого. Пример «Войны и мира», ставший классическим, преследовал нас и надоедал своей неопровержимостью. Любая большая неудача писателя, изображавшего современность, подтверждала правоту нашего взгляда на то, что для написания произведения искусства необходимо расстояние между художником и эпохой, им воображаемой. Ссылка на «Войну и мир», «Фауста» и «Дон-Кихота» не только упрочивала и обосновывала этот взгляд, но и обобщала судьбу наших попыток с опытом отцов и дедов, которые устами Флобера утверждали: «Чтобы создать что-либо длительное, необходима твердая база; нас тревожит будущее, нас удерживает прошлое. Вот почему ускользает от нас настоящее».

Однако мы были детьми революции, и мы сознательно брали на себя труд, может быть и непосильный, но неизбежный: мы хотели, мы обязаны были, наконец, мы жаждали говорить о том, чем жили. Война и революция были

основой нашего переживания. Дать это переживание в искусстве стало задачей наших биографий. Задача решалась то неверно, то неполно, с ошибками, и не по готовым ответам задачников. Обжегшись на молоке, мы, однако, не дули на воду, не дули и на молоко, продолжая жечься, как малые дети. Возможно, что и я, в своей настойчивости, перехватывал через край. Возможно, в интересах искусства и даже просто — художественного мастерства я должен был бы обратиться или обращаться к материалу более независимому от злобы дня — к истории, хотя и этот путь не был усеян в то время розами (о чем рассказано дальше). Я глубочайше был убежден, что художник обязан связать себя со своим временем, если не хочет быть обреченным на бесплодие. Я внушал себе, что не следует бояться ни ошибок, ни заблуждений, потому что нет и не было ни одного значительного писателя без ошибок и заблуждений окружавшего его мира. Я говорил себе, что обязан ошибаться. Я не боялся этого парадокса — настолько остро чувствовалась мною потребность связи со своим временем, так мрачно зияла передо мною пустота и смерть, угрожавшие художнику, который, в погоне за «безошибочностью»; предпочитает испытанный холод мрамора неверному жару песка.

По совести: в чем был я «спокойно упрям» — это в своих узах с действительностью, в жизни своего сердца, в любви и ненависти. Но, бог ты мой, как легко выговаривать слова, вплоть до самых возвышенных, и как сложны состояния человеческой души, обозначаемые этими словами!

Искусство любит и ненавидит. Какая прозрачная ясность — любовь! Но куда, к чему приложена любовь художника? Участие, сострадание, жалость рядом с нежностью, лаской, обожанием, страстью, рядом с признательностью, благодарностью, жертвенностью, самоотречением — какой из этих тонов делает обольщающую музыку любви?

Когда все еще под живым впечатлением деревни, продолжая спор, я писал Горькому о любви к человеку, я не разлагал свое чувство на составные тона. Это не было также разгадыванием его природы. Это были поиски приложения его. И мне казалось, что мое чувство тяготеет к человеку простому, к человеку бедной повседневности, не заметного труда — к безвинной кляче, перевозящей грубый

воз истории из эпохи в эпоху. Раньше говорилось — к единому от малых сил. И возможно, сострадание к такому человеку, жалость и благодарность к нему, соединенные с неловкостью, вытекающей из превосходства над ним, — нечто родственное отжившему состоянию кающегося дворянина — были приняты мною за любовь. А — по противоположности — самодовольство человека, ставящего себя образцом мироздания, избалованного благосклонностью судьбы, как рысак, привыкший брать беговые призы и взирающий на клячу, которая убирает ипподром, как на особь низшего вида, — самодовольство такого человека вызывало во мне неприязнь.

Горький повел спор так:

«Крайне интересно пишете вы о рысаке, который возбуждает у вас досаду, и о «ничтожной кляче», которая волнует вас. Это — на мой взгляд — нечто очень древнее и очень христианское. «Муму» Тургенева, Акакий Акакиевич Гоголя и другие «клячи» — это больше не нужно, это — патока, которой не подсластишь горечь жизни нашей, замазка, которой не скроешь глубокие, непоправимые трещины современных форм государства. Но и «рысак» не должен, не может быть идиолом художника, — нет. Художник говорит себе:

Как странники по большой дороге,  
Сквозь сердце мое прошли  
В печали, сомненьях, тревоге  
Тысячи детей земли<sup>1</sup>, —

и все они только мой материал. Только — это.

Я думаю, что «действенная моя любовь к человеку» — ваши слова, — эта любовь, вероятно, — миф. Истина же, реальное же в том, что человек мучительно интересуется меня, не дает мне покоя, желает, чтоб я его хорошо понял и достойно изобразил. И с этой «точки зрения» Эйнштейн, пытающийся радикально изменить все наше представление о вселенной, равен — для меня — герою рассказа «О тараканах», посланного мною Груздеву для четвертого

---

<sup>1</sup> Стихи Горького 1892 г., из его «тифлисской тетради», сожженной им. Горький «куриоза ради» оставил неуничтоженным только один листок тетради именно с этими стихами. Значит, в 1926 г., к которому относится приводимое письмо, он сохранял их в памяти. — К. Ф.

«Ковша». В кратких — и не новых — словах задача художника изображать мир, каким он его видит, ничего не порицая, ничего не восхваляя, ибо порицание — несправедливо, похвала — преждевременна, ибо мы живем ещё в хаосе и сами частицы хаоса...»

Понятно, что должно было броситься в глаза даже при самом быстром чтении этих строк: «Ничего не порицая, ничего не восхваляя». Как? Но ведь художник любит и ненавидит! Разве ненависть не есть порицание, а любовь — похвала? Да, да, конечно. Но тотчас я должен был сам приостановить свой пыл: успокойся, художник любит и ненавидит, но ведь «искусство не философствует, не проповедует», и, значит, не тот порицает и хвалит, кто создает искусство, а тот, кто извлекает из него выводы. Любить или ненавидеть — дело твоего искусства. Порицание же и похвала естественно заключены в произведении искусства, поскольку ты, художник, выразил в нем жизнь своего сердца.

Тут мы приближались к вопросу, которым занято искусство всех времен и народов, русское — больше, чем какое-либо иное, а революционное советское искусство больше, нежели русское когда-либо в прежнее время, — к вопросу о тенденции в искусстве.

Причина споров на эту тему, мне кажется, лежит в том, что — говоря о тенденции — кто понимает намерения художника, а кто — одно из свойств искусства. Искусство тенденциозно. Это значит, что из любого произведения искусства с неизбежностью вытекает тенденция. Но художник нетенденциозен... Это значит, что он свободен от намерения что-либо насильственно придать своему искусству. Такое понимание складывалось у меня из пройденной художественной практики и давало необходимый «воздух» в работе. Я был счастлив найти много позже превосходную иллюстрацию своего взгляда в известной книге Станиславского. Рассказывая о своей работе над ролью Сатина в горьковской пьесе «На дне», Станиславский приходит к такому заключению: «...в роли Сатина я не мог сознательно добиться того, чего бессознательно достиг в роли Штокмана<sup>1</sup>. В Сатине я играл самую тенденцию и думал об общественно-политическом значении

---

<sup>1</sup> Во «Враге народа» Генрика Ибсена, — К. Ф.

пьесы, и как раз она-то не передавалась. В роли же Штокмана, напротив, я не думал о политике и о тенденции, и она сама собой, интуитивно создалась».

Нельзя сказать более выразительно о нетенденциозности природы художника...

«Дорогой мой Федин, — нашу беседу об искусстве мы — истинно по-русски — свели к вопросам морали. Ваше тяготение к «ничтожным клячам» и «досада на рысака» это уже из области морали, и боюсь, что это путь к утверждению необходимости тенденции в искусстве, уступка требованиям времени. Акакий Акакиевич, «станционный смотритель», Муму и все другие «униженные и оскорбленные» — застарелая болезнь русской литературы, о которой можно сказать, что в огромном большинстве она обучала людей прежде всего искусству быть несчастными. Обучались мы этому ловко и добросовестно. Нигде не страдают с таким удовольствием, как на святой Руси. От физических страданий нас, все более успешно, лечат доктора, а от моральных — Толстые, Достоевские и прочие, коих, в сем случае, я бы назвал деревенскими «знахарями», они тоже бывают и мудры и талантливы, однако ж чаще усугубляют болезнь, а не излечивают ее.

Аз есмь старый ненавистник страданий и физических, и моральных. И те и другие, субъективно и объективно взятые, возбуждают у меня негодование, брезгливость и даже злость. Страдание необходимо ненавидеть, лишь этим уничтожишь его. Оно унижает Человека, существо великое и трагическое. «Клячи» нередко рисуются им, как нищие — своими язвами, «клячи» очень часто путают и ломают жизнь таких «рысаков», как Ломоносов, Пушкин, Толстой и т. д. Милосердие — прекрасно, да! Но — укажите мне примеры милосердия «кляч»! А милосердием, любовью «рысаков» к людям творилось и творится в нашем мире все, что радует нас, все, чем гордимся мы.

Гуманизм в той форме, как он усвоен нами от евангелия и священного писания художников наших о русском народе, о жизни, этот гуманизм — плохая вещь, и А. А. Блок, кажется, единственный, кто чуть-чуть не понял это.

Нет, дорогой друг, мне с вами трудно согласиться. На мой взгляд, с людей страдающих надобно срывать словесные лохмотья, часто под ними объявится здоровое

тело лентяя и актера, игрока на сострадание и даже — хуже того.

Мне думается, что вас, «художника», не «клячи трогают до слез», а вы волнуетесь от недостаточно понятого вами отсутствия смысла в бытии «кляч». Поймите меня — я смотрю на сию путаницу не с точки зрения социальной неразберихи, а глазами инстинкта, биологической силы, которая внушает мне вражду ко всякому страданию».

Да, совершенно очевидно, что «беседу об искусстве мы — истинно по-русски — свели к вопросам морали». Я не мог бы снять с себя за это вину. Но и Горький был повинен в этом слишком явно. Да и как бы могло быть иначе? Русская литература всегда возвышалась над другими литературами своим стремлением насытить содержание искусства проблемами морали. Она именно «философовала и проповедовала», в равной мере — устами писателей и своих героев. В искусстве Горький убеждал и молодую литературу и самого себя предоставить проповеди героям, сохраняя за художником его «нетенденциозность», но в жизни он, один из величайших моралистов современности, не мог сложить свое оружие, и как раз переписка, наряду с публицистикой, давала простор для его учительства, которого он готов был лишить себя в своих художественных произведениях. Переписка привела к тому, что Горький высказал в сжатой формуле моральный принцип, руководивший им во всем деле его жизни: «Страдание необходимо ненавидеть, лишь этим уничтожишь его. Оно унижает Человека, существо великое и трагическое».

Здесь с яркостью проявилась последовательность Горького в отношении к своему антиподу — Достоевскому, с его идеей об «очистительном» значении страданий. Отрицание Достоевского естественно должно было привести к отрицанию Гоголя, поскольку «все мы вышли из «Шинели» Гоголя», как сказал Достоевский. И Горький направляет удар против Акакия Акакиевича — против этого знамени жалости и сострадания.

Не один раз в переписке со мною он упоминает Гоголя и всегда без сочувствия. Он смотрит на него как на родоначальника одного из течений, совершенно неприемлемых в моральном смысле. Так же как от Достоевского его отталкивал не только политический строй «Дневника

писателя», но весь нравственный мир героев-страдальцев, героев-мучеников, так от Гоголя его отвращала не столько «Переписка с друзьями», сколько именно Гоголева жалость к Акакию Акакиевичу.

Ведь если бы отрицание Горьким традиции Гоголя — Достоевского (а в позднейшем ее виде — Ремизова) основывалось на одних политических разногласиях, то почему нет у Горького нигде недружелюбия к Лескову — автору консервативных романов, а, наоборот — повсюду рассеяны выражения симпатии к нему и восхищения? А потому, что Лесков — жизнелюбец, писатель, всюду, в лучших своих произведениях, утверждающий радость и счастье жизни. Вся музыка писаний Лескова льется если не в одном ключе с горьковским жизнеутверждением, то в непосредственном соседстве с ним — она мажорна, полна надежд и бодрости.

Страдание очищает человека — утверждал Достоевский. Нет, оно унижает его — говорит Горький. Позиция «ненавистника страданий» вырабатывалась им еще в 1913 году, в статьях «О карамазовщине», в одной из которых он требовательно заявлял: «Нам больше, чем кому-либо, необходимо духовное здоровье, бодрость, вера в творческие силы разума и воли». Спустя десять лет, в предисловии к американскому изданию своей пьесы «Старик», Горький утверждал, что «Россия достаточно перенесла страданий, чтобы дойти до неискоренимой ненависти к ним». И вот, еще через три года, он пишет мне с гневным убеждением: «Аз емь старый ненавистник страданий и физических, и моральных». Эта позиция стала исходной для деятельности Горького в последующие годы, когда он начал с энергией выступать против «искусства быть несчастными», за искусство быть счастливыми.

Таков был результат философской части переписки Горького со мною; он отгонял работу моего воображения прочь от традиционного в старой литературе интереса к страданию, к «обидной» жизни единого от малых сих и призывал любить «существо великое и трагическое» — человека, верящего в творческие силы разума и воли.

Как возникает в человеке убеждение, что он призван к делу искусства? Как осознается призвание?

В ранние годы, еще не предчувствуя, чем я буду за-

нят в жизни, а живя по-детски, ото дня ко дню, я прочитал «Героя нашего времени». Я знал и другие книги. Но эта была необычайным переживанием, оно ни с чем не могло быть сравнимо. После нее жизнь приобрела некоторое общее содержание. Ко всему, чем разрозненно наполнялся день, прибавилось отдаленное и слитное нечто, обретающееся там, за книгами. «Миргород» перестал быть школьным обязательством. Появились небывалые общие интересы с матерью: я прочитал то, что она любила, — «Старые годы в селе Плодомасове». Книга оказалась миром очарований, пока не пришло потрясение: это был «Идиот» и за ним — весь Достоевский.

Мне стало ясно, что моя жизнь может быть осмыслена только тогда, если я стану писать. Развитие шло, конечно, гораздо хитросплетеннее, потому что я покорялся не только образцам литературы. Театр и живопись спорили о моей бедной душе, не давая ей вздремнуть. Но книги восторжествовали.

Борьба могла закончиться совсем иначе. Не знаю, что со мной было бы, если бы я встретил иные образцы искусства в театре, в живописи или, может быть, в музыке, чем те, которые, на первых порах, мне стали известны.

Речь идет о пробуждении призвания, о его зачатии. Сознание, что ты обладаешь способностью больше всего именно к этому делу, а не к другому, возникает от соприкосновения с образцом. Поэтому важнейшим моментом для пробуждения призвания является качество образца. Если мы хотим, чтобы призвание достигло значительного развития, мы должны дать образец высокий, высочайший. Далекий от склонностей, от предрасположений человека образец может и не пробудить в нем призвания. Низкий уровень образца не способен толкнуть человека к серьезной задаче, он скорее угасит призвание.

Это, по-видимому, касается не только художника, а всякой творческой личности, но я думаю, что художника касается непременно. Пробудившись, призвание развивается в дальнейшем с образцами и становится преодолением их влияний. Это есть процесс высвобождения особенностей художника, его индивидуальности. Принять и отвергнуть образец, преодолеть его силою своего «я» — такова деятельность художника в его призвании.

Но не меньше образца имеет значение для художника жизненный тип предшественников в искусстве. Учит не



только искусство, учит его создатель. Что больше влияло на литературу конца восемнадцатого века — «Кандид» или Вольтер? «Элоиза» или Руссо? Автор освещал сочинение своей жизнью. Образцы русских писателей девятнадцатого века нередко оспаривали первенство влияния у своих произведений. Дело декабристов Рыльева и Кюхельбекера исторически возвышается над их поэзией. Жизнь Герцена была искусством не менее, чем «Былое и думы». История создания в Алексеевском равелине романа «Что делать?» и трагедия судьбы Чернышевского поражают несравненно больше, чем этот роман. Биографии Достоевского и Толстого формировали русскую литературную мысль наряду с произведениями этих писателей. И замечательно, что даже теоретики литературы, рассматривавшие законы ее развития как нечто самодовлеющее, с течением времени начали утверждать, что создание новой литературы невозможно без новой писательской биографии.

Молодой писатель оглядывается — кому он верит судьбу своих поисков? Кто первый перелистает его рукопись? И вот, с замиранием сердца, он входит в мир предшественников, в мир старших современников, как сначала входил в мир их созданий.

Вероятно, много недостатков и пороков можно отыскать на литературном пути Акима Волинского: его мировоззрение колебалось, он соблазнялся больше картинностью, нежели последовательностью мысли, он чересчур любил фразу. Если бы я был самым благосклонным критиком, я и тогда бы не поставил в образец его многословные писания.

Но вот я вижу, как везут Волинского в Обуховскую больницу, в палату, предоставленную ему Грековым, как он оглядывает последним взором выпяченных, влажных, огромных своих глаз стены, которые он навсегда оставляет, — стены, только стены своего пристанища, своей кельи, да пустой гардероб камердинера купца Елисеева, да неоконченного «Рембрандта», да флакон чернил: литератора увозят в больницу, умирать, литератор окидывает взором всю свою жизнь, свое наследие.

Может быть, он раскаивается? Может быть, жалеет, что к такому классически убогому концу пришел он после

десятилетий журнальных боев, ночных сидений за корректурой и книжных розысков в ледяных библиотеках?

Нет. Он не считает такой конец убогим. Он не хотел бы никакого иного. Он именно так и мечтал завершить свой путь. Его увозят, как раненого победителя с поля боя. Складки занавеса ложатся и ниспадают величественно и строго, как после трагедии об античном герое. Он ходил по ступью маленького римлянина, он готов был умереть спартанцем.

На фабрике смерти, где хозяином и бойцом со смертью был испытанный друг Волынского, — в Обуховской, он пролежал несколько дней.

Конечно, Греков сделал все, что было во власти его искусства. Он хорошо знал, что с уходом Волынского не уходит какая-нибудь замечательная эпоха. Но еще лучше он знал, что Волынский уносит с собой, наверно, важнейшую законченную главу той книги, которая долго писалась на Ямской, в петербургском углу Достоевского. Возможно, там еще соберется кружок каких-нибудь известностей, еще поднимут рюмку водки, еще прослушают «Гимн Гименею». Но уже никто не вскрикнет в передней: «Пришел Аким Львович, пришел Аким Львович!» И первое, почетнейшее место в грековском салоне никогда больше не будет занято, — корабль останется в море без грот-мачты.

И потому, когда в белой палате с высоким екатерининским окном Аким Волынский без жалоб и — вероятно — без сожалений умер, нет, не умер, но, как он сам сказал бы, — испустил дух, Греков, видевший под этими окнами столько смертей, не мог остановить слезы. Он закрыл огромные глаза покойника и, держа его веки, которые все открывались, едва он снимал с них пальцы, плакал. Он почему-то видел, как корабль теряет все мачты, одну за другой, видел свой дом без себя, без своей жены. То есть он плакал о том, что естественно должно было прийти вслед за тем, что пришло. Он плакал о естественном и, значит, бесповоротном.

Потом он снял пальцы с глаз своего друга: веки Волынского больше не открывались...

Когда я говорил у гроба Волынского, я назвал его «последним из донкихотов». Никто не упрекнул меня этим. Мне кажется, он сам был бы доволен, если бы слышал эти слова. А для нас он был прежде всего донкихотом —

существом, маниакально отдавшимся призванию, с жреческим темпераментом, рыцарем словесных фехтований. Я думаю, наше поколение совсем не увлекалось его книгами, даже толком не знало их. Но его образ жизни рисовал перед нами писателей-предшественников. Мы не собирались подражать таким писателям, как он, или непременно учиться у них. Мы уже изучали их самих почти как литературных героев и, во всяком случае, как прошлое литературы. Ведь в Акиме Волынском каждая складка одежды, каждая морщина лица дышала девятнадцатым веком. Прочитав один мой рассказ, он воскликнул: «Приведите его ко мне, я хочу его расцеловать!» Это вовсе не означало, что Волынский считал меня кем-то вроде молодого Достоевского. Но себя-то он видел, конечно, не менее, чем Белинским, и не мог, не умел жить иначе, нежели в возвышенной манере романтиков. Он обладал всем, чтобы стать идальго своего времени, ему недоставало только славы. Но я уверен — будучи прирожденным донкихотом, он считал, что обладает и славой. Лицо его в гробу говорило: я достиг всего, и я великолепен...

Греков, прощаясь с ним, не ошибался: отлетал в прошлое дух, живописнее всего олицетворявший собою грековский салон с его коленопреклоненным почитанием искусств и наук.

Совершенно не похожий на Волынского характером, Греков был очень близок к нему своим отношением к призванию. Он чуждался всякой театральности, жест его был мужественно прост, облик напоминал чеховских земских докторов.

Вот он, сгорбившись, сидит в пролетке обветшалого извозчика, пробираясь сквозь туман проспектов от одного больного к другому. Вот раскрывает дверь из кабинета в завешанную картинами гостиную и, взглянув покорно на неподвижных пациентов, говорит: «Следующий, пожалуйста». Вот медленно, с одышкой, берет лестницы Государственного издательства и за каким-то столом, в какой-то пятидесятой или сотой комнате вычерпывает из бездонного портфеля гранки своего «Вестника хирургии». Вот заслуженный швейцар надевает на него халат, и он, разминая пальцами ледяные сосульки на седых усах, пригваривает: «Ну, и стужа ударила, Сидорыч!» — «Стужа

крещенская, Иван Иванович, по положению». Вот он стоит в предоперационной, вытянув руки, и сестра меняет ему халат на стерильный. «Сколько сегодня?» — спрашивает он. «Только девять человек подготовлено», — отвечает сестра. «Только, — ухмыляется он, — ну, спасибо, утешила...» Вот он приходит на собрание Пироговского общества, и врачи окружают своего председателя, как они — свитой — окружают его, когда он шествует с обходом из палаты в палату больницы.

И вот именно так наступает конец.

Лет пять спустя после смерти Волинского Греков явился на очередное заседание Пироговского общества. Он поднимался по лестнице и умер, разговаривая с учеными, не дойдя до своего места за столом.

Он сначала умер, а потом упал. В этом было нечто схожее со смертью воина в сражении.

Да, он был солдатом своего призвания, своей медицины, как солдатом литературы был его друг, смерть которого он оплакивал.

Так же как о Волинском, мне могут сказать о Грекове: позвольте, это — идеализация, ведь вы ничего не говорите о его недостатках, мы знаем его отрицательные черты, он был не так-то безукоризнен.

Конечно, он был не безукоризнен. Но это не идеализация. Нет ничего легче отыскать в человеке плохое, и вряд ли что-нибудь отрицательное ускользает от глаза писателя. Но я беру лучшие черты людей прошлого, стоявших на виду у молодежи, когда она изучала своих предшественников, отыскивала жизненный пример, которому хотелось бы подражать, как образцу.

И нередко, уходя навсегда, обладатели таких достойных повторения черт заставляли меня восхищаться: как чудесен настоящий человек, с загадкой его рождения, с его умной, высокой, иногда веселой, сумбурно-красочной, иногда геометрически размеренной жизнью, с вечной трагедией его смерти! Как хорошо жить, чтобы учиться лучшему у лучших из людей...

Но несмотря на то, что подобные люди давали примеры нераздельной верности своему призванию, одни — монашеским, донкихотским образом жизни, как Волинский, другие — строжайшей, до холода, приверженностью

своей музе, как Сологуб, они не оказали на нас никакого влияния.

Как раз в годы, бывшие последними для этих писателей, формировалось самосознание советской литературы, как вполне нового периода русской поэзии и прозы. С необычайной разносторонностью это самосознание утверждал Горький. Уже одно его неповторимое знание жизни делало его слово для нас убедительным. Между совершенно свежими, часто нетронутыми старым обществом людьми, поднятыми к работе в новой культуре, с одной стороны, и Горьким — с другой, не было никакого среднего звена: он вместе с ними принадлежал революции. Близостью к ним он устанавливал преемственность зачинавшегося движения от традиционной русской литературы. Наконец, он делал достоянием молодежи не только свою активную мудрость писателя, опыт борьбы и труда, но и себя — мастера, умеющего, как никто, раскрывать тайники искусства. Немыслимо другое такое сочетание. Горький исторически должен был сделаться первым именем новой литературы. Так и произошло.

Все влияния отступили на задний план перед влиянием Горького.

Борьба шла за авторитет в области искусства письма: кто обладает знанием — как делается искусство? Часть предреволюционной литературы, остававшейся в Советском Союзе, — старики и донкихоты устранились из спора, надменно и скептически выжидая — что получится? Выросшая за годы революции молодая школа литературоведения, известная под именем «формалистов», выступала с утверждениями, основой которых была решительная уверенность, что искусство делается из искусства. Ей противостояла боевая публицистика сравнительно мало разнородных литературных групп — от остатков Пролеткульта и «космизма» до «напостовства» и РАППа. Смысл этой публицистики заключался в убеждении, что литература, как искусство, есть производное идейного ряда, и, значит, борьба должна вестись за ее содержание — прежде всего. Школа футуризма, во всех ее ответвлениях до Лефа включительно, старела, не вкусив прелести зрелого возраста. Все это, вместе взятое, остается дребнями, еще не тронутыми историком литературы. Как я завидую его будущей работе!

Горький был синтезом двух основных течений страстной и длительной литературной борьбы, говоря упрощенно — между формой и содержанием. В этой важнейшей для искусства борьбе он с тонкостью проявил себя, как всегда, товарищем душевной жизни писателя, не ущемляя авторского самолюбия там, где оно было закончено, и не щадя его, если оно раздувалось, подобно басенной лягушке.

Как же делается искусство? Что думал об этом Горький?

«Волнующий вас лично вопрос: как писать? разрешается временем и любовью к делу писания. Толстой? Его «простота» давалась ему — вы знаете это — тяжелым упорным трудом. Пластичность, скульптурность его письма очень не «проста». Еще более «прост» другой великомученик слова — Флобер...»

«Писать очень трудно» — это превосходный и мудрый лозунг. Не отступайте от него, и — все пойдет хорошо. С этим лозунгом — один и верный путь — к совершенству. И — позвольте дать вам — всем — грубый, но добрый совет: не очень подчиняйтесь литературным «отцам» и «старшим». Лучше самим ошибиться, чем повторять ошибки других, хотя ошибки всегда поучительны...»

«Молодым» писателям следует читать «стариков» придирчиво. Достоинства — как и все в мире нашем — подлежат исследованию наравне с недостатками. Живет немало достоинств, слишком изношенных и подлежащих искоренению».

«С печалью вижу, как мало обращает внимания молодежь на язык, стремясь не к пластичности фразы, а к фигурности ее, редко удивляя и почти никогда не убеждая».

«Вы говорите: вас мучает вопрос «как писать?». 25 лет наблюдаю я, как этот вопрос мучает людей и как он — в большинстве случаев — искажает их. Да, да, это серьезный вопрос, я тоже мучился, мучаюсь и буду мучиться им до конца дней. Но для меня вопрос этот фор-

мулируется так: как надо писать, чтоб человек, каков бы он ни был, вставал со страниц рассказа о нем с тою силой физической осязательности его бытия, с тою убедительностью его *полуфантастической* реальности, с какою вижу и ощущаю его? Вот в чем дело для меня, вот в чем тайна дела. Черт побери все пороки человека вместе сего добродетелями, — не этим он значителен и дорог мне, — дорог он своей волей к жизни, своим чудовищным упрямством быть чем-то больше себя самого, вырваться из петель — тугой сети исторического прошлого, подскочить выше своей головы, выдраться из хитростей разума, который, стремясь якобы к полной гармонии, в сущности-то стремится к созданию спокойной клетки для человека.

Подлинную историю человека пишет не историк, а художник. Ни Соловьев, ни Момзен не могут написать д-ра Фауста, Дон-Кихота, Ивана Карамазова, Платона Каратаева, а именно эти люди — суть люди, творящие материал для Нибуров и Ключевских. Петр Великий — это Федор Достоевский, работавший не пером, а топором и дубиной.

Дело — не в словах, не в том, как поставить их, чтоб они звучали музыкально и гипнотически убеждали людей — в чем? Гениальные писатели почти все плохие стилисты, неважные архитекторы, а человек у них всегда пластичен до физической осязательности. Лишь немногие из них соединяли искусство слова с поражающей убедительностью пластики, напр. Флобер.

«Как писать?» Мне кажется, что вы близки к решению этого вопроса для себя. Внимательный читатель, я ваших людей ощущаю даже тогда, когда они мне чужды, напр. — немец-художник<sup>1</sup>. Значит ли вышесказанное, что я отстаиваю приоритет «психологического» романа? Нет, не значит. Школы, тенденции литературы для меня значения не имеют и поучительны лишь внешне, поскольку они являются одним из признаков стремления человека делать свое дело как можно лучше, выражением его бесчисленных усилий найти в себе *суть самого себя*, коренное свое, человеческое.

«Вертер» — интересно, Новалис написал очень хороший роман, но согласитесь, что «Записки из подполья»

---

<sup>1</sup> В моем романе «Города и годы». — К. Ф.

или «Очарованный странник» показывают нам людей более значительных вовсе не потому только, что они — наши русские, а потому, что они — больше люди».

«...Чистый вымысел производит большее впечатление на читателя» — пишете вы. Мысль — верная, но выражена — не точно. Лепендин, Шенау, мордва<sup>1</sup> — все это не «чистый вымысел», а именно та подлинная реальность, которую создает лишь искусство, та «вытяжка» из действительности, тот ее сгусток, который получается в результате таинственной работы *воображения* художника. Если вы — художник, все, что вы когда-либо узнали, будет вами, но незаметно для вас, превращено в то, что вы назвали «чистым вымыслом». Черты Лепендина — в тысячах людей, встреченных вами, пыль впечатлений, которые вы получили от них, слежались в камень — явился Лепендин. Его песенка содержит в себе туго сжатый политический и моральный трактат; если эту песенку развернуть — получим одну из сотен книг, написанных о войне, после войны...

Искусство — никогда не произвол, если это честное, свободное искусство, нет, это священное писание о жизни, о человеке, — творце ее, несчастном и великом, смешном и трагическом.

Я очень рад, что мои письма вам приятны, но все-таки посоветую вам: ничего не принимайте на веру! Как только вы почувствуете, что чужое слово, чужая мысль входит в ваше «я» углом, как-то мешает вам, — значит между вами и ею нет «химического сродства» и вы отодвиньте ее в сторону, — не вкрапляйте ее насильно в ваш духовный обиход. Мы учимся тогда, когда накапливаем впечатления и факты, а не тогда, когда строим их в систему, т. е. я хочу сказать: не верить, не анализировать, а дать фактам и впечатлениям свободно отстояться и лишь тогда получится Дон-Кихот, Обломов, Онегин, Лепендин — безразлично кто, но — художественный образ!»

«Вы неоспоримо правы: работа над языком, над формой — цель всей жизни художника...»

---

<sup>1</sup> Персонажи романа «Города и годы». Получив его, Горький писал мне: «Книгу прочитал сразу, «в один присест», затем, с удовольствием, прочитал сегодня еще раз». Он посвятил роману три письма, присланных одно за другим. — К. Ф.



«Процесс осваивания художником действительности — тяжелый процесс. Жизнь, оплодотворяя его опытом — не церемонится, не щадит его души, но ведь только это ее безжалостное своекорыстие и насыщает художника волей к творчеству».

Были ли эти высказывания Горького теоретизированием? Нет, не были. Они не были им, потому что основывались на его личном опыте художника и потому что он постоянно связывал их с явлениями литературной жизни, с книгами и планами.

Все его рассуждения в переписке со мной возникали либо как ответ на письма, либо по поводу моих романов и повестей и были пронизаны конкретностью, имевшей для меня значение советов. Переписка становилась для меня литературным совершенствованием. Он не прошел мимо хотя бы одного моего произведения, оставлявшего след в моей работе, а если я спрашивал — читал ли он такие-то мои рассказы, он отвечал с оттенком обиды: «Конечно, читал». Подхватывая замысел, в который я его посвящал, он шел от него к жизни и сам начинал с увлечением посвящать меня в свои мысли, углубляя, раздвигая мои намерения. Никогда он не допускал наивности подсказывания темы, но его отношение к действительности само говорило, куда следует обратить взор.

Однажды после долгого пребывания в деревне — все в той же яркой Смоленщине — я написал Горькому о деревенском колдуне, доживавшем свой век на краю села, в баньке, над буковищем. Колдун был тяжело болен, стар. Изредка он выползал на солнышко, погреться, сидел тучный, отекавший, подремывая или вяло поводя вокруг молочным, хворым взглядом. Он никому не был нужен, ему из милости отвели пожираемую грибами, заброшенную баню и забыли о нем. Редко сердобольная старуха приносила ему в полотенчике хлеба или в горшке каши. Во власть его над природой и человеком никто уже не верил, он это знал и примирился. За спиной у него, над селом поднимались ввысь крики, плач ребятишек, пронзающие голоса девок, ржание лошадей, звон воды на мельнице. Он сидел над обрывом буковища, рядом с обломками трухлявых ивовых пней, недвижимый, как пень, и ждал — принесут ему еще поесть или уж дадут умереть...

Все мое письмо касалось деревни, Горький сразу отозвался на него и о колдуне написал:

«Какой удивительный сюжет — колдун, умирающий с голода! Мне это напомнило Петра Кропоткина, хотя он с голода и не умирал. Это — удивительно и трагично, колдун! В эмиграции колдуны умирают от голода духовного. Проф. Ильин сочинил «Религию мести», опираясь на евангелие. Струве ходит вверх ногами. Вл. Ходасевич, переехав в Париж, тоже печатно заявляет о своей эмигрантской благонадежности. Скучно, как в погребке, где соленые огурцы прокисли уже».

К эмиграции он приглядывался остро и писал о ней немилосердными словами отчуждения и гнева. Изображая пражский доклад о современной русской литературе, на котором были похвалены «серапионы» — «за все, что вами сделано», — Горький говорил, что на докладчика «зверски бросились все правоверные эмигранты, все иезуиты и его до костей изгрызли. Грызут и поднесь во всех газетах... Похвалить что-либо в России — преступление непростительное. С изумлением, почти с ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди, еще вчера «культурные». Б. Зайцев бездарно пишет жития святых. Шмелев — нечто невыносимо истерическое. Куприн не пишет, — пьет. Бунин переписывает «Крейцерову сонату» под титулом «Митина любовь». Алданов — тоже списывает Л. Толстого. О Мереж[ковском] и Гиппиус — не говорю. Вы представить не можете, как тяжело видеть все это. Ну, ладно. Всё пройдет. Всё. Многие сослужит службу хорошего материала для романиста. И за то — спасибо!»

Уместно привести эпизод другого доклада, сообщенный мне Горьким спустя более семи лет после пражского.

«Париж, доклад Марины Цветаевой: «Искусство при свете совести». Бывший юрист Стремоухов рассказывает старинную легенду: душа у ворот рая. Ключарь Петр спрашивает: «Разбойник?» — «Да». — «Убивал?» — «Да». — «Раскаиваешься?» — «Да». — «Иди в рай».

Далее Стремоухов извращает легенду так: душа писателя Льва Толстого или кого-нибудь вроде него. Не убивал, но — развращал. Не раскаивается. Будет развращать еще двести лет после смерти. Петр посылает его во ад: «Живи там, в смоле, двести лет». Вот куда метнуло гг. интеллигентов эмиграции. И вот как в них рабство звучит.

Чем дальше жил Горький за рубежом, тем более росло его отрицательное знание тамошней жизни, и, конечно, не только эмигрантской среды, но всего господствующего западноевропейского общества. Хотя он видел, что «Европа остается — в целом — большим, зорким, умным человеком, который и хочет и будет жить», хотя он утверждал, что «здесь идет процесс быстрого отмирания всего, что больше не нужно», — но в течение всего пребывания за границей у него возрастало чувство, которым он поделился со мною в первом же письме:

«За границей скверно, ибо она медленно, но неуклонно изгнывает, но — тем очень хорошо, что здесь напряженно думается по всем «большим» вопросам. Ибо — все здесь наго, все бесстыдно и жалостно обнажено».

Единственной надеждой, укоренявшейся все более мощно и разветвленно в сознании Горького, оставался русский человек. Сказав однажды, что «в России рождается большой человек и отсюда ее муки, ее судороги», он никогда не отступился от этих гордых слов.

«В «Отчете Акад. Наук» вы найдете хвалу и благодарность неким Элькину и Смотряцкой, они собрали 79 ящиков различных предметов культа и быта островов Меланезии. Я знаю этих людей: он — рабочий, металлист, она — учительница. Бежали от Колчака и четыре года путешествовали, живя — она — уроками языков, он — сваривал металлы, а попутно собрали изумительно полную — по словам Академии — коллекцию.

Вот — люди наших дней. Они живут в горах Атласа, в древней Нумидии, в Бразилии и Патагонии, могут жить на Луне. Я читаю их письма, вижу, на фотографиях, их донские, кубанские, нижегородские рожки и, знаете, радуюсь. Удивительный народ. Всё поглощающий народ. Толк — будет. Так или иначе, а — будет толк!»

«Знали бы вы, как меня радует разнообразие литературного творчества в России и обилие творчества.

Вы, там, вблизи, на кухне, смотрите недостаточно зорко, к тому же вы — сами повара, а я — отдаленный читатель, мне лучше видно. И я — рад. Очень».

«В Россию еду около 20-го мая. Сначала — в Москву, затем — вообще. Обязательно — в Калугу. Никогда в этом городе не был, даже как будто сомневался в факте бытия его, и вдруг оказалось, что в этом городе некто Циолковский открыл «Причину Космоса». Вот вам! А недавно 15-летняя девочка известила меня: «Жить так скучно, что я почувствовала в себе литературный талант», а я почувствовал в ее сообщении что-то общее с открытием «Причины Космоса».

Вообще же наша Русь — самая веселая точка во Вселенной. «Я человек не первой молодости, но безумно люблю драмы писать», — сказал мне недавно некто. Никто в мире не скажет этого!

До свидания! Обязательно встретимся, да?»

Это веселье, молодое и счастливое, не хочется, да и невозможно удержать: письмо пишется перед отъездом на родину, после долгого, долгого отсутствия, и ничего не идет на ум, кроме смешного. Уже открыты чемоданы, уже отбираются книги, которых так много накопилось (какая это в жизни по счету — пятая или шестая библиотека?), уже пересматриваются рукописи и ведутся разговоры о паспортах. Скоро, скоро — туда, в страну необыкновенную, разительную, не похожую ни на одну другую в мире, в страну людей, о которых позже, уже хорошо изучив их, Горький воскликнет: «Хороших людей родит страна Советская, дорогой мой Федин, я жадно люблюсь ими, и страстно хочется прожить еще лет пять, посмотреть, каковы они будут, сколько сделают...»

Так любил и так ненавидел человек и художник, которому, из всех предшественников наших, суждено было сделаться высшим образцом призвания для писателей, зачинавших советскую художественную литературу; и, когда он снова появился среди нас, никому из старых или молодых не пришлось посторониться: он занял свое единственное место,

В начале июня 1928 года я получил телеграмму из двух слов: «Приезжайте Пешков».

Приезжать следовало в Москву. Пешковым всегда подписывался Максим Горький. Через день я был у него.

На Машковом переулке, поднимаясь в квартиру Екатерины Павловны Пешковой, я вспомнил свой первый приход на Кронверкский. Почти семь лет я не видел Горького, но я шел к нему с чувством, будто все время не расставался с ним, — так непрерывно было его участие в моей жизни и — мне казалось — так хорошо я знал, чем жил все это время он сам. Конечно, я отличался от того начинающего свой путь писателя, который едва не обиделся, что Горький назвал его «юношей», и насколько же именно Горькому был я обязан этим отличием! Я был проникнут предстоящей встречей, будто видя ее заранее и одновременно понимая, что не могу предвосхитить никакой ее подробности.

Не успел я ступить в маленькую столовую, как Горький вышел из соседней комнаты, быстро распахнув дверь. Он постоял неподвижно, потом протянул обе руки.

Он показался мне похудевшим, удивительно тонким, не могу сказать иначе — элегантным и таким высоким, что комната словно еще уменьшилась. В момент, который мы молча разглядывали друг друга, я увидел, что он постарел. Нельзя было бы найти на его лице и тени дряхлости, но морщины стали очень крупными, голова посветлела, время довольно снисходительно, но перекрасило ее. Сила его была прежней — я услышал ее, когда он меня обнял, и едва глаза привыкли к перемене, как я подумал — уж не помолодел ли он?

— Ну-с, вот, видите ли... — произнес он тихо.

Голос его, во всяком случае, не переменялся, и однобокая улыбка, и взгляд — все было прежним. Он говорил незначачие слова иронически-многозначительно, как будто подчеркивая этим, что не в словах дело, но ни одно слово не говорилось без душевной необходимости, и потому незначительность слов только увеличивала их обаяние. Я все смотрел на него, поддаваясь этой ворожке его речи, и я увидел, что его все больше трогало мое чувство. Наконец он грубовато-нежно протолкнул меня в дверь:

— Ну, пожалуйста, пожалуйста ко мне...

Комната, в которой мы очутились, была еще меньше столовой, он все расправлял плечи и точно все не мог

расправить, то вставал, то садился, так что и мне скоро передалось ощущение тесноты, и все наше долгое пребывание здесь похоже было на топтанье между двух столов — большого письменного и другого, поменьше, заваленного фантастическими подарками, которые ему несли и везли со всех сторон.

Мы скоро переговорили о прошлом, о годах после встречи на Кронверкском. Не прошлое его привлекало. Через открытое окно этой маленькой комнаты виднелись наступающие друг на друга крыши Москвы. Гул и грохот расплывался над недалекими бульварами Чистых прудов и Покровки. Дымы покачивались на горизонте, ветер мешал с ними облака.

— Очень, очень много дерзкого сделано у нас, удивительно! — повторял Горький.

Пальцы его барабанили по столу. Я следил за хорошо знакомым жестом, — право, мастер восточного бубна стал бы с удовольствием разбираться в языке этих постукиваний, ударов и щелчков.

Московскую жизнь Горький начал с изучения новых методов воспитания. Он увлеченно рассказывал мне об Институте труда, — все строилось там по-новому, без импровизаций, но смело, без педантизма, но научно.

Пальцы его сменяют веселый, энергичный бег на раздумчивый: он проверяет свое восхищение.

— Может быть, и нельзя так организовать труд? Это подлежит проверке. Может быть, так и не нужно работать... Но какой замечательный опыт, какие просеки рубятся в вековом темном бору... Необыкновенно дерзко, скажу вам.

Старый его интерес к отношениям между городом и деревней дает себя знать в самом начале разговора:

— Деревня, знаете ли, пишет столько, сколько никогда не писала. И какие обширные требования культуры — мало ей книг, подай картину, мало грамоты, подай клуб, подай машину, подай кинематограф. Городу-то придется поворачиваться, а? И как, понимаете ли, ворчливо, задорно требует — попробуй, не дай! Вот куда пошло дело...

Но резко щелкнул палец по столу, и барабан забил с порицанием, нетерпимо, гневно. Это зашла речь об исконном неприятеле Горького — о мещанине, который омыл свою личину в бурном озере нэца, как в новой Иордани.

— Заметили вы, что этот господин проявляет даже известный героизм? У него появилась потребность играть роль некоего избавителя. Ему мало просто отвоевать место в жизни, он ищет признания его позиции спасительной. Развился вкус к героическому у этого господина, да-с. Что делает революция! Заметьте это, заметьте...

Как всегда, однако, он не только дает собеседнику, он ждет от него, ненасытно требует жизненных фактов, и — говоря его словами — попробуй не дай! Разговор движется быстро, обрывчиво, это разговор первой встречи, весь из кусков, обломков, намеков, перебивок, и так как впечатления жизни отрадны, насыщены надеждами, пестры от светотеней, то немало в нем смеху, веселья.

— Народу вижу я — толпы. Всякого. Приходят вот тут краеведы. Хотят, чтобы я выступил у них. Помилуйте, говорю, что я вам скажу? Я всю свою жизнь занимался не краеведением, а человековедением. Смеются. Нам, говорят, вот этого как раз и недостает... Да. Человековедение... Быстро, необыкновенно быстро вырос в Советской стране человек. И даже с большой буквы — Человек. И, знаете, Федин, что я вам скажу: я это очень хорошо понимаю, но не усваиваю. Именно не усваиваю... Очень мне это еще ново...

Он отворачивается к маленькому столу, смотрит на грудку подарков, встает, подходит к ним, улыбается, качает головой, смотрит на меня, смеется.

— Несут, несут, понимаете ли... Куда это мне?.. Магазин, что ли, открыть?..

Он берет новенькую, поблескивающую от масла мелкокалиберную винтовку.

— Туляки преподнесли. Благородная работа. Тула помнит славу своих отцов, любит свое ремесло... До чего прикладистая, прелесть...

Он вскидывает винтовку легким броском к щеке, цепляется за окно. Потом отрывает приклад от плеча, взвешивает винтовку в руке, поглаживает тонкий ствол, вдруг говорит строго:

— А крепко держит наш народ эту штучку, как вы находите, а?

Он протягивает винтовку мне:

— Ну-ка, вскиньте вы...

Вот, пожалуй, новая, мало известная мне черта: Горький благодушен. Он благодушен в кругу семьи, я вижу одобрительный, почти упоенный его взор, довольно охватывающий все, что происходит в столовой. Действительно, как все ладно получается: в московском доме накрыт стол, все собираются к назначенному часу, шумят стулья, позвякивают ножи, наполняются рюмки. Опоздал к обеду сын? Это ничего, — в его духе. Это даже хорошо, потому что, когда он торопливо войдет в столовую и скажет с легкой небрежностью: «Я, кажется, опять опоздал?» — можно будет сурово сдвинуть брови, погладить ус и, глядя в тарелку, произнести угрожающе-глубоким басом: «Мне тоже почему-то кажется». И затем, нагнетая угрозу: «Что ж вы, сударь, не здороваетесь?» И сын — на ходу улавливая игру, совершенно в тон отцу, с мальчишеским удивлением: «Как, неужели я не поздоровался?» И отец, продолжая домашнюю сцену, грозно: «Да с матерью сначала надо, сударь мой!.. Вот погодите, наведу я порядок в доме. Займусь воспитанием, да-с. И поставлю дело на вполне научных основах». Сын: «Лабораторию заведете?» Отец: «Институт учрежу. Кровь у вас буду брать на исследование. Кровь!» И тогда весь стол в полнейшем смятении: «Господи, какие страсти-мордасти!» И хозяин довольно: «То-то!»

Москва склоняется во всех падежах: Москва строится, в Москве говорят, Москву слушают, Москвой живут. Весь дом приносит новости о Москве, конца которым не видно. Горький пьет новости то залпом, то процеживая и смакуя. Так проходит обед.

После обеда, в том же благодушии, Горький спускается вниз: ждет машина, сегодня — два заседания. Он только входит в круговорот московских встреч, ему еще неясно, что важно, что несущественно, — все представляется очень значительным, все не терпит отлагательства, всюду — планы, проекты.

Мы летим вдоль бульваров, по сумасшедшему спуску Трубы, к Петровке. Раскачиваются липы в молодой, сияющей листве, пестрят детские платья в аллеях.

На повороте к Петровке нас задерживает движение. Через всю улицу, от дома к дому, протянуто полотнище с огромными буквами — белым по красному: «Да здравствует Горький!» Ветер парусом надувает полотнище, озорно треплет его, оно гулко пощелкивает. Из окон



выглядывают более или менее похожие «Горькие» в рамках и без рамок, — Москва все еще не кончила встречать его.

Он говорит с улыбкой:

— Пожалуй, это — не я, как вы полагаете, а?.. Должен вам сказать, читаю я, что обо мне пишут, читаю и думаю: нет, это — не я. Очень, понимаете ли, похоже, но как будто — о моем брате, а не обо мне. Возможно, даже — о двоюродном брате. Так мне иногда кажется, да...

У подъезда Государственного издательства, едва мы остановились, к автомобилю приступили разнovidные люди — человек с длинными волосами, юноша со школьной тетрадкой, закатанной в трубку, дама в остатках стеклярусного шитья на потертom саке, мужчина устрашающего роста, с крошечным конвертиком в огромном кулаке, две-три девочки с обстриженными затылками. Кто-то распахнул дверцу и тотчас загородил ее своим телом. Мы насилу преодолели внезапное препятствие. Кто-то сказал громко: «Горький». Прохожие отрезали доступ к подъезду. Со всех сторон потянулись к Горькому письма, тетрадки, папки, пакеты.

Он надвинул глубоко широкополую свою черную шляпу. На полголовы выше толпы, он озирался, зажатый людьми. Каждый говорил о себе, каждому мешали говорить, руки отстраняли друг друга. Было такое впечатление, что люди требовали от Горького чуда, какого-то немедленного движения воды, немедленного устройства всяческих личных своих дел. Меня вплотную прижали к Горькому.

Он мог только произнести:

— Многоуважаемые граждане, таким путем вы меня уничтожите, и, во всяком случае, я не пойму ваших речей...

На выручку Горькому выскочили сотрудники издательства. Взяв меня под руку, он пробился сквозь толпу. В подъезде, усмехнувшись и оцупав себя, он сказал:

— Если не ошибаюсь, кости целы. А у вас как?.. Ну, поздравляю... И пожалуйста, меня извините: это я не нарочно...

Вечером мы встретились в редакции «Красной нови». Московские учрежденческие коридорчики из фанерных перегородок, комнатки, переходы, лестницы — все было заполнено: собрались писатели на первый литературный разговор с Горьким.

Редакторский кабинет едва вместил всех. Горький нервно вглядывался в лица. Понадобился бы весь алфавит, чтобы перечислить, кто пришел. Горький знал эти имена по книгам, журналам. Так вот они перед ним — живые и — в большинстве — незнакомые лица. Это и есть новая, советская литература, возникшая с небывалой быстротой — за семь лет его отсутствия. Он как будто на-верстывал невольно упущенное, стремился заново понять то, что могло быть неверно понято или представлялось совсем непонятным издавека. Он напряженно вникал в слова, которыми это новоявленное взволнованное общество старалось передать ему с горячностью свое понимание жизни, свои требования к ней, свои ожидания.

Он начал говорить в ответ возбужденно, со страстью, которой не мог овладеть, и стало явственно ощутимо, что произносимое им было не речью на таком-то и таком-то собрании, а делом жизни.

«Я — старый писатель, я — человек другого опыта, чем вы, и наша текущая литература, вернее — ее эмоциональные мотивировки для меня не всегда ясны. Я говорю как литератор. Я привык смотреть на литературу, как на дело революционное. Всякий раз, когда я говорю о литературе, я как будто вступаю в бой, я готов бываю поссориться с действительностью во имя человека, который мне дороже всего, выше всего.

У нас начинает слагаться новый слой людей. Это — мещанин, героически настроенный, способный к нападению. Он хитер, он опасен, он проникает во все лазейки. Этот новый слой мещанства организован изнутри гораздо сильнее, чем прежде, он сейчас более грозный враг, чем был в дни моей молодости.

Литература должна быть теперь еще более революционной, чем тогда. Надо бороться, надо эту действительность подвергнуть в художественной литературе суровой, резкой критике.

Но наряду с этим надо ставить, выискивать и открывать положительные черты нового человека. Вчера пришел в жизнь новый человек. Пришел в новую жизнь. Он себя не видит, он хочет себя узнать, он хочет, чтобы литература его отразила, и литература должна это сделать, — какими путями?

Я думаю, необходимо смешение реализма с романтикой. Не реалист, не романтик, а и реалист и романтик — как бы две ипостаси единого существа...»

Я в этих словах о слиянии двух начал — реализма и романтизма — услышал оценку всего сделанного советскими писателями за истекшие годы, вывод из нескончаемых размышлений о русской литературной жизни. И мне показалось, что соединением этих начал лучше характеризуется сам Горький — с романтизмом его мечты о великом будущем нашего народа, с реализмом строительства этого будущего.

Я расстался с ним — опять надолго: он уже начал сборы в большое путешествие по Союзу, я в то лето отправился за границу.

Московский день, проведенный с ним этим летом, стал для меня памятной гранью, которая заканчивала большой путь двадцатых годов и на которой стоял Горький в его нераздельной связи с образом России. Все более сознавался историзм его роли в развитии советской культуры. Все выше поднималось его место в самосознании советского писательства. То, что он когда-то сказал одному юному поэту, нашло отзвук во всем молодом поэтическом мире:

«...Не приучайте себя к пустякам, если вы в силах делать серьезное дело. Работайте больше, читайте и наблюдайте людей, раздражайте себя. Вообще, уж если вы взялись за искусство, не щадите себя!

Тут необходимо, чтобы сердце было трепетно и страстно».

Никто никогда не усомнился в праве Горького на такой призыв, потому что биение его трепетного и страстного сердца — сердца Горького — ощущалось всеми нами в искусстве как непотухающий жар.

## «ЕГОР БУЛЫЧОВ»

Декабрь 1932 года. После шестнадцати месяцев пребывания за границей я возвращаюсь на Родину.

Берлинская зима. Бесснежно. Сырой ветер непрестанно оmyвает хмурые, прямолинейные, как батальоны, дома. Льются потоками люди, пригибаясь на перекрестках, чтобы одолеть ветер. Холодно.

И в холоде, на перекрестках, разносимые ветром, режущие слух, странные, короткие всхлипы жестяного звона: з-зень, з-зень!

Бритый и гладко остриженный молодец в коричневой рубашке, заправленной в брюки, расставив ноги в кожаных крагах, резко встряхивает зажатой в левой руке жестяной кружкой, наполненной монетами: з-зень! Когда прохожий опускает в кружку свой добродотный грошен, молодец выбрасывает вверх правую руку и яростно брешущим голосом выкрикивает два слова: «Heil Hitler!» — после чего опять встряхивает кружкой, з-з-зень, з-зень!

Берлин проводит первую после гитлеровской победы на летних выборах в рейхстаг кампанию «зимней помощи» безработным — и есть в этом озябшем городе что-то упоеенное и вместе — отчаянно испуганное. Мне кажется, люди пригибаются и бегут на перекрестках не от ветра, а от этих жестяных всхлипов — з-з-зень, з-зень, — напоминающих лязг сабель и собачьих цепочек.

В пансионе на Фазаненштрассе, где я останавливаюсь уже не первый раз, мне вручают ожидающую меня почту,

и первое, что бросается в глаза, — это горьковский почерк. Я вскрываю сначала бандероль, нахожу только что вышедшего «Егора Булычова» с чудесной авторской надписью, потом письмо.

Горький недавно возвратился из Москвы в Сорренто и еще полон впечатлений от русских встреч. Он взволнован надеждами — в литературе происходят события, «кои угрожают весьма интересными и культурно ценными результатами». Внутренне разбит и раскололся РАПП, прошел первый пленум Оргкомитета Союза писателей, на котором «...чрезвычайно юмористически выступил Андрей Белый и хитро «сорадовался» Пришвин. Все-таки пленум обнаружил много хорошего и — готовность дружески работать. Посмотрим... Оживление в литературе является отражением оживления в среде ученых. Вот это, новое настроение людей науки — факт огромнейшего смысла, как мне кажется».

В каждой строчке письма уже было очевидно намерение Горького отправиться в новое плавание. Точно моряк, он предчувствовал движение и говор волн, какие приносит свежий ветер: перед всей нашей культурой открывался подъем тридцатых годов, и во многих ее областях рассчитывали на испытанную руку Горького.

Но здесь, в Европе, море было взбаламучено другим ветром, разносившим повсюду угрожающую музыку сабелей и собачьих цепочек: з-з-зень, з-зень! «Heil Hitler!» — выкрикивали музыканты в кожаных крагах.

И со всеми, кто имел уши — слышать, Горький настаивался в эти дни чутко и тревожно. Письмо кончилось словами: «Если напишете из Берлина — поблагодарю! Очень интересно, какое впечатление вызовет у вас этот город».

Я не мог найти ничего утешительного в этом городе, и только одно это письмо и эта книга Горького встретили меня в предгитлеровском Берлине теплом дружеского обещания.

Я сел читать «Егора Булычова».

Уже своими художественными достоинствами книга выделяется из всех драматических сочинений Горького, следуя за единственными по силе впечатления сценами «На дне». Обязана она этим центральному образу купца Булычова, позволившему конструктивно объединить вокруг себя множество характеров, столько же разнообраз-

ных, сколько типичных и почти символических, несмотря на неизменный горьковский реализм. В трех актах развивается и заканчивается драма, поднимающая несколько сложных тем и отдельными мотивами переходящая в трагедию. Только традиция, рожденная скромностью, с какой Горький держался по отношению к театру, снова побуждает его назвать драму «сценами». Все ясно и очевидно в ходе действия этих сцен. Они прозрачны по построению, и авторское поучительство так естественно в их простом сюжете, как естественна тенденция в сказке: жил-был купец, и пришла за ним смерть, и вот как он умирал, и вот кто радовался его смерти, а вот кто плакал. В пьесе этой Горький наиболее театрален, наименее литературен. В пьесе этой, я сказал бы, он наиболее — Горький. И вот почему.

1. Всю жизнь Горького-художника занимала тема российского купечества. Он шел по путаному следу нашего купца — этого примечательнейшего существа, в такой мгновенный исторический срок образовавшего жестокую и хлюпкую формацию русского капитализма. Владелец множества не изученных психологом черт, противоречащих одна другой, вызывающих ужас и ненависть, страх и отвращение, любовь и смех — кулак-миллионер, зиждитель храмов, циник, беспутник, хитрец, умница, выжиматель пота из ближнего и дальнего, ханжа, изобретатель, организатор, ловкач, кутила, меценат, смиренный, хам, блюститель престола, покровитель наук, хоругвеносец черной сотни, укрыватель революционеров, церковный ктитор, эстет, постоянный гость «Ямы» и — боже мой! — в каких еще видах и званиях не выступает властелин века, за которым зорко и пронизательно следит писатель, поднявшийся с низин, где копошится и гибнет подмятое стопой этого властелина российское народонаселение.

Историко-литературно Горький завершает своими книгами длинную череду изображений русского купца — от Гоголя, Островского, Достоевского до Печерского, Мамина — и в Булычове подводит своим наблюдениям, своему пониманию купечества обобщенный итог, создавая тип яростных противоречий и непотухающих страстей.

Биографически Горький живет о бок с Булычовым, тою жизнью, какою он жил с Бугровым, Гордеевым, Сытинными, Морозовыми, Артамоновыми, когда игра купцов

горьковских повестей словно переходила в игру с купцами горьковской биографии.

В Булычове как типе Горький срачивает в единство и облекает в буйную плоть ценнейшие качества одаренности русского купца с отравой его морального распада, с ядом саморазложения. Булычов умен, широк и одновременно — расчетлив, проицателен и остроумно-ироничен. Он темен, вороват в делах, бесстыден в личной жизни, бессовестен в общественной, циничен во всем и повсюду. Он — «великий грешник», в чем безбоязненно и с удовольствием кому попало признается, хорошо зная, что большие деньги и большая власть позволяют грешить как угодно. Одаренность его природы полнокровна, он способен к отцовской нежности, к привязанности-любви. Любовь и нежность могли бы его спасти.

Как всегда в русских судьбах, спасение должно бы прийти за горами, за долами, где-то там, в сибирской тайге, куда зовет Булычова Глафира, но тут... тут вступает в силу закон трагедии: они из купечества — их степенство, они из Бугровых, Морозовых, они не вольны спастись, камень судьбы тянет их на дно истории, окающая жизнь устроена так, что ее не переделать Булычову, — один Булычов уйдет, другой придет, и поэтому, конечно, лучше остаться, и удивительнее всего то, что Булычов давным-давно сам все это понял.

Он пожил бы, ах, пожил бы, конечно, влать, пожил бы еще с возросшим вкусом к бесстыдству и, может быть, даже с возросшей нежностью и любовью, — Горький отлично это показывает. Но сказке наступает конец: жил-был купец, и пришла за ним смерть.

2. В самый страшный момент его жизни представляет нам Горький своего Булычова — в момент смерти.

Во всем властен купец Булычов — не властен в смерти. И тут вдруг волк, травивший на своем веку зверя помельче и покрупнее, увидев, что с часу на час будет затравлен сам, издает человеческий вопль: «За что? Все умирают? Зачем? Ну, пускай — все! А я — зачем?» Первый раз почувствовал на себе Булычов несправедливость, и она терзает его страшнее болезни, он мечется от самой тяжкой боли, какую знает человек, — от боли несправедливости. Он успевал во всех делах, от денежных до любовных, его и боялись и уважали, он и поозоровать умел и поумствовать — так за что же, за что его, такого удач-

ливого, совсем не старого, еще любимого, сильного и пригожего, за что его, Егора, постигнет несправедливость смерти?

Вопит Булычов уже не зверем, а человеком, вопит о бессмыслице смерти.

Это тоже из основных тем Горького — тема несправедливости природы по отношению к человеку. Как можно, в самом деле, согласиться с такой явной нелепицей устройства жизни, когда человек, потратив десятилетия на развитие ума, таланта, воображения, накопив и впитав в себя познания и опыт поколений, не успев досказать, доделать всего, на что способен, должен покорно протянуть ноги и отдаться на волю червей?

Нет, покорствовать такой бессмыслице противно человеческому достоинству, человеческой гордости!..

Сколько раз и на какие лады не вспоминал Горький Василия Буслаева! Его мечтой было написать о Буслаеве, и непременно — по выражению Льва Толстого — нечто «художественное», потому что другими средствами Горький не мог бы полно выразить восхищение своим любимым былинным героем (и, кстати, называя самого Толстого в воспоминаниях о нем богатырем, Горький сравнивал его с Василием Буслаевым).

С огорчением, почти жалуясь, Горький сказал мне в двадцатом году, что ему помешал написать о Буслаеве Александр Амфитеатров, которому он, в минуту щедрости, достойной сожаления, отдал весь накопленный материал о Василии. С любованием и ласкою, как о родном, Горький говорил о Буслаеве лет пятнадцать спустя в Горках, за самоваром, — в кругу ленинградских писателей, советуя поэту и песеннику Александру Прокофьеву, тоже чем-то похожему на Буслаева, написать поэму о славном новгородце. С уважением и какой-то признательностью написал Горький о Буслаеве в письме ко мне, которое, в связи с «Егором Булычовым», почти целиком уделено русскому купечеству: «Васька Буслаев — не выдумка, а одно из величайших и, м. б., самое значительное художественное обобщение в нашем фольклоре».

Удалец Васька озорничал не только по буйству молодецкой крови. Он пытал, испытывал судьбу назло положенному людьми и богом пределу. Воля человека есть воля высшая. Повстречался тебе противник — перебори его. Как же потерпеть наихудшего из противников,



подкарауливающего нас на каждом шагу, — смерть? Из бунта против смерти, из несогласия с ее волей и сложил молодец буйну голову.

Почему Горький вспомнил о Буслаеве в разговоре по поводу Булычова? Потому что, по убеждению Горького, буслаевские черты заложены в характере Булычова и, может быть, лучшие из этих черт — в лучшем из того, что было дано природе Булычова и что им погублено. Булычов поднял бессильный бунт против смерти. Он обвинил в несправедливости к человеку докторов, знахарей, юродивых, попов, бога и черта. Наивный, отчаянный и темный вызов всему святому в отместку за несправедливость к нему, Булычову, — это и есть то, что сделало его из зверя человеком.

Горький в жизни переадресовал этот вызов природе: это она несправедлива к избранному своему созданию, это она укорачивает жизнь человека, расставляя на пути его камни, — и то не перейди их вдоль, то не перепрыгни поперек. Не трубой трубача Гаврилы облегчать страдания предлагает Горький (в чем, кстати, не так много потешного, ибо умирал же свои боли купец Щукин созерцанием картин Пикассо), а планомерной борьбой с природой за удлинение жизни человека, на первых порах хотя бы ВИЭМом. Пусть не смущают нас вопли Булычова: мы будем искусно и тщательно готовиться к устранению из нашей жизни всего, что ее укорачивает!

3. Но один ли бог держит ответ за смерть — по Булычову, одна ли природа — по Горькому?

Булычов борется, цепляется за жизнь, а все вокруг него, весь его дом, близкие и далекие, только и ждут того, чтобы он поскорее умер. Он мечтает удлинить жизнь, а его присные думают — как бы ее укоротить, пожить за его счет. Мелания, Варвара, Мокей, Достигаевы, Звонцовы — настоящие укоротители булычовской жизни. Они обступили извивающегося от боли Булычова, и вся тревога их состоит единственно в том, чтобы успеть захватить свою долю. Сам захватчик, Булычов знает эту породу людей, и ничего иного он, конечно, не ожидал от них, кроме того, что они пожрут все, чем он обладает. Но это знание, подтвердившись, только увеличивает боль смерти. Еще живой, Булычов созерцает дележ, который обычно хищники правят над трупом. И еще больше, еще яростнее хочется Булычову продлить жизнь, не для того, ра-

зумеется, чтобы что-то переменить, а чтобы чувствительнее дать всем по рукам.

Не один, стало быть, бог является ответчиком перед Булычовым за его смерть, но еще и человек во образе, порожденном самим Булычовым.

Окружение русского купечества, среду, им порожденную и его отравляющую, Горький превосходно изучил и в «Егоре Булычове» дал быстрым и свободным очерком, включив в большую тему о борьбе человека со смертью.

4. Наконец, еще одна тема, возвышающая драму Булычова до трагедии.

Легко допустить, что если бы герою Горького удалось продлить свою жизнь, он все-таки попытался бы кое-что переменить в ней, потому что страх смерти многому его научил и в клетке своей души он услышал новые голоса. Правда горьковского образа заключается в том, что это не сатана, не исчадие ада, а человек. Булычовым порождена не только мерзость, но и чистое чувство — его любовь к дочери, к озорной, в отца, своенравной Шурке. Это его единственная надежда, невнятная, смутная, но обещающая какое-то очищение от паутины мерзости, облотившей всего Булычова.

Но Шурка связывает свои надежды с наступающей революцией. По-детски простодушно и несмышлено она тянется к людям, которые поют «Марсельезу». Она хочет жить, а жить ей можно лишь отказавшись от прошлого, от своего дома, от своего отца.

Так надеждою Егора Булычова становится революция. И, однако, революция является в то же время смертью Булычова, и «Марсельеза» — похоронным маршем, отпевающим все его бытие.

В этой мечте Булычова — обновиться через прикосновение к будущему, очиститься с помощью единственной своей надежды — Горький символично выразил трагедию всех наших Булычовых.

Булычов — тип решительного обобщения, данный Горьким как результат долголетних размышлений и многих своих изображений характеров этого рода, тип раскаявшегося русского купца, готового порвать со всем, что им создавалось, откупиться от неизбежной исторической судьбы российского купечества сочувствием, симпатией к революции, заигрыванием, связью, сделкой с нею. Недаром Булычов вступает за «порядочных» людей, а

«порядочным» в пьесе оказывается революционер. Что это положение тоже символично, видно из эпизода, введенного словно мимоходом: возлюбленную Булычова Глафиру революционер Лаптев просит помочь своим товарищам, и она обещает ему мешок муки — хлебом Булычова питаются люди, готовящие ему смерть.

Трагическое кольцо сомкнулось: герой ищет будущее там, где оно для него прекращается.

Пьеса, когда я ее прочел, наполнила меня волнением. На чужбине все родное воспринимается остро, русское искусство заставляет воображение работать стремительно, русские судьбы там, на Западе, еще разительнее, чем у себя дома, на родине, представляются во всем их общечеловеческом значении.

Убедительность показанного Горьким типа вовлекла меня в круг переживаний героя, вызвала сострадание к его участи. Пластичность горьковского купца удивила меня не только как читателя, но и как художника. Тайна лепки писателем столь ощутимых образов стала предметом моего разгадывания и любования.

Я неуклюже выразил свое невольное участие к судьбе героя, написав Горькому, что тайна его купцов «соблазняет». Слова эти вызвали у него недоумение, но этому недоумению я обязан одним из интереснейших писем Горького ко мне, отозвавшегося, по обыкновению, немедленно на мое письмо о «Егоре Булычове».

«Не совсем понимаю, дорогой Федин, чем может «соблазнять тайна» моих купцов? Тайна-то ведь очень проста. Доктор Макаров в 3-м (томе) бесконечной «козлиной песни» Клима Самгина объясняет ее неуверенностью купца в прочности его социальной позиции. «Прадеды и деды были крепкими земле» мужиками, веровали в законность рабства, ясно видели беззаконие дворянской свободы, сами — при Екатерине — добивались права иметь рабов, а позднее и осуществляли право это, покупая мужиков на имя помещиков. Мужичья жажда «воли» была жаждой права на беззаконие, ведь выгодность-то несправедливости вполне очевидна! Веками воспитанный раб крепко сидит в человеке, церковь же укрепляла его идеей рабства богу. И вот, «в страхе рабьем пребывая», не ве-

рит человек в прочность «свободы», все ищет предела ее, все пробует: а так — можно? А — эдак? Погружение в искусство, в филантропию не всякого купца удовлетворяло: Савва Морозов, калужанин Горбунов, пермяк Мешков и многие другие искренно и не без риска для себя помогали революционерам. Затем: ежели возможны были «кающиеся дворяне», почему же не быть кающемуся купцу? И — далее: так же, как в СШС Америки, наше купечество давало в третьем поколении очень много недорослей и дегенератов, — это объясняется истощением биологической энергии в погоне за быстрой наживой. Взгляните-ка, как сказочно быстро богатели московские текстильщики, поволжские лесопромышленники и судовладельцы. И, право же, пред каждым стоял вопрос: все ли позволено? И, «со страхом испытуя милость господню», позволяли себе все.

Литература наша пристально купцом не занималась. Для дворян-писателей купец — не герой, для разночинцев — хозяин и враг. Островский, «обличая» московского купца, умилялся: свинья человек, а забавный! Андрей Печерский, обличая в купце «раскольника», преклонялся перед «деловитостью» купца. А кто еще серьезно писал о нем?

Иногда я воображаю, что мне удалось сказать кое-что значительное о людях этого ряда, но, сопоставляя сказанное с тем, что мне известно, — впадаю в уныние, ибо: знаю — много, а умею — мало. Да и трудно рассказать в приемлемых формах, напр., о купце Ал[ексан]дре Петр. Большакове, строителе храма и старосте его, грязном распутнике, растлителе несовершеннолетних девиц. Муж сей, опасно заболев, позвал священника — не своего, а чужого прихода, — своему попу пришлось бы покаяться в том, что это именно он, Большаков, «совратил» его племянницу, сироту-епархиалку.

Призвал чужого попа — спрашивает: «Верно, что я развратник и сволочь?» Поп утвердил: таков общий глас народа. «А — простит меня господь?» — «Покайтесь искренно — простит, ибо он многомилостив». — «Простит? Так ты ему... скажи, что ежели бы я, Лександр Большаков, тоже каким-нибудь турецким или мордовским богом был, я б ему... морду разбил и бороду вырвал за милости его, так его мать и этак! Милостив, — так его и эдак — ни в чем запрета не полагает, какой он — бог?» Выгнав

попа матерщиной, он приказал жене и дочери — полуидиотке — снять и вынести из горницы все образа и на другой день, во время поздней обедни, умер, почти до последнего дыхания творя сугубую матерщину. Видите, какая штука? Васька Буслаев — не выдумка, а одно из величайших и, м. б., самое значительное художественное обобщение в нашем фольклоре.

Ну — извините, что-то уж очень длинно расписался я. Как здоровье? Как встретил Вас Ленинград? Что нового видите? Как «Похищение Европы»?

Крепко жму руку.

*А. Пешков.*

21. XII. 32»

1942

## ДНИ ПРОЩАНИЯ

Последнее письмо Горького ко мне кончается словами: «...очень устал».

Прежде его редкие жалобы всегда сопровождались какой-нибудь шутливой оговоркой. Ни тени шутки не уловишь в этом письме. И помню, как насторожили меня два эти слова. Никакого предчувствия, что они станут последними написанными мне горьковскими словами, конечно, не было. Но чем-то завещательным отозвался в письме наказ Горького — скорее уезжать из Ленинграда. Каждый слух потом о его здоровье, самочувствии оставлял на душе след беспокойства.

Я наезжал в Москву, подготавливая свое переселение, и весной провел некоторое время в Доме отдыха ученых «Узкое». Тут чаще, чем где-либо, кроме литераторского круга, упоминалось имя Горького — оно было «своим» в академической ученой среде, едва ли не особенно со времен петроградской КУБУ<sup>1</sup>, подопечной Алексею Максимовичу в гражданскую войну. Конец мая — начало июня полны были передаваемыми из уст в уста сведениями о его болезни. Приехав из Тессели, он слег. Это уже все знали достоверно: из дома в Горках молва приходила в «Узкое», минуя Москву. Ошибок не могло быть, но всем хотелось считать, что были преувеличения.

---

<sup>1</sup> Комиссия по улучшению быта ученых.

Справиться с нараставшей тревогой у меня не доставало сил, я взялся было за письмо, послать которое все время отговаривал себя. Шел уже июнь. И вот от той трудной поры уцелели у меня разномастные листочки бумаги с торопливо набросанными словами.

Прежде всего — начатое и брошенное недописанным письмо из «Узкого».

«Дорогой Алексей Максимович, известие о Вашем заболевании очень взволновало меня, и я опять подумал, какой постоянной опасности Вы подвергаете себя, переезжая с места на место. Ведь буквально каждый Ваш переезд с юга сюда сопровождается одним и тем же заболеванием, и оно всегда осложняется на легких. К счастью, Вы справляетесь с болезнями, но они оставляют след, гораздо более глубокий, чем вечное переутомление от работы...»

Рука остановилась сама собой: больному не до писем, если болезнь тяжела, а если он поправляется — не поздно ли его утешать, не рано ли здравствовать?..

После «Узкого» я перебрался в Москву и жил близ Чистых прудов у друзей, по соседству с домом, навсегда сохранившим свой особый куток в моей памяти: восемь лет назад протекало тут первое мое московское свидание с Горьким, окруженным семьей, полным счастья своего нового возвращения на Родину. Все теперь было тихо в этом соседстве. Тихо, наверно, и благополучно: всякий ведь знал, что в доме живет Екатерина Павловна Пешкова, и случись что — загудели бы этажи. В любой час можно бы с точностью разузнать — каково же здоровье Горького, и не оттого ли я все откладывал это сделать? Но нет: по обыкновению, московское пребывание быстро наполнилось множеством нужных или ненужных дел, обязательных или желанных встреч, и дни ускользали неуловимо.

Восемнадцатого июня я ждал условленного телефонного звонка от своего друга — писателя, тоже оказавшегося в столице, Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Он медлил, и я уже перебрал в уме все подходящие случаю сентенции, чтобы почувствительнее приветить его, когда услышал звонок.

— Ты уже знаешь? — спросил он, не дав мне сказать и слова,

Все было непохоже на него — голос, тон, больше всегдашнего замедленный слог. Я не успел спросить — о чем он. Еще медленнее раздалось:

— Час назад умер Горький.

---

Это был душный день. Не помню другого такого душного июньского дня.

Шел первый час. Окно стояло настежь. Иван Сергеевич покуривал. Он приехал сразу после телефонного разговора. Я кружил по комнате и нет-нет останавливался перед ним, чтобы сосредоточиться еще на одной фразе, вдруг приходившей ему на ум. Он что-то вспоминал из своих встреч с Горьким в Германии. Вероятно, я отзывался невпопад — он умолкал, и мне казалось — его держит та самая мысль, которая не отпускала меня: почему с того момента, как прозвучало в ушах невероятное слово «умер!», все прошлое отодвинулось так далеко, будто принадлежало не нашей, а иной жизни?..

Много лет позже, снова и снова вспоминая тот момент, я его находил подобным переживанию, испытанному почитателями Пушкина, когда с Мойки дошло до них слово «скончался». Это скончался не только человек, это скончалось *время*, неотрывная часть тебя самого.

Мы позвонили в Союз писателей. Нам сказали, чтобы мы приезжали сейчас же. Событие уже стало известно всей Москве.

Эта первая встреча наша — писательская встреча в первые часы после того, как Москву облетело слово «умер», — произошла в старом доме Союза писателей — Воровского, 52, вдруг возросшем по своему значению и натуго всех нас соединившем. В семью пришло горе — с этим ощущением, и только с этим ощущением, мы и передвигались в этом доме — тихо, молча, присаживаясь не на показанных местах, не на виду, а в сторонках, по углам, нечаянно, мимолетно, чтобы опять передвигаться без видимой цели или с какой-нибудь ничтожной целью, как и бывает в доме, куда пришло горе. Некоторых из нас вызвали сюда, некоторые зашли по внезапному побуждению.

Было решено, что каждый что-нибудь напишет в эти первые минуты. Собрать в такой миг внимание почти



невозможно. Это все равно что бросать в землю зерно во время бури. Либо это будет великое рассеяние мыслей, либо непроверенный порыв волнения. Я писал, и самым трудным для меня было заставлять руку делать такое знакомое дело — писать. Вот что сохранилось у меня с той минуты на четырех листочках:

«Есть люди, со смертью которых говорят, что с ними ушла эпоха. Со смертью Максима Горького ушло много эпох. Он был сверстником величайших революций в нашей стране. Головою выше сотен своих современников, он подымался вровень с редчайшими из них.

Когда умер Ленин, Горький прислал на его гроб веночек с надписью: «Прощай, друг». Немногие имели право сказать так великому гению человечества. Горький был другом Ленина. На самых высотах истории, где рождаются молнии революций и ходят громы эпох, Горький жил как в своей стихии.

Потеря, которую несет Советская страна, очень тяжка. Потеря, которую несет наша литература, сейчас незаменима. Наше искусство надолго надевает траур. Умер Горький! — содержания этих грозных слов мы еще не можем охватить...

Лично я переживаю эту смерть с потрясением глубоким и подавляющим. Горький был для меня учителем, другом, товарищем, самым большим из всех, которые умерли и которые остались жить. Меня связывает с ним шестнадцатилетнее общение, в течение которого Горький много раз подавал мне руку участия, симпатии, помощи и дважды спасал мне жизнь. Уверен, что многие советские писатели обязаны Горькому, может быть, не меньше меня. Вся наша литература знала его взгляд, его голос, его руку. И мучительно страшно, что все это исчезло для меня, для других, для всей нашей страны.

О нашем писательском долге перед величайшей памятью Алексея Максимовича будет уместно сказать в другой раз. Сейчас же я слышу только нещадную боль утраты...»

Остроту этой боли как будто еще усилили два следующих дня, почти целиком проведенных в Колонном зале. Чуждо было, что посреди дневного огня этих люстр, где меньше двух лет назад, на Всесоюзном писательском съезде, десятки национальных советских и зарубежных литератур внимали исполненному жизни, счастливому

Горькому, — он сейчас лежал, безучастный к свету и тьме, красивый красотою прошлого.

В этом траурном Колонном зале мне привелось прочитать свои прощальные четыре листочка перед микрофоном в те минуты, когда правительство стояло у гроба Горького в почетном карауле, отдавая последний долг писателю, дело которого победоносно и навеки переходило в будущее.

Вот вырванные из записной книжки, исчерканные странички — я писал их торопливо в небольшой комнате позади хоров, и только-только кончил — меня проводили на хоры к микрофону, прилаженному сверх-парапета.

«В мировой литературе мы знаем немало великих биографий. Биография Максима Горького принадлежит к ним, но вместе с тем резко отличается от всех них своею сверкающей новизною. Это была жизнь, как в зеркале отразившая в себе историческую смену эпох. Это была первая писательская жизнь, отданная без остатка побеждающему и победившему рабочему классу. Это была первая великая жизнь пролетарского писателя. Максим Горький изобрел свою непревзойденную биографию. Смысл открытия, которое он сделал своей жизнью, состоял в том, что каждый шаг своего писательского бытия он выводил из объективных событий своего времени. Его биография сделалась сверстницей биографии революции пролетариата. Он писал так же, как жил, иногда обгоняя самые смелые предвестия будущего, сам страстно предвещая его и без усталости глядя вперед. И он оставил нам свое имя, как ключ, которым открывается полнота последнего революционного полувека.

Советская литература со смертью Максима Горького больше других искусств несет тяжесть утраты. Человек могучей любви к жизни, Алексей Максимович был крепко связан со многими из нас — писателей Советского Союза. Я лично переживаю потерю глубоко, потому что полтора десятилетия близко общался с этим необычайным человеком. И я думаю: советская литература увековечит своим трудом заветы великого русского писателя Максима Горького. Смерть, конечно, бессильна перед делом, оставленным им нашей стране».

Дорога в Донской монастырь через старый, узенький московский Каменный мост; на другой день в том же Колонном зале — черная урна с прахом Горького, так странно

заменявшая еще недалекий от жизни, осязаемый облик Алексея Максимовича; проводы ее на Красную площадь; прощальные речи, в первой из которых понесенная советским народом потеря названа самой большой после смерти Ленина; замуравывание урны в Кремлевской стене, — в тончайших чертах видел я, как это было, но одновременно не видел, а мне как будто рассказывали, что это было...

Боль этих траурных дней исчезала медленно, но все разветвленное, стройнее вырастала на ее месте благодарная признательность Горькому за все, чем он обогатил действительность и украсил твою личную судьбу.

*1941—1967*

ШАГ – ЗА ШАГОМ



## ВЕЛИКОЕ ТАИНСТВО

### 1

Представьте себе огромный город, с бесчисленными улицами и площадями, сплошь застроенными небоскребами, дворцами, гигантскими корпусами вокзалов и заводов, фабрик и складов.

В порту, на реке покачиваются широкобокие пароходы, откуда-то выпятились железные руки подъемных кранов, плывут шхуны и баржи, разбираются прибывшие издалека беляны и плоты.

По улицам носятся обезумевшие самокаты, завывают моторы трамваев, бегущие друг от друга, останавливающиеся, чтобы проглотить черную толпу людей, и нестись дальше от наступающих новых и новых вагонов.

Толпы людей снуют по дорогам, вливаются потоками в разинутые двери — пасти каменных громад, водоворотами кружатся в магазинах, музеях, театрах, на перекрестках и в садах.

Но в этом городе нет ни одной вывески, ни одной надписи над дверью, ни одной буквы на зеркальном выставочном окне, за которым навалены груды всевозможных предметов.

В этом городе дома не имеют номеров и площади названий, на углах улиц не набиты дощечки, пузатые витрины не облеплены анонсами и объявлениями, на

трамваях, которые летят и летят неизвестно куда, нет круглых, как мишени, досок с номерами.

В этом городе нет ни одного киоска с газетами и журналами, как нет ни одного газетчика, ни одного книжного магазина, ни одной редакции, ни одной типографии, читальни, библиотеки.

Пароходы, которые стоят у набережной, не украшены никаким именем; памятник, высящийся в сквере, не носит никакого названия, и неизвестно, что означают люди, чудовища, солдаты, намалеванные на стенах и заборах.

Все безымянно в этом городе; ничто не имеет названия.

Ни одного слова, ни одной буквы не написал и не напечатал этот громаднейший город...

Но такого города нет! Такой город немислим, это — абсурд, измышление больного фантазера! Говорить о культурнейшем промышленном городе нашего времени и... такая чушь, — слышу я со всех сторон.

Да, такой город есть, утверждаю я.

Я видел его своими глазами, видел не один такой город, видел десятки, сотни городов, в которых не существовало ни одной напечатанной или написанной буквы.

Видел!

Ибо я — неграмотный...

## 2

Это я — корявенький, замухрастый мужичонка, в стертых лаптях и пропотевших портянках, — почесываясь и хлюпая носом, стою на углу Рождественской и, оглядываясь на спешащих куда-то людей, выбираю из них, кто покажется не больно сердитым и занятым, чтобы спросить.

— А скажите, пожалуйста, где тут Рождественская улица?

— Вот эта самая и есть.

Обрадованный, что я уже у цели и что напал на словоохотливого человека, но с опаской, как бы он не осерчал и не оборвал меня, я решаюсь задать ему еще один вопрос:

— Семей номер надо мне... Далече это будет?

— Да вот ворота-то, как раз седьмой и есть.

Совсем счастливый, я вхожу в ворота, бормоча про себя благодарности доброму человеку и раздумывая, не без волнения, как мне теперь разыскать двадцатую квартиру...

3

У мирового в камере, в сберегательной кассе, в участке я привык, чтобы меня спрашивали тоном, в котором не слышится вопроса или сомнения, а скорее — досада на ненужную формальность:

— Грамотный?

И я не мог оскорбиться ни этим вопросом, ни тоном, которым он задавался, и скоропалительно выпускал из своей груди всегда готовое, виноватое:

— Никак нет.

Страшно, унизительно и тяжело бывало мне, когда, приняв какой-нибудь пакет, чтобы снести его по начальству, я слышал насмешливо-повелительный голосок писаря, совавшего мне под нос разносную книжку:

— Поставь крест...

Тогда я снимал рукавицу, брал своей большой нестибающейся рукой тоненькую, невесомую ручку, ложился грудью и локтями на стол и выводил на том месте, куда ткнул пальцем писарь, крестик.

Можно было переломить хрупкую ручку, проткнуть острым, как игла, пером бумагу, чернила могли сами скатиться и залить всю книгу, крест мог занять чересчур много места, выйти непохожим на образчик креста, который нарисовал на клочке бумаги писарь, и я чувствовал, что мне не хватает дыхания, рука дрожит, пот выступает на лбу.

Потом я обводил всех извиняющимся взором и видел на писарских лицах насмешливое удивление превосходства:

— Есть же на свете такие дикари!

4

Вы знаете эти рисунки на задворках календарей, в тоненьких книжечках, ратующих за грамоту, в толстых томах, говорящих о народном хозяйстве и политике,



Целая лесенка фигурок, усаженных на школьные скамьи и склоненных над ученической тетрадкой.

Самая маленькая фигурка — это швейцарец. Его почти не видно под тирольской шапочкой, и как ни старались нарисовать скамейку поменьше, все-таки ноги швейцарца болтаются в воздухе, как у приготовишки, залезшего на парту семиклассника.

За ним идут почти такие же маленькие человечки: бельгиец, немец, потом побольше — англичанин, американец, француз.

Но вот горка учеников делает неожиданный скачок. Скамейки сразу вырастают, и на них оказываются здоровенные мужики — итальянец и австриец.

Им уже тесно на просторных партах, коленки приходятся вплотную с ящиком скамьи, ноги просятся на простор, сзади давит спинка, спереди — верхняя доска.

Непривычно смотреть на таких громадных учеников...

Но что это за великан уселся на колоссальную скамью, готовую, кажется, треснуть и рассыпаться под непомерною тяжестью необычайного школьника?

Эту фигуру нельзя было усадить на скамью, не отломав у нее спинки, и толстый, широкий зад забравшегося на парту великана висит в воздухе. Его корпус навис над скамьей, и громадные руки совсем заслонили тетрадку.

Этот великан — мужик русский.

А эти рисунки, так редко попадающиеся на глаза, в то время как они должны были быть нарисованы на каждом перекрестке, — сравнительные таблицы грамотности разных народов.

И изображают они число безграмотных на каждую тысячу грамотных взрослого населения страны.

И если на тысячу швейцарцев приходится только один неграмотный, то на тысячу русских приходится их восемьсот.

## 5

Посторонитесь, неверующие, отчаявшиеся и стенающие!

Совершается величайшее таинство.

Народ русский под гром освобождающих снарядов, на развалинах тьмы и невежества приобщается священнойшему дару человеческого духа — грамоте.

И если самовлюбившаяся цивилизованная душонка спросит меня теперь ехидно, знаю ли я грамоте, я, русский замухрастый мужичишко, возьму уверенно перо в свою руку и отомщу за все невежественное, дикое, безграмотное прошлое, освобожденно вздохнув и начертав на бумаге свое имя.

*1920*

## ЖАЖДА

*(На выставке Народного Образования)*

Во дворце холодно и мрачно.

Кажется, что тяжелая муть тумана, нависшего над Невой, проползла невидимыми струйками сквозь бесцветные оконные стекла. Громадные, они открывают простор реки, ширь площадей, и город виден за ними, как с колокольни — далекий и новый.

Сумерки.

В угловой комнате прижались к подоконникам маленькие фигурки. В темноте их силуэты похожи на возниц, какие попадаются зимой по проселкам: руки в рукава, нос в воротник, шапка на уши — до печки далеко, а стужа лютая...

Сидят не шевелясь, прижавшись друг к другу, скупившись, точно поймали остатки потухшего дня и держат его в кольце, не пускают.

Дети читают книжки.

Когда нужно перевернуть страницу, отрываются от захватившего чтения, смотрят на меня большими, горящими в темноте глазами и опять в книгу...

Их много. Приходят в одиночку, толпами, сидят часами, в сумерки куда-то убегают или ждут, пока загорится свет, и опять читают, читают, проглатывают книжку за книжкой.

Как-то узнали, что на выставке устроена детская читальня. И уж потянулся во дворец маленький люд.

Выставку дети полюбили.

Два каких-то мальчугана, лет десяти — двенадцати, чуть не каждый день приводят с собой во дворец все новых и новых приятелей — с Выборгской, с Охты, еще откуда-то. Носятся по залам, возбужденные, взволнованные, пока не разыщут полюбившуюся провожатую.

— Вот она! Айда за ней — она лучше всех рассказывает...

А один карапуз, не без страха, что пришел напрасно, спросил:

— Тетенька, ты сегодня будешь сказки рассказывать?..

Признаться, идя на выставку, я готовился встретить больше всего таких карапузов. Как-то слова «народное образование» неразрывно связаны для меня с целым сонмищем быстроглазых, большеголовых, серьезных маленьких человечков, которые вечно хотят что-то знать, не устанно о чем-то спрашивают и никогда ни на чем не останавливаются.

К тому же не могу я забыть одной выставки трудовых школ и детских садов, которую довелось мне видеть в глухом городишке.

Экспонаты на этой выставке были изумительные. Все какие-то фантастичные постройки, страшные, нелепые, красоты необычайной, романтические и смешные: туфли из глины, пироги из песка, пробковые мужики, нитяные лапти, жирафы выше колоколен, собаки в очках и с тросточками.

И маленькие-маленькие люди целыми выводками ходили от стола к столу, тянулись на цыпочках, чтобы рассмотреть удивительные вещи, хлопали своими большими глазами и покидали выставку с гордым чувством, что все глиняные, соломенные, бумажные диковины — дело их собственных маленьких рук.

И из всех этих диковин смеялось навстречу детским лицам хорошее, мудрое, стариковское лицо — лицо труда.

Вот почему хотелось мне встретить во дворце детей и почему я пожалел, что на выставке, такой большой и такой нужной, в сущности, так мало уделено внимания маленьким человечкам.

Но не только дети потянулись со всех концов во дворец.

Теперь уже прошло довольно времени, чтобы судить о результатах большой работы, проделанной организаторами выставки. Благоприятные для работников внешкольного просвещения, эти результаты оказались поистине громадного значения для масс.

Посетители парадных комнат и зал — рабочие, красноармейцы, матросы — ежедневно тысячами, буквально тысячами стекаются с заводов, фабрик, из школ и клубов, с кораблей и из казарм окрестных и далеких городов.

Из наблюдений над этим человеческим потоком можно сделать немало поучительных выводов, и в этом — задача деятелей народного образования.

Мне хочется только в грубых чертах набросать ту линию интересов масс, которая уже успела с яркостью наметиться за истекшие дни.

Кучка тверичан попала на выставку «в мертвые часы»: свет во дворец дают после наступления темноты, и в сумерки не разобрать ничего, не увидеть.

Нужно спешить на поезд, и некогда дожидаться света, некогда осмотреть все комнаты.

И вот они слезно молят чиркнуть спичечку — никто, решительно никто не увидит, они загородят свет своими телами, только чиркните, пожалуйста! Ведь нужно же, непременно нужно посмотреть... как подписывал свое имя Петр Первый...

И никакие доводы, даже внушительное сияние медной каски пожарного, никакие доказательства, что нельзя зажигать огня в архивном отделении, не помогают.

И вот они сгрудились над собственноручным росчерком Петра и смотрят.

Потом спокойно едут к себе в Тверскую губернию...

Интерес к истории чудовищен.

Лучше всего это видно на архивном отделе.

Архив! Еще недавно от одного этого слова шарахались в ужасе самые благонамеренные в культурном смысле люди. Такая сушь! Архивная мышь была еще в меньшем почете, чем канцелярская крыса.

И вдруг — возле полуистлевших листков, сгнивших тетрадок и полинявших чернил целая толпа живых людей. Именно живых — людей деревни и пригорода.

Сотрудник архива увлекся как-то объяснением, как гибнут и портятся архивные материалы от пожаров, сырости, книжного червя, как трудно их восстанавливать,

спасать. Все слушали, не сводя глаз с рассказчика. А когда он кончил, из толпы выдвинулся матрос и заявил:

— Вот, товарищи, как, стало быть, вы должны беречь и хранить всякие документы...

Другой матрос привел с собой знакомых девушек и водил их от витрины к витрине, толкуя о том, что за день перед тем сам слышал от рассказчика.

Порассказать же в архиве есть о многом.

В отделе «Школа и революция» подобраны замечательные документы о студенческих беспорядках с тридцатых годов прошлого столетия. Исторические этапы нашей революции представлены делами о декабристах, петрашевцах, о всех покушениях на Александра Второго, от Каракозова до 1 марта. Дело Балмашева возвращено на той странице, где вшит единственный документ, нарисованный рукою этого юноши: «кровь за кровь»...

Немало интересного рассказывает архив и о наших писателях. Тут же последняя запись в книге выездов последнего царя; тут же дело о сложении Керенским своих полномочий... после образования правительства рабочих и крестьян.

Какой-то красноармеец, молодой и нескладный, прослушав объяснения вместе с толпой товарищей, возвращается в архив с большим своим другом — таким же нескладным и еще более застенчивым пареньком.

— Барышня, расскажите ему, ему тоже охота послушать...

Тысячи таких пареньков проникаются любовью к большому, всемирно важному делу, впервые заглядывая любопытным взором своим в исторические тайны великой страны, изучая ее по бумажкам, на которые прежде смотрели, как на ненужный сор.

Этим неожиданным путем наши архивы уже обогатились новыми материалами: глядя на клочки исписанной бумаги, посетитель нечаянно вспоминает, что ведь и у него где-то «валяется» что-то такое, и несет это «что-то» на выставку.

Другой отдел, который, к нашему счастью и гордости, приковал к себе внимание толпы, это — книга.

Петербургское отделение Государственного издательства дало на выставку хороший систематизированный подбор всех своих изданий.

Интерес к ним проявился в очень своеобразной форме. (Приношу глубочайшие извинения за разоблачение этой маленькой тайны выставки.)

Книги стали исчезать!

Конечно, это — показатель страшного книжного голода, которым мучится сейчас Россия.

Но и тут много для нас утешительного: пропали книги почти исключительно агитационные, научные, посвященные революции. И совсем нетронутой осталась беллетристика...

Вот что с несомненностью установила и ярко показывает выставка: неутомима жажда народа знать, знать и знать. Она проникает во все более и более глубокие слои еще недавно косного, суеверного, враждебного культуре крестьянства. Она каким-то пламенем ожгла улицы городского пролетариата. Она захлестнула непобедимой волной маленький люд города и деревни — детей, — недавнее достояние гиблых подвалов и зараженных чердаков.

Старый бородач, в тулупе и валенках, бродит по дворцу следом за кучкой школьников и, сам того не замечая, подвывает каким-то изумленным воем рассказу провожатой. Потом вдруг хватается за голову и говорит:

— Пойду! Довольно! Голова совсем распухла...

Ничего, старик, пусть пухнет!

Жажда растет, ширится, крепнет.

Вагон-выставка внешкольного просвещения, поставленный в одном из залов дворца в том виде, в каком он разъезжал по нашему краю, показывает состояние грамотности и образованности населения России.

Чутье подсказало чертежнику покрыть черной краской те плоскости диаграмм, какие показывают умопомрачительное число безграмотных.

Черными бездонными дырами зияют эти жуткие диаграммы, но с каждым месяцем все шире разливается светлая краска знания, все меньше жути остается от созерцания плакатов, и скоро, скоро, добравшись до дна бездонного невежества, мы извлечем на божий свет последнего неграмотного, поставим его на выставку и приколем к нему плакат:

— В России не встречается.

**О ТОМ, КАК ВАСЬКА-ХОДОК  
БУКВАРЬ ДОСТАЛ**

*(Сон фельетониста)*

Фельетонист спал и видел сон.

Это был маленький и (между нами) захудалый фельетонист.

Так себе, копеек пять за строчку, по мирному времени.

Оттого, вероятно, и приснился ему такой дрянненький сон.

В деревне Несветаевке, Синеньской волости, Саратовского уезда и губернии порешили мужики открыть избучитальню.

Отвели хату с тесовой крышей под новое доброе дело, приказали бабам полы и стены в горницах золой вымыть, собрали сход и начали думать, кого лучше всего в город послать.

Остановились на Ваське.

— Васька — он грамотный, на войне был, всю Россию исходил, мастер по городской части.

Лучше не надо.

Дали наказ: заяви, мол, в городе, кому там следует, что решила Несветаевка раз навсегда темноте конец положить, грамоте обучиться, по-новому — на ученый лад зажить, во как. И чтобы об этом нашем решении все знали, и что



на деревне у нас тридцать восемь душ взрослого населения да сорок женщин.

На исходе документ составили, в котором обозначили, что в Несветаевке и учитель есть, согласный обучать грамоте, но только без букваря не берется.

Ваську же всем миром уполномочили достать как можно больше книг и про хозяйство, и про коммуны всякие, и еще — почему такое война не кончается. Первым же делом — букварей, потому без них никакой книжки не прочитаешь, и чтобы без букварей Васька не возвращался.

На том и разошлись по домам и стали ждать...

Васька же ходок пошел в волостной исполком, получил печать на документ, подорожную, еще там разные бумаги, спрятал их за подкладку в шапку, дошел до станции, сел на буфер и приехал в Саратов.

Долго ли, коротко ли искал Васька по городу такое место, где раздают на всю губернию книжки, только пришел он туда, вынул все свои бумаги и потребовал в первую голову букварей.

— Э-э, — сказал ему молодой человек в пенсне, — чего захотели. Букварей! Были, да сплыли, ничего не осталось, все распределили.

— Распределить — это дело ваше, — возразил Васька, потому что был он мастер по городской части и к обращению привык, — а вот Несветаевка желает получить.

— Экий ты, голубчик, право. Нет у нас букварей, нет.

— А где же есть?

— Где есть, — отозвался молодой человек, — в Москве есть, обещали нам прислать, вот ждем.

— А в Москве, стало быть, есть? — спросил Васька.

— Должны быть, — ответил молодой человек. — Москва на всю Россию распределяет...

Подумал Васька-ходок, подумал, надел на голову шапку с документами, крикнул и пошел на телеграф. Потому что был он мастер по городской части и никаких учреждений, заведений или еще чего ни капельки не боялся.

Постучал на телеграфе в окошечко. Высунулась из окошечка барышня, посмотрела на Ваську строго и говорит:

— Частных телеграмм не принимаем.

На это Васька-ходок весьма убежденно и громче, чем в телеграфе принято, выпалил:

— Принимай депешу. Служебная, в Несветаевку, срочная. — Знал такие слова еще с военной службы.

А сам документ с печатью барышни под самый нос предъясняет.

Убедилась барышня, приняла депешу.

А в депеше той значилось:

«Как не имеется в Саратове букварей, еду в Москву исполнять полномочие».

Да в тот же вечер, сговорившись с кондуктором, залег Васька под лавку служебного вагона и поехал в Москву. Много помогла Ваське-ходоку военная служба.

Знал он, как надо с людьми обращаться, и по пути разведаль, куда надо в Москве по своему делу идти, чтобы наверняка было, как пить дать.

Приехал Васька-ходок, откушал в советской чайной кофейю, пошел искать место, где на всю Россию книжки раздают.

Нашел.

Был этот дом во много этажей, и сказали Ваське, что на самый верх взбираться надо.

На самом верху народу видимо-невидимо, — ходят, сидят, считают, читают, пишут, рисуют, а то просто закусывают.

Ходил Васька-ходок, ходил, спрашивал, спрашивал — никто ничего не знает.

«А ведь и верно, — подумал Васька, — как тут знать, когда так много дела...»

Хорошо, подвернулся не то посыльный, не то сторож: в самый, говорит, низ надо идти, под землю.

Пошел Васька под землю.

Взглянул — даже сердце упало от радости.

Книг — конца-краю нет. И на полках, и под полками, и на полу, и на столах — везде, куда ни глянь, везде книги.

И народу целая уйма: кто развертывает книжки, кто заворачивает, кто их под самый потолок пихает, кто в погреб тащит, кто с места на место перекладывает, — подойти не к кому, так заняты.

«Ну, — подумал Васька-ходок, потому что любил он приятное подумать, — тут-то я наверно букварей достану».

Разыскал самого главного человека, поклонился ему и говорит:

— Буквариков бы нам в Несветаевку.

— Можно, — сказал самый главный, — вам для школы?

— Нам для читальни. Избу мы отвели под это дело...

— Э-э, — сказал самый главный, — это вы не туда попали. У нас только для школы.

И рассказал Ваське, куда надо ему по-правильному обращаться.

Выслушал Васька-ходок, поблагодарил покорно, что научили, да не удержался попытать счастья еще раз:

— А у вас нельзя? Всего тридцать восемь душ взрослого населения...

— Нет, нет, что вы, — замахал руками самый главный, — как можно. У нас распределение по школам. На школы и то не хватает...

Так и пошел Васька-ходок туда, куда ему по-правильному обращаться надлежало.

Был этот дом еще больше первого.

И как вошел Васька-ходок в этот дом, так сразу и понял, что здесь ему непременно книжки выдадут.

Ходила тут сверху вниз машина, возила книжки взад, вперед, гуськом тянулись к лестничным ходам люди с тюками книжными на спинах, плечах, лежали по углам горы, кучи бумажные — ну как тут не найти букваря для Несветаевки.

Ходил Васька-ходок, ходил, спрашивал, спрашивал, наконец повели его в дальнюю комнату, где сидел человек в гуще бумажной, загороженный стопами громадными, книгами неохватными, — насилу разглядел Васька того человека за нагромождениями всякими.

А как разглядел да сказал, что нужно ему букварей для Несветаевки, вскочил тот человек так, что вокруг него бумаги дождем посыпались, вскочил и начал речь громогласную:

— Несознательный вы человек, гражданин, вот что. Здесь происходит разверстка в общегосударственном масштабе, а вы пришли за книжками для Несветаевки. Несветаевка, говорите? Вот я вам сейчас объясню, и все вы тогда уясните.

И нажал тот человек кнопку и велел принести что-то такое, чего не понял Васька.

И снесли тут пять человек карту величины необъятной, так что в дверь ее насилу протащили, и приставили ту карту к стенке.

И стал тот человек объяснять Ваське, почему он не может отпустить ему букварей для Несветаевки.

— Синеньской волости, Саратовского уезда, говорите. Вот и смотрите: Москва пошлет буквари в Казанский сектор, сектор пошлет в Саратовскую губернию, губерния пошлет в уезд, а уезд перешлет в Синеньскую волость. Вот и на карте значится: Синеньские получают для Несветаевки, и каждому придется столько, сколько положено. Вот что такое разверстка.

— Так что в Синеньких букварей нет, — заявил Васька.

— Будут, будут, — воскликнул тот, кто объяснял разверстку. — Поезжайте в Синенькие, там получите.

Но Васька-ходок не хотел ехать в Синенькие, а стал ходить по Москве в поисках букваря.

Слухами земля полнится. Долго ли, коротко ли искал Васька букварь по Москве, только прослышал он, что можно достать букварь в Петербурге.

Не долго думая, послал на деревню депешу, в которой стояло:

«В Москве — распределение и разверстка, говорят, в Петербурге есть буквари, отправлюсь туда».

Трудно было Ваське-ходоку выбраться из Москвы, никак не мог найти подходящего кондуктора и поехал в конце концов без всяких удобств.

А приехал, сразу попал туда, куда надо, и заявился к самому главному...

— Постановили мы обучаться грамоте. Вот у меня и документы, сами видите. Изъездил я, могу сказать, всю Россию, а букварей не получил.

— Почему не получил-то?

— Так что везде распределение и разверстка. Одна надежда на вас, не откажите.

— Эх ты, чудак человек, ведь сам говоришь, что разверстка, как же мы можем выдать? В волости был?

— Был.

— Ну что же там?

— Там нет.

— А в уезде?

— И там нет. Послали в Москву.

— Как в Москву? Зачем? После уезда идет губерния.

— У нас и уезд и губерния — одно,

— Одно? — Самый главный почесал за ухом и подумал.

Потом спросил:

— А в Москве что?

— А в Москве... — Тут Васька-ходок тоже подумал — соврать или нет, — решил соврать и сказал: — В Москве говорят, что без Питера никак невозможно. Потому как в Питере единственно вся книжная сила...

Самый главный блаженно закрыл глаза и спросил:

— Как это ты сказал, повтори.

— В Питере, говорят, вся сила...

Самый главный улыбнулся, вздохнул и промолвил:

— Нет, дорогой, обманула тебя Москва.

— А как же насчет буквариковсв, — напомнил Васька.

— Не можем: сами получаем от Москвы по разверстке...

— И у вас разверстка, — вздохнул Васька.

Вздохнул, повернулся и вышел на улицу.

И как ни мастер был Васька-ходок по городской части, а загрустил и он тут, потому что не осталось во всей России ни одного букваря для Несветаевки.

Шел он по городу и думал, как помочь своему горю, как добыть для деревни хоть один букварь.

Только видит, сидит у ворот какой-то мужичонка и держит в руках книжку. Не успел Васька-ходок разглядеть мужичонку, как тот раскрыл книжку, плюнул на свои пальцы и нацелился оторвать страничку на cigarку.

Ваську даже в пот ударило.

— Стой, — кричит, — стой, что ты вздумал!

Мужичонка от страха — прыг на скамеечке, а сам спрашивает:

— Что орешь?

— Как можно книжку в такое время на cigarку рвать? — говорит Васька. — Покажь, что за книжка.

Развернул Васька-ходок книжку, читает:

— «Букварь».

Задрожал Васька всем телом от радости, говорит мужичонке:

— Где ты, голубчик, такую книжку достал?

— Ишь, — отвечает мужичонка, — какая невидаль. У нас такого добра много. На фабрике в оборот пущаем.

— Как в оборот?

— А так. Потому как нынче в бумаге голод. Так теперь разные книжки на бумагу и пуцаем. Макулатура разная...

— Слушай, — говорит тут Васька-ходок, — продай ты мне эту книжку. Потому невозможно нам на деревне без букваря грамоту в ход пустить. Хорошие деньги дам. Сделай милость. Всю Россию проехал, на одного тебя надежда...

Посмотрел мужичонка на Ваську. «Дурак», — подумал про себя, — да и говорит:

— Книжки нынче в цене... Ну а как я действительно сторож при фабрике, так мне легче достать, это верно. Получай, давай пятьсот рублей.

Вынул Васька-ходок деньги, расплатился, спрятал букварь за пазуху да прямо на вокзал.

И так ему в тот день везло, что сразу нашел хорошего кочегара и поехал.

Долго ли, коротко ли Васька-ходок ехал, только добрался наконец до Несветаевки.

Случись же, что не оказалось в Несветаевке учителя — ушел куда-то, а был дьячок из Синеньких.

И показали несветаевские мужики букварь, который достал Васька, тому дьячку с великой гордостью.

Открыл дьячок букварь и прочитал:

— «Одобрен Святейшим Синодом для обучения грамоте в церковноприходских училищах».

Прочитал и говорит:

— Правильный букварь, настоящий. Можно ввести в употребление...

Сход же вынес Ваське-ходоку одобрение, председатель похлопал его по плечу и сказал:

— Можешь теперь скидывать с себя полномочия, потому как оправдал доверие...

На этом месте фельетонист проснулся.

Как и все маленькие фельетонисты, проснулся он весь в поту, протер глаза и прислушался, как билось сердце.

Но, сообразив, что история с Васькой-ходоком была только сон, он обрадованно вздохнул и произнес:

— Слава богу, в Советской России ничего подобного быть не может.

## ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЯЛТЕ

Ночь на двенадцатое сентября и весь день двенадцатого я пережил в городе Ялте. Из газет известно уже, что этот город пострадал во время землетрясения в Крыму больше других. Я хочу написать только о том, что пришлось испытать, видеть и слышать мне, поэтому мои показания могут быть субъективны, как субъективны, впрочем, показания всех свидетелей. Считаю нужным оговорить только одно: меня уже отделяет от несчастья расстояние и время, так что вряд ли я допущу какие-нибудь преувеличения в своем письме, скорее — обратное.

### НОЧЬ

Я лег спать в одиннадцать часов и быстро уснул. Пробуждение было тягостно, как после мучительного страшного сна, когда куда-нибудь летишь, низвергаешься, когда неминуемо должен разбиться — и вдруг, облитый потом, открываешь глаза и узнаешь знакомые стены.

Я открыл глаза и ничего не узнал. Я продолжал куда-то лететь. Протяжный, очень глубокий, непрерывный гул поглощал собою все. Нет, не все. С ужасной силой раздавалось скрипение стен, пола, потолка. На мою голову, на одеяло, на руки что-то дробно сыпалось, точно шел град. Подо мной уползала кровать.

Я очнулся. Я узнал, что я у себя, в своем номере гостиницы, но я еще не мог понять, что происходит. Стены трепыхались, как паруса, в которые начал ложиться ве-

тер. Кровать моя продолжала катиться, освещенное луною окно быстро раскачивалось, и на свет видно было рябую пелену сыпавшегося с потолка мела, кусков штукатурки.

Тогда сквозь гул, скрипение и треск я мгновенно понял, что *это* не только в моей комнате, что *это* по всей гостинице, во всем городе, — может быть, на всей земле. И я понял, что происходило, нашел название, слово.

Все описанное длилось одну-две секунды, пока я не нашел слова. Потом начались секунды, когда я отдавал себе отчет в происходящем. То есть не секунды, а *бесконечность*.

Я лежал в оцепенении. Мне кажется, я *умышленно* не поднимался. Разве можно было как-нибудь помочь себе? Я хорошо помню, как хотел накрыть голову подушкой. Но не накрыл. Я только вслушивался в непередаваемо-жуткое соединение густого подземного стопа с треском и скрипением стен. Я не шевелился. Был ли это ужас? Нет, больше. Это был *конец*. Я всем оцепеневшим существом своим ожидал *конца*. Я совершенно готов был к смерти и уже простился со всем.

Потом я услышал крик:

— Гра-жда-не! Дверь отперта, выходите через дверь!

В этот миг *бесконечность* кончилась. Я вскочил, надел брюки, пиджак и босиком подошел к двери. Я отомкнул замок, вышел, дважды повернул ключ и попробовал, хорошо ли запиралась дверь.

По коридору, обезумев и поджав хвост, мчалась собачонка. Вой ее был нестерпимо-пронзителен. Я побежал следом за ней.

Я забыл сказать, что померк свет. В темноте я сбежал по лестнице на узенькую, засаженную цветами площадку двора. Здесь было светлее: полная луна освещала скучившихся людей. Почти все женщины выбежали в ночном белье. Я услышал истерические крики и плач. Говорили все сразу, каждый о себе. Мне показалось, что мужчины держались бодрее. Из домов все еще выбегали жильцы.

Немного спустя раздался новый удар. Он был короткий, не очень сильный. Было похоже, что стоишь на доске и кто-то трясет ее в одном направлении. По всему городу завыли псы. Через несколько минут — еще удар, опять не сильный.

Постепенно приходило чувство, что все кончилось, что больше ничего не будет. Старожилы-крымчане уверяли



в этом. Кое-кто попробовал шутить, кое-где засмеялись. По десять раз рассказывали о том, как кто пережил первый толчок, как выбежал на двор.

Смятение проходило, и я без особого опасения вернулся в дом, чтобы обуться. Я делал все очень медленно и — кажется — спокойно. Пол в моем номере был усыпан мелом, куски карнизов валялись по углам, со стола упали пепельница, карандаш, книга. При свечке я мог различить только одну большую трещину над карнизом внешней стены. Говорили, что в других комнатах разрушений больше.

Я пошел к морю. Помню, что меня влекло туда не только любопытство. Во мне уже возникло недоверие к дому, к постройке, боязнь крова. Хотя, прежде чем выйти из номера, я стряхнул с постели мусор, надеясь еще поспать...

На Садовой было темно. Вдруг вылетел из-за поворота автомобиль «скорой помощи» и остановился у калитки гостиницы. Значит, для кого-то испытание кончилось несчастьем. На узенькой Морской горели фонари. Вдоль тротуаров и на мостовой валялись груды кирпича, обломки карнизов. На домах чернели громадные трещины.

Набережная улица запружена людьми. Все теснятся к морю, подальше от фасадов гостиниц. С них сорваны балюстрады, угол одного дома упал, крыша повисла в воздухе. Дорога усеяна обломками камней, кирпича, штукатуркой.

Здесь, на Набережной, в толпе людей, ставших неожиданно общительными и разговорчивыми, около двух часов ночи меня застал четвертый удар. Он был мощным, но сравнительно кратким. Перед тем как он встряхнул землю, народ заполнил Морскую, многие вошли в дома, чтобы одеться, взять вещи.

Я стоял у парапета набережной, прямо против Морской. И вот внезапно по этой улице, заваленной обломками камней, люди с ужасным криком ринулись вниз, к морю. Я схватился за парапет. Толпа неслась на меня, угрожая сбросить меня через железные перила на берег. Я видел вскинутые вверх руки, десятки, сотни рук, бессмысленно машущих в воздухе, видел дождь кирпичей, падающих на эти руки, в толпу, слышал вопли женщин, раздиравшие подземный гул на какие-то взрывы рычания. Девушка упала на самом углу, сшибленная кам-

нем или человеком. Дом подернул своим живым углом, точно плечом, и страхнул с себя остатки каменной балюстрады.

Удивительно ярко и много запечатлевается в эти страшные секунды. Мне кажется, я видел каждый обломок, падавший с крыш, слышал каждый отчаянный возглас. И в то же время я крепко вцепился в железный прут парашета и другой рукою защищался от натиска толпы, бросавшейся через перила на пляж, мимо меня.

Вероятно, это было то же оцепенение, которое держало меня в кровати.

## УТРО

Тогда, перед рассветом, возникло во мне никогда не бывавшее прежде ощущение беспокойства, — именно *ощущение*, а не чувство. Словно в грудь мою попало какое-то чужеродное физическое тело. Люди говорили со мною, я отвечал им, но видел, что их угнетает то же самое ощущение и что они каждую секунду готовы броситься в безумное бегство.

И они бросились.

Утро я встретил рядом с молом, в татарской деревянной лавчонке, за чаем. Моряки рассказали, что ночью, во время первого удара, море в бухте отошло футов на семь-восемь от берегов, так что пришлось «травить концы», чтобы парусники, стоявшие у берега, не сели на дно. От моряков мы узнали, что тогда же, ночью, во всей окрестности появилось густое облако пыли, заслонившее собою горы: это обсыпались и оползали горные склоны.

Близ мола я увидел первые развалины: невысокие дома учреждений обнажили свои чердаки, массивные фронтоны были сорваны с них и каменной грудой исковеркали стоявшие внизу вагонетки.

В лавчонке было безопасно, фанерная крыша ее, прикнутая к молу, не могла причинить особой беды.

Но когда почва, качнувшись, внезапно задергалась под ногами и все кругом стало дрожать, как дрожит яичница, когда трясут на огне сковородку, люди повскакали со своих мест и бросились вон. Я выбежал вместе со всеми.

На угловом доме высокая приставная мачта раскачивалась все чаще и торопливей, натягивая и ослабляя тросы.

Люди бессмысленно метались по берегу. Я увидел матерей с грудными детьми на руках, бегущих к морю. Увидел несколько мужских лиц, и на моих глазах они обескровливались, обращаясь в гипсовые маски. Мне почему-то особенно запомнилось лицо чернокожего южанина, губы которого странно сузились и поголубели. И опять: вдоль пустынного мола (на самый мол людей не пускали; он дал трещину) мчалась с взгогом собачонка и, внезапно бросившись вниз, пропала в море.

Потом все стихло. В горах рассеивались желтые облачка пыли, как дымки батарейного огня, море лежало покойно, небо было прозрачно, солнце начинало уже пригревать.

## ДЕНЬ

Так постепенно пропало доверие к земле, и надежда сменилась подавляющим отчаянием. Значит — еще не кончилось, значит — ощущение тоскливого, угнетающего беспокойства не обманывает.

Днем толчки и колебания продолжались. Казалось, что они непрерывны. Ступить по земле, подойти к дому, просто взглянуть на дом стало трудно. Дома, человеческие жилища, кров — надежная защита от стихий — сделались злейшим, коварнейшим врагом человека.

Я осмотрел город.

Сады, набережная наводнены людьми. Кровати с большими, детские коляски и люльки, узлы домашнего скарба, постели, тюфяки — все это кучится и жметя под деревьями, в кустах, на дорожках, площадках садов.

По улицам, посередине дорог навалены горы щебня. От дома отвалилась стена; внутри, как в кинопавильоне, виден кабинет врача, картины на стенах, шкафы. Внизу — спальня. Рядом — столовая. Дом разломился, точно корбочка.

За решеткой видны руины богатой дачи. Здесь, под развалинами двух этажей, откопали целую семью: отца-инженера с сыном извлекли мертвыми, мать — смертельно раненной.

Неподалеку — медицинский пункт, развернутый под чистым небом. Врачи, сестры, санитары с носилками. Отсюда тяжелораненых перевозят в больницу, другие лежат тут же на циновках, кроватях, в креслах.

Напротив — обвалившийся фасад клуба. Кругом издерганные, изорванные, расплзшиеся дома. В этой части города ни одной целой постройки.

На набережной, подле городских станций и парходных контор — густые толпы народа. Это — бегство, побег, отчаяние, безнадежность.

Некоторое спокойствие вселяет охрана города, санитары и врачи. Но видеть мчащийся после нового толчка автомобиль с пожарными и милицией или пробирающийся между обвалин грузовик и на нем казенные больничные гробы, на которых сидит женщина с раскрытыми стеклянными глазами, — видеть это, значит ощущать с новой силой прилив тоскливого беспокойства: *будет* ли еще или *не будет*?

Оказалось — да.

Этот второй по силе и длительности колебаний толчок застал меня в городском саду (первый, ночной толчок продолжался около двадцати секунд; дневной, о котором я говорю, длился не менее восьми секунд). И странно: люди, собравшиеся здесь, для безопасности, на большом, свободном от строений прострaнстве, едва раздался удар и окрестность огласилась гулом, — люди бросились бежать. Фонарный столб отклонивался влево и вправо, с каждым мгновением увеличивая свой размах, скамья подо мною поскрипывала и уползала. Нет, сидеть было невозможно! Я вскочил и крепко ухватился за спинку скамьи.

В этот удар земля в саду дала трещину длиною в несколько сажен, и отовсюду слышны были грозные обвалы построек: падало то, что было подготовлено к падению ночным толчком.

Но... всюду жизнь! Спустя пять минут после того, как улегся шум и вновь пронеслись куда-то санитарные кареты, я уже видел курортную модницу, дрожащей рукой подкрашивающую губки; полупьяный, романтичный оборванец навязчиво предлагал послушать его декламацию:

— Граждане, прошу! Я прочитаю вам стихотворение «Море»!..

Мне нужно было войти в свое жилище, чтобы взять деньги и вещи.

Гостиница, где я жил, расположена на террасах, спускающихся уступами. Весь дом причудливо слеплен из кубиков в два-три этажа, над которыми торчит живопис-

ная вышка. Все это вместе с окружающими кипарисами, вероятно, очень хорошо для олеографии — поэтично и мечтательно. Но для... землетрясений...

Когда я осмотрел этот воздушный замок, я почувствовал, что не в силах в него войти: кубики расползлись и потрескались, входная лестница искривилась, кирпичи разрушенных печных труб висели на самом краю крыши.

Необходимость, однако, сильнее страха. Я заставил себя подняться по лестнице, открыть номер. Я думал уложить чемоданы. Но у меня хватило мужества только на то, чтобы подхватить их, забрать разбросанные вещи и окинуть взглядом комнату: она состояла из четырех стен и потолка, приставленных друг к другу, как игральные карты; карнизы и штукатурка наполовину обвалились...

В девять вечера я сидел на пароходе. Двадцать один час, в течение которых я жил ежесекундным ожиданием *конца*, сделали свое дело. И когда заработал винт, мне опять послышалось это незабываемое соединение подземного гула со скрипением и треском стен.

Тысячи, десятки тысяч людей оставались в городе, под открытым небом, от секунды к секунде ожидая *конца*.

И вот спустя двое суток я опять читаю в газете:

«В ночь на 14 сентября в Ялте ощущались четыре сильных толчка...»

## ЗАБРОШЕННЫЙ САД

— Ах, Васильсурск! Ну как же, наша дачная местность, — говорят горьковцы, довольно улыбаясь. — Наша здравница! Яблочное царство...

Но Васильсурск — не только дачное место. Это поселок, маленький городок с четырьмя тысячами жителей, промышленяющих яблоками, немного хлебом и рыбой да немного бондарным рукомеслом.

Как же живут четыре тысячи васильсурцев?

Здесь дни полноводно текут, как и в других городах и поселках, но есть тревожные изъяны, о которых мы и поведем разговор.

На горе двухэтажный дом украшен свежей вывеской: «Поселковый Совет депутатов трудящихся Воробьинского р-на, Горьк. обл.».

— Что же, — спрашиваю председателя Совета, — значит, вас выбрали по-новому?

— Нет, — отвечает, — выбирали по-старому...

Я показываю на доску, красующуюся перед фасадом Совета:

— И доска-то, пожалуй, сохранилась от старого?

— Это конечно. Не успели убрать.

Доска разделена пополам. Слева она крашена в рыже-кирпичную краску и наверху имеет надпись: «Привет ударникам. Наименование организаций». Справа она черная, и на ней вполне симметрично начертано: «Позор лодырям. Наименование организаций».

— Писалось ли что-нибудь на доске?

— Да, когда-то писалось.

Козы мечтательно щиплют мураву под доской, мимо взбирается в гору тучное васильсурское стадо. Насколько хватает глаз — уходят в недвижную синюю даль поймы, луга изогнутой Суры, желтеют косы тяжких волжских песков, дремлют необъятные заросли бледно-зеленого курчавого тальника, и все эти щедрые пространства туго охвачены широкой подковой чернолесья.

Нынче в черных васильсурских лесах соблазнительный урожай орехов, а это дело не простое. Один из двух васильсурских колхозов — деревня Хмелевка — бросил в полях неубранным созревший хлеб и ринулся почти вкуче, кроме нескольких стахановцев полевой уборки, в леса да рощицы — по орехи. Чья здесь проруха, сказать не трудно.

— И моя вина тут есть, — сознается председатель Совета, — я чаще в другой наш, пахотный колхоз, в васильсурский заглядывал: он поближе...

В результате ореховой «эпидемии» в Хмелевке не только задержалась уборка, но пятнадцать гектаров снятого и незаскирдованного хлеба очутилось под дождем. Урожай хлеба огромный, и отчасти, пожалуй, в нем объяснение хмелевской нерачительности: зерна сколько хочешь, хватит всем, а за орешками не поторопишься, они мимо тебя и уплывут.

В Совет бегут и хмелевцы и васильсурцы за справочкой — что, мол, орехи собственной заготовки и подлежат беспрепятственно вывозу. Это уж в пику кооператорам, которые нынешний год не так-то много возьмут из Васильсурска, потому что нынче совсем не родилось яблоко, и об этом особый, большой разговор.

На протяжении десятков верст вверх и вниз от Василья-на-Суре по берегу Волги тянутся яблоневые сады. Ни загородок, ни плетней, — посмотришь с парохода — дикий бор. А подойдешь к берегу — целые крепости из ящичков, набитых яблоками, и объедки и отбросы нескончаемо плывут по Волге, и все пронизано кисло-сладким ароматом аниса — «с кваском», пряностью украинки. И вот нынче повыше Василья — хотя бы в Разнежье или вниз к Козьмодемьянску — уродилась такая сила яблока, что пароходы не справляются, грузят день и ночь, — а ящичкам, мешкам, корзинам нет конца, везут и везут,

И вот в самой гуще этого былинного обилья выдалась полоска решительного, полного неурожая: ни яблочка не сняли нынче со своих неисчислимых яблонь васильсурцы. Что за чудо? Уж не переменился ли климат? Или, может, вредитель напал?

Какое там климат! Просто, видите ли, прошлый год был аховый урожай, уйму яблонь раскололо тяжестью плодов, с маленького сада и с того на три-четыре тысячи рублей сняли, — ну а нынче пусто, вот и все.

— А что же рядом с Васильсурском не пусто?

— А кто его знает? Так оно всегда бывало: иной раз и два и три лета подряд не родится, а потом сразу как уродит — никаких рук не хватает справиться.

Выходит — так было, так будет. Попытался ли кто-нибудь поколебать васильсурцев в этой дедовской премудрости?

Я спросил девчурку, почему не сажают молодых садов, — она мне в ответ:

— Пока молодые принесут яблоки, мы умрем.

Ну, думаю, милая, ты-то не умрешь, а вот с чьего голоса ты перепевашь похоронную песню? Поверить ли, что в этом мире яблонь на версты кругом не существует ни одного питомника молодых деревьев? Поверить ли, что за многие годы в Васильсурске не посажено ни единой новой яблони, не сделано ни одной прививки? Я много бродил по садам и за исключением четырех хозяйств домов отдыха не увидел ни одной окопанной и ни одной обмазанной яблони. Это все старые-престарые деревья, явно вырождающиеся в дичок, теряющие сорт. Огромная масса знаменитого аниса выродилась в четвертый сорт, годный только на фруктовое тесто, повидло, мармелад и подобные нехитрые изделия.

Поселковый Совет владеет богатейшей площадью садов, около шестидесяти гектаров. Больше полутора гектаров принадлежит населению. Сады ничем не отличаются друг от друга: и у поселкового Совета, и у обывателей все заросло крапивой, лебедой, лопухами, сорняк подымается до грузно свисающих дряхлых яблоневых ветвей, иногда плотно закрывая стволы деревьев. Никаких следов культурного ухода, присмотра, заботы. Бесславные садовники живут в этом сказочном поселении! Жалко и больно смотреть на сплошной неохватный заброшенный сад — Васильсурск!



Нынешние руководители поселкового Совета избраны совсем недавно. Одна из главных забот их в том, чтобы поскорее разобраться в запутанном хозяйстве и в безотчетных делах, доставшихся им от предшественника — председателя Совета Засорина. Подвиги этого человека сейчас занимают областную прокуратуру и в Горьковской области стали известны как пример беззастенчивого, грубого нарушения элементарных прав советской демократии.

С большим запозданием мутная практика Засорина сделалась достоянием газет. «Горьковская коммуна» назвала его «градона начальником», насчитав около семидесяти «приказов», которыми сей правитель осчастливил поселок, единолично законодательствуя и насаждая полезное для себя повиновение среди депутатов Совета и самих васьлюрцев.

Но засоринское управление Васильсурском по методу единоличных «приказов» приходилось по нраву как будто не одному Засорину, влияние которого не избыто. Занимая огромный, по поселковым масштабам, дом в восемь комнат, Засорин не платил за него и все еще не платит ни гроша, а суд не решается потревожить бывшего поселкового председателя. Само собою, безденежно пользовался Засорин и садом (не яблони же, в самом деле, считать в Васильурске) и огородами (земли-то вволю!), и — кто знает? — может, некоторые васьлюрцы допускают, что все эти тихие земные блага полагаются Засорину по каким-нибудь советским законам.

— Он, собственно, ничего такого не сделал, — мягко говорил мне один васьлюрец. — Это у него больше бытовое разложение.

— А приказы?

— Приказы — это больше у него в характере...

Какие сады оставило по себе в Васильурске шестилетнее руководство Засорина, кроме любопытного рукописного собрания приказов? Кино в Васильурске нет, единственная библиотека не достроена и едва добывается в год четверти ассигнованных денег. Нынешним летом библиотека получила из районов на все имевшиеся у нее деньги такую «литературу», которая вовсе не дошла до полок из-за сплошной своей политической негодности.

Нельзя же все на свете объяснять глухостью места: — Ведь мы только летом связаны с миром пароходами. А придет зима — до Горького полтораста верст на подводах, до ближней железнодорожной станции — во семьдесят. Начнутся заносы — и-и!..

Казалось бы, тем более надо запастись и книгами и кинокартинами — на время заносов, но неизвестно: какой прок, скажем, принесли поселковому Совету прошлогодние шестьдесят тысяч дохода с его садов?

Не испытывают обыватели Васильсурска никакого попечения своих руководителей и живут-поживают как могут и в меру того, как им «помогают» жить иные, не советские руководители. Общее собрание верующих не так давно вместо проворовавшего и сбежавшего церковного старосты избрало на эту должность женщину — происшествие, в былое время невиданное. Женщина-староста быстро поправила дела церковного ящика, и летом, на повом собрании верующих, прошедшем с боевой «самокритикой», была премирована денежной премией «за активность», так и было постановлено: «За активность».

Меня пригласили на собрание трудовой васильсурской артели сапожников, на котором должна была состояться беседа о выборах в Верховный Совет. Я пришел вместе с докладчиком, секретарем поселкового Совета, и вместе с ним узрел на дверях артели замок. Оказывается, руководитель артели «позабыл» объявить артельщикам о собрании, и они разошлись по домам. Через день после этого председатель Совета узнал, что руководителем артели состоит бывший священник...

Покинем васильсурские сады для короткой экскурсии в другие места Горьковской области, очень примечательной по некоторой живучести в ней разных культовых обломков.

Есть здесь, например, город Городец с «тридцатью тремя верами» — до сего дня не вполне вымершими разнокалиберными сектами. Есть старообрядческий центр — Урень, куда надо ездить со своей ложкой, иначе там не дадут поесть.

В среде этих людей, конечно, тоже происходят изменения. Нельзя себе было представить, скажем, какое-нибудь сотрудничество старообрядцев с православными. Но вот этой весной в самом Горьком, в Спасской церкви, произошло такое редкостное объединение, и старообрядцы

стали совершать службы вместе с православными — так сказать, «единым фронтом». В другой горьковской церкви поп провозгласил в «великую ектенью»: «О советской конституции, восстановившей священство в правах, господу помолимся».

Тут, как известно, и зарыта собака нынешнего движения в кучках людей, еще не отошедших от церквей и сект: близится пора выборов по новой конституции, и «священство» не дремлет.

В районном центре, Выксе, поп явился в школу на родительское собрание.

— Поскольку духовенству дарованы конституцией все права, желаю внести предложение... Предлагаю, чтобы все проголосовали, вводить или не вводить преподавание закона божия в школе.

Предложение было, конечно, единодушно отвергнуто.

Жители далекого мирного поселка Васильсурска придут к урнам с избирательными бюллетенями в руках. Как будут голосовать они? Тут заинтересован не только Васильсурск, а вся Горьковская область, в которой, судя по всему, таких Васильсурсков не один.

Что говорить, приятно отдохнуть в Васильурске. С каждым летом все больше съезжается сюда народу на дачи и в дома отдыха, и не только из Горького — с Волги, из Заволжья и с Урала. Васильурску суждено стать настоящим курортом и по красоте местоположения, и по климату, и по таким редким достоинствам, как охота и рыбная ловля: в лесах водятся барсуки, в поймах несметно распложаются зайцы, на луговом волжском берегу в озерах уйма водоплавающей птицы, Сура много-рыбна. Ничто не может препятствовать процветанию чудного края.

Но для этого нужно, чтобы Васильсурск и всю его округу возглавляли настоящие большевики, честные, энергичные люди. Тогда кончится здесь спячка и будет ликвидирована деятельность осколков антисоветских элементов, тормозящих развитие этого благодатного района, рост его людей.

## ПОЕЗДКА НА СЕВЕР, К БЕЛОМУ МОРЮ

Первый раз проехал я здесь в девятьсот тридцатом году, когда сюда только что начал доходить жар строительной горячки — и вот через восемь лет снова сажусь я на озерный пароход.

Из Ладожского озера, принявшего нас с благосклонным тихим чувством, мы входим в веселую Свирь — одну из чудесных, жизнерадостных русских рек, от изумрудных берегов которой не хочется оторваться, настолько они заманчивы, уютливы и отрадно расцвечены. Так называемый третий Свирьстрой, законченный первой очередью и давно подающий энергию, пропускает пароход большим шлюзом, и, постепенно подымаясь, мы видим с палубы гладкий простор охваченной плотиною воды и над нею — стройное здание станции, под стать свирскому ландшафту, сочетающее приветливость с широтою.

Выше, у Подпорожья, откуда вышло немало добрых озерных капитанов и матросов, на знаменитом Сиговском пороге сооружается второй Свирьстрой. Работа над ним идет горячо, растет перемычка будущей плотины, прорывается канал, горы нарытой почвы отделяют его от проходящего осторожно парохода, и ковши экскаваторов, взлетая в воздух и вышвыривая землю, с визгом исчезают, чтобы через минуту опять легко размахнуться над вершинами насыпанных холмов.

Известное в озерном крае село Вознесенье — деревянное с ног до головы, в обычных для Севера мостках-тропуарах, в тесовых кровлях, в бревенчатых стенках-пристанях — неожиданно много имеет дела с железом: грузит цепи, тросы, арматуру для железобетонных сооружений. Кругом строят, и в лесном, дощатом мире привычен для слуха скрежет и грохот железа, переваливаемого с судов Марииинской системы на пароходы озерных рейсов.

И вот мы — в морской необъятности Онежского озера. Его берега, нерушими прекрасные и влекущие к себе человека, от пристани к пристани передают историю превращений, испытанных ими в последние годы. Ропручей, Шелтозеро, Шокша — места добычи и разработки диабазы и гранита. Пристани, то голубые, то розовые — смотря по цвету камня, наваленного и сложенного в ожидании погрузки, — очень хороши народом, оживленным, шумным, охваченным тем особым волнующим и счастливым нетерпением, с которым встречают пароходы на Севере. По всему побережью тут одна забота и один разговор:

— Побольше бы посуды...

Не хватает транспорта, производство растёт, водники не справляются с вывозкой камня, грузы его все увеличиваются на подъездных путях к озеру.

Растянутая подкова Петрозаводска встречает нас ночными огнями большого города, белое зарево его теряется высоко в небе. Столица Карелии — таким ли светом горела она в бытность свою губернским городом Олонецкой губернии? Электричество разнообразно сопутствует нам по всей дороге не только к Белому, но и дальше — к Баренцеву морю, и, пожалуй, нигде оно не кажется так «к месту», как в этом обилии воды, переполняющей бесчисленные емкие природные резервуары.

Повсеместный припев, который слышен на пароходе и пристанях с утра до вечера: «Это построено после революции... Этого раньше не было...» — создает в конце концов впечатление, что ты подвигаешься вперед сплошными новосельями, и уже почти перестаешь замечать старое, исторически возросшее к моменту развертывания нового великого хозяйства.

Так, издавна стоявший на северном краю Онежского озера бревенчатый Повенец в представлении моем упрочился теперь как исходный ключ Беломорско-Балтийского канала, — и так, наверно, и останется навсегда в па-

мяти, без особой поправки на свою древность и заслуженное прошлое. Потому что, когда пароход, войдя в первый шлюз, начинает свое прохождение величественной повенчанской лестницы шлюзов, маленький Повенец опускается глубоко вниз, к «ногам» парохода, становясь как бы масштабной вешкой для определения размаха сооружений канала.

Повенец уходит вниз, Повенец скрывается, а мы берем один шлюз за другим, странно возвышаясь над окрестностями, все раздвигая кругозор.

Сколько ни расспрашивали потом меня о Беломорско-Балтийском канале, ни разу не обошлось без вопросов: лучше ли он или хуже канала Москва — Волга? Две наличные естественные силы использованы на всем протяжении канала — камень и лес. Они оказались достаточными, чтобы управлять третьей живой силой — водой. Железо, цемент, играющие такую роль в устройстве канала Москва — Волга, на пути к Белому морю почти неприметны. Зато иной раз целые версты пароход идет темно-розовым коридором из гранита, обнажающим суровую красоту породы, и это по-своему успешно спорит с архитектурной отделкой канала Москва — Волга. Одиннадцатый шлюз, например, пробит в сплошной скале, и когда судно входит в эту каменную ванну — все вокруг кажется фантастичным, и нелегко представить себе циклопов, прораввших путь сквозь эту чудовищную глыбу.

Едва вылившись из могучего Выгозера, полноводная река Выг сразу должна смирить свою волю. Это, несомненно, самое эффектное сооружение на канале. Река отведена далеко в сторону, в новое русло. Плотины преграждает ей дорогу. Со всепоглощающим ревом река обрушивается через приоткрытые ворота плотины в глубочайший узкий ход между отвесных базальтовых скал, великолепно беснуясь в темной пропасти, взбивая и руша неистовую белую пену. Рядом с этой созданной человеком чертовской купелью природный Надвойцкий водопад, текущий неподалеку, в том месте, где Выгу положено возвратиться в свое старое русло, кажется довольно мирным потоком.

На капитанском мостике я заметил девушку, очень молоденькую, светлоглазую, с непокрытой головой. Я принял ее сначала за молодую жену кого-нибудь из командиров. Но слишком часто девушка бралась за бинокль, пере-

говаривалась с вахтенным помощником или с капитаном, держась сама как на вахте — подчеркнуто спокойно, по-служебному. Я наконец заговорил с ней.

— Я практикантка, — сказала она, и в ее ответе совершенно легко отделялось юное смущение от гордости и желания постоять за себя, коли на то пошло.

— На кого же вы практикуетесь?

— На штурмана.

— Понимаю. И как ваши успехи?

— Я уже одна стояла рулевым, на озерах... Вот только в шлюзы еще не входила, — добавила она с простодушной и очень милой улыбкой, по-школьничьи косясь на капитана, тоже чуть-чуть улыбавшегося.

— Нас на штурмана начало учиться несколько девушек, но все ушли в другие отделения, осталось только две... Трудно.

— Что же самое трудное — лощи?

— Нет, навигация, — не задумываясь, сказала она и, так же не задумываясь, объявила: — Но я и моя подруга дали слово директору, что будем штурманами!

Я спросил у капитана:

— Вот сколько вы ходите, видали ли вы хоть одного женщину-штурмана?

— Не приходилось, — засмеялся он.

— Ну так что же, — быстро отозвалась девушка, — ведь женщин-летчиков раньше тоже не было.

Я увидел решительную молодую складочку у ней над переносицей, ветер натуго приглаживал волосы на ее приподнятой голове, она заложила руки по-капитански — за спину, ее глаза были уверенно веселы. Все кругом нее и в ней самой создано для того, чтобы она сдержала слово и стала штурманом.

Поутру великий канал пройден, мы у Белого моря. Отлив. Сквозь тонкий слой воды просвечивает вязкий грунт Сорочкой салмы. Бледные краски. Далеко на рейде видны силуэты морских лесовозов..

## ПОЕЗДКА НА СЕВЕР, К МОРЮ БАРЕНЦА

Кто не слышал о хибинских апатитовых разработках в городе Кировске? Но многие ли знают об истинных размерах предприятия, давшего жизнь целому краю? Когда, говоря о программе рудника имени Кирова на нынешний год, называют цифру проектируемой подземной проходки в двадцать два километра — это поражает.

Подземные сооружения проникают в каменное тело еще недавно неприступной горы Кукисвумчорр. Широкие коридоры штолен и штреков освещены электричеством, повсюду чисто, не прерываясь плывет мощное течение свежего воздуха, бегут поезда груженных породой вагонов.

После канонады аммонитных взрывов около грохотной решетки шахты я встретился с новой сменой горняков. Скинув с плеч кувалды, которыми дробят на решетках слишком большие куски породы, горняки заговорили с сопровождавшим меня техником.

Речь шла о том, что вышележащие решетки пропускают камни большего объема, чем нижние, и потому их приходится вторично дробить, то есть делать работу, которая могла быть сделана сразу.

Горняки стояли под лампочкой, их лица были хорошо видны — неожиданно свежие и яркие для подземелья. Тон разговора был хозяйственный, требовательно-рассудительный. Они находились у себя дома, в Сесей-горе,



оживленной их руками и поставленной ими на службу великому хозяйству, интересы которого отчетливо подразумевались во всем разговоре.

В городе, сделанном волею Кирова, почти каждый работник подробно помнит историю его создания. Это все — хозяева, строители, «старожилы».

Круглое озеро Вуд-Явр с ясной водой, поодаль от его берегов — высокие горы, расставленные почти правильным кольцом, сопкообразные, необычайных матовых красок — коричнево-зеленых, глубоких и нежных. В подножьях гор — дорога, электровозы гудят басами, готовно повторяемыми где-то в горах, поезда огромных самосбросов, нагруженных полосатым черно-белым камнем, грохочут по железным путям. В какой-то час окрестности всполошенно начинают отзываться раскатами на взрывы аммонита в руднике. Если смотреть в такой час на Кукисвумчорр, гора, как кронверк, окутывается сизыми клубами дымов с подошвы ввысь, закрывающими ее до вершины.

Вся картина приводит на ум сравнение с Америкой, Норвегией. Но это новое качество нашего Севера — картина индустриального советского города.

Кировск растет сразу в двух районах — около рудника и рядом с обогатительной фабрикой.

И там и тут многоэтажные каменные здания начинают подавлять тесовые и бревенчатые строения. Движение между районами оживляет округу, автобусы — увы! — здесь, на отдаленнейшем севере, переполнены плотнее, чем в Москве.

Красочный город со своим особенным, строгим лицом может быть назван характерным для советского Севера. Промышленные черты его все чаще возникают на Кольском полуострове.

Громадный медно-никелевый комбинат развивается в местечке Сопча, под Мончегорском — еще одним городом последних лет. Вблизи реки Стрельна разрабатывается месторождение слюды. Алюминий, медь, никель, слюда, апатит — это богатства целой европейской страны, неисчерпаемый фонд культуры Кольского полуострова.

Перед войной на всем полуострове насчитывалось менее десяти тысяч человек населения. С тех пор оно возросло в тридцать раз. В школах нынешней Мурманской области одних детей — тридцать две тысячи! Это буду-

щие строители советского Севера, его герои. А геройство, отвага, крепость воли здесь нужны больше, чем где-либо, потому что несметные богатства края не даются легко, культура новых городов отвоевывает каждый шаг вперед с боем.

В Мурманск я ехал с юным комсомольцем, зимующим на вершине горы Юкспор, где построена метеорологическая станция.

— Все лето мы поднимаем вверх зимние запасы — продовольствие, топливо, книги, — рассказывал он. — С осени и до весны мы отрезаны от Кировска. В безоблачный день так ясно виден внизу город, но спуститься нельзя — непроходимые снега. Очень важны осенние наблюдения: если с осени пойдут дожди и гора обледенеет, зимой лавины неизбежны — снег летит вниз, как по катку. Толчок дает ветер, оттепель, сила собственной тяжести снега — ведь его наносит кое-где на несколько метров. Я прошлую зиму в метель полез измерить глубину в одной расщелине; только начал промер, мне сверху кричат: «Снег тронулся, берегись!» А я по пояс в сугробе. Был я привязан, стал подтягиваться, еле вытащил ноги, откатился в сторону кувырком, оглянулся на сугроб — его уже нет; слышу сквозь ветер — загудело внизу, покапало. Еще немножко — меня бы сорвало вниз.

Он говорит просто, с тем деловым увлечением, с каким рассказывает об интересном состязании спортсмен.

— А что вы собираетесь делать следующей зимой?

— Опять на Юкспор. Там уже все готово. Будем учиться и наблюдать.

Перед сопротивлением природы, перед трудностями и опасностями завоеватели Севера не останавливаются с опущенными руками. Иначе не разрастись бы и не украсить далекому Мурманску.

Кольский залив Баренцева моря — узкий тихий фьорд, вползающий глубоко в полуостров. Спокоен рисунок береговых гор, раскрашенных — местами скупно, местами неожиданно щедро — отрадной зеленью плотных лесов.

Обширный и ладный порт без напряжения вмещает многие сотни судов: ровно выстроившиеся вдоль причальных стенок, как в форму одетые, зеленые суда траулерного флота, беспокойные, подвижные толпы моторных ботов и лодок рыболовецких колхозов.

Огромный рыбозавод занимает центр портовых сооружений. Это, собственно, рыбообрабатывающий комбинат, состоящий из цепи связанных друг с другом предприятий: холодильника, фильтровзавода, консервной фабрики и заводов — посолочного, филейного, копильного, мукомольного. Не пропадает даром ни одна косточка пойманной рыбы, будь то знаменитый гоголевский лабардан — треска, будь то пикша, морской ерш или камбала.

Фильтровзавод — создание безмолвное и безлюдное, с тишиной и даже благоговейностью уединенной капеллы и с запахом древней аптеки: неподвижные прессы отжимают драгоценный медицинский жир, капающий и слезящийся янтарем сквозь салфетки.

Консервная фабрика, изготавливающая тресковую печенку — наилучшую закуску для самого изысканного пирожания, напоминает просторный санаторий: сверкают окна и полы, работницы наряжены в белые халаты. Инженер фабрики обязан быть здесь еще и гастрономом: он командует станками для выделки консервных банок, и его вкус разбирается в пряностях, приправах, специях, которые кладутся в банки.

Когда подходишь к Мурманску на пароходе, город ступенчато поднимается над уровнем порта, и чем выше ступень, тем внушительнее, красивее строения. Уже заканчивается лучшее здание города — Дворец междурейсового отдыха моряка, растут улицы каменных жилых домов. И вот мы должны заметить в нашем сознании: у выхода в Баренцево море лежит областной город, который может быть назван столицей Крайнего Севера, — с портом европейского значения, с промышленностью, драгоценнейшей для нашей страны, с населением более ста десяти тысяч человек.

Этот город заперт с моря замком нашего Северного военно-морского флота, оберегающего мирное развитие советского Севера, рост и процветание всех его городов — старых и новых, первых поселений на этой издавна русской земле и только что возникших, которые дали ей такое своеобразное лицо.

## МОЛОДЕЖИ ЧИСТОПОЛЯ

Далекий городок на изгибе красочной многоводной реки. Пароходы, то скопляющиеся около пристаней, то исчезающие вдали от берегов. Задумчивые сизоватые сумерки, бурно-огненные немые закаты, медленно гаснущие в воде.

Кажется, все спокойно и мирно в этом уединенном краю. На бесконечной рыжей косе, отделяющей затон от коренной Камы, — неподвижные стога давно накопленного сена, — «грустят стога», как чудесно сказал о них, может быть самый грустный из русских поэтов, Александр Блок. Тихо и даже как будто безжизненно вокруг, разве только ветер вдруг начнет резать сплеча и высвистывать бог знает что в скважинах и щелях заборов и домишек сутки, а то и недели напролет.

Но взгляните в первого встречного человека — пусть это будет ученик ремесленной школы, бегущий к началу работы за своим станком, пусть — колхозник, чуть свет привезший воз хлеба на склад Заготзерна, пусть — молодая девушка из Энского завода, — взгляните в любого человека: как все они озабочены, как торопится каждый к своей цели, как серьезны и значительны их взгляды.

Нет, жизнь этого далекого городка не так тиха, не так безмятежна; и многие, многие его жители могли бы повторить за Александром Блоком другие замечательные слова поэта: «Покой нам только снится».

Не надо обладать каким-нибудь особым глазом, чтобы прочесть на любом лице — юноши, пожилого человека, девушки или женщины одну и ту же глубоко переживаемую мысль: война! Идет Отечественная война, и я — ее участник, я нахожусь в строю необъятной армии, которая обороняет родину от врага и которой имя — советский народ.

Да, здесь, в этом далеком городке, за сотни километров от фронта, много и много сил отдается на помощь великому делу обороны Советского Союза от жестокого, хищного врага.

И как в огне боевого фронта, как в больших, прославленных городах, так и здесь — в первом ряду, в голове каждого дела находится наша молодежь. Она самоотверженна, она неутомима, она смела, кровь ее нетерпелива и душа ее горяча.

Есть ли здесь, в далеком городке место, где молодежь могла бы показать себя во всей силе, применить свою настойчивость, приложить свою сметку, изобретательность, помериться друг с другом в ловкости, в умении поработать, добиться хороших успехов в труде?

Да, таких мест найдется здесь немало.

Красная Армия с невиданным мужеством сдерживает напор свирепой фашистской солдатчины. На берегу Волги, у ворот Сталинграда, оказавшихся действительно *стальными*, в горах Кабарды, на полосе Черноморского побережья днем и ночью не переставая идет исторический бой за правое дело человечества, за достоинство человека, за свободу, честь и независимость народов Советского Союза. В этом бою каждый день, каждый час требуется новое и новое оружие, новый и новый боевой огонь.

Наш далекий городок дает Красной Армии каждый день, каждый час свою долю оружия, свою долю огня. От нашей молодежи зависит, чтобы доля эта возрастала изо дня в день. От нашей молодежи зависит, чтобы волжский и камский флот, неустанно помогавший обороне Сталинграда, получил необходимую опору в работе механического завода. От нашей молодежи зависит, чтобы пароходы и наливные суда получили побольше новых слесарей, новых механиков. И это будет, непременно будет — пусть только получше обучаются и практикуются ученики и ученицы ремесленной школы.

От нашей молодежи зависит, чтобы усталые бойцы после кровавых схваток на фронте, вздохнув на минуту, получили сытный обед и могли бы продолжать свое дело со свежей, непоколебимой силой. И это будет — пусть только полностью доставят хлеб из всех колхозов, пусть к сроку выполнят в деревне всю крестьянскую работу.

От молодежи зависит, чтобы топки промышленности не только не угасали в нашем далеком городке, но горели бы жарче и мощнее. И это, конечно, будет — пусть только отважнее и настойчивее идут поиски новых источников топлива и веселее добывается оно там, где уже найдено, пусть только молодежь не забывает, что топливо — это сердце жизни.

От молодежи, от наших девушек и юных женщин зависит, чтобы раненые в госпиталях поправлялись лучше и скорее. И это тоже будет, — пусть только ученицы фельдшерской школы лучше готовятся к экзаменам и внимательнее слушают лекции.

Да, в нашем далеком городке повсюду найдется место, где молодежь может применить свои силы, отдать их на защиту родины от немецко-фашистского поработителя.

Военная мощь нашей державы основана на том, что ее Красная Армия есть армия братства и дружбы народов СССР.

Так же, как в любом конце нашего отечества, эта основа мощи нашей державы заложена прочно и в Советской Татарии, которая живет и развивается в семье других национальностей и рядом, рука об руку с русским народом.

И здесь, в нашем далеком городке, татарская и русская молодежь трудится, кует оружие для борьбы с врагом и готовит из себя будущих воинов в дружном, братском единстве, — и от самой молодежи зависит, чтобы это братство и эта дружба крепили с каждым днем больше и больше, надо только помнить, что эта дружба и это братство есть лучшее оружие против врага.

От вас всех, товарищи, от каждого юноши и от каждой девушки, зависит очень, очень много. Вы все — участники войны, и ваши усилия на заводе, на камском судне, на колхозной пашне, в воинской части или в ремесленной школе приближают день и час победы.

Благодаря вашим усилиям, благодаря вашему интересу к работе возрастет доля участия всех нас в общем

деле обороны СССР. Благодаря звонкой вашей песне, благодаря вашему маршу в военном строю и шуму ваших станков на заводах станет ясно, что не так уж безмолвен, не так уж тих этот далекий, уединенный городок на изгибе Камы, каким он может показаться на первый взгляд или с птичьего полета.

Нет, он займет должное место среди других советских городов, поднявшихся на защиту нашей великой отчизны от нашествия захватчиков.

Все для фронта, товарищи, все для победы!

*Чистополь, 1942*

## МУЗЫКА ПОБЕДЫ

Москва слышала стрельбу не дважды и не трижды. Она помнит далекую историю — победу над Наполеоном, она помнит баррикады Красной Пресни или взятие Кремля народом четверть века назад, она принимала парады Красной Армии с рокотом торжественных салютов. В ушах москвича еще гудит бесстрашная канонада обороны столицы от воздушных набегов врага в начале нынешней Отечественной войны.

Все это — разная стрельба, разная музыка орудийного хозяйства.

Пушки говорили иной раз: опасность, опасность! Говорили: месть, месть! Говорили: бой на смерть!

Сегодня они прогудели: Победа!

Победа на невиданном бранном поле, где собранная воедино мощь нашей страны пересилила, переломила, отвалила прочь железный вал германской армии. Месяц страшного боя, решавшего важнейший вопрос войны: чья сила будет отныне брать верх в любой битве — сила Красной Армии или сила гитлеровских полчищ? — важнейший вопрос решен сегодня тем, что этот бой проигран Германией, и тем, что исконные русские города Орел и Белгород возвращены Советскому Союзу.

В двенадцать ночи Москва салютовала победе. Орудия во всех концах города пророкотали славу доблестным вси-нам Красной Армии, освободившим Орел и Белгород, веч-



ную память павшим за наше отечество и вечную им непреходящую славу.

Улицы Москвы переполнились народом. С первых залпов салюта в темноте — с тротуаров, из открытых окон и с балконов — начали раздаваться рукоплескания, и они росли, росли с каждым залпом, перекатываясь из квартала в квартал, охватывая великий город, наполняя его праздничным шумом, таким необычайным и торжественно веселым для строгой, настороженной ночи войны.

Это была музыка Победы — награда за мужество, стойкость, за труд и выносливость нашего народа. Это был счастливый роздых в огненную боевую страду. Это было спасибо родной Москвы победителям под Орлом и Белгородом.

*1943*

## ПО СЛЕДАМ ВРАГА

Мы стоим на заброшенной плотине Людиновского озера — чудесной водной глади, мирным зеркалом своим разделяющей городок надвое: вот там — крошечные домики, которые напоминают обыденную русскую слободу, здесь — каменные белые дома большого города. Прямо перед нами полоска зеленых окрестностей; тихая даль неподвижных лесов. Лодка с поклажей плывет наискосок через озеро.

Но, не озираясь, не поворачивая головы, мы уже знаем, что мирный ландшафт озера есть только неотъемлемое противоречие картине, в центре которой мы находимся.

Слева догорают два дома, зажженные немцами перед бегством. Рушится, коробясь, железная крыша, стонут обуглившиеся стропила, и пламя, отыскав выход на воздух, с яростью взвизгивает к небу. Позади нас бушует новый пожар: только что, среди бела дня, «юнkersы» налетели на город и зажгли огромное здание техникума. Из всех его окон и через обрушенную кровлю бьет неудержимой силы огненный поток. Жертвы налета еще не сочтены, — это жители освобожденного Людиново, едва начавшие возвращаться домой из лесов и укрытий, где они прятались, убежав от немцев, которые угоняли их семьями — с детьми и стариками, с имуществом и скотом.

Хотя немцы почувствовали, что им не удержаться в городе под нарастающим давлением Красной Армии, они,

однако, не успели вполне осуществить свою обычную программу опустошения: наступление наших войск было очень бурно, и враг должен был торопиться. Вот почему в Людинове оказались наиболее пострадавшей только улица, по которой отступали немецкие части, да отдельные здания в центре. Немец бросил свои «юнкеры» на Людиново, чтобы с воздуха доделать злодеяния, возведенные в систему гитлеровской армией.

Здесь было меньше заложено мин, чем в других местах, и, повидав исчезнувшие с лица земли Карачев или Жиздру, побывав в центре Орла или во Мценске, можешь сказать, что к Людинову война отнеслась весьма снисходительно. Однако тысячи людей несут на себе всю жертвенную тяготу военных страданий. Вот они плетутся в одиночку и кучками по плотине: женщина с мешком за спиной, плачущая девочка и мальчик, старуха с тачкой жалкого своего добра — табуретка, ведро картошки, запеленатый в тряпье самовар. Это все люди, отсидевшиеся на лесных болотах, далеко от города.

Машинист Людиновской ветки — в своем замызганном паровозном одеянии, с черно-зеленым лицом — остановился, чтобы передохнуть. На тележке, которую подталкивает вся его семья — шустроглазые, схожие друг с другом сын и дочка, жена и ее сестра, — нагроможден спасенный скарб. Размазывая пот по лбу и задыхаясь, машинист отмахивается от жены и свояченицы: они все перебивают его, чтобы поточнее рассказать, как убегал немец.

— Мне в этот день хлеб выдали. Я никак не мог понять — почему вдруг хлеб дали? А потом является ко мне немец, приказывает что-то и все твердит: «Драй ур, драй ур». Я это понимаю: три часа, — а что будет в три часа, не разберу. Он только руками показывает, — значит, все собрать и чтобы, значит, — марш, марш. Тут я сообразил: «Ага, думаю, марш, марш!» Не хотел было идти, да не тут-то было: еще раз пришли за мной, велели укладываться. Собрал я всем по мешку — детишкам, жене и себе, и тронулись мы на Бытошь. Он на Бытошь весь народ гнал по дороге, по которой сам уходил. Тут шли и такие, как мы, семьями, и кто со скотом, с коровами. Ну, начали понемногу отставать — один отстанет и в сторону, в лесок, другой... Я тоже остановился. Заметил немец: «Марш, марш фюрвертс!» — стало быть,

вперед. Я немножко прошел, опять отстал — да в лошадку. Так в лошадке и переночевал. Когда его наша артиллерия бить стала, мы так вот, съжившись, в лошадке и просидели, — снаряды нас перелетали, посвистывали через лошадку... А в одном месте, на дороге, начали немцы коров отделять от жителей, в стадо, и стадо угнали с собой, а жителей побросали.

Так льются рассказы то из одних уст, то из других, все подробнее и все горячее. Дети, подростки, женщины окружают нас тесно, изможденные, но любопытные, обрадованные, восхищенные переменой, происшедшей в одну ночь: только что был здесь немец, а вот великая армия родины заполняет улицы и движется, движется без остановок, без конца и края, слитная, неисчерпаемо-мощная и обновленная властью своих побед.

Путь немцев отмечается на небосводе воздетыми вверх дымами пожаров. То сизые, то багрово-рыжие, исчернато-лиловые, они колеблются ветром. Это — вехи германских поражений, вехи потерянных битв.

В центре Людинова, на главной площади, немцы создали кладбище перебитых командиров гитлеровской армии. Мы насчитали больше тысячи двухсот крестов. По свежим надписям и недавним, позавчерашним, датам на последних рядах крестов мы видели цену, которую немцы платят, чтобы сдержать Красную Армию в порыве ее мести, чтобы выиграть время и оттянуть час своей гибели. Цена эта велика. Но это лишь первые взносы той платы, которую должны будут заплатить немецкие армии за разрушения и несчастья, причиненные нашей земле.

По следам отступающего врага много вех смерти. Но последней вехи он не увидит, ибо она будет самой его смертью. Не он поставит ее, а мы,

*Действующая армия, 1943*

## МОЛОДОСТЬ И СИЛА

Будущее для нас — молодость  
и сила.

*Алексей Толстой*

Советская культура празднует тридцатилетие своего существования. Это — половина человеческой жизни. Не только не ушло, но здравствует и трудится поколение, которое училось, работало и боролось в старой России. А между тем перед лицом истории стоит сейчас преобразенный народ на преобразенной земле. За краткий срок человеческой жизни произошло исчезновение былого и рождение совершенно нового общества.

Взятый безотносительно, срок этот не так, конечно, мал. В прошлом, в известные периоды обновления общества, также происходили громадные перемены на протяжении двух-трех десятилетий. Так было на рубеже семнадцатого и восемнадцатого столетий в России Петра. Так случилось на рубеже последующих столетий в революционной Франции. Однако в зародившемся новом обществе сохранились тогда не только отдельные черты изжитого прошлого, но самые основы, краеугольные камни предшествовавшего строя — труд подчинялся золоту, и власть принадлежала золоту. Святыни покоились в своих алтарях. Лак, которым их освежали, улетучивался.

Советское тридцатилетие по глубине совершенных революцией перемен не сравнимо с другими периодами истории. Аналогий для него не подберешь. Оно пока

единственно, и когда, в будущем, станут искать обозначение для великих преобразований мира, мысль неизменно будет возвращаться к Октябрю.

Способность произвести за столь короткое время столь могучее переустройство всей культуры говорит о силе, молодости народного гения.

Алексей Толстой, поднося мне, в разгар войны, свою трилогию «Хождение по мукам», сделал такую надпись на книге: «...в память прожитых лет, и с твердой уверенностью, что будущее для нас — молодость и сила...» Это отлично характеризует большого советского писателя, но еще лучше характеризует советское общество.

Молодость и сила были той живой водой, источник которой наполнял здоровьем строителей социализма в нашей стране. Молодость и сила останутся у нас этой живой водой и впредь. Недаром первые свои страницы революционная эпоха заполнила декретами о народном образовании, об охране детства, материнства, недаром комсомолу так много отведено места повсюду.

Прежде не известные либо редкие явления общественного порядка сделались простым выражением нашего нового быта. Появился небывалый интерес к технике. Уважение к науке стало всеобщим, ее авторитет очень высок. Лекционные аудитории так же переполнены народом, как выставки, галереи, театры. Кино не может удовлетворить потребность в нем. Книг и газет не хватает. Спорт приобрел такую популярность, что отцы и дети отдаются ему с одинаковой страстью, как в странах вековой спортивной традиции, и качественно во многом далеко превзошел эти страны.

Все это стало содержанием быта, наряду с грамотностью, школой, полным равноправием женщины, равенством наций перед законом и неоспоримым правом их на свой родной язык, свою национальную культуру.

Только приток молодости из выпедших на поверхность земли пластов народа мог создать несчетные армии новой интеллигенции, какие нужны были во всех областях жизни Советскому государству.

Сила нового строя исторически утвердила себя в необычайно тяжелых и горьких испытаниях. В период гражданской войны на стороне врагов революции выступили все сильнейшие державы империализма. Красная Армия изгнала чужеземные войска из пределов

родной земли. Два десятилетия спустя Германия Гитлера, покорившая всю континентальную Западную Европу, обрушилась на Советский Союз. В результате четырехлетней невиданной войны Советская Армия разгромила противника, освободила свободолюбивые народы от врага, водрузила знамя СССР над рейхстагом в Берлине и надолго вперед упрочила внешнеполитическое влияние своей родины.

Два с половиной года, прошедшие после Отечественной войны, показали, что, несмотря на разорение и потери, наше государство снова быстро наращивает силы, продолжая развивать строительство, прерванное войной. Одна из наиболее ярких особенностей нашей жизни — ее темп — не только не утрачена нами, но становится еще ярче. Тысячи сел заново вырастают из пепелищ, десятки городов, залечивая свои глубокие раны, в то же время создают и осуществляют планы более совершенного, чем прежде, градостроительства.

К нашей литературе как нельзя лучше применимы слова: молодость и сила. С первых лет возникновения она посвятила свои художественные поиски изображению человека, пришедшего к действительности, как революционный хозяин жизни. Ряд представлений о мире, как борьбе настоящего с прошлым во имя будущего, сделался обычной ее темой, сначала в самых общих выражениях. Затем эта тема стала приобретать отчетливость. Появились книги о старой и новой России, о Советской России и буржуазном мире Запада, о противоречиях двух культур. Декларативность начального периода этих поисков постепенно уступила место созданию образа социалистического героя.

Теперь, на пороге четвертого десятилетия литературной борьбы за идейные цели искусства, за метод, стиль, форму, наша литература уже обладает понятиями, выраженными в живых образах. Мы говорим о Шелехове — герое романа А. Малышкина «Севастополь», о Левинсоне, о Рощине и Телегине, о Павле Корчагине и Олеге Кошевом. Борец и строитель советской действительности в книгах нашего писателя предстает все более пластичным, все значительнее помогает увидеть и понять этого борца и строителя в жизни.

Еще до возникновения плана издания избранных произведений советской литературы за тридцать лет Фадеев

сказал мне, как он однажды был поражен, пересмотрев основные произведения крупных советских писателей: оказалось, в своих книгах они коснулись почти всех главных сторон советской общественной жизни от Октября до Отечественной войны. Это правда. Сейчас, когда издание такой серии в сто книг осуществляется «Советским писателем», читатель сможет легко окинуть взглядом всю картину созданных нашими писателями образов.

С большой выразительностью и верностью правде, различными индивидуальными средствами, во всех мыслимых жанрах наша литература показала человека, отстаивающего с оружием в руках Октябрь, создающего Днепрогэс, громящего немцев под Сталинградом. После войны вливаются в писательскую среду новые авторы с драгоценным жизненным опытом, приобретенным на полях сражений. Это свежие резервы молодости и силы.

Недавно Союз писателей устроил, в связи с тридцатилетием Октября, литературный вечер в Концертном зале имени Чайковского. Устроители вечера рассказывали, что по привычке своей тревожной профессии они беспокоились за продажу билетов — она шла довольно вяло. В день концерта произошло чудо: в течение двух-трех часов были буквально расхвачены все билеты от самых дорогих до захудалых. А народ шел и шел. На площади Маяковского стояли толпы людей, выспрашивая друг у друга «билетик», правдами и неправдами стремясь в зал. Это обычное «чудо» литературных вечеров.

Я смотрел на лица, заполнившие зал. Около двух тысяч человек в необыкновенной тишине слушали стихи и прозу. Какие это были лица, сколько оттенков чувства выражали они попеременно, как жила мысль в эти минуты в этом зале! И что за множество неповторимых биографий стояло за плечами этих двух тысяч человек разных национальностей, непохожих одна на другую профессий, военных и штатских, девушек, женщин, юношей, мужчин! Это был подлинный концерт — созвучие многих и многих желаний, слитые в единство мысль исполнителя и восприятие слушателя.

Не таким ли созвучием представляется наша страна, где труд и творчество каждого принадлежат всем? И не правы ли мы, с убежденностью повторяя, что будущее для нас — молодость и сила?



## С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ!

Каждому, наверное, доводилось любоваться изделиями резчиков по кости. Держишь в руках какую-нибудь безделушку, восхищаясь ею, думаешь о мастерстве, с каким вещь сделана, и все дальше, дальше уходишь мыслью от самой вещи к человеку, ее изготовившему, видишь его склоненного за работой, чувствуешь пейзаж, окружающий его хижину, народ, создавший искусство, которому он обучился, культуру, наделившую его художественным вкусом, — и вот целая страна с ее историей, с ее богатствами и нуждой, в борьбе и труде возникла как живая в воображении.

Горький отдал много лет восторженного увлечения работам резчиков по кости, больше всего — мастеров Китая, Индии. Он знал технологию этого древнего искусства, изучил любимые мотивы резчиков, часами рассматривал ажурные сплетения рисунков на кости, ушиваясь фантазией безымянных художников и говоря о них как художник.

Мне кажется, Горький сказывался в этой своей привязанности не только как поэт труда, обожавший творение рук человеческих, но и как мудрец, вечно размышляющий о народной жизни, мудрец, стремящийся сделать эту жизнь прекрасной.

И если маленькая, красиво и содержательно сделанная одним человеком вещь способна вызвать поэтическое

волнение и множество далеко уводящих мыслей, то сколько дум порождают дела и труды целого народа и как чудесно волнение, которое испытываешь, видя плоды этих дел и трудов!

Я не ездил на строительство канала Волго-Дон, не наблюдал великих работ,— я только читал на протяжении лет, строку за строкой, о титаническом и все возрастающем состязании человека с природой в привольном степном русском междуречье,— и теперь гляжу на сотни зарисовок и фотографий, показывающих нам, каково же получилось золотое кольцо, которым обручены друг с другом Волга и Дон, и каковы алмазы, вправленные ювелирами-строителями в это кольцо.

Я не был на Волго-Доне, но я волжанин родом, хорошо знаю приволжские степи, никогда не забываю сухих полынных ароматов, слышу свист палящих юго-восточных ветров, вижу наши бескрайние снега, вижу и слышу ревущие громом мартовских вод овраги.

И я не только понимаю, я всей душою чувствую то удивительное, ни с чем не сравнимое благо, которое отныне даровано богатому волжско-донскому краю.

Кольцо, надетое на стокилометровый перешеек между двумя реками,— действительно золотое кольцо. Не попусту будут теперь скатываться равнинами талые воды, не пропадом пойдут шуметь весенние овраги, не зря пронесутся и угаснут в морях могучие силы разливов.

Драгоценная влага будет удержана, собрана про запас и потом роздана просторам полей и землям садов — в меру нужды и в должное время.

Сооружение окончено, знамя советских наций реет над ним, впервые волжский пароход обменялся с донским пароходом долгим встречным гудком, а штурвальные — волгарь и донец — вышли на мостики и быстро отмахнулись белыми флажками.

«С праздником, товарищи!» — слышится в этом гудке. «С праздником!» — чудится в этом сигнальном мелькании вспыхнувших на солнце флажков.

Поэтическое содержание праздника покоится на глубоко практических завоеваниях советского народа.

Общее состояние нашей культуры, ее уровень, достиг-

нутый всем народом, — вот основа, на которой выросла трудовая победа на Волго-Доне. Эта победа исторична не только потому, что с нею обогатится и расцветет огромный край, но еще и потому, что она — живой результат всего нашего развития последнего времени.

Без приобретений, полученных нашей страной в период пятилеток, были бы невозможны подобные трудовые победы.

Волго-Дон — это всеобщая грамотность населения и высоко поставленное, доступное каждому образование. Это накопленный годами строительный опыт масс. Это разнообразие и мощь разветвленной промышленности.

Если взять технический прогресс, достигнутый советскими строителями только в короткое время сооружения канала, то станет очевидно, насколько возросло теперь на практике сотрудничество людей науки с рабочими. А ведь это сотрудничество родилось не вдруг: мы помним, какие усилия проявляла советская власть с первых дней Октября, чтобы приблизить научную мысль к общенародным задачам, привлечь ученых к плановой работе государства. Теперь это далекое прошлое. Каждое новое сооружение открывает шире и дальше перспективу небывалого могущества союза науки и труда.

Волго-Дон — показатель успехов объединенного большими планами сотрудничества самых многообразных отраслей отечественной индустрии. Десятки заводов приняли участие в строительстве, и одно собирание материалов, машин, инструментов, приборов, последовательность или одновременность перевозки, сборки частей механизмов, их установки на месте и приведения в действие на всей трассе канала — одно это рисует нам образец великоколенной культуры труда, его организации и целеустремленности.

Наконец — темп строительства.

Волго-Дон — инженерный шедевр, претворивший смелую мысль в жизнь, давший ей художественную форму, — построен в изумляюще короткий срок. И это тоже достояние нашей культуры — быстрота строительства, тоже результат исторического опыта целого народа, свидетельство высокоорганизованной и спаянной энергии масс.

То, что совершенно сейчас советским народом, отозвалось не только на протяжении сотни километров канала и отзовется не только на юго-востоке нашей страны.

Уголь Донбасса уже пошел водой на Север. На встречу, к Черному морю, двинулся строевой лес Прикамья. Грузы металлических заводов Приазовья тронулись вверх по Волге, а вниз по Дону спускаются горнозаводские грузы далекого Урала. Прикаспийский нефтяной бассейн связан теперь дешевым коротким путем с Донбассом.

Вчера этого не было. Сегодня — это наша действительность.

Все больше растет наша любовь к тому, что мы делаем своими трудолюбивыми руками. Все крепче, все сильнее будем мы отстаивать, беречь, защищать свой мирный труд.

Любовь и сила наши велики. Будущее наше красиво. Настоящим нашим мы дорожим, как самой жизнью.

С праздником, дорогие товарищи!

## ХОЗЯИН СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Как часто теперь приходится слышать и читать о том, что приезжающие к нам гости из-за границы поражаются быстроте роста нашей страны.

Что больше всего их поражает?

Перед известными башенками въезда в толстовскую усадьбу Ясная Поляна останавливаются автомобили, доставившие экскурсию иностранцев. Гости осматривают простой дом, в котором провел большую часть своей жизни Лев Толстой, где он писал «Войну и мир» и другие — немеркнувшего света — произведения и откуда, вспыхнув, полился этот свет вокруг земли. Гости идут вековым лесопарком к могиле писателя-мудреца — к спокойному, строгому, *обыкновенному* холму земли без знаков и украшений. Гости отдыхают на скамейке в «Елочках», куда ведут, через дубовый «Чепыж», тропинки, по которым любил ходить Толстой.

Слов нет, — одни эти памятные места могут взволновать человека, знающего Толстого хотя бы только по «Войне и миру», хотя бы по переводу на иноземный язык.

Но ведь памятные места, рассказывающие о жизни великих людей, есть и на родине иностранцев. И там, далеко от нас, бережно хранятся дома, сады, и мебель, и картины, клочки бумаги, уцелевшие издавна от разрушающих времен и напоминающие о тех, кто отдал свой гений и самого себя человечеству.

Однако иностранец, побывавший в Ясной Поляне, говорит: «Я никогда не мог себе представить, что музей

может так взволновать, — я сохраняю это переживание на всю жизнь.

Что же это за переживание?

Невиданным и небывалым представляется глазу и чувству иностранца неисчислимое множество людей, потоками омывающее весь этот памятник-усадбу в глубине советской земли. Тысячи женщин и мужчин, пожилых и юных, переполняют дома, каждую комнату, каждую аллею в парке, и сколько жажды узнать, услышать, запомнить встретишь тут в любом взоре! Студенты, рабочие, учителя, колхозники, толпы школьников, солдаты, моряки — кого не увидишь в этой массе обычных, повседневных посетителей родины Толстого!

Народ — вот это изумляет прежде и больше всего непривычного к нашей жизни, к нашему советскому быту приезжего из чуждедальной страны. Откуда взялась, как зародилась, развилась, окрепла эта всеобщая тяга масс к своей культуре? Какова внутренняя жизнь, жизнь народной души в этих массах?

Прошедший год я посетил в Лондоне великолепную выставку голландской живописи. В центре английской столицы в одиннадцати залах Королевской академии искусств собрано со всех концов света около 650 первоклассных картин, принадлежащих 178 мастерам-голландцам, работавшим в течение трехсотлетней эпохи (1450—1750 гг.). Чтобы судить о богатстве выставки, довольно сказать, что на ней показано 49 полотен Рембрандта, 26 — Франса Хальса, 12 — Рейсдаля и десятки — других художников, имена которых прославили мировое искусство живописи.

Это было вскоре после открытия выставки, в час дня, самый удобный для осмотра картин. И я свидетельствую, что не менее половины залов Академии было совершенно пусто от людей, а в остальных залах бродили по два-три человека с каталогами в руках. Я должен сказать, что меня, советского гражданина и работника культуры, воистину потрясло такое безучастие лондонцев к явлению, которое нельзя назвать иначе, как гордостью цивилизации, якобы столь обожаемой и обороняемой (от кого?) ее современными западными архипастырями.

Что поражает иностранца у нас, в Советском Союзе, — это историческая реальность передачи всех сокровищ культуры народу.

Ведь потоки народных масс омывают не только Ясную Поляну. Мы видим тысячные очереди к национальному собранию Третьяковской галереи, и мы давно ждем только срока, когда можно будет воздвигнуть дворец, способный вместить и все чудесные богатства галереи, и все миллионы стекающегося их смотреть народа. А что происходит в роскошных залах Ленинградского Эрмитажа и присоединенного к нему Зимнего дворца? В будни и праздники они заполнены медленно движущимися лентами людей, пришедшими в гости к тем самым мастерам Запада, которых так неохотно навещают зрители на их родине. Нет у нас музея, будь это отличное собрание украинских живописцев в Клеве, или самый старый в русской «провинции» Радищевский музей в Саратове, или любой молодой — в любом областном городе, где бы не бурлила, не переливалась, как само искусство, красками культурная, *художественная* жизнь советских людей.

Причина массовости интереса нашего народа к искусству, литературе, к прошлому русской и многонациональной нашей истории, к творческому труду наших дней во всех его областях — причина этого интереса заключается, конечно, только в том, что Великая Октябрьская социалистическая революция сделала полным хозяином культуры народ.

Грамотность и образование не только законом революции даны народу, но в действительности уже *приобретены* им, — он обладает ими и потому способен реально пользоваться благами культуры.

Драгоценно то, что в массе яснополянских посетителей вряд ли отыщется человек, не прочитавший что-нибудь из Толстого: школьник и тот уже знает толстовские сказки, прочитанные им или ему в семье раньше, чем он пошел в первый класс. И можно утверждать, что в очереди к Третьяковке (как зовется галерея в просторечье) нет человека, который не знал бы Репина и Сурикова хотя бы по открытке, картинке, или не слышал бы о причине народной славы тех залов, куда он стремится проникнуть.

Я начал с примера другого интереса к памятникам нашей культуры — интереса иностранца. Я сделал это потому, что глаз иностранца остро выхватывает явления, резко необычные для установившихся в *старом* мире бытовых форм, для сложившегося веками уклада,

Этот чужой глаз, глаз гостя, замечает, часто совершенно невольно, то главное в нашей жизни, что его потом и поражает больше всего.

Для гостя Советского Союза становится переживанием на всю жизнь факт принадлежности культуры всему народу.

А факт этот есть наша правда. Октябрьская революция не на бумаге передала народу дворцы, не для декоративных целей назвала свой строй демократическим, — нет! Все, чем славится и чем богата наша страна, от недр земли, от заводов и фабрик до наследия наук и искусств, — все у нас принадлежит единственному хозяину — народу.

И народ говорит за это своей Коммунистической партией, своему государству, своим Советам, Октябрем созданным, — спасибо.



## УРОКИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ

Мне хочется сказать о том чувстве, тех мыслях, которые явились в первый момент, когда пришло известие о запрещении Коммунистической партии в Западной Германии, и которые волнуют нас с того момента непрерывно.

В этот первый момент я увидел себя в баденском городке Санкт-Блазиене, лежащем между французским Эльзасом и Швейцарией. Маленький горный курорт жил уютной жизнью, казалось, очень далекой не только от политики, но даже от общественных интересов и страстей.

Было это двадцать четыре года назад. Веймарская конституция господствовала в Германии, и тихим обывателям небо представлялось безмятежным. Но той осенью 1932 года наступили выборы в рейхстаг. В городке на уличных витринах появились плакаты партий. В курзале и в пивных по вечерам плотнее стали затворяться двери отдельных кабинетов, и за дверями все громче шумели не слишком трезвые голоса.

Пришел день выборов. По-воскресному одетые горожане потянулись к магистрату.

Вдруг перед глазами избирателей на крыше магистрата с флагаштока скатился государственный флаг Германии и на его месте взвилось полотнище с огромным черным пауком фашистской свастики.

Казалось бы, избиратели должны были броситься к своему бургомистру и потребовать защиты дарованных

веймарской конституцией гражданских прав и свобод. И, наверное, у многих немцев вспыхнуло такое желание.

Но беда была в том, что перед входом в магистрат, по пути к избирательным урнам, уже с утра выстроились шпалерами парни в униформе нацистских штурмовиков, все с теми же черными пауками на рукавах. Почти никто из горожан до того не знал, что на их курорте развелись доморощенные нацисты, а униформу штурмовиков в Санкт-Блазиене до тех пор никогда еще не видывали в глаза.

Фашистов перед магистратом оказалось не так уж много — каких-нибудь десятка два, однако кучки сорванцов было довольно, чтобы запугать весь городок и прежде всего — местную власть, которая так и не решилась встать на защиту попорванного флага Веймарской республики.

Выборщики этого последнего германского рейхстага были запуганы повсеместно, не только в Санкт-Блазиене, и в результате сам рейхстаг оказался в руках Гитлера. Приход его к власти спустя недолгие месяцы был назван «конституционным». Но Гитлеру уже было все равно, как это будет называться: германское государство лежало под его подошвой. Он сделал первый страшный шаг по дороге к войне — объявил вне закона Коммунистическую партию Германии.

И вот я вспоминаю другие времена. Гитлер уничтожен. Нацистская Германия побеждена. Главных военных преступников судит Международный трибунал в Нюрнберге.

На передней скамье подсудимых сидит коротенький седой господин. Он держится необычайно скромно, в простеньком пиджачке клерка, с самого края скамьи, в уголке. Он даже слегка отворачивается от своих соседей — так сказать, бывших лихачей нацистского стойла, он всем безропотным видом своим хочет сказать, что в этом стойле только терпели таких смиренных кляч, как он.

Может быть, и правда этот господин не способен был играть сколько-нибудь заметную роль в третьем рейхе? Может быть, он был привлечен к суду трибунала случайно?

Нет! Этот седой господин был единственным управителем могущественной финансовой машины гитлеровской Германии. Он был золотой опорой всех настоящих

владельцев нацистского государства — магнатов индустрии, поднявших Адольфа Гитлера и усадивших его на престол. Этот седой господин — бывший президент гитлеровского рейхсбанка Яльмар Шахт.

Он очутился в числе трех оправданных преступников, несмотря на протест советского судьи — члена трибунала. Его оправдали, конечно, не за примерное поведение на скамье подсудимых. Его оправдали потому, что он мог пригодиться.

И Шахт пригодился. Он пригодился в послевоенной Западной Германии, пригодился вместе с другими военными преступниками, уцелевшими гитлеровскими генералами, которых, по судебным приговорам, содержали впрок в благоустроенных заведениях боннской республики, считавшихся тюрьмами. Бережно сохраненный Шахт благополучно вернулся к своей миссии собирателя и оживителя капиталов немецких пушечных королей. Он много мог бы рассказать об этих королях и, вероятно, особенно много о пресловутой династии Круппов.

Но и без рассказа Шахта мы знаем достаточно о тех, кто по справедливости отвечает за обе мировые войны и бесконечные страдания всех народов, включая народ Германии. Отец Густав и сын Альфред Круппы, внесшие до второй мировой войны пятнадцать миллионов марок в кассу гитлеровской партии, не были привлечены к суду Нюрнбергского трибунала. Перед лицом возмущения немецкого народа западные оккупационные державы, однако, вынуждены были посадить в тюрьму обоих Круппов.

Что же поделывали Круппы в боннском заключении? Густав Крупп проводил совещания с директорами своих заводов. Альфред Крупп писал протесты против намерений конфисковать его капиталы и сочинял мемуары. И, кстати, в мемуарах он, между прочим, одарил мир таким признанием: «Я избежал... более, чем наверно, виселицы благодаря западным державам. Я остался в живых, и заводы мои были спасены».

Да, крупповские и другие пушечные заводы, так же как бывшие гитлеровские генералы, были спасены для милитаристов Западной Германии. Теперь, когда боннское правительство с помощью западных держав приступило к организации армии, флотов морского и воздушного, — теперь заводы оружия дымят во всю мощность и

командные кадры Гитлера, давно гуляющие на свободе, с рвением вычерчивают планы новых военных походов.

Боннский режим делает ставку на устрашение Европы. Конечно, это так не называется. Объявление Коммунистической партии вне закона названо... решением свободного конституционного суда Федеративной Республики Германии. И все же этот запрет воспроизводит точно такое же объявление коммунистов вне закона, которое произошло после «конституционного» прихода к власти Гитлера.

Воспроизводятся мнимосудебные акты нацистской Германии с одной целью — провести перевооружение страны, убрать с этой дороги препятствия. Но куда ведет эта дорога? Она ведет к войне. Коммунисты противятся войне, мешают милитаризации. Долой коммунистов и всех, кто против нас! — отвечают на это западногерманские реакционеры.

Стоит только заглянуть в нынешние реакционные немецкие газеты, выходящие в Западной Германии. Они полны запугиванием читателей новыми репрессиями против сторонников мирной политики.

Об этом очень верно сказал редактор социал-демократической газеты «Оберфренкише фолксцейтунг» депутат бундестага Берш. Вот что он пишет: «Кто ныне читает полицейские отчеты о кампании против КПГ, тот не может избавиться от жуткого ощущения, что началось то же, что и «тогда в марте»... (Берш имеет в виду приход Гитлера.) Те же слова о «внезапных мерах», о «планомерном развитии операций»... и другая проклятая гестаповская фразеология».

Эту фразеологию насаждают и боннские министры. Так, например, министр внутренних дел Шредер предостерег социал-демократов «от полевения партии». А статс-секретарь этого министерства Тедик пошел дальше своего шефа и назвал «замаскированными коммунистическими организациями» западногерманские профессиональные союзы, движение сторонников мира и даже немцев, выступающих за объединение Германии.

Но не сторонники мира, конечно, маскируют свои действия. Они говорят открыто, что не хотят войны и потому стремятся к сближению немцев Запада и Востока. Маскируют свои действия те, кто прикрывается конституционными законами Федеративной республики, в то же время

полицейским террором бесцеремонно запугивая немецкий народ.

Надо помнить поучения истории. Надо думать о том, что может произойти, если государственный флаг боннской конституции в какой-то момент так же внезапно скатится с флагштока, как в свое время скатился флаг веймарской конституции. Что может произойти, если парни со свастикой на рукавах опять шпалерами выстроятся перед избирательными урнами Западной Германии? Ведь уже какой-то главарь фашистской организации заявил на днях в земле Гессен: «Мы вновь найдем себе фюрера!.. И когда мы вновь получим полную свободу действий, тогда мы наведем такой порядок, какой нам нравятся».

Почтения истории нельзя забывать, но история не повторяется, подобно простым отпечаткам фотографий с одного негатива. Так могут думать только неучи со свастикой на рукавах. Порядок, которого вождедеют эти сорванцы, порядок фюрера рухнул под ударами объединенных народов в 1945 году. Его уничтожение стоило неисчислимых жертв. Но уничтожен он не для того, чтобы быть восстановленным вновь!

Борцы за мир, столь неугодные западногерманской реакции, существуют не в одной Федеративной Республике. Движение сторонников мира стало историческим фактором международного масштаба, какого не знали тридцатые годы, когда нацистские фюреры и эсэсовцы взялись наводить свой «порядок» в Европе. Иные силы возникли с тех пор в народных массах всего мира, иные пришли времена. Подлинная немецкая демократия, немецкие защитники мира не одиноки.

Я хочу снова и снова воскликнуть:

Да здравствует мир во всем мире!

Да здравствуют борцы за единую, мирную, демократическую Германию!

Да здравствует Коммунистическая партия Германии!

## К ЗВЕЗДАМ

Утром пятого октября, в автомобиле по дороге в Москву, я прочитал в газете, что советские ученые создали первый в мире искусственный спутник Земли и четвертого октября произвели его запуск в пространство с помощью ракеты-носителя.

Сообщение кончалось так: «Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным путешествиям, и, по-видимому, нашим современникам суждено быть свидетелями того, как освобожденный и сознательный труд людей нового, социалистического общества делает реальностью самые дерзновенные мечты человечества».

Какими словами передать чувство, охватившее меня в ту минуту?

Сложившееся на протяжении целой жизни представление мое о человеке испытало неожиданный скачок в своем значении. Человек, каким до той минуты я его знал, вдруг стал совершенно иным.

Я говорю об иллюзии, конечно. Но другим путем, нежели такой иллюзией, невозможно выразить состояние, когда все чувства и все силы мысли обратились к человеку еще миг назад невообразимого качества реальности.

Это было изумление, восторг, гордость — все вместе. И это было полное непонимание: как же все могло так внезапно, так вдруг случиться?

Мне «захватило дух» — вот, пожалуй, самое близкое обозначение переживания моего утром пятого октября

по дороге в Москву. В такие мгновения останавливается дыхание и слезы выступают на глазах.

Глубочайшее личное и всеобъемлющее общее имя — Человек — прошло свое новое рождение.

## НЕМНОГО ВОСПОМИНАНИЙ

В раннем детстве моем русские губернские города начинали проводить свои первые телефоны. На крышах станций сооружались высокие клетки с белыми фарфоровыми чашечками и в паутине проволочек. Это был конец XIX столетия. Телеграф давно работал, но телеграммы посылались редко: они были по карману не многим.

В ходу было выражение: век пара. Но все чаще в своих разговорах современники поправляли друг друга: не век пара, а век электричества.

С переходом в XX век наступила эпоха чудес. В подготовительном классе, ребенком, я увидел «живые картины». Все были поражены: на полотне, намоченном водой, прыгали, дрожали, тряслись совершенно живые человечки и катились, брызгали морские волны. Скоро открылись первые синемаграфы, или «бископы». Родился великий кинокомик Глузышкин.

Поехала самокатная карета — автомобиль. Взлетел биплан. Им управлял авиатор. Управлял так, что не только взлетал, но и садился на заданную точку земли. Спустя недолго совершена была в воздухе первая мертвая петля.

Стали говорить: век двигателя внутреннего сгорания.

Облетела мир новость: телеграфировать можно без проволоки! У многих на памяти первый радиоприемник в квартире: по очереди люди прикладывают наушники и напряженно ждут. Что-то хрипит, щелкает, потрескивает, и вдруг раздается голос: «Слушайте, слушайте!!» После первой мировой войны в глухой Смоленщине, в захудалой лесной деревне, я видел, как собравшиеся в избе крестьяне, боясь мигнуть, прижимают к уху холодную, как стекло, черную игрушку.

«Слышишь?» — «Ага». — «Что слышишь-то?» — «Слышу: говорит Москва!..»

Начали писать и говорить: век радио,

Все стремительнее делались открытия. Техника торопилась за наукой, догоняла науку, шла с ней в ногу, помогала ей. Кино заговорило. Кино расцветилось красками. Двигающееся, живое изображение полетело по воздуху, ворвалось в жилища человека вместе с симфониями звуков. Завтра в наши комнаты вплывут все краски мира: телевидение станет живописным.

Когда я проходил в школе курс физики, атом считался неделимым. Десятилетия наука разгадывала его строение и, наконец, вскрыла его таинственный механизм. Человек научился нарушать этот механизм. Была освобождена внутренняя энергия атомного ядра. Тайник был проанатомирован. Он оказался силой, которая сделала человека гигантом.

Мы говорим, что живем в век атома. Но это не последний из «веков», известных нам: человек уже стоит обеими ногами в веке электроники и автоматики.

## НЕМНОГО ФАНТАСТИКИ

Жанр фантастической литературы возник гораздо раньше, чем принято писать в учебниках.

Вероятно, он существовал задолго до Гомера, но что Гомер (а вернее сказать, *гомеры*) был фантастом — нет сомнения: вся тематика его покоится на античных мифах, на измышлениях, на воображаемых силах, подобных современной ему действительности. Это — сотворение богов по подобию человека древнего мира.

Устное творчество — народная сказка предшествовала гомерам разных времен. Из нее росла поэзия, и раньше всего — поэзия фантастическая.

Так из средневековой легенды о докторе Фаусте вырос в литературе «Фауст» Гете. Для меня несомненно, что одним из родоначальников позднейшей научной фантастики был ученый и поэт Гете. Он создал философскую сказку — повесть об ученом Фаусте, посягнувшем на разгадку божественной тайны о «причине причин».

Но сам автор повести, при всем дерзновении своем, с каким он наделил героя научной отвагой, не остановившейся перед спором с господом богом, сам автор заставил науку отступить перед богом, как единственным неспорным владыкой мировой гармонии. Тайна «причины



причин» закреплена великим немцем Гете за богом, разделяющим ее с человеком. «Фауст» — это повесть о трагедии науки.

Научная фантастика нашего времени выделила имена француза Жюль Верна и англичанина Герберта Уэллса.

Жюль Верн стал писателем юношества. Уэллс больше него склонен к фантастике философских обобщений — его читают чаще взрослые.

Наука идет к своим завоеваниям по ступеням — от разгадки к разгадке — с чрезвычайной последовательностью, без «пропусков».

Научная фантастика «пропускает» подробности, детали своего восхождения к цели. Она берет от науки какое-нибудь исходное обоснование мысли, стремится быть логичной, но, минуя ступени, не затрудняя себя неразгаданным, бросает мысль в капризный, почти совершенно свободный полет.

Разумеется, науке известны нечаянные открытия. Ей знакомо скачкообразное, зигзаговидное развитие. Однако генеральное движение ее — от одной закономерности к другой.

Но фантастика просто не могла бы существовать без нечаянностей и прекратилась бы, если бы попробовала научно обосновывать свои утверждения шаг за шагом. Она живет свободой домыслов и не боится бездоказательности.

Множество домыслов Жюль Верна стало действительностью. Для уровня научных знаний его эпохи он был выдумщиком. Он «отрывался» от действительности. И у Гомера между героем и богами было меньше расстояние, чем у Жюль Верна расстояние между современной ему физикой или механикой и выдуманным им путешествием на луну.

Научная фантастика, в конце концов, есть смелое задание науке и технике. Написаны десятки романов о марсианах, и многое в них детски наивно. Но не наивна мысль: существует ли жизнь на Марсе? Наука отвечает на этот вопрос: завтра я узнаю. Она пройдет мимо наивностей романиста, но доставит в лаборатории на Земле образцы минералов Марса для исследования.

Есть немало технических заданий науке в романах Уэллса. Его философия технократии — государства ученых — может развлечь, но едва ли увлечь нынешних ака-

демиков. Но, кто знает, не увлечет ли академиков физико-химическая идея романа Уэллса «Человек-невидимка»?

Мировая гармония, как начало божественное, отжила. Но наука сейчас интенсивно продолжает поиски «причины причин», быстро продвигаясь к разгадке ее в мире материальном.

Ученые отвергли идею гетевской трагедийности научного познания. Они отклоняют социальный скепсис Уэллса. Им скорее по душе приключенческий, веселый оптимизм Жюль Верна с его юношески заманчивыми межпланетными путешествиями и нисхождениями в пучины океанов.

## ОБ УСКОРЕНИИ ПРОГРЕССА

Почему все-таки, когда я узнал о запуске искусственного спутника Земли, к моему сложному чувству торжества примешалось полное непонимание: как все могло столь внезапно случиться?

Ведь я слышал, что ученые практически готовятся осуществить эту идею. Да, слышал. Но инерция давних представлений была настолько еще велика, что я не мог сразу сделать, казалось, простого вывода из фактов, которые знал.

Я знал об управляемых на расстоянии снарядах. Знал об изобретении межконтинентальной ракеты. Об автоматических радиопередатчиках. Об электронных приборах.

Как видно, всему виной мой детский Жюль Верн — те картины фантастических снарядов, полетов, те межпланетные сказки, которые запали в голову больше полстолетия назад и гнездились в воображении без контроля, проверки и лишних беспокойств.

Прежде всего, как там ни толковали мы, что живем в век автоматике, полет в межпланетное пространство рисовался мне в подсознании всегда путешествием человека. С другой стороны, я никак не мог предположить, что за созданием сверхмощной ракеты почти немедленно последует головомомный бросок в пределы едва ли не безвоздушного пространства.

Не говорю о том, что — технически невинный — я был поражен ничтожностью диаметра снаряда: всего на

какую-нибудь треть длиннее обычного мужского воротничка. Поражен был, конечно, и малым весом снаряда, равным весу человека (западных ученых, наоборот, вес удивил своей громадностью).

Все было необъяснимо, все было не так, как в детских грезах, в сказках, романах. В космической сфере летел по рассчитанной орбите маленький шаровидный прибор — новая звезда, все время разговаривающая с человеком на Земле.

Я столкнулся с неожиданной реальностью и должен был вернуться из привычных с детства грез на землю. Я возразил себе: а как же могло быть иначе? Зачем посылать в неизведанные пространства человека, когда в его распоряжении есть автоматический передатчик? Автомат будет первым наблюдателем полета в космос. По рассказу механического разведчика человек выверит свои астрофизические познания и приближенное сделает точным.

А то, что спутник Земли создан уже сегодня, разве не предсказано наукой вчера?

Темпы — вот источник вдохновения и главное орудие нашего века.

Чем дальше в глубь истории, тем медленнее достигались человеком разгадки мироздания. Знаменитая система Птолемея господствовала в умах четырнадцать столетий, почитаясь истиной. Тысяча четыреста лет подряд верили, что Солнце ходит вокруг Земли. Но с середины шестнадцатого столетия, после победы Коперника, ускорение научных открытий стало возрастать неудержимо.

От зрительной трубы Галилея до первых фотографий прошло двести пятьдесят лет. Теперь, спустя только сто лет, мы производим киносъемку процессов деятельности Солнца. Перед студентом-астрономом лежит на столе фотографический атлас звездного неба. Расстояния между планетами проверены отражениями радиоволн с поверхности Луны.

Идеалистическое мировоззрение еще живет, но все больше отступает перед материализмом. Еретика с их дерзостями, в сущности, признаны религиями де-факто. Церковные иерархи говорят ученым: не трогайте нашего бога, как мы не трогаем ваших радарных установок, — и все будет хорошо.

Здесь много курьезов, в этом сожителстве церковнослужителей с дерзновенной земной мыслью, за которую

когда-то монахи обрекали ученых сожжению на кострах. Четверть века назад в Италии я был свидетелем, как католический аббат, монах-бенедиктинец, со «святыми дарами» в руках подкатил на «роллс-ройсе» к пансиону, причастил умирающего, вскочил в «роллс-ройс» и умчался назад, к себе в монастырь.

В симбиозе религии с научными достижениями попы не видят ничего для себя зазорного, поскольку все равно наука давным-давно перестала испрашивать у церкви разрешение мыслить самостоятельно.

Когда я пришел к воспоминаниям о своей жизни, о первой половине двадцатого столетия, я понял, что ускорение научно-технического прогресса будет небывало расти и поражать нас все больше. От первых беспроволочных сигналов Попова до счетной машины, вычисляющей интегралы, расстояние совсем невелико. Первые авиаторы, мечтавшие о скорости самолета, равной скорости бури, жили одновременно с Циолковским — математиком и фантастом, который предсказал полет в космическое пространство с помощью ракеты.

Интервалы между разгадками тайн природы будут неудержимо уменьшаться. «Века» техники будут укорачиваться из года в год, со дня на день. Прогресс человеческой мысли мчится, обгоняя первого искусственного спутника Земли, вперед и выше — к звездам.

Философия материализма одарила нас беспредельной свободой мышления.

## В О И М Я

В письме ко мне весной 1928 года Горький писал из Сорренто: «В Россию еду около 20 мая. Сначала в Москву, затем — вообще. Обязательно — в Калугу. Никогда в этом городе не был, даже как будто сомневался в факте бытия его, и вдруг оказалось, что в этом городе некто Циолковский открыл «Причину Космоса». Вот Вам!»

## НАМ СОРОК ЛЕТ

Когда говорится — поэзия, литература, в нашем представлении возникает особый мир. Он наполнен красками, голосами, ароматами полей и гор. Он шумен, как города, нежен, как лесные тени. В нем как бы сразу заключены все искусства: живопись и музыка — с гаммами цвета и звука, зодчество, ваяние — с гармонией пропорций, с игрой объемов.

Все это соседствует в литературе со множеством областей человеческой деятельности, с наукой, техникой, все пронизано отзвуками социальных, политических, философских учений — все касается, занимает и увлекает писателя.

Но это только инструментарий литературы, ее неисчислимы средства, с помощью которых поэт возводит свое здание.

Ради чего оно возводится?

Сознание, чувства, воля человека — вот истинный предмет поэзии, ее действительная тема, населяющая здание искусства.

И здесь полным голосом можно говорить о новаторском содержании советской художественной литературы.

Человек нового сознания, новых чувств, новой воли явился к жизни с победой Великой Октябрьской социалистической революции. В дни торжественно празднуемых годовщин Октября, сравнивая наше прошлое с тем, что уже достигнуто за истекшие десятилетия и что от-

крывается нам впереди, мы особенно ясно видим, насколько изменился у нас внутренний мир человека.

Если бы меня спросили, что именно можно назвать главным достоянием сознания в советском обществе, я сказал бы — главное в том, что нашему сознанию больше, чем где-либо на земле, свойственна слитность понятий «я» и «мы».

Когда мы говорим «наша индустрия» — это означает не только то, что индустрия у нас принадлежит «нам», но одновременно то, что она принадлежит каждому из нас и в том числе «мне». Это стало не только общепонятно, это стало у нас естественно.

Разумеется, англичанин, француз тоже говорят о своей индустрии — «наша». Но это понятие у них номинально. Оно означает для них единственно то, что речь идет об английской, французской индустрии, в отличие от всех прочих. Так, до революции мы тоже говорили, например, о «нашей» нефти, подразумевая русскую нефть, хотя тогда она принадлежала вовсе не «нам» и уж никак не каждому из нас, а чуть ли не исключительно «бр. Нобель» и им подобным.

Мы теперь говорим о недрах нашей земли, о наших лесах, морях, хлебных нивах, о нашей технике, нашем образовании, глубоко сознавая, что мы справедливо и полновластно — их хозяева, что они не могут принадлежать никому в отдельности, а принадлежат нам, а стало быть, каждому из нас. И, наоборот, сознание наше и все чувства наши, вся воля решительно противятся тому, чтобы в здоровом и справедливом обществе недра земли или иные народные богатства принадлежали одному Нобелю, пусть даже с его «братьями».

Революция наша была политической, социальной, и она была интеллектуальной, духовной. Она продолжает оставаться такой. Внутренняя жизнь человека, его психика перерабатывается, оздоравливается от болезней, уродств прошлого. Она воспитывается на опыте титанического строительства социализма, на преодолении препятствий, помех, которые нам встречаются, на смелом исправлении ошибок, возникающих по дороге пионеров нового мира.

Бурная, возвышенная, иногда полная тяжких испытаний жизнь этого мира должна была преобразить сознание, поднять чувства, закалить волю человека.

Человек стал новым.

Одним из самых ярких достижений советского строя является создание интеллигенции, выделенной народными массами. Наши противники в западном мире теперь уже перестают оспаривать наличие у нас научной и технической интеллигенции весьма сильных достоинств. Тем яростнее отрицается ими прогрессивное значение интеллигенции «гуманитарной». В области физики и астронавтики Западу придется вести с советской наукой серьезное состязание. Что же до философии и наук социальных, то западные ученые продолжают строить свои доктрины на лесах, сооруженных еще до Маркса. Они, видимо, полагают, что некуда торопиться, и ждут, когда их переучит западная действительность. Рано или поздно это случится.

Советская художественная литература, создаваемая народной интеллигенцией, стала историческим зеркалом нового мира.

Октябрь поставил перед народом задачу переустройства отношений между личностью и обществом. «Я» есть часть целого, перед которым я должен выполнить обязанности — в труде, в семье, в государстве. «Мы» суть целое, и целое исполняет общественный, государственный долг перед каждым «я» — дает максимум возможного для личности и в семье, школе, на работе, в годы молодости и под старость.

Тончайшие разветвления этой сложной и нераздельной связи личности и общества в социалистическую эпоху сделались основным содержанием нашей литературы. Предмет нов, как все ново в нашем новом мире.

Литература совершила много доброго на советской земле для своего читателя, но ей предстоит совершить гораздо больше, и она выполнит это, потому что так же, как всему советскому народу, его писателям Октябрьская революция дала неизмеримо много сил и вдохновения.

Самым старшим нашим писателем сейчас всего сорок лет, потому что все мы рождены Октябрем, это — пора зрелости и расцвета талантов.

## ВСТРЕЧИ С И. Г. ЛЮТЕРОМ

Знакомством своим с Иваном Генриховичем Лютером я обязан литератору Михаилу Алексеевичу Сергееву, известному ученому-этнографу, автору исследований о советских народах Крайнего Севера и Востока, старому большевику.

Лютер и Сергеев связаны были дружеским общением и часто встречались, особенно в то время, когда поселились в одном доме на Французской набережной (ныне Кутузова) в Ленинграде. В этом доме я увидел впервые Ивана Генриховича, в гостях у Сергеева.

Иван Генрихович произвел на меня впечатление человека очень спокойного, уравновешенного, даже несколько флегматичного. Его речь была медлительна, кратка. Но он внимательно следил за разговором, и его реплики были метки, окрашенные почти добродушным юмором. Юмор мягко светился в его взгляде, который особенно оживлялся, если собеседник бывал остроумен.

Эта его немногословность и его спокойствие при живом внутреннем участии в разговоре и в очевидном чувстве смешного не могли, конечно, не вызвать к нему интереса.

Он безукоризненно владел русской речью, но произношение его, на слух русского, отличалось отчетливым звучанием каждого слога: он чересчур выговаривал слова, без русского скольжения по неударным слогам, — это был знакомый говор прибалтийских народов. Впрочем, его



фамилия и отчество сразу говорили о западном происхождении (я только позже узнал, что имя и отчество Ивана Генриховича были у нас тоже переименованы).

Когда после моего знакомства с Лютером Сергеев рассказал мне о его прошлом, я был изумлен разительным богатством его биографии. Долголетняя подпольная деятельность латышского эсдека-большевика, руководство рабочими стачками, аресты, создание тайных типографий, подготовка знаменитой экспроприации русского государственного банка в Гельсингфорсе, руководство вооруженными восстаниями — все это буквально выковывалось из года в год страстной работой подпольщика. Во время подготовки к Великой Октябрьской социалистической революции Лютер отдает всю свою энергию пропаганде в войсках петроградского гарнизона и, наконец, участвует во взятии Зимнего дворца.

Изумление мое отвагой большевика не противоречило впечатлению, которое создано от первого знакомства с Иваном Генриховичем. Наоборот, когда я услышал о его бурной жизни, необыкновенное внешнее спокойствие его показалось мне вполне понятным: только обладая совершенной властью над своими душевными силами, владея своим поведением в полной мере, человек мог проявить столько мужества, так безбоязненно рисковать, как этого потребовали отчаянно смелые предприятия, заполнившие жизнь Лютера. И, может быть, свойственный ему особенный юмор не раз выручал его в трудных обстоятельствах борьбы, усыпляя подозрительность противников.

Мои встречи с Иваном Генриховичем относятся к началу 30-х годов. Я работал тогда над романом «Похищение Европы». Этот роман потребовал от меня знания лесного хозяйства на советском Севере и точных представлений о международной лесной торговле. Года за два до того я был в Голландии, Дании, Норвегии, познакомился с жизнью портовых городов Запада. Мне были известны тогдашние иностранные экспортеры нашего леса, старые дельцы, работавшие в Советском Союзе. Это была последняя пора лесных концессий, существовавших у нас в период нэпа.

Иван Генрихович занимал в то время видный пост в Экспортлесе, превосходно знал не только наше лесное хозяйство — работу по вырубке, сплаву, распиловке леса на заводах, но также сложную жизнь наших портов, мор-

ских лесовозов, новую технику погрузки на суда лесного товара. Он знал экономику этой древней и непрерывно развивающейся области русского экспорта, знал традиции нашего Поморья, издавна занимающегося лесным делом.

Но не меньше знал Иван Генрихович и среду западноевропейских коммерсантов — старых, многоопытных торговцев, экспортеров русского леса, которые приспособивали тогда свои интересы к новым, нелегким для них, условиям эксплуатации лесных участков, отведенных советскими властями иностранным концессиям.

Это был интересный момент своеобразного политико-экономического соревнования Запада с революционной страной: советская независимая, монополярная внешняя торговля лесом становилась на ноги, опираясь на улучшенную технику лесоразработок и лесозаводов, а западные дельцы старались удержаться в России хотя бы часть своих прежних позиций, эксплуатируя и вывозя к себе дешевый русский лес. Тенденция борьбы становилась уже ясной. Советы уверенно и гибко вели хозяйственное соревнование: экспорт готового товара, производимого на наших лесозаводах, в конце концов подавил те выгоды, которые некогда иностранцы извлекали из вывоза лесного сырья, и они со своими конторами и агентами отбыли восвояси навсегда.

Иван Генрихович, с живой готовностью отвечая на мои вопросы, посвящал меня в любопытные «тайны» и механику острой борьбы на международном лесном рынке. Наши неоднократные встречи происходили у М. А. Сергеева, принимавшего участие в беседах. В результате таких консультаций я был хорошо оснащен познаниями в ранее неизвестной мне лесной торговле, когда летом 1930 года приехал в Сороку (нынешний Беломорск) — большой портовый город с лесопильными заводами в устье живописного, своенравного Выга, воды которого несли и несли из дремучих углов Севера бесценное наше богатство — сплавленной лес. Город Сорока избран был мною местом действия второй части романа «Похищение Европы».

И. Г. Лютер был моим помощником также в изучении Ленинградского порта — работы его знаменитой механизированной эстакады для погрузки леса на морские лесовозы. Все, вместе взятое, из моего общения с Иваном

Генриховичем сослужило мне исключительную службу в подготовке материала к роману, посвященному теме нашего состязания с Западом за независимое от европейской экономики хозяйство Советского Союза во времена первой пятилетки.

Мне хочется упомянуть об одном эпизоде, рисующем, на мой взгляд, характер И. Г. Лютера.

Он был страстным охотником-рыболовом. Обычно в воскресный день отправлялся он со спиннингом вверх по Неве, иногда до самого Ладожского озера. Но чаще охота происходила в среднем течении реки или даже недалеко от города.

Однажды где-то в нескольких километрах от Ленинграда, после неудачной охоты, Иван Генрихович решил было возвратиться домой, но — как это хорошо знают рыболовы, — уже приняв решение, закинул лесу «в последний раз». Наверно, всю свою жизнь потом он не мог забыть этого «последнего раза».

Мастер своего ловецкого дела, Иван Генрихович умел закидывать лесу на всю катушку спиннинга. Блесна по-сверкала в воздухе и булькнула в воду очень далеко от берега. Он дал блесне немного погрузиться и начал медленно выбирать лесу, накручивая ее на катушку. Вдруг он почувствовал сильный рывок — леса натянулась струной, едва не вырвав из его пальцев ручку катушки и согнув в дугу спиннинг. Он потравил, сколько мог, и быстро пошел по берегу.

Взяла порядочная рыба — он понял это в первый же миг и теперь торопился идти по каменистой кромке берега, крепко держа снаряд в левой руке, а пальцами правой чутко пробуя, не даст ли рыба слегка поработать катушкой. Но рыба тянула лесу с упрямой мощью вперед и вперед по течению реки.

Дело было поздним утром, солнце грело чувствительно. Левый берег, по которому шел охотник следом за добычей, был довольно пустынен, хотя прыгать по камням, перескакивать через бревна, доски или лежащие вверх дном лодки приходилось довольно часто. Рыба шла и шла словно еще сильнее, чем в первый момент, но не меняла направления, а только тянула лесу то ко дну, то рывками из стороны в сторону. Надо было спешить за ней, маневрировать катушкой она не давала — все время было ощущение, что леса лопнет,

Неожиданно впереди Лютер увидел огромную пустую баржу, причаленную к берегу. Идти дальше, не выпуская спиннинга, было невозможно — не перекинешь ведь лесу через высокую, застроенную опалубку баржи. Лютер вошел в воду как был: раздеваться было некогда, да и не пойдешь потом по берегу раздетым. Было глубоко, пришлось пуститься вплавь, огибая длинный корпус баржи, изредка одной рукой отталкиваясь от ее просмоленного борта, другой крепко держа спиннинг. Кое-как он выбрался из воды и побрел снова по берегу.

Рыба не уступала. Он пробовал все время крутить катушку, но риск оборвать лесу пугал его. От него поднимался пар. Но солнце не успело подсушить отяжелевшую от воды одежду, как перед глазами его вырос целый караван барж, вытянувшийся сотнями на три метра вдоль берега. Суда стояли на мертвых якорях, по сходням двигались грузчики. Охота грозила кончиться жестокой неудачей — Лютер не знал, какое принять решение.

Однако, когда он стал подходить к ближайшей барже, рыба резко рванула спиннинг. Далеко на реке раздался шумный всплеск — рыба поднялась на поверхность и начала неистовую борьбу. Всплеск заметили люди на барже, глазом речников сразу оценили положение и принялись кричать с кормы рыболову, чтобы он кинул им спиннинг, а сам по сходням поднялся к ним на борт. Но Лютер скорее опять кинулся бы в воду, чем выпустил бы из рук свой охотничий снаряд. К тому же он лучше речников сообразил, что, пройдя по борту от кормы к носу баржи, он должен будет броситься в реку, потому что перескочить на следующую баржу невозможно, а за ней стоят другие баржи, и так он неминуемо проиграет сражение.

Он стал кричать, чтобы ему дали лодку. Пока на барже почесывались и раздумывали, он подошел к ней вплотную. У самой кормы привязана была лодка. Не ожидая ответа, он вошел в воду и поплыл к лодке. Это вызвало явное сочувствие речников, — охотник был настоящий! — но привязь они не отдавали, а решили поторговаться. Он забрался в лодку и крикнул, что платит, сколько потребуют.

Молодой парень прыгнул к нему с баржи, конец отдал, и через минуту Лютер плыл по течению с хорошим гребцом в веслах.

С этого момента борьба за добычу вступила в новую полосу. Быстрый ход лодки укорачивал расстояние до рыбы, нагоняя ее, и можно было понемногу накручивать на катушку известный запас леса для маневров. Впрочем, гребец, объехав караван барж и видя, что дело кончится не скоро, потребовал расчета и высадив охотника на берег. Запас на катушке стал опять исчезать и восстанавливался весьма скупо, рыба была неумоима, охотник, однако, тоже.

Описание этой истории можно продолжать почти без конца, потому что не было конца препятствиям, которые Лютер встречал на пути. Они возрастали тем чаще, чем больше приближался город навстречу рыболову с попавшей ему, но еще не пойманной рыбой.

Давно отошел полдень, и давно спала жара, день клонился к закату, а Иван Генрихович все еще судорожно сжимал в пальцах спиннинг и то травил, то наматывал на катушку лесу, страстно ожидая, кто кого переборет — он рыбу или она его.

Когда он дошел до Охтинского моста, миновать который можно было тоже, только проплыв под пролетом на лодке, позади оставалась добрая дюжина приключений на баржах, плотках, парходных пристанях. Множество людей повстречал на этом охотничьем крестном пути Лютер — таких же рыболовов, досаждавших ему советами, сплавщиков леса, перевозчиков, милиционеров и толпы мальчишек, с энтузиазмом сопутствовавших ему по берегу кое-где целые версты.

Наконец, уже в густые сумерки, в Ленинграде, где продвигаться по берегу было особенно трудно, на набережной Выборгской стороны, у Литейного моста, Иван Генрихович увенчал себя венцом победителя: леса была полностью выбрана на катушку, и вымотавшая все свои силы, почти покорная рыбина была, на удивление ленинградцев, подсачена саком, который проторчал весь день за спиной рыболова.

Пойман был им царственный ладожский лосось весом без малого в один пуд...

Историю эту рассказал мне и Михаилу Алексеевичу Сергееву самолично Иван Генрихович, посмеиваясь чуть-чуть над тем, как он — вымазанный грязью, промокший до костей, оборвавший на себе едва ли не все пугови-

цы — вышагивал, и бежал, и перепрыгивал через всякую всячину по берегу любимой своей, великолепной Невы.

А я, его слушая, думал, что эта удивительная страсть, и эта ничем не одолимая выдержка, и выносливость, и сила, и, наконец, спокойствие духа, а быть может, и доля юмора помогали Ивану Генриховичу в высокой, самоотверженной работе революционера и что все эти качества его не могли не проглянуть и в таком простом, бытовом случае, как эта незамысловатая история любителя рыбной ловли.

1958

## ЛЕТОМ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Идет покос, и воздух сладок. На полянах в парках, в лесу, где только можно размахнуться косарю, стоят стога.

Прошел Большой поляной, от Развилки прямо дорогой на Воронку. За мостом выбрал в кустах бережок покрепче и умылся.

Возвращаясь, поднялся к лесному колодцу, из которого иногда брал воду приезжавший сюда с бочкой Лев Толстой. Прошел лесом вверх и потом — пашней вдоль опушки.

Художник сидит с этюдником, пишет Скамью. Я спросил — не помешаю ли, и сел. Он продолжал писать. Еще ранний час, очень тихо. Вдали изредка — иволга, но уже коротко, понемногу. Мы поговорили тоже, как иволга, не спеша, о самом простом, неволнующем. Живет он с другими художниками в Груманте, в «Казарме» (сторожке лесника), месте историческом для этого селения: там была устроена засада на отступавших из Ясной немцев. Фамилия художника Романов, он служит в Тульском областном книгоиздательстве.

Елочками пошел домой. На полпути вдруг почти изпод ног: фр-фр! — тетерка, быстро скрывшаяся за стволами. И опять тихо.

В ранний утренний час ходил на могилу. Ни души. И в этом одиночестве — внутренне открытая, ничем не стесненная благодарность за все, что он дал всем и мне,

как крохе этих «всех». Растроганное чувство, близкое молитве, но совершенно свободное от какой-нибудь формы общепринятого. Может быть, высшая сосредоточенность.

Прогулка по узкой, тенистой тропе, обнимающей Чепыж вдоль Красного сада. Каждое утро, иногда и днем... Тут лучшие дубы, и у некоторых стоишь, не можешь уйти, оторваться. Есть многосотлетние.

Такие стояния всегда щедро дарят мыслями о его романах и — да простится мне грех — о своем (эпизод о подругах, давно написанный, проверяется и обещает стать краше, нежнее, дороже для сердца самих героинь).

Иду затем пашней. На границе Чепыжа с Елочками сижу под ветлой — четырех-, нет, пятиствольной — на опушке. Гляжу на хлеба.

Раз подходят две девочки, подростки:

— Можно вас снять?

— Зачем?

— Мы... мы, извините, вас узнали.

Очень смущены. В сторонке — незаметно подошедший выводок таких же девочек и парнишек. Знакомимся. Они окружают меня.

— Кто вы такие?

— Экскурсия туристов.

— Откуда?

— Из Рязани. Школьники.

— Что же, так и пришли из Рязани?

— Нет, до Тулы мы доехали, переночевали, а сюда пешком.

Говорит очень славная, миловидная, с тонким детским румянцем девочка, усевшаяся рядом со мной.

— Каких же вы классов?

— Девятого и десятого.

— Ну, а вот вы какого?

— Я? Я — педагог.

Чуть не подскакиваю. Все улыбаются, но почтительно и с любовью смотрят на своего «педагога», который ничуть не теряется под моим ошарашенным взглядом, а только показывает прекрасные зубки.

— Что же вы преподаете?

— Литературу.



...Ну, все как-то сразу озаряется ясным смыслом: рязанские «туристы», собранные в каникулы вдохновенной учительницей с годовым стажем; неизбежная складчина, костры на берегах речек, каша, похлебка, чай с черным хлебом; и поход к самому Льву Толстому; и разинутые рты и глаза перед дубом в Чепыже, где когда-то гроза застигла Софью Андреевну; и этот дуб, пересаженный потом в сцену грозы — в «Анну Каренину»; и трогательное повторение этой сцены тут, в лесу, устами девочки-учительницы, уже рассказавшей о грозе раньше, на уроке литературы... И вот, конечно, кто первый меня, «извините», узнал!

Мы снялись вместе и расстались друзьями. Дети пошли к скамейке, а я к себе, счастливый, что живу с такими детьми, в такой России, сам такой русский.

Иду опушкой. По дороге навстречу — грузовик, на нем — веселые бабы с песней. Стоят в обнимку, приплясывают, приседают, когда по головам их щелкают и хлещут листвой низко висящие ветви берез, дубов, лип. Хлопают мне в ладоши, я отвечаю тем же, они громче подхватывают песню, хохочут. Мне очень радостно.

Возят сено.

Раз возвращаюсь с Воронки, сажусь на пригорке у самого края лесного клина — отдохнуть. Ползет грузовик с колхозницами. Останавливается. Женщины, девушки сбрасывают на землю грабли.

— Отдохнем, бабоньки!

Поднимаются в тень, садятся и ложатся на лугу. Кое-кто достает завтрак, кое-кто, уткнув лицо в согнутые руки, дремлет. Половина десятого утра. Солнце уже сильно палит. Я сижу полчаса, потом ухожу; оглядываюсь с поворота дороги, — бабоньки сидят на прежнем месте.

Удивительно хорош по краскам был спор о границах Калинова (в «Анне Карениной» — Калиновый) луга вечером 24 июля 1957 года... Мне казалось, я слышу голоса дореформенного 1857 года — голоса спорщиков о заливных лугах, о межах по речной пойме, об овражках, ручьях, мысках, старицах, кочках, елках, рощицах. Ведь и сто лет назад призывали тяжёбчики стариков, дабы свидетельствованием своим показали, от каких пеньков

починали деды закашивать пойму, сколько косарей выходило на косовицу, много ли дён требовалось на выкос всего луга. И сто лет назад звенели голоса, страсти пламенили и размахивали руками энтузиасты, указуя на бугорки, излучинки, складочки местности, и помалкивали в бороды, посмеивались скептики, заправляя в поздрю свежую понюшку табаку.

И вот век спустя, на сороковом году революции, тоже пылает ярый спор о дедовских границах славного, знатного по величайшей русской литературе Калинова луга.

Но что же идет за тяжба? Кто же так воодушевляется и овеает мановениями рук благодушно-прекрасный дол? Кто задумчиво улыбается? Кого зовут в свидетели далекого былого? Не тягаются ли неисправимые сутяжники в споре за доходы от покосов? Не раздоры ли соседей забушевали на игривых бережках ручья Кочака с рекою Воронкой?

Нет. За доходы никто не тягается, о раздорах некому помышлять.

Спор идет об установлении истинной картины уже давнего прошлого, которое живет и должно вечно жить в неумирающем памятном наследии Льва Толстого, — спор нимало не юридический, спор историко-литературный, спор научный, спор — можно сказать — художественный.

Внуки и правнуки наши, придя по живую воду толстовского гения в Ясную Поляну через сто лет, спросят, как спрашиваем мы: «А где же находится Калинов луг?» И они должны получить ответ: «А вот от той излучины Воронки до того мыска Кочака пониже Грумантовских елок простирается толстовский Калинов луг».

В споре же этом, действительно страстном и увлекательнейшем, участвовали не корыстолюбцы, а люди самого, быть может, бесребренного на Руси племени — музейные труженики, работники советского просветительства, а равно их почитатели. Вот их перечень: Николай Павлович Пузин, Сергей Сергеевич Толстой, Валентин Федорович Булгаков, Александр Иванович Поповкин с супругой Александрой Ивановной, подошедший прохожий — ветеринарный фельдшер Тихон Лазаревич Егоров и аз грешный, заменивший нюхательный табак историей курительным современности.

Но после спора о Калиновом луге, когда возвращались, возник другой спор, и он примечателен в том отношении, что показывает, как быстро улетучиваются из памяти свидетелей даже глубоко пережитые ими события и как неизбежны разноречия показаний о подробностях отлично известных фактов. Велика же цена воспоминаниям!..

Мы остановились на выходе ведущей от дома Толстых тропы на дорогу, которая идет мимо риги к Развилке. Булгаков стал вспоминать, как несли гроб Толстого из дома к месту погребения. Он сам был в числе несших и говорит, что шествие из дома направилось через сад прямо к Развилке. Сергей Сергеевич Толстой, ссылаясь на рассказ своего отца, Сергея Львовича, тоже провожавшего гроб к могиле, стал уверять, что — действительно — несли садом, а потом Чешыжом, но вышли на дорогу, огибающую Чешыж, и по ней пошли к Развилке. Булгаков оспаривал это утверждение: он ведь сам нес гроб на своем плече, помнит, как обходили встречные деревья, и чуть ли не самые эти деревья, к тому же прямой, кратчайший путь к Развилке избрали потому, чтобы скорее, засветло дойти до могилы, и что уже наступали сумерки, — прощание с телом в доме очень задержалось. Но Сергей Сергеевич не хотел уступать: ему ведь точно говорил о похоронах и показывал, как следовало к могиле шествие, отец! Тут в спор вступило новое, третье мнение (кажется — Пузина), основанное на точном, не раз проверенном в Ясной Поляне предании, что гроб несли к Развилке по дороге, идущей мимо риги (от Дома Волконского), и значит — видимо — минуя сад, прямой тропой, выходящей на эту дорогу. Мнение это было отвергнуто вовсе, но две первые версии остались непримиренными...

Занятен был и еще один спор, правда, не столь упорный: какие деревья у могилы исчезли после похорон, — каким был вид окружения могилы, когда народ слушал, как раздается в лесу стук падающих на гроб Толстого комьев земли. На это вот дерево в два ствола, в вилку его, забрались тогда молодые люди, может быть — студенты (студентов много было на похоронах). А рядом стояло большое старое дерево, наверно, липа, — его уж нет. Оно тоже было облеплено залезшими на него людьми.

ми... Когда запели «Вечную память», все опустились на колени. Полицейские, весь путь от Козловой засеки сопровождавшие толпу, были незаметны, пока находились на дороге, потому что были переодеты в штатское. А когда народ стал на колени, фигуры их, оставшиеся на ногах, сразу обозначились столбами. Тогда раздался чей-то голос: «Полиция! На колени!..» И голос этот подхватили другие. Полицейским пришлось опуститься... Наверно, первым, кто выкрикнул, и был один из залезших на деревья — сверху виднее всего оказались во фронт стоявшие чины... За сорок семь лет после смерти Толстого немало изменилось здесь в картине природы. Есть что сравнить с прошлым, что вспомнить. Значит, есть и о чем поспорить.

В нескольких шагах от могилы Толстого зарыт его конь Делир. Место уровнено с поверхностью земли, — его не заметишь, если не укажут. Так и должно быть.

Конь пережил хозяина — пал в 1912 году. Под старость он был совсем плох, последнее время его подвешивали в конюшне на лямках. А что за красавцем был он со своим неповторимым в мире седоком! Вспомнить только, как написал об этом седоке Илья Репин — воистину с толстовской силой пера...

Как-то я сидел у могилы, когда к ней привели маленьких детей. Они тянулись цепочкой, держа — парами — друг друга за руки. Галчата, превосходно воспитанные, приветливые, — это были питомцы детского сада шахтерского Щекина. Воспитательница стала им что-то рассказывать о том, кто тут похоронен. Думаю, материя была не по молочным зубкам, и детишки смотрели по сторонам и больше всего — по верхушкам деревьев. Я разговаривал перед этим со сторожем, охраняющим могилу, — яснополянским крестьянином-инвалидом (забыл его имя), довольно понаторевшим на роли старожила, помнящего «самого» Льва Николаевича, который некогда прирезал землицы к бедному наделу его родителя и тем выручил семью. Когда дети явились, сторож сказал, что «надо присмотреть», и пошел поближе к могиле. Воспитательница торопилась кончить свою благонамеренную речь и едва только добралась до последней точки, как сторож сказал какое-то слово, и на это слово, точно на

выстрел хлопушки, вмиг обернулись к нему все до одной маленькие головы. Он пошел, и за ним кинулись неудержимой стаей ребятишки и остановились, как только остановился он, и замерли, и стали глядеть широкими глазами, не моргая, вниз, на тот кружок земли, на который смотрел и сторож, что-то очень тихо говоря. И тогда, когда он уже перестал говорить, дети все еще не двигались, а, наклонив головы, продолжали молча, изумленно глядеть в землю: сторож подвел их к месту, на котором зарыт Делир...

Ребята ушли чрезвычайно довольные, а сторож, подсаживаясь опять ко мне, сказал, довольный не меньше детей:

— Им бы не про чего больше, только про лошадку... Уж я знаю!

Возвращаясь домой, встретил Марию Павловну Прилежаеву. С мужем, сыном и подругой она ехала из Симферополя в Москву. Все измучилась, мечтали о почевке. Я познакомил ее с Поповкиным, и он предложил путешественникам остановиться в Кучерской избе: памятник этот (о последней ночи Льва Толстого в Ясной) теперь — «база туристов». Вечером Мария Павловна была у меня, — мы толковали о Москве с ее страстями литературной нашей маеты. Но о чем ни пошла бы речь, Мария Павловна все сводила к не покидавшему ее восторгу:

— Подумать только, — нас ждет ночлег в этой самой Кучерской избе!

Хотел выкупаться в Среднем пруду, но вода сильно затянута ряской. Ступени в купальне настолько круто поставлены в воду, что потребовалась вся моя хитрость, при отсутствии акробатичности, чтобы умыться и помыть руки.

Купальня сохраняет вид, какой имела при Толстых: обыкновенный огородный плетень, навитый на колья, упроченные между четырьмя столбами, к которым подвешена сама решетчатая купель.

Рядом с купальней прежде находилась «мойка», с мостиков которой бросилась в пруд Софья Андреевна, пытавшаяся покончить с собой после события 1910 года.

Ходил по Клинам — единственному в Ясной регулярному парку. Яблони, насаженные в самых Клинах, то есть внутри прямоугольника из липовых аллей, плохо растут из-за недостатка света, но их продолжают подсаживать, стараясь поддержать Клины в том виде, какой они имели еще при Волконских. Старые, вытянувшиеся и частые стволы лип в аллеях похожи на колоннады. Здесь тихо, слышно, как перепархивают певчие птицы, сейчас уже не подающие голосов.

#### Поездка в Кочаки.

Поселок, выросший тут, носит вполне современный облик индустриального создания. Почти вплотную к огромному газовому заводу примыкают улицы старого поселения из небольших рабочих домиков, а вдали вырос целый город новых многоэтажных зданий жилых корпусов, куда протянулась асфальтовая дорожка. Каким образом случилось, что первый поселок слился с территорией завода и население круглые сутки дышит газовыми отходами, — непонятно. Газовые дымы труб доходят до Ясной Поляны, и дирекция не раз принималась хлопотать о переводе завода в другое место, потому что ядовитый дым угрожает в конце концов всему зеленому миру заповедника. А тут люди глотают яд днем и ночью. Конечно, перевод завода на другое место — совершенная иллюзия. Хорошо, что новый поселок строится теперь вдали от завода.

Совсем близко к заводу оказалась и Кочаковская церковь с толстовским некрополем. Вид ее очень привлекает тяжелыми, окружающими ее старинными крепостными стенами с грузными башенками XVII века.

В некрополе я долго не мог отойти от могил Ванечки и Алеши, уже в наше время перевезенных сюда из Подмосковья. Ванечка, наверно, был последней общей любовью Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых, — после него уж никто их так нежно и сильно не мог связать. И еще две могилы надолго меня остановили: под общей оградой, под одинаковыми белыми крестами лежат обе сестры — Софья и Татьяна Андреевны. Сколько ревности к своей Танечке отдала Софья Андреевна, сколько обид натерпелась от нее в последние годы в Ясной Поляне и сколько обид сама нанесла ей, нетерпимо выслушивая уже старческие гордые воспоминания... Наташи Ростовой. Время отвело им место рядом...

По Кочакам водил меня Николай Павлович Пузин, трудам которого обязан некрополь хорошим порядком и самим собираньем захоронений из разных кладбищ под общей толстовской сенью. Рассказчик он прелестный и притом в особом историографическом стиле, даже с некоторым поминальным налетом.

На следующий день я взял уже давно знакомые мне машинописные тетради дневника Софьи Андреевны (они по-прежнему хранятся в библиотеке). На этот раз это были тетради 1917 и 1918 годов — «Ежедневника», очень подробно рассказывающие о совместной жизни Софьи Андреевны с Татьяной Андреевной. Обе сестры, конечно, не совсем разбирались в событиях, грохотавших за пределами Ясной в эти годы. Но Татьяна Андреевна не понимала даже того, почему нельзя было в это время жить на ту же ногу, как прежде: она во всех недостатках винила сестру и все беды объясняла дурным ее отношением к себе. Было тяжело читать об их враждовании, безумно жалко Софью Андреевну и — не могу понять — почему, но жалко и самого себя. Будто на мне лежал ответ за то, что в холодной Ясной Поляне старуха Кузьминская устраивает сцены старухе Толстой потому, что она не велит подавать ей утром настоящего кофея. Я все время, читая, видел Кочаковскую деревенскую ограду с двумя одинаковыми белыми крестами.

Ах, нет у нас нового Лескова! Что за клады рассыпаны вокруг реставрируемого последнее десятилетие российского православия!

Полик Кочаковской церкви, можно сказать, алмаз среди самоцветов этого ожерелья. В малиновой скуфейке, в расшитом глазастыми цветами, широком шелковом пояске, в талии охватывающем легкий подрясник, сам легкий, порхающий, остроокий, веселый, прибежал ко мне, когда я ходил по некрополю, молодой батюшка:

— Не пожелаете ли осмотреть наш храм?

Он пошел не впереди, не сбоку даже, а на том почтительном отстоянии на полушаг, которое инстинктом усвоено прирожденными слугами значительного начальства. Уже и в самом храме не утратил он в своих изги-

баниях вьюна ни капли и ни толики, а так и вьюнил немножко позади меня, подсказывая почтительно, в какую сторону мне следует посмотреть. Церковь вся была начищена, даже, пожалуй, надраена и переливалась огоньками. Иконостас сверкал электрическими лампочками всех цветов. Роспись стен, как видно только что реставрированная, блестела и отсвечивала лаком. Краски ее, конечно, отвечают вкусам неприхотливейших маляров. Перед иконами кружевца, платочки, цветочки и начищенные подсвечники, многоцветные лампы с подвесочками на сверкающих цепях. Вошли в алтарь. Тут еще более пышно: бархат, огни, краски, кружева, вышивания. Не знаю, не нарочно ли был поставлен и стоял у стены древний, в седой, неудержимой гриве дьякон, читающий, вероятно, Часослов. Лик этого служителя алтаря и особенно нос, рубиновый, как лампада, никак не убеждали в его набожности, тем менее — в богобоязливом чувстве. Когда, вышедши из алтаря, я спускался с амвона, батюшка придержал меня под локоточек, чтобы — упаси бог — высокий посетитель не оступился. Я спросил его, не начинается ли скоро всенощная (была суббота). Он ответил, что еще не скоро. Я спросил — почему же зажжено столько огней и все так торжественно?

— Это для вас! — сказал он, счастливо ослабившись. Мне даже почудилось, что он особенно растянул свистящее «с»: «для вас-с!..»

Старушки, собиравшиеся в церкви, подходили к нему под благословение и старались поцеловать ему руку, но он с каким-то элегантным смирением отнимал руку и возлагал ее на темечко молельщиков.

— Вам понравился наш храм? — спросил он меня на прощанье, заглядывая в глаза...

Поездка в Грумант — мой давнишний план. Желание и необходимость.

Сделал подробную запись, начертил планы, топографически приближенные достаточно, чтобы ясно видеть деревню, окрестность и писать спокойно, уверенно. Это будут две главы: ночь Нади и Маши (кульминация пребывания немцев в Ясной) и бегство немцев по Крапивенской дороге.



Деревня очень приятная, интимная — овражек, родник, пруд. Рукой подать — засечный лес. Разговор со свидетелем бегства немцев — крестьянином. С окружающих Грумант холмов — большой обзор местности. Мы прошли часть пути пешком, возвращаясь через ручей Кочак. Со мной были Пузин, Поповкин и один туляк.

Когда вернулись из Груманта, нас ждало телеграфное известие из Москвы: скончалась Софья Андреевна Толстая-Есенина.

Вечером — разговор о ней. Тело перевезут в Ясную. Одной могилой в Кочаковском некрополе станет больше. Болезнь Софьи Андреевны была очень тяжела...

Для меня Софья Андреевна сделала то, что Ясная Поляна стала мне близкой и понятной настолько, что прежде я не мог этого ожидать. Навсегда запомнил я свой зимний приезд и ночлег в доме Толстого.

Вероятно, с той зимы 1940 года и стал я все чаще обращаться ко Льву Толстому, пока не созрела моя нынешняя «толстовская» тема — мотив трилогии, переходящий из романа «Первые радости» во вторую книгу романа «Костер».

## «ДЕНЬ МИРА» — КНИГА ВТОРАЯ

Когда я прочитал призыв редакции «Известий» к общественности создать книгу «День мира» — номер два, я не только вспомнил, как создавалась первая такая книга двадцать пять лет тому назад, но и подумал: почему бы в будущем не выходить «Дню мира» под номерами три, четыре и далее — *каждую четверть века?* Почему не сделать это своеобразное, оригинальнейшее издание «периодическим»?

В самом деле, ведь это была бы книга-эстафета, передаваемая из рук в руки одним поколением другому. Своего рода памятная вешка на всемирном пути человечества. Почему бы нет?

Я уверен, что, например, первая книга «Дня мира», вышедшая в 1935 году, с истинной полнотой раскрыла свое значение только сейчас, в наши дни. Нынешний молодой человек, прочитывая, перелистывая пестрые страницы небывалой по замыслу печатной панорамы одного дня мировой жизни, с величайшим любопытством и часто с волнением будет постигать творческое развитие обитателя Земли на протяжении одной четверти столетия с момента выхода редкостной книги. Он будет постигать это развитие, сравнивая новую действительность с прошлым, говоря себе — так вот каким был мир только еще четверть века назад! Как же много и вдохновенно поработали мои старшие братья, отец и дед, если за это время так изменился мир! И что предстоит сделать мне — за-

думается он — в новую четверть века, чтобы мир изменялся еще быстрее и — только к лучшему?

Пусть улыбнутся моему, нечаянному для меня самого, пророчеству, но мне кажется, что после выхода в свет второй книги «Дня мира» читатель потребует переиздания первой.

Подлинный смысл предпринимаемого дела состоит именно в *сравнении*. Понятия нового нет без сопоставления со старым. Мы отталкиваемся от старого, как от трамплина, делая прыжок в новое. Чтобы измерить взятую высоту, мы должны точно знать уровень, от которого производим отсчет. Статистика наших народнохозяйственных планов без слов доказывает нам познавательную роль сравнения для понимания происходящего в жизни.

Горький обладал историческим мышлением в необыкновенной мере. Если он прямо не сравнивал «век нынешний и век минувший», то это сравнение он всегда давал почувствовать в подтексте своих работ. Это наглядно сказалось в его революционной наступательной публицистике. Но разве его художественные произведения — глубокие рассказы двадцатых годов, многоплановые романы и драматургия последнего периода, дающие — пластически — мощный образ предреволюционной России, — разве эти произведения не обращены в прошлое, в котором Горький искал объяснения национальной истории и одновременно урока на будущее?

Рост великана новой истории нашей страны — советского труженика-строителя — особенно ярко виден, если взор обратится за сравнением к былой Руси, изваянной точным резцом Горького. От малых фактов тогдашней современности, наблюденных великим мастером, он приводит нас к обобщенному факту всероссийского бытия, заключавшего в себе неизбежность победы рабочего класса. Было — есть — будет — таков путь познания мира.

Твердая вера в значение фактов действительности для воспитания нового человека была свойственна Горькому, и вряд ли какой другой писатель столь часто внушал читателю: наблюдай и сравнивай, сравнивай и учись на опыте жизни!

В самом начале тридцатых годов я долгое время жил в Швейцарии. Этому времени я обязан новому, после двадцатых годов, оживлению переписки с Алексеем Максимовичем. Он жил в Сорренто, еще только готовясь

окончательно переехать в Москву. Как-то, ради шутки, я послал ему две-три заметки из германской прессы, характеризовавшие «воззрения» европейского мещанина с чрезвычайно курьезной стороны. Горький быстро отозвался — заметки позабавили его, и он уже с серьезной настойчивостью просил меня «снабжать» его подобного рода фактами, которые могли пригодиться для задуманной оригинальной книги.

Речь и шла в письме о замысле издания «Дня мира» — одного из тех примечательных предприятий, которые возникли в начале тридцатых годов благодаря безустальной инициативе Горького.

Убежден, что, замышляя «День мира», Горький ясно предвидел интерес к этой книге в далеком будущем, а не только ее злободневное значение. Живое чувство истории не покидало его ни на минуту. Он отлично знал цену факта, работающего на современность. Но он непоколебимо верил, что факт, удаляясь, уходя в прошлое, не умирает, а продолжает работу для будущего, формирует, учит, воспитывает человека, зовет его не к возвращению вспять, а к возведению на земле новой жизни, к украшению земли, как любил говорить Горький.

Надо сказать, первая книга «Дня мира» родилась не вдруг. Она потребовала большой подготовительной работы. Надо было, что называется, мобилизовать силы в «мировом» масштабе. Выбор, фиксирование определенного дня, события которого, дела, планы, надежды, мечты должны были составить панораму книги, — это было, конечно, самой нетрудной задачей. Но расставить необходимые посты во множестве стран, на всех континентах, обязав людей взять на себя долг «уловителей» фактов установленного дня, и затем собрать, рассмотреть, обработать тысячи рукописей, тысячи газетных вырезок, кшпы журналов, книг, документов — тут понадобились силы и таланты, воля и энтузиазм одареннейших организаторов.

Сейчас инициативу создания второй книги «Дня мира» взяла на себя редакция «Известий». Можно рассчитывать, что увлекательный, смелый почин быстро найдет повсеместный отклик у нас, в Советском Союзе, и далеко за рубежами.

Надо помнить, что выход «Дня мира» означает собой достойную уважения сплоченность советских литераторов, журналистов, на долю которых ложится основная

ответственность за удачу и успех большой книги. Предстоит пробудить интерес к идее книги среди широких читательских кругов, в среде ученых и молодежи, рабочих и художников, общественных деятелей, техников, колхозников, агрономов.

Везде и всюду должно стать известным, что день 27 сентября 1960 года избран быть вехой в хронике фактов мировой жизни нашего времени, удивительного по богатству исторических событий, по стремительности темпов, по силе борьбы за свободу наций и за всеобщий мир на земле!

*1960*

### МНЕ ВИДИТСЯ КНИГА...

Нет, не путеводитель, не справочник. И не настольная энциклопедия.

Мне видится книга, поющая Волгу. Книга, которая была бы поклоном волшебной реке, веками утоляющей жажду народных мечтаний о мире прекрасном и вольном. Книга, рассказывающая, откуда наша земля «пошла есть». Книга-сказание о том, как на становой волжской жиле становилась из Руси Россия и как стала на Волге Россия советская.

Такой книги у нас еще нет. Но она может быть, должна быть и — конечно — будет. Избави бог, чтобы ее составили наспех, как некую хрестоматию — из обрывочков давно либо недавно напечатанного, из корреспонденций, чувствительных воспоминаний, стихов и чудотворства статистики. Кому это надо?

Но если некий вдохновенный издатель соберет ученых — историков, геологов, энергетиков, судостроителей, математиков, мостовиков, рыбоводов, краеведов; если пригласит к себе писателей, искусствоведов, может быть, зодчих, живописцев, артистов; если не позабудет позвать лесничих, ботаников, агрономов, медиков, — если объединит их вокруг себя и спросит, для начала: представляют ли они себе Россию без Волги? — и если в ответ ему все улыбнутся вопросу, как шутке, тогда...

Вот тогда можно обменяться мыслями — как построить книгу, которая воспела бы Волгу. Конечно, певцами раньше всего будут сами волжане. Но они не должны

быть непременно волжскими уроженцами. В хор войдут и волжане по любви и по духу — люди, послужившие своими трудами и знаниями чародейной реке, берегам ее, городам и селениям, люди, покоренные ею и сами покоряющие ее.

Когда мечту о подобной книге издатель сочтет назревшим предложением, то волжане сейчас бы и выложили перед ним основу композиции будущего труда на стол.

Книга должна бы, по числу знаменитых волжских плесов, состоять из трех частей. Плесы разнятся между собою не по одним географическим признакам и даже не только судьбами своей истории или говорами народонаселения, — нет. Вся бытовая статья верховья не похожа на средний плес, а уж понизовья не сравнить ни с тем, ни с другим.

Некогда южным раздольем ветры доносили жар востанций степной вольницы до Хвалыньских гор, и он пробирался их перевалами в ущелья Жигулей, захватывал своим дыханьем многоязычные народы среднего плеса, летел лесами в верховые древнерусские заповедники. Пришла пора — фабричные тверяки, ярославцы, костромичи снарядили свои отряды на подмогу волжским степнякам, воевавшим за Советы. Разнообычные плесы в годы испытаний вдруг сомкнули берега, народы сгрудятся в крепостной вал и отстоят свою Волгу.

Да, разноцветны, разнозвучны исконные плесы, и о каждом из них должна быть рассказана особая сказка, да только всем трем сказкам надо войти в одну книгу, как все поволжские земли опоясаны одним материнским поясом славной реки.

Кажется мне сейчас, будто не было ничего краше моего детства — особенно того последнего лета в деревне, когда стоял я, босой, с удочкой, поодаль крутояра, покрытого дубовой рощей. Под самым яром бежал ручей, намывший в Волгу пологую песчаную косу, и нежно-желтый песок под тонкой пеленой воды светился шелковистой замшей. Не клевало. Я перебрасывал удочку, и вот, который раз вытягивая ее, увидал, как по песку гонится за наживкой малек. Я попридержал, и он схватил крючок. На моей ладони он лежал обомлевший. Я пустил его в воду. Серебряной искрой сверкнул он по замше песка и погас. С необыкновенной грустью почувствовал я тогда, что это погасло мое лето, ушла от меня моя Волга,

Но Волга не ушла от меня. Она лишь глубже угнездилась в сердце, живет в нем и будет жить, пока оно бьется.

Я много помню о старой Волге. Еще не кончился девятнадцатый век. Бурлаки тянули косоушки. На отмелях заходили всюю артелью в воду — в ластях, посконных синих штанах. Местами шли в воде по грудь, и медные крестики на мокрых тесемках прилипали к телу: косые вороты рубах у всех висели нараспашку. Далеко по середине реки шлепал буксир с караваном барж, едва ли намного быстрее, чем тянули косоушку бурлаки. И казалось, куда как прыток пассажирский пароход с гигантским колесом позади кормы, с высоты которого низвергались пенящиеся водяные потоки, — чудовище, какое ползало по Миссисипи в детские годы Марка Твена.

Нынче уже не первый год волжане знают суда с машинными отделениями без моториста, без механика — их заменило автоматическое устройство. Да что машинное отделение, — даже в иной штурманской рубке не увидишь теперь столь знакомых нам прищуренных глаз штурвального: вместо него ведет судно автомат-рулевой.

Что же вложено советским человеком в эту раму времен — от бурлацкой лямки до управления машинными установками корабля с капитанского мостика? Какой труд, какая изобретательность, сколько знаний, таланта, воли, какая собранность организации народных сил?

Великие планы превращены в великую действительность, и ею словно бы произведена вся дерзость планов. Старая, песенная река наша неузнаваема. Воды ее стали огнем. И огонь ее разливается по всей стране.

Создание единой системы водохранилищ, схожих с морями; создание цепи гидроузлов, которая питает единую энергетическую систему всей европейской России — такова новая эра истории реки, наделенной в сказаниях чародейною мощью.

Нынешнюю сказку о ней в силах рассказать нам только перечисленные мною люди тех познаний, без которых человек не может делать сказки былью.

И, может быть, правда — приспела пора создать большую, умную книгу под именем «Волга»?



## ВЫСОКИЙ ДОЛГ КУЛЬТУРЫ

Я хочу рассказать об эпизоде, который не выходит у меня из головы все последние дни.

Я был недавно гостем в одной семье, где праздновался день рождения хозяйки дома. Это было под Москвой. Виновице события исполнилось сорок лет. Большинство гостей были ее ровесники. Но несколько человек были старше, в том числе ее родители. Из молодежи присутствовала очень милая девушка лет семнадцати — дочь близких друзей хозяйки, которые находились тут же. Словом, за столом сидело три поколения — деды, отцы и внуки. Было весело, не переставали смеяться. Кто-то включил радио.

Вдруг крикнули: «Тише, тише» — и все смолкли. Раздался голос: «Слушайте, слушайте, говорит Москва...»

Это был голос, звук которого мгновенно узнали все старшие — все, кто хранил его в глубине памяти, все, кто изо дня в день слушал его на протяжении почти полных четырех лет, все, кто внимал этому голосу, пока длилась Великая Отечественная война Советского Союза, — голосу особого тембра, чем-то напоминающего басовые гитарные струны.

Все, кто сидел за столом, поднялись, и поднялась со старшими младшая — та семнадцатилетняя девушка, о которой я сказал. Диктор читал известие, прочитанное им ровно двадцать лет назад, 9 мая 1945 года, — читал снова 9 мая 1965 года, о том, что война окончена, что гитлеров-

ский фашизм повергнут, что полная победа над ним, достигнутая неисчислимыми жертвами, дарует наконец всем народам мир и свободу.

Старшие, затаив дыхание, слушали. Младшая смотрела на них. Голос диктора и слова его были ей новы. Она, конечно, знала о празднике Победы — его торжественно отмечала вся страна. Но она с нарастающим изумлением переводила глаза с одного лица на другое и не узнавала их. Она глядела на мать и видела, как по ее щекам бегут слезы. Глядела на отца — лицо его побледнело, пальцы дрожали. Волнение каждого, на кого падал ее взгляд, казалось ей невообразимым: все эти хорошо известные ей люди никогда прежде не были такими, как сейчас. Почти все лица были в слезах и настолько изменились, что она не могла их признать.

И когда диктором была объявлена на весь Советский Союз минута молчания памяти жертв войны и радио смолкло, тогда широко открытые, яркие глаза девушки остановились.

О чем могла она думать в этот миг? Что тогда чувствовало это семнадцатилетнее нежное существо? В тот миг девушка впервые душой и телом ощутила всю меру страданий, боли и утрат, какую вынесли ее близкие в трагическое четырехлетие войны. В тот миг она поняла всю меру гордости старших, рожденной сознанием, что они выполнили славный долг перед младшими, свой долг перед будущим.

Не буду говорить, что слышу в своем сердце, вновь и вновь вспоминая эти минуты за семейным праздничным столом под Москвою. Скажу только, что повсюду на необозримых пространствах нашей страны, в каждой советской семье традиционные эти минуты передали суровую, умную память дедов и отцов о минувшей мировой войне взволнованным детям и внукам.

И это прекрасно!

Веймар — идеальное место для встречи писателей.

На Востоке и Западе это слово — Веймар — счастливо звучит как памятник той национальной культуре, которая обращена к разуму не только немецкой нации, но и к разуму всех других наций. Веймар — это завещание человечеству беречь достоинство человека повсюду на земле.

В 1945 году я летел над дорогами оконченной войны.

Впрочем, можно ли так сказать — «дороги войны»? Есть ли у войны дороги? Дороги к войне есть. Мы знаем, как войны оканчиваются. Но это не значит, что мы позабыли, как они начинаются. Мне кажется, одна из лихорадочных задач подготовки новой войны — это задача отшибить память о предшествующей. Я имею в виду — отшибить, уничтожить верную память и внушить лживую. Гудроном лжи мостятся дороги к войнам. И сейчас мы опять ощущаем удушливую вонь этого гудрона все сильнее... Но я начал не о подготовке войны. Оконченная война мало оставляет после себя дорог.

Итак, я летел над разрушенными дорогами России, Белоруссии, Польши. Я видел руины, каких не знало мое воображение. Я прилетел в Берлин и увидел былой город, превращенный в кучи щебня черной волей убийцы, который приказал кроваво сопротивляться, когда его бешеное дело уже рухнуло безнадежно. Весь мир казался если не погребенным, то укутанным в непроницаемый траур.

Первый вопрос мой к берлинцам был такой: Веймар цел? Никто не мог ответить. Слухи были противоречивы и чаще — самые мрачные. Я отправился в Нюрнберг — в город, который был одной из крещенских купелей гитлеризма и стал его Страшным судом. Нигде на моем пути я не мог с точностью узнать — цел ли Веймар? Только в Тюрингии встретились люди, сказавшие мне уверенно: «Да, к счастью, Веймар цел».

Медленно, трудно происходило воскресение надежды на новую жизнь в Германии. И позже мне не раз приходилось убеждаться, как город духовной славы немецкой истории — Веймар — одним своим существованием помогал передовым силам страны верить в будущее и возводить окрепшими руками его здание.

Огненной вспышкой такой веры в народ и его будущее осталось в памяти рукопожатие великого эпика немецкой классики Томаса Манна с прославленным поэтом революционной Германии Иоганнесом Бехером в дни юбилейного чествования Гете в Веймаре.

Вечный памятник немецкой истории начал новую свою жизнь вместе с историей Германской Демократической Республики.

С тех пор мне выпадает изредка радость — подышать воздухом города, который, «к счастью, цел». Эти строки

я пишу в Веймаре, обращая их к вам, дорогие коллеги по литературному труду.

В чем вижу я смысл нашей большой интернациональной встречи писателей?

То, что мы называем культурой, включает в свое понятие феномен человеческой памяти. Само по себе материальное наследие не могло бы сохраниться и передаваться поколением, если бы оно не было воодушевлено духовными целями деятельности человека. Устраните из культуры нравственные, идейные уроки пройденных веков — и ее судьбою будет умирание.

Говорят: у людей короткая память. Эта несложная мудрость на руку тому, кто ведет войну против памяти. Но на свете существует письменность, существует книга. И не однажды было сказано, а на днях сказано особенно хорошо одним из инициаторов нашей встречи — превосходным мастером немецкой прозы Арнольдом Цвейгом, — что литература помогает человечеству хранить память. Искусство писателя, посвящаемое жизни, — неотделимая составная часть культуры каждого народа, культуры человечества. Передавать поколениям опыт человеческой истории, запечатлеть его образными средствами художника — будь он поэтом, романистом, драматургом, — в этом долг писательского призвания и высочайшая обязанность литературы.

Прислушаемся, что говорят люди науки об угрозе в печальный час рождения оружия новой войны, тень которой начинает застилать небо. Если голоса народов вовремя не прогремят свое могучее — «нет!», то цветущая наша земля испепелится в войне.

Кто поможет объединить голоса народов в такой могучий хор, чтобы остановить смерть во славу жизни? Прежде всего — люди культуры, потому что культура всегда и всюду творит жизнь. Чье слово среди людей культуры раздастся громче и услышится дальше всего? Книга и радио, театр и кино, пресса и телевизор — вот стихия современного писателя. Его искусство проникает в каждый дом, в каждую семью. И больше того — оно проникает в сердце человека.

Пусть же первым словом писателя навечно будет слово «мир».

С этим словом мы расстанемся друг с другом, благодарные немецким писателям за то, что они доставили

нам счастье дружеской встречи. Мы разведемся по пятидесяти странам, писатели которых здесь представлены, и каждый на своей родине скажет своим искусством доброе и твердое слово художника в защиту человека и человечности от войны.

Счастливого пути на родину, дорогие друзья, и счастливой борьбы за разум, против помрачения!

*1965*

# ПРИЛОЖЕНИЕ



**ПЕРЕПИСКА К. А. ФЕДИНА  
С А. М. ГОРЬКИМ**

**1920—1936 годы**

**ФЕДИН—ГОРЬКОМУ**

Петербург, 28 янв[аря] 1920

Алексей Максимович,  
просьба, с которой я обращаюсь к вам, — не прихоть и не случайность. Внутренний голос, толкающий меня написать вам, сломил в конце концов возражения, которые нашлись у меня против, и я сдался. Я чувствую, что выходит нелепо, как нелепа всякая откровенность, которой никто не ищет, но не могу начать иначе. Я избрал именно этот путь — письменное обращение, — чтобы, не отнимая у вас времени больше, чем вы захотите уделить, дать сложиться вашему мнению независимо от тех или иных качеств моей личности.

Начиная с юношеских лет, я не только мечтаю о литературной работе; я учусь, работаю, достигаю. Но вся моя жизнь сложилась до сих пор так, что я ни разу не встретил оценки моих способностей, оценки, которой я мог бы поверить и которая была бы для меня решающей.

О такой решающей оценке я и прошу вас.

Воспитав себя в мысли, что я — беллетрист, я иду ощупью, то отчаиваясь, то загораясь уверенностью, производя эксперименты, бросаюсь из стороны в сторону. У меня нет и не было живого учителя, который сказал бы: вот это — дрянь, а это — хорошо.



Мне кажется иногда, что мои рассказы — публицистика... и, может быть, я должен искать себя в ней?

В дни отчаяния чувствую я, как вот-вот готова рухнуть вера моя в себя — писателя. Но она вспыхивает помимо моей воли всякий раз, как только воображение дарит меня новым образом. Здесь не может быть врача, и я не ищущу исцеления, потому что в этих падениях и взлетах и есть восторг работы. Но мне нужно, необходимо нужно знать, где, в каком направлении и как должен я искать себя.

И я почему-то уверен (и эта уверенность заставила меня сесть за письмо), что вы можете помочь мне, сказав, что у меня скверно и в чем могу я достичь хорошего.

То, что я посылаю вам, — не лучшее, но и не худшее из моих работ — мое обычное (рассказы «Прискорбие», «Дядя Кисель» и статья «И на земле мир»).

О том, что они скажут вам, прошу вас дать мне знать письменно или как найдете удобнее.

Примите уверение в искренней любви к вам.

*Константин Федин.*

10-я Рождественская, 14, кв. 18.

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

*1 июля 1920. Петербург*

Дорогой Алексей Максимович,

недаром вы советовали мне не зарекаться: почти два месяца прошло с тех пор, как был я у вас последний раз и обещал не показываться на глаза иначе, как с законченной частью своей драмы. Признаться, нарочно связал себя таким словом в надежде подогнать в работе, потому что знал, что увидеть вас потянет очень скоро. Может, об этом не нужно бы лучше говорить, но ведь и за это письмо сел я, уступая все той же потребности говорить с вами, потребности, преобороть которую не в моих силах. Последнее время был даже рад, что вы отсутствовали из Петрограда. Иначе непременно пришел бы к вам. Прийти же боялся не потому, что дал глупое слово не являться, пока не напишу своего «урока», а потому, что знал, что, придя, непременно начну с того, почему не исполнил урока, и получится что-то жалостное, словно пришел на судьбу поплакать.

В то же время страшно хочется дать вам знать, что работа моя не канула в Лету, а по-прежнему волнует и занимает меня. Даже, пожалуй, еще больше волнует, чем прежде, потому что взглянешь на исчерканные листы, подумаешь, что и *сегодня* не прикоснешься к ним, как вчера, третьего дня, и такое найдет, что хоть головой о стенку бейся.

И как же тут не поплакать на судьбу! Газетная работа, которую возненавидел с тех пор, как узнал, пожирает время и силы, подобно тощей фараоновой корове. Все, что внутри меня, тянется к работе иной. Не только сознание того, что писать *надо*, как вы не раз говорили мне, но и негаснущее *желание* писать захлестнули меня какой-то петлей постоянной напряженности, и даже во сне я думаю, как бы урвать минутку для «своей» работы. Но нужно измышлять фельетоны, копаться в провинциальных газетах, читать новые книжки и журналы, по вечерам корпеть над телеграммами, резолюциями, письмами, а по ночам, сплошь и рядом, верстать газету.

Конечно, урвать минутку удастся. Но ведь это — мученье! И иногда так хочется взвыть по-звериному, опуститься куда попадо — на землю, на пол — и вопить, вопить до потери сознания. Этого я боюсь и изо всех сил отучаю себя от «чувствительности».

И все-таки — видите — не удержался, поплакался.

В настроении моем преобладает какое-то странное злорадство, в котором не могу разобраться. Чем больше я занят, чем тяжелее живется мне, тем с большей страстностью отдаюсь я старой мечте своей: стать «настоящим писателем». И тут уверенная радость того, что я могу, доходит до неистовства, и тогда, в горькой обиде на несвободу свою, я готов кричать назло всем препонам, тяготам и нужде:

— Наваливайтесь, давите его, ни воздуха ему, ни передышки, выдержит, живуч!..

Должно, и правда — выдержу.

Хочется скорее довести задуманную часть работы до конца. Часть эта («Бакунин в Дрездене») состоит из двух сцен, первую из которых я теперь заканчиваю. Решил обойтись (в этой части работы) без книги, на которую возлагаю большие надежды и которой пользовались все биографы М. А. Бакунина (Max Nettlau, «Michel Bakunin»). Здешняя публичная библиотека свой единственный экземпляр этого сочинения отослала в Москву. В конце мая, пользуясь отпуском, ездил туда, но и в Румянцевском книги Неттлау не оказалось. В дальнейшем без нее не обойтись, да и теперь, думаю, знакомство с ней могло бы во многом помочь мне.

Вот написал вам, дорогой Алексей Максимович, и от одной этой мысли хорошо стало. Теперь буду жить надеждой, что скоро кончу работу и отдам ее на ваш суд. Пока же примите уверения в моей глубокой любви.

Преданный вам

*Константин Федин.*

В редакцию «Северного сияния»<sup>1</sup> заходил всего один раз, не застал там никого, а после не выбрал времени. Думаю, что это дело терпит.

*К. Ф.*

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Петербург. 1921, 17 марта

Дорогой Алексей Максимович!

Пишу вам потому, что мои старания увидеть вас в последние дни были безуспешными, и потому, что я слышал, что вы опять уезжаете в Москву.

Начну с самого важного для меня: прошу о дальнейшей поддержке моего «Бакунина»...

Мне как-то стыдно благодарить вас за то, что вы сделали для меня. Когда я думаю об этом, мне кажется, что вы должны очень устать от частых, вероятно, выражений признательности. Но не чувствовать в душе глубочайшей благодарности я не могу — это мое состояние, — и мне хочется хоть раз сказать вам об этом.

Над «Бакуниным» я работаю все время с таким чувством, что вы «помогаете», и теперь так нужно, чтобы труд во что-то воплотился, чтобы что-то осуществилось.

Если можно, сделайте так, чтобы «Бакунин в Дрездене» был поставлен в Москве или здесь (лучше здесь: хочется работать и дальше, в театре — ведь это — «воплощение»). Все несчастье в рукописях. Неужели они не нашлись? Сейчас у меня только первый список первого акта (вернул К. И. Чуковский); первый список второго акта вы брали с собой в Москву, а второй список обоих актов — всю пьесу, с постановлением ПТО — передали, кажется,

---

<sup>1</sup> «Северное сияние» — журнал для детей, выходивший в Петрограде с февраля 1919 г. по декабрь 1920 г. под редакцией Горького. Федин в журнале не печатался.

Марии Федоровне<sup>1</sup> еще в январе. Если рукописи не найдутся и если будет нужно, — напишу новый экземпляр от руки.

Прочитав первый акт, вы говорили мне, что находите нужным напечатать его. Вашего мнения о втором акте я так и не узнал (письмо ваше из Москвы, на мое горе, затерялось бесследно).

Может быть, следовало бы издать пьесу отдельной книжкой: эта часть — совершенно самостоятельное целое. И если да, то могли бы я просить вас написать к пьесе короткое предисловие? На эти вопросы скажите мне что-нибудь до отъезда в Москву, если найдете время.

Насчет «Нашего журнала» я писал Г. Сухановой, но пока не получил никакого ответа, а без него нет уверенности даже в том, живо ли намерение издавать журнал. Не откажите, дорогой Алексей Максимович, сказать Сухановой, что я жду повелений редакции.

Желаю вам всего доброго.

Ваш Константин Федин.

Адрес мой: Стремянная, 16, кв. 12.

Телефоны: от 12 до 4-х — 2.65.10,

после 5-ти — 2.46.27.

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Петербург, 28.VIII 1922 г.  
Литейный, 33, кв. 13

Дорогой Алексей Максимович.

Весной этого года послал вам предлинное письмо, рассказав о всех Серапионах. Оказывается, вы не получили ни этого письма, ни книжки моей, ни писем других Серапионов. Шлю вам «Бакунина в Дрездене» и «Сад» — это все, что удалось выпустить отдельным изданием. В Москве, в только что возникшем издательстве «Круг», куда входят от Серапионов Все[олод] Иванов, Ник[олай] Никитин и я, в конце года выйдет первая моя книга рассказов «Пустырь». В нее включаю и повесть «Анна Тимофеевна» — сравнительно большую «историю одной жизни», которая будет напечатана сначала в альманахе «Круга». В «Круге» печатаются все Серапионы.

---

<sup>1</sup> Мария Федоровна Андреева с 1918 по 1921 г. была комиссаром театров и зрелищ Союза коммун Северной области, то есть театров Петрограда и пяти примыкавших к нему губерний.

Изд[атель]ство большое, и мы связываем с ним много надежд. Совсем было наладилось дело с изданием в Петерб[урге] серапионовского журнала, но в последний момент затею пришлось отложить, как ни странно — не из-за денег. Журнал, по-видимому, все-таки будет.

Точно сговорившись, все мы засели за «романы». Всеволод работает сразу над двумя — «Голубые пески» и «Ситцевый зверь» (первый печатается в «Кр[асной] нови»), Слонимский пишет фантастическую авантюру из революционной поры, Зощенко — цикл рассказов «Записки бывшего офицера», я — роман о войне и революции. Каверин (Зильбер) продолжает гофманианить, пересадив своих советников, мастеров и студентов на новгородско-московскую почву. Луниц написал новую трагедию, но не читал еще нам — выдерживает в столе.

Только один Никитин ездил этим летом «в вояж за впечатлениями», на Урал. Остальные побывали в пригороде, Москве, на даче. Не собирались, т[аким] обр[азом], всего две субботы и теперь серапионим нормально.

К сожалению, невозможно рассказать вам в письме, какая игра закрутилась вокруг братства, как трудно бывало иной раз сохранить спокойствие и как, в сущности, удивительно, что мы не поползли каждый по особой дорожке, а продолжаем жить и работать скопом. Не знаю, но кажется, не было в России ни одной литературной группы, которая держалась бы так долго на одной дружбе (школы бывали, «направления» — тоже, но ведь у нас ни школ, ни направлений!). Все это радует и бодрит. Думаю, что через год все мы обрадуем вас, дорогой Алексей Максимович, каждый посвоему, хорошими книжками: на предстоящую зиму я крепко рассчитываю.

Еще о нас и о себе. Всех нас изумительно связало наше братство и взаправду сроднило. Все прошли какую-то неписаную науку, и науку эту можно выразить так: «писать очень трудно». Об этом как-то и все и всегда говорят. И это, думаю, верно. Я, по крайней мере, чувствую это болезненно, мне писать трудно и особенно трудно после того, как я сдружился с серапионовцами. Вот только *на деле* не решено для меня: *просто* ли писать трудно (Толстой) или *мудрено* (...Пильняк) и не есть ли «трудность» искусства результат борьбы мудрености с простотой? Все такие вопросы приходится разрешать буквально на своей шкуре, на работе, бесконечно пробуя, нащупывая и примеривая. До сих пор я был не только убежден, но и видел (на работе), что содержание обусловливает свою форму произведения. Но в таком случае, чего ж я бьюсь над поисками формы (не над ее выделыванием), когда у

меня есть тема, сюжет, какая-то музыкальная наполненность, словом — содержание. Очевидно, одно и то же можно сказать по-разному. А раз так — как идти, чтобы не сорваться в пропасть?

Я знаю, что в конечном счете все эти рассуждения выеденного яйца не стоят и что получится все само собой, выйдет, произойдет. Но на работе изо дня в день брать барьеры подобных сомнений и колебаний утомительно. И иногда мне кажется, что Серапионы помогают мне преодолевать препятствия, иногда — мешают. Но все дело в том, что этих препятствий было бы у меня куда меньше, если бы не Серапионы! А это хорошо.

Вам уже писали Всеволод и Слонимский, и вы, наверно, знаете, как мы были рады вашему письму. Так хорошо, что вы помните нас, пишете и впрямь.

Желаю вам всего доброго, жму руку. Как ваше здоровье?

Ваш *Конст. Федин*.

Здесь был, проездом на родину, Соколов-Микитов, рассказывал много. Говорил, что вы едва ли скоро вернетесь. А вас здесь ждут давно и крепко.

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

(Saarow (Mark)  
Штамп отпр. 27.III 1923г.)

*К. Федину*

Очень обрадован всем, что вы пишете о себе — и как пишете — о той душевной связи, которая скрепляет Серапионов. Ваша дружба — это, действительно, оригинальное, и ценное, и небывалое явление в литературе. Таланты столь разнообразные, так резко различимые — вы связаны не «тенденцией эпохи», не общностью философии, не «школой», наконец, а — видимо — чувством крепкой дружбы, углубленным — как мне хочется думать и как это, вероятно, и есть — чувством искренней дружбы, углубленным общим для всех вас серьезным и любовным отношением к священному делу искусства. Не разрывайте этой связи — вот самый дельный совет, который может дать вам всякий человек, который внимательно присмотрится к вашей работе и честно оценит ее крупное значение. Дружба — чувство, плохо развитое в России, и если вам удастся надолго сохранить его, оно будет и вам взаимно полезно и другим покажет нечто необычное. Держитесь крепче!

Волнующий вас лично вопрос: как писать? разрешается временем и любовью к делу писания. Толстой? Его «простота» давалась ему — вы знаете это — тяжелым упорным трудом. Пластичность, скульптурность его письма очень не «проста». Еще более «прост» другой великомученик слова — Флобер.

Да, Пильняк пишет «мудрёно», но — я очень не советую обращать на него внимание. Он весь — из Белого и — немножко — от Ремизова. Пильняка как такового еще не видно. И — не надеюсь увидеть, прочитав его фокусническую «Метелицу» — вещь совершенно мертвую. Белый — человек тонкой культуры, широко образованный, у него есть своя оригинальная тема, ее, пожалуй, другим языком и невозможно развивать, он требует именно того языка, тех хитросплетений, которые доступны и уместны только для Белого. Ремизов — человек, совершенно отравленный русскими словами, он каждое слово воспринимает как образ, и потому его словопись безобразна, — не живопись, а именно словопись. Он пишет не рассказы, а псалмы, акафисты.

Пильняк — странно говорить о нем рядом с этими — Пильняк же — пока — имитатор, да еще и не очень искусный. Имитирует грубовато, ибо — не культурен и не понимает всей глубины и сложности образа. Он — больше выдумывает, чем чувствует. Белый же чувствует нечто, что даже и всей роскошью его слов, всей змеиной гибкостью языка его — выразить трудно. Нет, Пильняка вы оставьте, вы не меньше его, поверьте-ка!

Но — не поймите, что я рекомендую вам Белого или Ремизова в учителя — отнюдь! Да, у них — изумительно богатый лексикон, и, конечно, это достойно внимания, как достоин его и третий обладатель сокровищами чистого русского языка — Н. С. Лесков. Но — ищите себя. Это тоже интересно, важно и, может быть, очень значительно.

«Писать очень трудно» — это превосходный и мудрый лозунг. Не отступайте от него, и — все пойдет хорошо. С этим лозунгом — один и верный путь — к совершенству. И — позвольте дать вам — всем — грубый, но добрый совет: не очень подчиняйтесь литературным «отцам» и «старшим». Лучше самим ошибиться, чем повторять ошибки других, хотя ошибки всегда поучительны. История человечества суть история разнообразнейших ошибок его, и было бы всем нам легче, если б они остались неповторяемыми — на страницах книжной истории. А в жизни — можно сделать другие, более веселые, менее глупые и кровавые.

О Зильбере. Вот увидите, что этот чудотворец весьма далеко пойдет, — его фантастика уже и сейчас интереснее и тоньше Гоголевых подражаний Гофману.

С трепетным нетерпением жду книжку Зощенко. Ваши две — «Сад» и «Бакунина» получил, сердечное спасибо вам за милые и лестные надписи.

Письма от вас — не получал, кроме того, на кое отвечаю. Вообще же — спасибо вам. За границей — скверно, ибо она медленно, но неуклонно изгибает, но — тем очень хорошо, что здесь напряженно думается по всем «большим» вопросам. Ибо — все здесь наго, все бесстыдно и жалостно обнажено. Жму руку вам и всем мой сердечный привет.

*А. Пешков.*

Скажите Лунцу, чтоб ответил мне.

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Петербург, Литейный, 33, кв. 13.  
7 апреля 1923

С месяца на месяц откладывал я ответ на ваше письмо, дорогой Алексей Максимович; все ожидал выхода своей книжки. Наконец она вышла. Высылая ее вам теперь, я не испытываю того чувства, с каким сделал бы это прошлым летом, когда только что закончил «Анну Тимофевну» и — как всегда — думал, что закончил хорошо. И хотя к тому времени мне уже успело разонравиться начало, но я еще крепко верил, что удался конец. Теперь эта вера пошатнулась, и мне еще больше нужен ваш отзыв. Судя по письму к Слонимскому, он будет нелестен — этот отзыв, — потому что упрек в небрежности, с какой теперь работают молодые писатели, отнесен вами и ко мне. Уверяю вас, Алексей Максимович, я не повинен в общем грехе: повесть в 4 листа писалась с октября 21 г. до июня 22-го, т. е. больше полугода, и за это время я почти не писал ничего другого. При всем том она может быть плохой повестью. То, что вы относите за счет небрежности, я считаю неумением или плохим знанием слова. Мне иной раз кажется, что неудачная фраза в моих рассказах — скорее результат неуверенности в себе, боязливо-щепетильного отношения к языку, нежели — небрежность или спешка. Я так часто озираюсь, так долго ищу, что впадаю в манерность, в изысканную нарочитость. И тут вечный вопрос о простоте в искусстве или простоте искусства — об этом я писал вам, так же как и о том, что «писать трудно». Трудно, конечно, не потому, что всю жизнь надо учиться, а потому, что вся жизнь насыщена ежечасными влияниями школ, теорий, приемов, наконец — живых людей. Нужна какая-то китайская стена, чтобы оградить



свою душу, сознание, сердце от этих влияний. Борьба с ними не всем по плечу, а иногда всем не по плечу. То, что вы заметили на альманахах «Круга», мы видим здесь ежедневно на бесчисленных более мелких примерах — во всех журналах, листках и листишках: повальное подражание, заимствование, просто плагиат. Люди торопятся, скачут через головы, хватают, рвут друг у друга — слова, названья, манеру, стиль. Самая граница между «можно» и «нельзя» давно стерлась, и я — к примеру — по опыту знаю, как небезопасно делиться с нынешними литераторами своими планами и намерениями: обойдут на голову у самого старта! После долгого перерыва настал час «делать себе имя», и его делают, пока не поздно. Тут, конечно, не до тонких чувств — «валяй пиши, валяй, знай поваливай, валяй!». В нашем положении (я говорю о Серапионах) страшнее всего, пожалуй, то, что влияния идут не по прямой (то есть стилистика и тема одного писателя воздействуют не прямо на стилистику и тему другого), а просачиваются какими-то нелитературными путями. Хаотичность, раздерганность, торопливость, малограмотность нынешней московской литературы сами по себе не могли послужить образцом для разборчивого и строгого Петербурга. Но успех этой литературы, спрос на нее в Москве, которая теперь буквально кормит нас, постепенно стирают в литературе следы петербургской традиции. Работать в этих условиях тяжело. Нужны большие силы и большое, веское слово, чтобы что-нибудь противопоставить коломенско-московской разнузданности. Здесь не на кого опереться, не к кому взывать. Каждый действует за свой риск и страх, заботясь меньше всего о литературе, по неразумению или запальчивости величая себя литераторами.

Дорогой Алексей Максимович, здесь, в полунасмешку, зовут меня «академиком». Может быть, за то, что я не преступил заповеди: «не пожелай жены ближнего твоего...» — не только не подражал, но почти не прикоснулся к теме, с которой все мои одноклассники давным-давно обвенчались, — к современности. В «Анне Тимофевне», да и во всем «Пустыре», я отгораживался от нее умышленно, ожидая «своего времени». Что из этого получилось, каков «Пустырь»? Жду с нетерпением вашего отзыва.

С прошлого лета работаю над романом, который начну печатать не раньше осени. Речь веду о плене в Германии, о революции в уездной России, о том, что видел и что знаю. Знаю, конечно, «по-своему». Но не будьте так строги, как к моим штукатурам, которые сведущи в малярном деле: право же, Вольск (Сарат[овской] губ[ернии]) славится штукатурами-малярами! Это вовсе не пыльниковские «соски и сбски».

Прошу вас еще об одном. Я получил предложение от «Книгоиздательства писателей в Берлине» дать им для отдельного издания «Анну Тимофевну» и для переиздания — «Пустырь». Следует ли давать? Что за авторы участвуют в этом издательстве? Посоветуйте.

Можно ли прислать вам одну-две главы из романа до напечатания, чтобы вы просмотрели?

Лунц просил меня сказать вам, что «Вне закона» напечатано в России не будет. «Бертран» уже опубликован.

Вс. Иванов уехал в Крым, Слонимский собирается тоже на юг, Лунц получил заграничный паспорт, Никитин едет с Пильняком в Лондон, Каверин с молодой женой пропадает где-то в Псковской губернии, — все распозались. Один я сижу смирно и грузно: ращу дочь и умиляюсь своими отеческими чувствами.

Сердечный привет вам и Владиславу Фелициановичу<sup>1</sup>,

Любящий вас *Конст. Федин.*

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

(Сорренто. 6 июля 1924 г.)

Дорогой Федин, я получил письмо от Слонимского, он предлагает мне написать статью о Лунце. Я уже пробовал сделать это, — но — не сумел. Не вышло. И — вижу — не выйдет. Не знаю почему. Принужден отказаться от участия в сборнике и сожалею об этом.

Я мало знал, мало наблюдал Лунца, но мне он и лично нравился — своей скромностью, серьезностью, и как на литератора я возлагал на него большие надежды. Талант чувствовался в том, как он смотрел на людей, в его хороших глазах. Какая бессмысленная смерть!

Как живете вы, что делаете? Давно уже не имею писем ни от одного из вас — впрочем, на днях писал Зильбер, но, так сказать, «деловое» письмо, не о литературных работах ваших, что меня глубоко интересует. Может быть, вы напишете, что делается вами и другими Сер[апионами], в каком вы — и друг[ие] [отношении] — к «Русс[кому] современнику», кто такой Леонов, нет ли новых «начинающих» и т. д.?

Буду очень благодарен. Жму руку.

*А. Пешков.*

6.VII.24.

<sup>1</sup> В. Ф. Ходасевичу.

Ленинград, 16.VII.1924  
Литейный, 33, кв. 13.

Дорогой Алексей Максимович,  
только что распечатал ваше письмо и — как всегда, когда прикасаюсь к чему-нибудь связанному с вами, — разволновался. Это очень хорошее чувство, и приходит оно очень редко. Я отодвинул в сторону свой роман, который начал угнетать меня, и *бросился* писать вам. Наверно, у меня сейчас смешной вид: я сижу один в пустой громадной квартире и улыбаюсь. Письмо выйдет глуповатым, но мне хочется как-нибудь передать вам мое взволнованное хорошее чувство.

Я собирался сто раз написать вам и все откладывал. Хотелось «выступить отчетно», рассказать о том, что сделал за эти годы, и «приложить документ» — книжку. Вообще — похвастаться. Ну, о себе — в конце.

Жалко, что вы не можете написать о Лунце. Мы собирались выпустить небольшой сборник статей о нем, чтобы отметить его значение для молодой — «начинающей» — русской литературы. Ваша статья предназначалась для этого сборника. Лунца никто не заменит. Не только для Серапионов. Ведь Серапионы — малая толпа в новой пажити «братьев» по искусству. Все они слушали с любовью неистовые призывы Лунца к новой сюжетной повелле, к новому романтическому театру. Я прилагаю к этому письму заметку, написанную мною в тот день, когда пришло известие о смерти Лунца. В ней мне не нравится предпоследняя фраза. В тот момент, когда на нас свалилась эта смерть (странно, мы ждали ее со дня на день, но она все-таки ошеломила нас), мне казалось, что она сплотит нас. Но это случилось, может быть, на один вечер. Конечно, каждый из нас переболел по-своему утрату. Но мы связаны теперь прошлым и личной дружбой, а не той литературной порукой, которая скрепила в свое время братство. Мы не распались, потому что Серапионы существуют вне нас. Одно это имя, живущее своей жизнью, держит нас вместе, помимо нашей воли, а для некоторых и против воли. Вероятно, так когда-то некоторых писателей держало вместе имя декадентов или символистов. Ведь не случайно, что мы не сумели выпустить больше одного серапионовского альманаха, в то время как каждый из Серапионов издал по две, по три, по десяти книг. И даже смерть кого-нибудь из нас, как смерть Лунца, вырвав из жизни личного друга, вырвав брата, ничего не изменит в «литературном обществе Серапионовы

братья». Это общество дифференцировалось, братья стали подрастать, приобретать привычки, оттачивать характеры. Мы часто бываем вместе, мы любим бывать вместе, но наши встречи обусловлены привычкой, дружбой, необходимостью, но не потребностью. Потребность жить и работать в братстве исчезла с условиями и романтикой голодного Петербурга.

Я говорю обо всем этом с болью, как скажут вам об этом Слонимский, Зощенко, Каверин, Тихонов, сказал бы Лунц. Для Никитина Серапионы были только трамплином. Всеволод в глубине души относился к нам не как к братьям, а как к сыновьям.

Это — не панихида. Я верю в Серапионов. Каждый из нас или все вкупе что-нибудь сделаем в литературе. Мне просто грустно, что мы... что я не могу написать вам: Серапионы крепнут с каждым часом!

Теперь по очереди обо всех.

Слонимский выпустил новую книгу — «Машина Эмери». Для него — новые темы, новый материал. Он увлекся «производством», второе лето ездит в Донецкий бассейн. На днях вернулся в Петербург, привез кучу записей, сел писать. Начал роман. Каверин пишет тоже роман, впервые делая попытку ввести в рассказ русский живой материал и почти отказываясь от схематики. Сюжет, конечно, авантюрный. Зощенко вынужден по-прежнему писать для юмористических журналов. Это ему, очевидно, вредит, он устал, износился. В книгу, которую он вскоре выпускает, войдут два новых рассказа в духе «Аполлона и Тамары» — сентиментальные и немного стилизованные. У Тихонова изумительные стихи. Работает он неустанно, добивается, отказывается, идет упрямо и стремительно, как конь. Пастернак, Маяковский уже позади. Он теперь один, на воле, веселый и крепкий. Почитали бы вы в наших журналах, — какое множество появилось «подтихоновцев», — везде и всюду «Баллады». А Тихонов давно уже бросил все эти песни про гвозди, пакеты и отпускных солдат и живет «на доходы» с популярнейших своих прекрасных поэм, над которыми тоже смеется. Жалко, что вы, кажется, не знали Тихонова. Удивительный человек. Всеволод написал еще роман «Северосталь». Судьба этого произведения горька: он переделывал его раза три, а от него требуют новых и новых поправок. К сожалению, никто из нас не читал этого романа. Всеволод живет большей частью в Москве, наезжает сюда редко, летом катается по югу. Говорят, что он написал очень хорошую повесть о похождениях портного — в необычном для него стиле и духе. О Никитине мне лень говорить. Разве что — недавно у него родился сын. Впрочем, еще: он выпустил книжку под названием «Сейчас на Западе», где с легкостью необычайной

рассказывает об англичанах, немцах и бельгийцах, которых он видел из окна вагона и гостиницы в прошлогоднюю свою поездку. Книжка может поспорить разве только с «Английскими рассказами» Пильняка, который тоже съездил в Англию и «изучил» в корне всю западноевропейскую цивилизацию...

К «Рус[скому] совр[еменнику]» Серапионы относятся сдержанно. Он не то чтобы академичен, а как-то сух, строг и в то же время неровен. Есть много напвностей. В отделе критики самые живые люди засыхают, потому что чувствуют накрахмаленное окружение. Пока еще есть надежда на то, что журнал выровняется. Однако... какие же мы «современники» Козьмы Пруткова, Щедрина и даже Андреева? Я дал рассказ «Тишина» для одного из ближайших номеров; пойдет, вероятно, в № 3. Это — единственный рассказ, написанный мною во время работы над романом. Написал я его после жития в Дорогобужских дебрях, в деревне, где еще жгут лучину и верят одним колдунам. Он вышел чуточку старомодным, вроде «Сада». Я отдыхал на нем от тряски и ухабов романа, в котором еще не все отстоялось и многое не отстоится вообще.

Этот роман занимает меня целиком вот уже почти два года. Сейчас я оканчиваю его, в августе сдаю в набор. Выйдет он осенью, сразу книгой. Кое-какие главы будут напечатаны в журналах, но целиком провести роман в журнале не удастся. Название его «Города и годы». Материал — война и — отчасти — революция. На три четверти роман германский: действие развивается в немецком городишке, на фоне обывательского «тыла». Я до такой степени влез в Германию, что сплошь и рядом не пишу, а «перевожу» с немецкого, думаю по-немецки и чувствую. Когда перехожу на русскую землю, к русским людям, к русской речи — испытываю непреодолимые трудности: чужой материал! Я попробовал в этом романе сдвинуть пласты общественного материала механикой авантюрно-романтического сюжета. Но я — не Каверин, не часовщик и не математик, и — вероятно — расчеты мои очень часто неверны: то чересчур много общественности и мало авантюры, то наоборот. Композиция — самая трудная на свете вещь. На первый взгляд в большом романе («Города и годы» будут по объему листов 17) легко спрятать концы в воду, а на деле, наверно, всякая лишняя косточка торчит и выширает корявой стрехой.

Как только выйдет книжка, пошлю вам, дорогой Алексей Максимович, и буду просить о подробном сужденье — оно мне очень дорого:

Леонов — москвич. Я не знаю его. Всеволод говорил, что он — славный парень. Вышло три его книжки: «Петушихинский про-

лом», «Туатамур» и «Деревянная королева». Первая сказ. Вторая повесть о Чингис-хане, сделана *очень* хорошо: рассказ о России, какой ее нашел азиатский победитель, — его словами, сквозь его глаза. Третья — в духе Гофмана, но слабо. Знаю еще о Леонове, что он — зять Сабашникова и что — поэтому — все его книжечки роскошно изданы. Повесть, которая печатается в «Рус[ском] совр[еменнике]», — стилизация мало известной книжечки «Автобиография и стихотворения купца-самоучки М. А. Поликарпова». Я сравнивал «Записки Ковякина» с этой книжечкой. Поликарпов, конечно, разительнее.

В Москве шумит последнее время Бабель. Этот человек был долгое время в коннице, а вернувшись, высыпал целый сундук рукописей и затопил ими московские редакции. От него все в восторге. Кажется, должен быть обижен Зощенко, т[ак] к[ак] Бабель разжижил его и в сказ Синявского ввел одессизмы.

Вот — все, что мне пришло на ум сейчас, под впечатлением от вашего письма. Может быть, что-нибудь и пропустил.

Простите, ради бога, что намазал в письме и начеркал.

Желаю вам здоровья. Как вы чувствуете себя сейчас, на юге?

Любящий вас *Конст. Федин*.

У меня хорошая дочь — Нинка — ей скоро два года. Это — самое главное в моей личной жизни. Ну, конечно, еще роман...

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

К. Федину

Дорогой Федян, спасибо вам за интересное письмо, тоже очень взволновавшее меня и тоном его, и содержанием. «Я говорю об этом с болью», — пишете вы, изображая процесс «оттачивания» характеров в среде Серап[ионовых] братьев. Я прочитал эти слова с радостью, она будет, конечно, понята вами, если я скажу, что процесс «оттачивания» характеров есть процесс роста индивидуальностей, с чем и вы, наверное, согласитесь. Это — положительное явление социальной жизни. Величайшие эпохи возбуждения духа творились, творятся и долго еще будут зависеть от духовной энергии индивидуумов. Итальянское — сиречь общеевропейское — «возрождение» было торжеством индивидуализма. Вам, может быть, покажется парадоксальным взгляд на современную русскую действительность тоже как на возрождение индивидуализма? Но я

думаю, что это именно так: в России рождается большой человек, и отсюда ее муки, ее судороги.

Мне кажется, что он везде зачат, этот большой человек. Разумеется, люди типа Махатма Ганди еще не то, что надо, и я уверен, что Россия ближе других стран к созданию больших людей. Это отнюдь не мешает коммунизму и социализму, а они, в свою очередь, не в силах помешать этому, ибо — тут процесс стихийный, тут как бы совершается создание нового атома, дабы он организовал некое новое психическое существо.

Те стихи Тихонова, которые мне удалось прочесть, рисуют передо мною автора человеком исключительно талантливым, хотя он и пишет иногда плохо, пример — поэма об индийском мальчике. Есть у Тих[онова] изданные стихи? Не пришлет ли он мне? Спросите.

О том, что вы затеяли роман, мне писал Каверин, писал Лунц. Очень жду: что вы сделаете? И очень уверен, что это будет серьезная, внутренне большая вещь.

По вашему письму видно, что вы становитесь «одержимым», обреченным литератором. Чувствуется это и в письмах Слонимского, Каверина. Кстати: его «Бочка» вещь совершенно неслеланная. Он взвешивает свою фантазию в воздухе, и она у него как пылинка в луче солнца, — радужно, а — что это такое? Не поймаешь и не волнует. А если не волнует, значит не совершенно, не поэзия, не красиво и еще сто не.

И не верьте, когда говорят, что будто бы Европа отчего-то и как-то погибает. Здесь идет процесс быстрого отмирания всего, что больше не нужно. А Европа остается — в целом — большим, зорким, умным человеком, который и хочет, и будет жить. То, о чем пишут газеты, только возня политических кашеваров, нечто инертное и автоматическое. А то, о чем они не пишут, — «быт» — являет собою картину удивительного напряжения чувств и мыслей. Говоря «быт» — я говорю именно о комплексе чувств и мыслей, о ненависти и жалости к людям, о чувстве недоумения перед жизнью, о том, что испытывает здоровый человек, пережив кошмар.

Для современности характерен Толлер, который пишет комедию, сидя в тюрьме, и, считаясь коммунистом, нежно любит людей, Шервуд Андерсон, неожиданное явление американской литературы, невозможное десять лет тому назад, старик Гамсун, с его последними книгами, фантастический Пираделло и тот же Тихонов, у которого есть какая-то удивительная черта: он живет бегом и прыгает через все, что ему внутренне мешает.

Леорова я читал две вещи: Ковьякина и «Конец лишнего чело- века». Ковьякин — это все еще «Уездное» и «Городок Окуров», «Конец» — это очень Достоевский. Написал, чтоб мне прислали его книги.

В «Отчете Акад[емии] наук» вы найдете хвалу и благодар- ность некоиm Эстрину и Смотрицкой, они собрали 79 ящиков раз- личных предметов культа и быта островов Индонезии. Я знаю этих людей: он — рабочий, металлист, она — учительница. Бежали от Колчака и четыре года путешествовали, живя — она уроками язы- ков, он — сваривал металлы, а попутно собрали изумительно пол- ную — по словам Академии — коллекцию.

Вот — люди наших дней. Они живут в горах Атласа, в древней Нумидии, в Бразилии и Патагонии, могут жить на луне. Я читаю их письма, вижу, на фотографиях, их донские, кубанские, нижего- родские рожи и, знаете, радуюсь. Удивительный народ. Всё по- глощающий народ. Толк — будет. Так или иначе, а — будет толк!

Еще раз — спасибо за письмо. Очень, очень желаю вам успеха в работе, и здоровья, и маленьких радостей, необходимых всякому человеку, хорошему же — особенно.

Дочь поцелуйте. Я не знаю вашу жену?

Будьте здоровы. И всего доброго.

*А. Пешков.*

28.VII. 24 (Сорренто)

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Ленинград, 7.XII.1924  
Литейный, 33, кв. 13

Дорогой Алексей Максимович, на этих днях я послал вам только что вышедший роман свой «Города и годы». Я сделал это с особой радостью и с особым нетерпением ожидаю от вас отзыва. В сущности, этот роман — все, что я мог сказать об изумительной полосе своей жизни и жизни двух народов, с которыми связана моя судьба. Я припоминаю, как вы однажды сказали о пороке русских литературных произведений: во всех них отсутствует герой. Тра- диция оказалась сильнее меня, и, как ни героична эпоха, о которой я писал, герой мой прочно удержал наследие своих литературных предков. Но я не ставил себе задачей героизировать лица своей



повести, а только хотел показать характер эпохи и стремился сделать это правдиво.

В писательском отношении книга моя — отчет в работе за три последних года. Вот почему я не писал вам о множестве своих литературных волнений, хотя писать хотелось. Я не уверен, что, написав роман, я вышел победителем, хотя бы из части тех сражений, которые приходится вести с вопросом «как писать». Трудности — вновь и вновь — нагромождаются вокруг меня, я ни минуты не знаю покоя, и — может быть, поэтому — мне хочется писать теперь больше, чем когда-нибудь раньше. Ваши слова о том, что я становлюсь «одержимым, обреченным» литератором (вместе с другими Серапионами), я почувствовал как укор. В них большая доля правды, горькой для меня. Я объясняю это тем, что был слишком упрямым в стремлении своем стать «литератором», и теперь, когда добился возможности стать им, упиваюсь литературным ядом. Но это — только объяснение. Я вижу, что жизнь, проходившая прежде через меня, понемногу пошла сбоку от меня. Я помню, как вы, в каждую встречу со мной, поражали меня вашим даром видеть всю жизнь в целом. И я восхищался вашим вкусом ко всему, из чего сложена жизнь. Письмо ваше меня поразило именно этой неумиравшей вашей жаждой все знать. Где-то далеко от России вы слушаете и слышите ее так, как будто бы ни на час не покидали ее. Так здесь, в Питере, вы стягивали у себя на Кронверкском бесчисленные нити со всех концов Сибири, Севера и Юга. Я уверен, что вам пришелся бы по душе Н. Тихонов — действительно, самый мощный поэт наших дней. (Мы недавно слушали его новую поэму о Кавказе «Дорога» — и сходим сейчас от нее с ума.) Он, вероятно, никогда не станет только «литератором», да и сейчас — «литератор» меньше нас всех.

За ваше письмо горячо благодарю вас, дорогой Алексей Максимович. Оно пришло в то время, когда я кончал роман, и — правда — я обязан ему бесконечно многим, как вам вообще. Я не ответил на него тогда же только потому, что не мог ни о чем говорить, кроме как о своей работе. Думал, что исцелюсь, «изгоню беса», да, видно, ошибся, пишу все о том же, простите... Рассчитывал написать потом с Кавказа, где отдыхал месяца полтора. Но Кавказ обленил меня и развратил до крайности. Я не ожидал ни такой пышности, ни такого безделья. Это не страна, а какая-то пастила, и люди там как карамель. И — конечно — это не Россия! Мы там даже не гости, а так, какие-то пассажиры: дышим, пока нас не страхнул под откос возница. Я жил некоторое время в Гудаутах, где к моему дому в сумерки подбирались стаями шакалы и выли всю ночь напролет. Бродил по реке Келасури (под Сухумом),

и был в гостях у честных абхазских разбойников, которые платят налоги на украденные табуны скота. Бывал дважды на Нов[ом] Афоне, где теперь «совхоз» и несколько престарелых монахов в качестве привратников и «спецов» по виноделению, маслинному хозяйству и пр. Остальная братия рассеялась по свету, не пожелав снять рясу, ловит кефаль, торгует на майдане в Тифлисе и просит Христа ради в Туапсе. Живут. Жил я в Тифлисе, Сухуме, Батуме. Юг был для меня неожиданностью, которая потрясла воображение. Но, проснувшись однажды в вагоне, где-то в Орловской губернии (незадолго перед тем я купался в море), и увидев простую, как блюдо, землю, в снегу, под сереньким небом, и черную цепочку подвод, дергавшуюся по первопутку куда-то вдаль от поезда, — увидев это, я внезапно ощутил такую радость, что чуть не заплакал. И потом выскакивал, раздевшись, на каждую станцию, чтобы постучать каблуками по замерзшей слегка земле платформы и вдохнуть крепкий душок молодого снежка. Как хорошо побывать в чужой стране, когда есть своя!

После этой поездки мне стало веселей житься. Но было бы еще лучше, если бы мне удалось совершить какое-нибудь дальнее плавание. И тут мне приходит на ум, что вы могли бы помочь мне выбраться в Италию. Дело в том, что в мае будущего года во Флоренции состоится вторая международная книжная выставка, в которой примет участие и Гос[ударственное] изд[ательство], в лице Ионова. Ионов теперь заведует всем Г[осударственным] изд[ательством] (Моск[ва] влилась в Петербург). Может быть, вам возможно будет замолвить слово Ионову о том, чтобы он командировал меня во Флоренцию для устройства отдела прозы, поэзии и истор[ии] литературы в русском павильоне? Эта мысль, впрочем, пришла мне в голову только сейчас, за письмом, и я не знаю, стоящая она или нет. Прошу вас, дорогой Алексей Максимович, не отзываться на нее вовсе, если это почему-нибудь неудобно. За границу рано или поздно я выберусь.

Шлю вам самый искренний привет, желаю здоровья. Здесь было много противоречивых сведений о вашей болезни. Что с вами? Жена кланяется вам. Вы можете помнить ее: она служила у Гржебина — Дора Сергеевна Александер, — грещала на ундервуде. Она передала вам мои рукописи, после чего вы и узнали обо мне.

Еще раз — всего доброго вам, главное — здоровья.

Ваш *Конст. Федин*.

К. Федину

Дорогой сотоварищ, получил «Города и годы», благодарю вас! Книгу прочитал сразу, «в один присест», затем, с удовольствием, прочитал сегодня еще раз. Интересная книга и сделана интересно, местами очень чутким художником, но иногда задумываешься: не соблазняет ли вас Эренбург, этот нигилист на все руки и во сто лошадиных сил. Это — там, где вы, подчеркивая немецко-мещанскую тупость и фетишизм «дисциплины», прибегаете к плакатам, но не там, где у вас моют улицу. Улицу моют превосходно. Вам, художнику, мешают — на мой взгляд — иронические отступления; ценности их я не отрицаю, но — против излишества.

Очень хороша фигура Лепендина, а его песенка — превосходна! Так же хороши Покисен и Голосов. В общем — удачная книга, и я вас от всей души поздравляю!

Но позвольте указать на некоторые неточности языка, например: стр. 13 «треснутый» лист железа, 71-я «не похитимый патент», 309 «колче холод» — это все сомнительно, 326 «визжал, как зарезанный» — визжать зарезанному не полагается, недорезанному — да!

От этих шатких словечек лучше избавиться.

В «Анне Тимофеев» у вас: «жутко ей от носящейся в снежных саванах головы вихрастой» — здесь двусмысленность, спутаны глаголы носиться и относиться.

Есть у вас и такая фраза, в точках:

В «умятый снег вросли тупоносые, круглые валенки, — неподвижны парни, молчаливы».

От этих неуклюжестей в новой книге вы избавились, язык ее богаче, красивей и точнее, и вообще она звучит более «культурно», чем множество других современных книг, более «европейски».

С печалью вижу, как мало обращает внимания молодежь на язык, стремясь не к пластичности фразы, а к фигурности ее, редко удивляя и почти никогда не убеждая.

Очень подкупает в вашу пользу серьезность намерений ваших и мужественное отношение к фактам. И очень я рад за вас.

Будьте здоровы, пишите больше.

Крепко жму руку.

*А. Пешков.*

13.XII.24. Город Сорренто

Р. С. Мордва хороша. Шенау — тоже. Откуда вы знаете мордву?

(Сорренто) 20.XII.24

Дорогой дружище, три, четыре дня тому назад я послал вам письмо по адресу Госиздата, заказным. Сейчас получил ваше.

Меня искренно радуют ваши слова: «хочу писать теперь больше, чем когда-нибудь ранее». Это — очень хорошо! В моих словах, что вы становитесь «одержимым, обреченным» литератором, — не было скрытого укора, вы ошибаетесь. Одержимость, обреченность — неизбежна, необходима для человека, который всем существом своим любит дело и предан ему. Именно вот эта «одержимость» и создает таких монолитных людей, как Пушкин, Достоевский, Шелли и Лермонтов, Ленин и Гарибальди и т. д. Нужно только различать два вида «одержимости»: внешнюю, от разума, которая руководит, напр[имер], Замятиным, когда он пишет рассказы по Эйнштейну, Пильняком — нигилистом, когда он, взбалтывая лексикон Белого, обнаруживает полное равнодушие к целнейшему, живому материалу искусства — к Человеку.

Вы говорите: вас мучает вопрос «как писать?». 25 лет наблюдаю я, как этот вопрос мучает людей и как он — в большинстве случаев — искажает их. Да, да, это серьезный вопрос, я тоже мучился, мучаюсь и буду мучиться им до конца дней. Но для меня вопрос этот формулируется так: как надо писать, чтоб человек, каков бы он ни был, вставал со страниц рассказа о нем с тою силой физической ощутимости его бытия, с тою убедительностью его *полуфантастической* реальности, с какою вижу и ощущаю его? Вот в чем дело для меня, вот в чем тайна дела. Черт побери все пороки человека вместе с его добродетелями, — не этим он значителен и дорог мне, — дорог он своей волей к жизни, своим чудовищным упрямством быть чем-то больше себя самого, вырваться из петель — тугой сети исторического прошлого, подскочить выше своей головы, выдраться из хитростей разума, который, стремясь якобы к полной гармонии, в сущности-то стремится к созданию спокойной клетки для человека.

Подлинную историю человека пишет не историк, а художник. Ни Соловьев, ни Момзен не могут написать д-ра Фауста, Дон-Кихота, Ивана Карамазова, Платона Каратаева, а именно эти люди — суть люди, творящие материал для Нибуров и Ключевских. Петр Великий — это Федор Достоевский, работавший не пером, а топором и дубиной.

Дело — не в словах, не в том, как поставить их, чтобы они звучали музыкально и гипнотически убеждали людей — в чем?

Гениальные писатели почти все плохие стилисты, неважные архитекторы, а человек у них всегда пластичен до физической ощутимости. Лишь немногие из них соединяли искусство слова с поражающей убедительностью пластики, напр[имер] Флобер.

«Как писать?» Мне кажется, что вы близки к решению этого вопроса для себя. Внимательный читатель, я ваших людей ощущаю даже тогда, когда они мне чужды, напр[имер]— немец-художник. Значит ли вышесказанное, что я отставляю приоритет «психологического» романа? Нет, не значит. Школы, тенденции литературы для меня значения не имеют и поучительны лишь внешне, поскольку они являются одним из признаков стремления человека делать свое дело как можно лучше, выражением его бесчисленных усилий найти в себе *суть самого себя*, коренное свое, человеческое.

«Вертер» — интересно, Новалис написал очень хороший роман, но согласитесь, что «Записки из подполья» или «Очарованный странник» показывают нам людей более значительных вовсе не потому только, что они — наши, русские, а потому, что они — больше люди.

Человек — существо физиологически реальное, психологически — фантастическое. Таков — Лепендин, вы это знаете? У Бабеля — все герои фантасты, может быть, это именно и делает их столь неотразимо живыми. Но разумеется, у Бабеля и обстановка фантастическая.

Мне кажется, Федин, что вы мало верите в свои силы. Самоуверенность — плохая штука, особенно для художника, но все-таки вам, думаю я, нужно прибавить веры в себя. Она явилась бы сама собою, если бы вы задумались немножко, в какой мере важно и нужно то, что вы делаете. А ведь вы творите священное писание о человеке — ни более, ни менее. Вы будете писать, и вы должны писать хорошо.

Недавно прочитал книжку Чадаева «В гуще обыденного». Это — не искусство, а газетные заметки, но — какой огромный материал к познанию современности дает эта печальная книга.

Ваше желание посмотреть Италию очень понятно мне и очень полезно было бы для вас.

Пяшу Ионову.

Дору Сергеевну — хорошо помню. Бывало — очень беспокоил ее различными просьбами, и она всегда любезно исполняла их. Привет ей.

Что это за книга Пантелеймона Романова «Русь»?

Не слышали ли имя Роман Кумов? Где он? Он выпустил небольшую книжку рассказов и написал пьесу «Конец рода Коростомысловых», еще до войны. Интересный.

Что Тихонов не прислал бы мне свои книжки? Стихи его прекрасны.

Что делают Слонимский, Зощенко, Зильбер?

Не лень — напишите!

Всего доброго, жму руку.

Еще раз — спасибо за книгу, за внимание.

*А. Пешков.*

«Русск[ий] совр[еменник]», 4-я — не вышел?

Что со мной? Прихварываю.

Измотался. Ведь уже 55 лет.

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Ленинград. 28.XII.1924

Литейный, 33, кв. 13

Душевное спасибо за письмо, дорогой Алексей Максимович! Это — самая большая и самая желанная награда за мой труд. И — право — мне теперь почти безразлично, «как слово наше отзовется» здесь, в среде, едва ли не разучившейся отзываться. Ваш отклик на книгу углубляет для меня смысл моей работы — от всего сердца благодарю вас!

Я заметил странную вещь. Те части романа, которые представляют собою чистый вымысел, производят большее впечатление на читателя. Основанные на опыте, наблюдениях, на знании, иногда — просто факты редко порождают несогласие или возражения, но почти всегда остаются незамеченными. Мне и раньше доводилось наблюдать это любопытное явление, даже читать о нем, но только теперь оно мне кажется чем-то закономерным: так часто его подтверждают разговоры о моей книге. Лепендин — вымысел от начала до конца. Тоже Шенау, тоже мордва, Покисен и пр. Мари ближе к действительности, Андрей, может быть, чересчур к ней близок. Я очень нерешительно писал о мордве: я не знаю ее. В детстве я слышал от матери рассказы о мордве Наровчатского уезда; как-то раз, в Хвалынском уезде, я повстречал мордвинков-рекрутов, которых отправляли на барже в губернию. Это все. Остальное — из книг. Очевидно, можно оттапкиваться от ничтожного «знания»,

вверяясь воображению, и часто глубокое знание только мешает художественной правде. Так ли это?

«Иронические отступления» не в моей природе. Я прибегал к ним в надежде умалить таким путем мрачную безнадежность самого предмета повествования, не допускающего, в сущности, иронического отношения. Ведь моя тема — ужас. Но мыслимо ли на протяжении сотен страниц говорить об ужасе в неизменно трагическом тоне? Честное слово, меня не смущали при этом лавры Эренбурга! Они не смущают меня вообще (...). Вероятно, из боязни сделать книгу однообразной, скучной, неодолимой для читателя, я увлекся контрастными приемами. Отсюда — плакат, не всегда нужный и не оправданный общим строем произведения.

Я принимаю ваши указания на неточности языка. Я бесконечно благодарен вам за них и только сожалею, что вы поспешили на замечания: для меня особенно дорого считать вас своим учителем, Алексей Максимович, — про себя я горжусь этим. Я чувствую, что еще не исцелился от манерности в языке, еще барахтаюсь в этих литературных пеленках. Выпутаться из них — в этом и заключается моя постоянная работа. Я всегда считал язык самым трудным делом в писательской работе, и меня гнетет сознание, что словарь мой убог. «Найти слово» — вот что всегда мучит меня, вот что тормозит на каждой строчке. Я рад, что вторая моя книга с языковой стороны благополучнее первой.

Получили ли вы мое письмо, отправленное вслед за книгой? Нельзя ли переслать для меня (хотя бы через Ионову) пятую книгу «Беседы»? Пожалуйста.

Мне хочется прочесть вашу заметку о Лунце и его пьесу<sup>1</sup>.

Сообщаю вам новости:

- 1) женился Мих. Слонимский;
- 2) родилась дочь у В. Каверина;
- 3) при смерти, пожалуй, даже умерла «Всемирная литература»: ее «влили» в Гос. изд-во. А. Н. Тихонов не у дел.

Все эти «акты гражданского состояния» совершились перед самым рождеством 1924 года.

«Р[усский] современник»... еще выходит, выпущена 4-я книга, в ней, между прочим, мой рассказ «Тишина». Очень хочется знать ваше мнение об этом рассказе.

Всего доброго вам, дорогой Алексей Максимович, — главное — будьте здоровы! И еще раз — душевное спасибо вам за все.

Ваш *Конст. Федин.*

---

<sup>1</sup> «Город правды».

(Сорренто) 9.1.25

«...Чистый вымысел производит большее впечатление на читателя», — пишете вы. Мысль — верная, но выражена — не точно. Лепендин, Шенау, мордва — все это не «чистый вымысел», а именно та подлинная реальность, которую создает лишь искусство, та «вытяжка» из действительности, тот ее сгусток, который получается в результате таинственной работы *воображения* художника. Если вы — художник, все, что вы когда-либо узнали, будет вами, но незаметно для вас, превращено в то, что вы назвали «чистым вымыслом». Черты Лепендина — в тысячах людей, встреченных вами, пыль впечатлений, которые вы получили от них, слежалась в камень — явился Лепендин. Его песенка содержит в себе туго сжатый политический и моральный трактат; если эту песенку развернуть — получим одну из сотен книг, написанных о войне, после войны.

Дорогой мой — цените ваше воображение, не стесняйтесь ничем и никак его свободу, и тогда вы сделаете прекрасные вещи. «Действительность» для вас только материал, какова бы она ни была. Люди — тоже материал, кто бы они ни были, святые, преступники, идиоты, мудрецы, Достоевские, Жоресы и т. д. Для художника и гений совершенно равноценен идиоту, ибо он так же, как идиот, дан художнику камнем, из которого художник может вычеканить словами великолепнейший образ человека.

Искусство — никогда не произвол, если это честное, свободное искусство, нет, это священное писание о жизни, о человеке — творце ее, несчастном и великом, смешном и трагическом.

Я очень рад, что мои письма вам приятны, но все-таки посоветую вам: ничего не принимайте на веру! Как только вы почувствуете, что чужое слово, чужая мысль входит в ваше «я» углом, как-то мешает вам, — значит, между вами и ею нет «химического сродства», и вы отодвиньте ее в сторону, — не вкрапляйте ее насильно в ваш духовный обиход. Мы учимся тогда, когда накапливаем впечатления и факты, а не когда строим их в систему, т[о] е[сть] я хочу сказать: не верить, не анализировать, а дать фактам и впечатлениям свободно отстояться, и лишь тогда получится Дон-Кихот, Обломов, Онегин, Лепендин — безразлично кто, но — художественный образ!

Вот что хотелось сказать вам. Еще письмо я послал вам на адрес Госпздата. Это — третье.



Будьте здоровы. Работайте. Писать нужно каждый день. 4-ю книгу «Рус[ского] совр[еменника]» не получил. Можете прислать?

Всего доброго! Очень рад за вас, очень! Ваша книга поправилась Ходасевичу; а он — строгий читатель. Поклон всем. Слонимского, Каверина — поздравьте!

*А. Пешков.*

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

(Сорренто) 18.1.25

«Тишина» — очень хорошо! Очень.

В отношении языка — заметный шаг вперед, к точности, к экзотии слова, а — главное — к своему языку, языку К. Федина. Вы можете убедиться в этом, сравнив любую страницу романа с любой — рассказа. В первом случае вы найдете одно, два лишних и шатких словечка, во втором — едва ли найдете. И еще: в рассказе есть целомудренная сдержанность лирического чувства, это и умно, и говорит о вас как о серьезном художнике. Умно, что Таиса не сказала — прощай! Верно, что она пожелала только «покойной ночи», и хорошо трогает за сердце «неуклюжий», но очень уместный человеческий возглас Агапа:

«Антоныч... ты этово...»

Может быть, я вообще несколько сентиментален, — все человечески красивое почти всегда волнует меня до слез. Но и рассуждал от разума, я нахожу человечески доброе, нежное, проблески родственного чувства у одного индивидуума к другому — как нельзя более ценным и уместным в наше трагическое время. Одной кровью сыт не будешь, и — тошнит с нее, поэтому вполне разумно допустить в обиход наш нечто иное, хотя бы кисло-сладкое. Как мы видим, героизм быстро утомляет, и я слишком много видел — вижу — героев, которые рады ласке кошек и собак, уже не говоря о женщинах, иногда — пошленьких.

Но — поверьте! — я хвалю ваш рассказ отнюдь не потому только, что его духовная начинка отвечает моим этико-эстетическим вкусам, право же — нет! Вы поймете это, вспомнив, что я начал жить среди «бывших» людей и, как видно, кончаю жить в их среде. Уже поэтому ваши герои — не могут волновать меня, волнует меня художник, человек, обладающий даром волновать ближнего, заставляя его против его желания восхищаться, сочувствовать, сострадать и вообще проявлять эмоции, которые, вопло-

щаяся в мысли и слова, часто становятся цепями, которые этот ближний сам же для себя и выковал.

Иначе говоря: художник возвращает меня к свободе. Вот что.

Получил книги Тихонова<sup>1</sup>. Прошу вас: передайте ему мой искреннейший привет и мое восхищение: очень хорошо, стройно растет этот, видимо, настоящий!

Получил и «Русь» Романова. Ужасное творится с русским языком! Этот Романов до войны писал довольно грамотно, а «Русь» его — безобразна по начертанию: «уже», «еще», «какой-нибудь», «печенные веревки» — черт знает что! Отругаю.

А вам — всего доброго. Пишите больше, каждый день пишите и так, «чтобы словам было тесно», чувству — «просторно».

Жму руку.

А. Пешков.

Слонимскому и др. — привет!

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Ленинград, 19.II.1925  
Литейный, 33, кв. 13

Дорогой, милый Алексей Максимович, — в третий раз принимаюсь написать вам, и опять не уверен, что найду нужные слова и — наконец — отправлю вам письмо. Вероятно, я дошел до жестокого внутреннего разлада, если не могу оформить своих чувств так, как хочу. Письма к вам, которые я должен был уничтожить, были полны жалоб на разнообразнейшие явления, в которых я сам виноват — по-видимому — больше, чем кто-нибудь другой. Но эти явления угнетают меня, я не в силах освободиться от них и против воли говорю только о том, что заполнило меня до последнего предела. Что бы ни делал я сейчас, — мысли кружатся вокруг представления, неожиданно поразившего меня и отнявшего у меня ничтожную долю спокойствия, которой я обладал. Жалко говорить обо всем этом, потому что это может показаться преувеличенным; скучно — потому что это «обыкновенная история». Но я обречен на жалобы, мне необходимо выкричаться, во мне не осталось ни одной покойной клеточки, я ложусь спать и просыпаюсь с сознанием, что и *сегодня* я буду отдавать свои силы не тому делу, без которого

---

<sup>1</sup> Два первых сборника стихотворений Н. Тихонова «Орда» и «Брага».

не могу жить, а нелепым пустякам, заслонившим собою все, решительно все! Если это и «обыкновенная история», то форма ее представляет собою какую-то редкость, почти клинический случай! Я скован по рукам и ногам крепким кольцом, образовавшимся из мельчайших, иной раз — вовсе незаметных для глаза отношений. Вот уже седьмой год я служу, чиновничаю, верчусь, как щепка, в потоке повседневных мелочей. Мне некогда остаться наедине с собою, я вечно на людях, которые давно изучены до крупицы, исчерпаны до дна. Я буквально завален изгодными рукописями, число которых, с тех пор как вы уехали, возросло в России до астрономических величин. Утром и вечером я их читаю, читаю... Днем я говорю о них с их авторами. Временами я не отличаю хорошего от плохого. Я чувствую, вижу, как эта работа портит мой язык, как я тулею от усилий вникнуть в белиберду, притекающую на мой стол, как мусор в половодье. Я понимаю, что нельзя рассчитывать, чтобы писательский труд был признан годной для этой цели валютой! Но ведь еще год-два такой расплаты за право заниматься литературным трудом — и я вполне созрею для нервной клиники!

Арифметически у меня остается в сутки несколько часов «свободных». Но в эти часы я чувствую себя инвалидом...

Дорогой Алексей Максимович, до сего дня я думал, что, работая над собою вопреки всем неблагоприятным условиям, я укрепляю свою волю. Я думал и продолжаю думать, что в жизни ценно только то, что достигнуто преодолением препятствий, ценою жертв и самоотречения. Мне было весело исполнять чужую работу, голодать и бедствовать, чувствуя, как с каждой минутой я продвигаюсь вперед. В сокровенном уголке своего существа я постоянно носил уверенность в конечном одолении всех препятствий. Я должен был выбирать минуту, чтобы дать волю своему желанию писать. У меня оставались для этого силы. Теперь у меня их нет. И если желание писать вырвется наружу «не вовремя» — его пожрет всякая дрянь, заполнившая меня без остатка.

Мне нужно какую-нибудь крепкую встряску, может быть, просто хороший отдых, может быть, — хорошие люди. Я чувствую себя опустошенным, хотя я полон планов и желаний. Кажется — это симптом неврастении...

Вот, дорогой Алексей Максимович, — крик, без которого я не мог написать вам. Надеялся, что пройдет, что обойдусь без «жалких слов». Не вышло. Простите меня за истерику, она вас не должна, во всяком случае, ни к чему обязать. И не сердитесь на меня. Вы несколько раз повторили в своих письмах: «Пишите каждый день». Боже мой, если бы были у меня силы! И какая боль — вдруг при-

зняться самому себе, что их не стало! Я, конечно, верю в себя, верю больше, чем думаете вы, иначе я не стал бы вопить о своем бессилии и не решился бы писать вам о нем. Но сейчас, в обстановке, о которой я сказал, я не могу уже делать того, что делал в течение семи лет: я переключал тогда себя на «свое» и на «чужое» по произволу, как машинист на электрической станции переключает ток на район А или район В. Продолжая жить «на два дома», я вовсе не укрепляю волю, а распатываю ее. Нужно что-то, а что — я не знаю. Вижу только, что необходимо по-прежнему «окупать» свое физическое существование. Иначе не исполнишь и ничтожной доли того, что исполнить должен.

Все ваши письма — числом три — получил, от всей души благодарю вас за нежность, с какой вы говорите со мной, и за дружеские чувства! Я не могу передать вам, как взбудораживает — пугает или волнует — меня иное ваше слово. И мне стыдно, что я не нашел для своего письма ничего, кроме житейских жалоб. Очарование ваших писем в том, что вы отвечаете на мои повести, рассказы — на то главное и важное, что я стараюсь в них вложить. Я вижу, что самая неудачная страница моей книги говорит вам больше, чем пространное письмо, и я счастлив, что образы моих рассказов иногда убеждают вас в своей художественной правде. До глубины трогает меня, что вы видите всю боль моего неверия в себя, радость веры, немощь мастерства и его достижения. Все это — самое главное для меня, и в этом смысле я, конечно, становлюсь «одержимым» и жизнь моя превращается в «житие». Каково оно — вы прочли в начале этого сумбурного письма.

Совет «ничего не принимать на веру» вы мне дали в первые дни знакомства со мной, и — единственный случай — этот совет я принял на веру. Но у меня слишком много «химического средства» с мыслями, которые вы высказали в последних письмах ко мне, и это поднимает меня, особенно теперь, когда я так устал. Когда я употребил выражение «чистый вымысел», говоря о его большей действенности, чем сила реального изображения (в обычи[ом] смысле), я думал именно о той подлинной реальности, которая получается «в результате работы воображения». Вы особенно отчетливо дали понять мне это, сказав, что человек всегда «физиологическая реальность и психологическая фантастика». В этом — ключ к пониманию того, что люди, созданные литературой, живут в нашем представлении гораздо более реально, чем все «исторические» лица, если к их образу не прикоснулось воображение художника. Вы, таким образом, укрепили меня в убеждении, слагавшемся во мне — может быть — чересчур медленно. Но, поверьте, это не от «недостатка веры в себя», а только от осторож-

ности, с какою я даю фактам убеждать себя. Впрочем, я не считаю «осторожность» большим достоинством, и она часто мне мешает.

Вы несколько раз говорили о том, что «творится с русским языком».

В своей работе я всегда чувствую необыкновенную трудность овладения словарем. Я никогда не владею словом с легкостью, о которой так часто приходится слышать от многих писателей. Обычно вопрос решается так, что совершенство техники зависит от систематичности труда. В значительной степени это, по-видимому, верно. Но ведь словарь — не постоянная величина. Он определяется материалом. Ясно, что чем шире тематический и прочий диапазон художника, тем больше словарей ему нужно (мне кажется, словарь «Тишины» немногим лучше словаря «Гор[одов] и годов», но ведь это совершенно *разные* словари!). Стало быть — где же конец изучению словаря? И почему систематическая работа над повестью из жизни деревни должна помочь работе над рассказом о европейском городе (только относительно словаря, конечно)? Между тем словарь — повторяю — самое трудное во всей писательской технике. Что нужно делать, чтобы обогащать не словарь для [какого]-н[ибудь] рассказа, а *словари*? Над этим у нас здесь вовсе не задумываются. Суждение Шкловского играет громадную роль<sup>1</sup>. Он определяет удельный вес произведения (мне он сказал, что роман — очень плох, язык — переводной; Германии, оказывается, я вовсе не знаю!). (Кстати, на поверку обнаружилось, что, ругая меня за роман, Шкловский просто не прочел его.) К слову — «Тишина» на чтении у Серапионов не имела никакого успеха именно из-за преобладания в рассказе орнамента над сюжетом, т[о] е[сть] из-за моей излишней склонности к «языковым красотам».

Сердечное спасибо за письмо к Ионову. Он, правда, до сих пор ничего еще не сказал мне о возможности поехать в Италию. Я пытался говорить, но неудачно. Не знаю, выйдет ли что-нибудь. Поехать не только хочется, поехать нужно. Это дало бы мне бесконечно много. Очень хочу повидать вас, дорогой Алексей Максимович, надо посмотреть на вас, надо пожать вам руку. Был бы счастлив, если бы удалось осуществить поездку. Если дело провалится, постараюсь уехать в деревню, в Дорогобужский уезд, в «затвор». Здесь, и вообще в большом городе России, я больше жить не в со-

---

<sup>1</sup> Думается, я имел в виду популярность и авторитет В. Б. Шкловского в кругах сторонников формальной школы Лефа и др. — К. Ф.

стоянии. Надо писать, читать, думать. Все это сейчас для меня — «бессмысленные мечтания».

Имени Роман Кумов я не встречал, и узнать о нем не удалось.

Жму вам руку, благодарю за все — и не ругайте меня за это письмо: стройнее и лучше я не могу сейчас написать, а мне советно не отвечать на ваши — дорогие для меня — письма.

Любящий вас *Конст. Федин*.

Привет Владиславу Фелициановичу. Получил ли он мое письмо, отправл[енное] в прошл[ом] году в Ирландию?

Жена кланяется вам, благодарит за привет.

На днях пошло вам альманах «Ковш» I — там замечательный рассказ М. Зощенко<sup>1</sup>. Ему удалось сказать самое главное. Скоро все мы совершим нечто подобное тому, что сделал его герой — Котофеев.

#### ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

Вы совершенно напрасно уничтожаете письма «с жалобами», посылали бы их такими, как они написались, и тогда вам не пришлось бы дважды и трижды терзать себя одним и тем же. Я — человек достаточно грамотный и, вероятно, сумею прочесть то, что вам нужно сказать мне, хотя бы вы и сказали это не вполне «оформленно».

Мне тоже не раз в жизни моей бывало трудно от различных «обыкновенных» и необыкновенных историй, это всегда обижало меня, и, в гневе на себя, я говорил себе: я живу не затем, чтоб мне было трудно, у меня есть призвание, есть любимое дело, мое настоящее «я» — в нем, в этом деле, а потому — к черту все остальное!

У вас — то же самое призвание, такое же значительное дело; в нем, в его круге ваши самые сильные радости и муки, — так должно быть, так оно и есть, судя по в[ашему] письму. Я не верю, что вы «не в силах освободиться», нет, конечно, это временная слабость. Вам, видимо, следует «переменить обстановку» — всю: и пейзаж, и жанр. Как бы устроить, чтобы вы приехали сюда и, отдохнув, поработали здесь? Не написать ли мне Рыкову А. И., чтоб в[ам] дали командировку за границу для работы над книгой?

<sup>1</sup> «Страшная ночь».

Ионов мне до сего дня не ответил<sup>1</sup>, и, признаться, я не очень верю в его желание ответить. Мне кажется, здесь, т[о] е[сть] вообще в Южной Европе, вам было бы не плохо пожить. Не придумаете ли, как можно устроить это? Сообщите мне. Скорее.

Очень обрадован тем, что Зоценко написал хорошую вещь. Он, конечно, должен был сделать это, но последнее время о нем я слышал, что устал от «юмористики», от мелкой журнальной работы и — болен. С нетерпением жду «Ковш». А что Каверин? Слонимский?

Кстати: вы хорошо знаете немецкий язык? Насколько? Где, собственно, работаете вы?<sup>2</sup> Вопросы эти имеют практический характер: тут затевается некое издательское предприятие, в котором вы, м[ожет] б[ыть], нашли бы заработок.

Простите, что пачкаю письмо, я — нездоров, едва сижу за столом, а в голове лошади топают.

Шкловский — увы! «Не оправдывает надежд». Парень без стержня, без позвоночника и все более обнаруживает печальное пристрастие к словесному авантюризму. Литература для него — экран, на котором он видит только Виктора Шкловского и любитесь нигилизмом этого фокусника. Жаль. Но — здесь люди изжидают себя еще быстрее, подразумеваю — русских.

Отвечайте скорей и, главное, на тему о том, как бы вам выбраться сюда?

Жму руку.

*А. Пешков.*

3.III.25. (Сорренто)

#### ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

(Ленинград.) Литейный, 33, кв. 13  
22.V.1925

Дорогой Алексей Максимович, моя поездка в заморские страны сорвалась. Полтора месяца я надеялся, что осуществление такого плана вовсе не так фантастично. Оказалось, что я — наивный человек. Все дело стало за деньгами. Надо было на время моего отсутствия обеспечить жену с ребенком и в то же время запастись деньгами на дорогу. Я решил «продаться» газетам, насулил фельетонов,

<sup>1</sup> Это письмо Горького к Ионову не обнаружено.

<sup>2</sup> С 1921 по 1926 г. Федин работал в Госиздате (Ленинградское отделение). В 1925 г. заведовал отделом русской литературы,

очерков и пр. Одни редакции вовсе не отзывались, другие предложили мизерные условия. Словом, я решил отложить поездку до осени, до поздней осени. За лето я рассчитываю написать повесть, при удаче — продам второе издание романа (он почти разошелся — 7000) — тогда можно будет двинуться. Признаться, я уж спал и видел, как неожиданно заявлюсь к вам, как лягу где-нибудь на припеке — на итальянском припеке. Теперь я очнулся; кругом ничто не изменилось, «вселенная улыбается на меня»<sup>1</sup> под тем же градусом широты и долготы, а я молю небесные силы, чтобы выбраться хоть в деревню. Поеду в Дорогобужский уезд, в леса. Очень мне хочется, вернувшись из деревни, не возвращаться к службе, бросить ее навсегда, она стоит у меня поперек горла.

Задумал я повесть, выходит любопытно, вся забота моя в том, чтобы не было похоже на «Мертвые души»: у меня тоже похождение человека по нынешней Руси, без троек, впрочем, и без Селифана.

Другую — небольшую — повесть уже написал, пойдет она во втором «Ковше» — «Наровчатская хроника, веденная Симоновского монастыря послушником Игнатием в лето 1919-е». Получилось неожиданно для меня весело (хотя и грустно, конечно). Это — первая вещь, получившая единодушное одобрение Серапионов: прежде я всегда вызывал своими вещами жестокие разногласия. Надо сказать, что единодушные это меня смутили: не средняя ли вещь эта «хроника», если она примирила все противоречия Серапионов? Но я воспринимаю ее весело, непривычно.

Пишу «Кавказские рассказы» (кончил пока один) и умиляюсь: прекрасный материал! Вообще, Алексей Максимович, у меня реакция: я положительно спокоен за свою работу, мне кажется, что у меня неисчерпаемый запас материала и что пишу я — право же — хорошо! Я думаю, будет полезно, если этокое умиление продержится год-другой. Посмотреть, что делается кругом! Толстые, Достоевские, Горькие размножаются простым делением, как амёбы. О множестве других талантов и говорить не приходится. Мне становится стыдно за себя, и я «переменяю станок»: работаю на «благополучие»...

Большая просьба к вам, дорогой Алексей Максимович. В Берлине вышел т. XVII вашего Собрания, его здесь еще нет. Не будете ли добры выслать мне эту книгу? Пожалуйста! И еще: правда ли, что вы написали роман? Если он выйдет сначала за границей, можно вас просить выслать его мне? И — наконец — давнишнее мое желание, о котором почему-то не сказалося до сих пор: хочу

---

<sup>1</sup> Это, кажется, по Бабелю. — К. Ф.



иметь ваш портрет. Не найдется ли у вас вашей фотографии, относящейся к последним годам? Пришлите, пожалуйста, — благодарю вас заранее со всей искренностью.

Будете писать мне — не забудьте о романе: я узнал случайно, передают как «слухи», верно ли? Не забудьте написать и о своем здоровье. Адрес мой — на лето — прежний.

Желаю вам всего хорошего!

Ваш *Конст. Федин*.

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

К. Федину

Я обрадован бодрым тоном Вашего письма, очень обрадован. Признаюсь, что ждал реакции, переживаемой Вами. Вы должны были сказать: «Право же, я пишу хорошо!» — и это не рано для Вас — сказать так. Несомненно: «будет полезно, если эдакое умиление продержится год-другой». Так же несомненно, что Вы напишете в сей срок хорошие вещи. А я желаю Вам сделать за этот срок одну хорошую ошибку, которая, уничтожив умиление, возвратит Вас к новому недовольству собою, к новым сомнениям в себе, в своей силе. От этих качаний сила Ваша снова возрастет до умиления ею, до радости. Это закон, во всяком случае — это нечто неизбежное для всякого честного и даровитого писателя, для каждого человека, который живет с открытыми глазами и на средства своей души.

А Вы именно честный писатель и *чистый* писатель, у Вас есть сознание духовного аристократизма Вашей работы. Никогда еще это сознание не было столь ценно, как ныне ценно и нужно оно российскому искусству.

XVII-й том вышлют Вам из Москвы, куда мною написано об этом. Отсюда посылать на *частное* лицо — бесполезно, посылал — ни одна книга не дошла. Если в Москве еще нет книги, меня известят, и тогда дайте мне адрес оф[ициального] учреждения, Госиздат — можно? Портрета — не имею, попрошу сына снять, пришлю.

Романа я не написал, а — пишу. Долго буду писать, год и больше, это будет вещь громоздкая и, кажется, не роман, а хроника, 80-е — 918 г[оды]. Не уверен, что справлюсь. Тема — интересная: люди, которые выдумали себя.

Написал большую повесть «Дело Артамоновых», история трех поколений одной семьи. Говорят — не плохо, но я не знаю. Все, что я пишу, мне определенно не нравится. Повесть посвятил Ромен Роллану, с которым оживленно переписываюсь и кого уважаю. Превосходная фигура. Недавно в Праге Далмат Лутохин, высланный Соввластью, делал доклад о современной русской литературе и неосторожно похвалил всех вас за мужество, за все, что вами сделано. Доклад превратился в злейший диспут, на Далмата зверски бросались все правоверные эмигранты, все иезуиты, и его до костей изгрызли. Грызут и поднесь во всех газетах. А чешские жандармы уже справляются о его документах, связях и, кажется, вышлют Лутохина за «склонность к большевизму». Склоняться в эту сторону строжайше запрещено. Похвалить что-либо в России — преступление непростительное. С изумлением, почти с ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди, еще вчера «культурные». Б. Зайцев бездарно пишет жития святых. Шмелев — нечто невыносимо истерическое. Куприн не пишет, — пьет. Бунин переписывает «Крейцерову сонату» под титулом «Митина любовь». Алданов — тоже списывает Л. Толстого. О Мереж[ковском] и Гиппиус — не говорю. Вы представить не можете, как тяжело видеть все это.

Ну, ладно. Всё пройдет. Всё. Многое сослужит службу хорошему материалу для романиста. И за то — спасибо!

Будьте здоровы, милый друг. Берегите себя. Жаль и очень жаль, что Вам не удалось приехать сюда. Но осенью увидимся? Жму руку.

*А. Пешков.*

3.VI. 25. (Сорренто)

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Ленинград (начало сентября 1925 г.)  
Литейный, 33, кв. 13

Дорогой Алексей Максимович, три месяца я прожил в Дорогобужских дебрях, изъездил на лошадах верст тысячу, исходил сотни верст пешком, переродился во многих зверей и человек и только на днях вернулся в прежнее свое состояние: опять живу среди нелепых городских условий, от которых весной бежал, поджав хвост. Лето было очень хорошо — единственное, может быть, на всю жизнь, наполненное бодрым, крепким чувством, благодное, изобильное. Крестьяне для меня

как заграница, и жить среди них, с ними — как с заморскими чудовищами: что ни шаг — открытие. Приятель мой — Мих[аил] Погосин, внук историка, этнограф и археолог, — работая в тех местах, где я жил, проходил как-то деревней, остановился посмотреть на избу: очень уж хорош был на избе конек, причудливый. Постоял, постоял, пошел своей дорогой. Вышел за деревню — догоняет его мужик, машет руками, запыхался:

— Ты штой-то на мою хату смотрел?

— А так...

— А-а-а-а... А я думал, с ей чего неладно...

Ну, разве не заграница?!

Видел я необыкновенные вещи. Жил, например, в Болдином монастыре, *единственном* в России, где сохранились еще монахи, служащие в соборе, ведущие старый образ жизни — т[о] е[сть] принимающие странников, гостей, постящиеся, блюдущие устав. Всего их тринадцать человек, двенадцать из них — иеромонахи и только один — «певчий». Этот «певчий» — 18-летний паренек, пришел в монастырь недавно, крестьянин, добрый и приятный малый; пришел он «по указанию божию», сделанному не раз в «видениях»; батька его бил, не пускал, он ушел и держится в монастыре твердо; с виду он очень здоров. Старики монахи его любят. Это, пожалуй, из Карамазовых... Как уцелел монастырь? А он «в ведении Главмузея», он «исторический памятник», и старую шатровую церковку, построенную еще при Герасиме (в XVI веке) — основателе монастыря, вот уже третий год реставрирует Главнаука... Церковь действительно прекрасна.

Бывал я у колдунов, людей чудных и несчастных: мужики теперь все дома, гадать о них нечего, доходы плохи, да и веры стало немного в ворожбу — очень уж набрехали колдуны за войну. И я видел умирающего с *голода* колдуна — бобыля, до которого никому не стало дела. А жил он в войну и революцию, как барин, давал деньги в рост и хлебом торговал...

Перевидал я множество усадеб, теперь возрождающихся поновому или окончательно сравнявшихся с землей. Пожил у доброго десятка мужиков — самых разных мастей и — в общем — одномостных. Прочный мир, и жутковато становится, но в то же время и необыкновенно *хорошо* (нет другого слова!). Вас, дорогой Алексей Максимович, я часто вспоминал именно у мужиков, с мужиками, по контрасту ли с вашими образами, по тому ли, что вы какой-то стороной суждений ваших о крестьянине очень правы, а тут же, в правоте этой как-то и ошибаетесь. Мне кажется, что будущая-то культура обопрется именно на крестьянина, а никак не на его понукальщиков. Ведь все упорство, с каким мужик дер-

жится за старое, — не от порочных качеств его, а оттого, что с нас — понукальщиков — *ничего* взять, и это он видит на деле. А время не ждет, и опыт сохи с бороной — опыт верный, надежный, круговорот хозяйства (по старинке!) не обманет, только поспешай поворачиваться. И мужик поворачивается! Поворачивается *ровно настолько*, чтобы на третий год после гражданской войны и голода вся страна позабыла и о войне, и о голоде. Пресловутая крестьянская «темнота», «косность» и пр. — жалкие слова. Преимущество молотилки перед цепом мужику более очевидно, чем Наркомзему. Да дело-то тут кое в чем другом: мужики-то для нас — заграница, и понукание наше — простое незнание грамоты, непонимание основ культуры, давно имеющейся и почти окостеневшей вследствие постоянного *противодействия* понукальщикам. Дать возможность *и время* свободно развиться этой культуре — значит сделать все, что требуется разумом.

Сказалось у меня это нечаянно и мало внятно, — трудно сказать об этом кратко. Но мысль моя не «народническая» и не «эсеровская», дело не в крестьянской какой-нибудь «доминанте», а в естественном ходе вещей. Ход этот медленен настолько, что — надо думать, — живи я сто и двести лет назад в Дорогобужском уезде, я нашел бы тех же людей, что и нынешним летом.

Много дала мне охота. С ружьем непрестанно передвигаешься, подолгу не засиживаешься, надоело, устал ли говорить с кем — вперед! И опять новое, новое без конца. Сама охота — прекрасная штука! Кончилась она у меня волчьей облавой, на которой убили 4-х волков, один из них — мой! Горд я и счастлив, как конквистадор: ведь *квалификация!* Облава была в Бездоне (каково название?) — это волчий *город*, с площадями, проспектами, канализацией (вырытые на болоте колодцы). Прямо чудо!

Не писал ничего, не ругайте меня! Зато набрался всякой всячины, и того гляди — лопну от изобилия! Теперь сажусь, пишу до Рождества и — рассчитываю — писать буду неплохо. Без философии о крестьянстве — не сердитесь на меня за нее.

Письма мне не пересылали, и, вернувшись, нашел ваше письмо, старое, от 3.VI. Для меня оно ново, я прочел и — как всегда — перечитал его с радостью и крепко, крепко благодарю вас за дружеские чувства, в нем выраженные. Вы и не знаете, как я оживаю от ваших писем!

XVII тома из Москвы мне не прислали. Пришлите, пожалуйста, вы сами, по адресу Ленгиза, на мое имя. Жду также с нетерпением обещанный портрет. Его, конечно, можно послать по моему домашнему адресу. Где напечатано «Дело Артамоновых»?

В «Беседе»? Нельзя ли и эту повесть получить от вас? Как пишется роман? Напишите. Как чувствуете себя, лучше ли, чем зимой?

Жму руку и шлю сердечный привет.

Ваш *Конст. Федин*.

Р. С. Читали ли «Наровчатскую хронику»? «Ковш» вам послал Груздев.

А настоящую границу, вашу Италию, а не Дорогобужскую, держу прочно в сердце. Но теперь до зимы, сейчас надо писать.

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

17.IX.25

Вчера получил ваше глубоко интересное письмо, дорогой Федин.

Вы, конечно, совершенно верно говорите, что в моем суждении о крестьянстве я и неправ, и прав. И, разумеется, вы знаете, что наши правда-неправда — родные сестры, а также знаете и то, что не дело, не задача художника открывать и утверждать истины. Вполне допустимо, что «неправда» есть только умершая, отжившая истина, а правда — истина живая, рожденная как вывод из ряда новых фактов бытия. Сие не очень новое соображение, да и неуклюжее, вызвано вашими словами о мужике, «постоянно противодействующем понукающим». Нет ли здесь ошибки у вас? Ведь «понукающие» несут в жизнь именно живую, новую истину, и поэтому они являются творцами культуры. Именно — они. Так всегда было и будет. Лично я привык думать, что «постоянное противодействие» истекает у людей из желания покоя, «более или менее устойчивого равновесия». К этому «равновесию» стремятся не только люди, но и так называемая «мертвая материя». И даже те ученые люди, кои утверждают, что материи — нет, а существует лишь энергия, не могут отрицать, что и энергия стремится к энтропии, к состоянию покоя. Наверное, и я тоже хочу достичь этого состояния, хочу решительного и все разрешающего вывода, продолжая, однако, думать, что все мои симпатии на стороне «понукающих» и что мне органически враждебно «постоянное противодействие» мужика неотразимым требованиям истории.

Все это я говорю потому, что мне показалось: в письме вашем вы покорствуете фактам. Это вредно для художника, который, по существу своему, принадлежит к секте «понукающих». Именно та-

ков истинный художник, таково искусство, которому он обреченно служит. «Истинное искусство не философствует, не проповедует, оно только любит», — говорит один из героев романа, который я пишу. Я прибавил бы к его словам: и ненавидит.

Однако из «Наровч[атской] хроники», которая мне очень понравилась и по языку, и по содержанию, не видно, чтобы вы безусловно покорствовались фактам, хотя автор хроники и говорит о привычке: «Короткое, но роковое слово». И вообще я вас не вижу способным покорствоваться. Вы — человек хорошо, спокойно упрямый. Вы становитесь все более художником. Чепуха, что все у вас «неустойчиво», как пишет в «Н[овом] мире» Вешнев. Это материал неустойчив, а не вы. Почти все современные молодые писатели и поголовно все критики не могут понять, что ведь писатель-то ныне работает с материалом, который зыблется, изменяется, фантастически соединяя в себе красное с черным и белым. Соединяя не только фантастически, но и неразрывно. И современное искусство слова еще не настолько мощно и всевластно, чтоб преодолеть эту сложность бытия, где правда с неправдою танцуют весьма запутанный и мрачный танец. Надо помнить, что такого времени еще не было и что крупнейшие произведения искусства почти всегда — не современны. «Война и мир» разве современна годам, когда писалась? А — «Фауст»? «Дон-Кихот»?

Возвращаясь к вам, скажу: вы пишете все лучше и все значительней. Видимо, вы станете писать отлично и займете в русской литературе место очень видное. Только не теряйте — несмотря ни на что — ощущения вашей свободы, сознания вашей одержимости.

Извинитесь перед Груздевым: я не ответил ему на вопрос о «Ковше». Лучшие вещи в нем: ваша и Зоценко. Если последний остановится на избранном им языке рассказа, углубит его и расширит, наверное можно сказать, что он создаст вещи оригинальнейшие. Люди, которые сравнивают его с Лесковым, ошибаются, на мой взгляд. Зоценко заряжен иначе, да и весь — иной. Очень хорош. Интересен Лавренев, но хаотичен и форсист, щеголяет, пишет с кокетливым росчерком и небрежно, в разных тональностях. Плох Семенов. Грустно, что Тихонов подчиняется Пастернаку, и получаем из него Марину Цветаеву, которая истерически переделывает в стихи сумасшедшую прозу Андрея Белого. В общем же «Ковш» — более искусство, чем остальные альманахи: «Круг», «Красная новь» и т. д.

Тихонов, А[лександр] Н[иколаевич], писал мне, что возникает «Русский современник». Значит — слова сухая, головная выдумка Замятина и болтовня Чуковского, который так нелепо и неуместно

прославил О'Генри, писателя, утешающего продавщиц и клерков надеждами на счастье: замужество или женитьбу обязательно на богатых. Тошнотворно сентиментален. Это даже американцы поняли. О том, где будет печататься моя повесть<sup>1</sup>, — ничего не знаю. Спрашиваю, но толка добиться не могу, XVII том посылаю вам отсюда без надежды, что дойдет. Пробовал — не доходит.

Портрета все еще нет. Снимал американский профессор, наверное, скоро придет.

У меня по вечерам температура пляшет, но это пока не мешает мне.

Ну, будьте здоровы. Какой удивительный сюжет — колдун, умирающий с голода! Мне это напомнило Петра Кропоткина, хотя он с голода и не умирал. Это — удивительно и трагично, колдун! В эмиграции колдуны умирают от голода духовного. Проф[ессор] Ильин сочинил «Религию мести», опираясь на евангелие. Струве ходит вверх ногами. Вл. Ходасевич, переехав в Париж, тоже печатно заявляет о своей эмигрантской благонадежности. Скучно, как в погребе, где соленые огурцы прокисли уже.

Крепко жму руку. Поклон Зоценко и прочим.

*А. Пешков,*

Сорренто.

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

(Ленинград) 16 января 1926 г.  
Литейный, 33, 13

Дорогой Алексей Максимович, незадолго до Рождества я получил, наконец, от «Международной книги» ваши рассказы (1922—24), а на днях приобрел и вышедшие недавно тома XVII и XVIII вашего Собрания в издании здешнем («Рассказы» изд[атель]ства «Книга» — XVIII том Собрания). За исключением двух-трех рассказов, книги эти для меня совершенно новы — в буквальном и всяком ином смысле. Я не только ваш «старый» ученик, но и старый читатель: читаю я вас лет двадцать, с девятьсот пятого года, когда — собственно — только что начал кое-что соображать. Так вот на правах читателя (очень сомнительных, впрочем, правах) хочется мне сказать вам, что никогда еще не испытывал я такого изумления перед вашими книгами, как теперь. Это неточно сказалось: изумление. Но это ближе все-таки

---

<sup>1</sup> «Дело Артамоновых»,

к тому, что я хочу сказать, чем всякие другие слова. По книгам, напросто, ходят люди, — так ощутимы, телесны герои повестей! И — другое: даже там, где автор ведет повествование от своего лица, он не стесняет меня — читателя — своим отношением к герою. Я остаюсь совершенно свободным в своей связи с героем повести, в своем понимании его. Особенно это касается XVIII тома, и особенно — «Отшельника». Здесь я ощутил героев буквально, т[о] е[сть] на ощупь. Я всплакнул, признаться, от радости, что это так *понятно!* Вы меня простите, дорогой Алексей Максимович, за неуклюжесть моего отзыва. Да это и не отзыв, а просто — потребность сказать вам, что мне было *хорошо*, когда я читал вашу книгу, было необыкновенно хорошо. Книга эта нова для меня (так нова была только книга о Толстом), и вас я почувствовал после нее еще шире, чем раньше. Покаюсь вам — я думал о себе и о том, что мне не дано вашей действенной любви к человеку: я, кажется, всегда только жалею и восхищаюсь скупой и ненадолго. На замечательного, красивого, умного и, конечно, полезного рысака — например — я всегда немножко досаую, а забитая и никчемная кляча меня волнует глубоко. Я знаю, что в этом — порок моего зрения, но лечиться у меня не хватает выдержки, а очков я не люблю. Словом, я смирился перед неизбежностью до конца дней любить только жалкое и ненужное, «покорился, — как писали вы мне, — факту». Не смейтесь над этой неожиданной параллелью — вы и я, — но я не мог не думать о себе, читая вас, не мог не вспомнить, что я всегда почти «соболезную» несчастным, в то время как вы самим несчастием украшаете и утверждаете жизнь (я говорю, конечно, об иллюзии, возникающей из ваших произведений).

Спасибо за книгу, присланную мне по вашей просьбе. Очень жалко, что та книга, которую вы послали из Италии, не дошла, как вы и предсказали.

Это мое письмо, отчасти — ответ на ваше. Ответ запоздалый, русский, спустя четверть года. «Покорствуя фактам», я все старался разрешить вопросы, явившиеся в результате поездки в деревню и жизни там. В конце концов, упрямство, в котором вы подозреваете меня не напрасно, взяло верх, и я решил, что «философию и пророчество» можно оставить в стороне. Мне кажется, что рассказы о деревне, над которыми я работаю, будут достаточно неуместны в наши дни, в них начисто будет отсутствовать объяснение фактов, и я надеюсь, что они доставят мне небольшое удовлетворение. Увязнув с потрохами в деревне, я не перестаю мечтать о новом романе и втихомолку коплю записочки и листочки со всякими планами, нотабенами и пр. Ну, это не на один год! Можете себе представить, Алексей Максимович, каков я стал после того,



как добрый год только «начинал» и решал — как писать дальше? Какая-то символическая смоковница.

Первого февраля Серапионы справляют пятую годовщину. К этому сроку все заново сошлись, по-новому все поняв и пересмотрев. Живем мы, очевидно, вопреки законодателям вкусов, каким-то исключением из правила. Но я чувствую (и думаю, что это чувствуют все), как многим каждый из нас обязан этому мифологическому обществу — «Серапионовы братья». Сомнительно, конечно, что это — история литературы. Но, во всяком случае, это — история человеческой дружбы. Меня эта дружба очень часто и очень щедро питает. Слаб человек — не могу не посплетничать: читали ли вы в III «Ковше» (он вам послан) Каверина? <sup>1</sup> Что стало с человеком? И — представьте — дальше — еще хуже, а он стойко убежден, что именно так нужно! Думаю, что это излечимо... Желая вам поправиться поскорее и поосновательнее, чтобы радостно работать и хорошо отдыхать.

Жму вашу руку.

Любящий вас *Конст. Федин*.

По весне опять собираюсь за границу. Очень хочется. Надеюсь, что на этот раз сборы увенчаются поездкой.

Печатаете ли «Дело Артамоновых»? Где? Как ваше здоровье теперь? Лучше ли стало в Неаполе? Напишите, пожалуйста.

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

20.1.1926. Ленинград

Дорогой Алексей Максимович,  
вчера мы получили вашу рукопись — «О тараканах». Большое спасибо за память о «Ковше» и доброе отношение к нашей стряпне. Альманах можно было бы составлять гораздо лучше в художественном смысле, стройней и строже, если бы не было бестолочи в требованиях (издательских и многих прочих), предъявляемых ныне к литературе. Ведь многие вещи, которые [не] были приняты нами в «Ковш», оказались напечатанными в московских изданиях, где они — почему-то — пришлись ко двору, в то время как у нас от этих вещей шарахались в сторону, точно от ереси. Смешней и печальней всего то, что нас же и попрекают этими зарезанными

---

<sup>1</sup> «Деять десятых судьбы».

в «Ковше» рассказами, появившимися у «конкурентов» в Москве: вот прозевали-де хорошую вещь, а в Москве, мол, не спят!

IV книгу сдаем в набор в конце января. Выход приурочен к середине марта. Рукопись вашу, как только перепишем ее, возвратим вам. За корректуру не беспокойтесь, проведем тщательно. Очень хотелось бы, чтобы рассказ ваш появился у нас раньше, чем в Сибири. Будем торопить выпуск книги. Давно ли передали вы рукопись Вяткину?

Р. Роллану пошлем приветствие<sup>1</sup> — каждый из нас (в этом я уверен) ценит его как писателя и человека, каждый помнит, что он сделал в самые мрачные и бессовестные годы — 1914—1918. Сегодня буду в Союзе писателей, предложу товарищам послать Роллану письмо от имени Союза.

В письме к Груздеву вы пишете очень много горького об отношении нынешних писателей к слову. К сожалению, условия для борьбы за чистоту слова чрезмерно тяжелы, и если сам писатель не вполне понимает всего значения слова, то ждать указаний или протеста критики — тщетная надежда: «тг. критики» заняты сейчас чем угодно, только не писательским словарем. Литература у нас кое-какая есть, а вот критики... это изречение правдоподобно теперь едва ли меньше, чем сто лет назад. Я, по крайней мере, не прочел за последний год ни одной критической статьи о русской литературе, хотя шуму вокруг нее было немало.

И меня вы, Алексей Максимович, упрекали не один раз в небрежном отношении к языку, вспоминая все мои грехи в «Анне Тимофевне». Мне очень больно от сознания этих грехов, и я весь век мой буду «замаливать» их. Я рад, что вы нашли меньше оснований бранить меня за «Тишину» и «Наровч[атскую] хронику», чем за прежние мои рассказы и за роман. В сущности, львиная доля моего упрямства и моей настойчивости уходит на работу над языком. Я уверен, что эта работа не прекратится именно «весь век». В письме, отправленном вам третьего дня, я говорил о трудности темы, о постоянной, изнуряющей борьбе художника с «истолкователем» (разумею претензию художника на философские и др. обобщения — в узком смысле). Но ни на одну минуту я не забывал о трудности мастерства, о борьбе художника с формой. Я уверен, что никакая ясность и завершенность миропонимания художника не разрешает еще вопроса о форме. «Как писать?» — вопрос этот останется вопросом до конца дней. «Писать совершеннее» — единственно возможный, хотя и несовершенный, ответ на него. Думая

---

<sup>1</sup> В связи с его шестидесятилетием.

так, я не могу не понимать значения работы над словом. Все дело здесь в размере дарования писателя, в том — «что ему дано».

Еще раз — «Ковш» благодарит вас за рукопись. И все вам шлют сердечный привет.

Будьте здоровы!

Любящий вас *Конст. Федин.*

#### ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

К. Федину

Сердечно благодарю вас за письмо, очень тронувшее меня, но, пожалуй, слишком лестное. Знаю, что за последние два-три года я стал писать несколько лучше, но, ведь, в 27 году исполнится 35 лет моей работы, и было бы стыдно за такой срок не выучиться чему-нибудь. Однако — «выучился» я мало, и писать так, как хотел бы — не могу, не удастся. Вероятно, это потому, что «таланта» у меня не хватает для моих задач, лексикон мой недостаточно богат и, наконец, было много отступлений от настоящей моей работы в сторону «злости дня». Сие последнее особенно вредно для нашего брата, сколь бы много ни писали против этого люди, поучающие нас, как следует писать, неспособные понять, что мы суть люди «ретроспективного» склада души и что «Войну и мир» невозможно было создать в 814 или даже 20 годах. Критикам следовало бы заглянуть в работы И. П. Павлова о рефлексах, и опыты Павлова с собаками, пожалуй, помогли бы критикам более толково рассуждать о том, как создается искусство. Разумеется, лично я не должен жаловаться и не жалеюсь на критиков, — они меня похваливали столь же часто, как и бестолково.

Крайне интересно пишете вы о рысаке, который возбуждает у вас досаду, и о «ничтожной кляче», которая волнует вас. Это на мой взгляд — нечто очень древнее и очень христианское. «Муму» Тургенева, Акакий Акакиевич Гоголя и другие «клячи» — это больше не нужно, это — патока, которой не подсластишь горечь жизни нашей, замазка, которой не скроешь глубокие, непоправимые трещины современных форм государства. Но и «рысак» не должен, не может быть идолом художника, — нет. Художник говорит себе:

Как странники по большой дороге,  
Сквозь сердце мое прошли  
В печали, сомненьях, тревоге  
Тысячи детей земли, —

и все они только мой материал. Только — это;

Я думаю, что «действенная моя любовь к человеку» — ваши слова — эта любовь, вероятно, — миф. Истина же, реальное в том, что человек мучительно интересует меня, не дает мне покоя, желает, чтоб я его хорошо понял и достойно изобразил. И с этой «точки зрения» Эйнштейн, пытающийся радикально изменить все наше представление о вселенной, равен для меня — герою рассказа «О тараканах», посланного мною Груздеву для четвертого «Ковша». В кратких — и не новых — словах задача художника изображать мир, каким он его видит, ничего не порицая, ничего не восхваляя, ибо порицание — несправедливо, похвала — преждевременна, ибо мы живем все еще в хаосе и сами частицы хаоса. Я очень рад слышать, что «философию и пророчества» вы решаете оставить в стороне, и, следуя доброму примеру вашему, хочу сказать несколько слов по поводу пятилетия «Серапионов».

«Сомнительно, конечно, что это история литературы», — пишете вы. У меня этого сомнения — нет. Да, вы, «Серапионы», история литературы. В невероятно трудные годы, в условиях, отчаянно тяжелых, вы сумели остаться «свободными художниками» именно «вопреки законодателям вкусов», как вы пишете, вопреки создателям канонов или — точнее — кандалов для души. Это — заслуга не малая. Ее — не забудут. Не забывайте и вы то время, когда в голоде и холоде вас не покидала «одержимость», когда чувство дружбы так хорошо, крепко держало вас на земле и не дало погибнуть вам.

Дело прошлое: немало страха натерпелся я за вас, когда, обещав вам «три короба» всякой всячины, уехал из России и ничего не мог сделать, будучи обманут, как это со мною бывало и бывает нередко. Но вот вы все-таки преобороли внешнее, выжили здоровыми и твердо идете своим путем. Путь — верный. Каверин? Он — умник, он скоро догадается, что так писать ему не следует, не его дело.

Пожалуйста — передайте всем Серапионам сердечный мой привет и пожелание успехов.

Собираетесь писать роман? Это — превосходно. Вот бы сюда приехать вам, работать. Я тоже сижу над романом, вернее — хроникой русской жизни с 80-х по 918 год. Не знаю, что будет, но, разумеется, очень увлечен и ни о чем больше думать — не могу.

О III «Ковше» писал Груздеву. Изумлен был «Кругом», — зачем? Чулков! Да он же не литератор. Белый, еще раз желающий распять отца своего. Пильняк. Этого, кажется, скоро невозможно будет читать.

«Дело Артамоновых» вышло в Берлине, но посылать вам книгу

оттуда — бесполезно, не дойдет. Разве на Ленгиз попробовать? Попробую.

Всего доброго! Еще раз — спасибо за письмо ваше.

И — вот что: 29 января исполнилось Ромен Роллану 60 лет.

Я писал кому-то из москвичей и из ваших, чтоб этому человеку послали поздравление. Его адрес: Швейцария, Кантон Во, Villa Olga — Вилла Ольга. Человек — достойный всяческого уважения и честный человек, за что его и не любят.

Крепко жму руку.

Привет. А. Пешков.

28.I.26 (Неаполь)

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

(Неаполь) 5.II.26

Не помню, сообщил ли я Груздеву, что рассказ «О тараканах» Вяткину не посылался и нигде в России — кроме «Ковша», печататься не будет. Напечатан же, пока, только в одном из французских журналов.

Как вы и Груздев цените этот рассказ? Мне было бы весьма интересно — и полезно — знать, мерцает ли в нем нечто не «от Горького»? Это — серьезный вопрос для меня.

Не лень — ответьте.

Вы неоспоримо правы: работа над языком, над формой — цель всей жизни художника. Не хочу говорить комплиментов, но уже «Наровчатская хроника» звучит у вас по-новому. Шопен «Тишины», «Сада», Скрябин некоторых страниц романа «Гор[ода] и годы» как будто уступают место Глинке и Мусоргскому. Сей последний особенно, как мне кажется, — нужен вам. Говорю уподоблениями потому, что очень тороплюсь дописать письма до визита доктора.

Крепко жму руку. Всего доброго!

А. Пешков.

Художнику слова вообще следует внимательно слушать музыку, это — так!

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

(Неаполь) 10.II.26

Дорогой Федин,  
посылаю вам «Дело Артамоновых». Прочитав, сообщите, не стесняясь, что вы думаете об этой книге и, в частности, о Вялове, о

Серафиме. О личном моем мнении я, пока, умолчу, дабы не под-  
сказывать вам тех уродств, которых вы, м[ожет] б[ыть], и не замети-  
тите.

Здесь мои знакомые, умеющие ценить подлинную литературу, восхищаются «Кюхлей» Ю. Тынянова. Я тоже рад, что такая книга написана. Не говорю о том, что она вне сравнения с неумными книжками Мережковского и с чрезмерно умным, но насквозь чужим «творчеством» Алданова<sup>1</sup>. Об этом нет нужды говорить. Но вот что я бы сказал: после «Войны и мира» в этом роде и *так* никто еще не писал. Разумеется, я не профессор Фатов и Тынянова с Толстым не уравниваю, как он, Фатов, уравнивает Пантелея Романова со всеми русскими классиками. Однако у меня такое впечатление, что Тынянов далеко пойдет, если не споткнется, опьянев от успеха «Кюхли».

А вот Никулина — «Никаких случайностей» я сравниваю с Пьером Бенуа и другими сего рода и, не смущаясь, говорю: если Никулин будет писать книги *так серьезно*, как эта — первая? его — он, конечно, встанет выше всех французов — авантюристов». В этом жанре у нас не умели писать. Никулин начал хорошо.

Знали бы вы, как меня радует разнообразие литературного творчества в России и обилие творчества.

Вы, там, вблизи, на кухне, смотрите недостаточно зорко, к тому же вы — сами повара, а я — отдаленный читатель, мне лучше видно. И я — рад. Очень.

Крепко жму руку.

А. Пешков.

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Ленинград, Литейный, 33, кв. 13  
11.II.1926

Получил ваше письмо, дорогой Алексей Максимович, благодарю вас за ваше приветствие Серапионам — от себя и от всех товарищей. На годовщине мы с благодарностью вспоминали обо всем, что вы сделали для каждого из нас. Шлем вам сердечный привет и желаем всего лучшего! Какая радость — видеть в вас внимательного и хорошего друга! Я уверен, что ваше отношение к работе Серапионов не просто поддерживало молодых писателей, но и

---

<sup>1</sup> Алданов — псевдоним писателя-белоэмигранта М. Ландау, автора исторических романов.

обязало их к особой серьезности в труде, углубило чувство ответственности. Это особенно, может быть, касается меня: я много раз говорил вам о том, как я обязан вашему пристальному вниманию к себе и как благодарен вам.

Взгляд ваш на задачу художника («изобразить мир, каким он его видит, ничего не порицая и ничего не восхваляя») я считаю верным, т[о] е[сть] разделяю его, и мне думается, что это — мой взгляд. Понимая так задачу художника, я все же не перестаю быть человеком, не теряю качеств, присущих именно мне. «Мир, как понимаю, как вижу его *«я»*. Я же вижу «ничтожных кляч», они приковывают меня к себе, меня, человека, и — через него — меня — художника. Вот почему я говорил вам о «действенной моей любви» к «ничтожным клячам»<sup>1</sup> и о «досаде, которую вызывает во мне рысак». Вероятно, человеческое перетягивает здесь художника. И, действительно, я с тоскою думаю о «крепком человеке», об Эйнштейне, которого так мучительно недостает мне в моих писаниях. Я сейчас *ищу* образ, на который мог бы опереться в будущем моем романе. Я вижу очень стойких людей (хотя редко), но — истине — таких людей вижу «я — человек», но не «я — художник». Это неуклюже сказано, но вы поймете меня: мне не может быть писать об этих людях, мое воображение не претворяет их в притягательный образ, это все какие-то чурбаки! Казалось бы, в отношении к подобному материалу я наиболее холоден, объективен, с ним легче обращаться. Но он мне чужд! «Клячи» же — право — трогают меня, художника, до слез, и мне *нельзя* не писать о них... Я сейчас кончаю рассказ — «Трансвааль», — в нем выведен настоящий крепыш, человек очень любопытный, характер замечательный. Но ведь этот мой герой — негодяй! Редчайший, восхитительный, очень потешный негодяй! «Опереться» на такого — дело сомнительное... Самый «крепкий» человек, которого я когда-нибудь изображал, пожалуй — Лепендин. Но и этому несчастному сперва оторвали ноги, а потом его повесили. Только поэтому Лепендин мне мало-мальски удался! *Несчастье* привлекает меня неизменно. Удача, преодоление, победа — оставляют меня равнодушным. Уроды, сумасшедшие, юродивые, кликуши, лишние люди положительно не дают мне покою... Возможно, вы правы, говоря о «Муму» и «Акакии Акакиевиче», — конечно, — древнее в этом, христианское. Но ведь и все наше искусство (я не говорю о литературе древних, которая лично меня оставляет в совершенном безразличии) — христианское по

<sup>1</sup> Это — моя ошибка: я писал о «действенной любви к человеку» Горького (в письме от 20.I), и Горький именно в этом смысле, то есть о *своей* «действенной любви», отвечал мне в письме от 28.I.1926. = К. Ф.

сути. И не замечательно ли, что трагедия Короля Лира не в том, что он потерял царство, а в том, что потерял *дочерей*? Ведь это — «Живые мощи», жалость, сострадание, христианство! Покажите мне, хотя бы в мировой литературе, один пример, когда какое-нибудь произведение строилось без этих христианских элементов? Ваш герой в рассказе «О тараканах» положительно настоящий герой! Все дело в том, кажется мне, что он вызывает сострадание. Что ж из того, что он «таракан». Меня, например, с моей жалостью, хватит на многих «тараканов». И я думаю, что «Акакий Акакьевич» подлинно воспитал русского читателя, а «Цемент» Гладкова не воспитает никого. С Эйнштейном дело обстоит сложнее. В моем представлении образ подобного масштаба в литературе мог бы перевернуть все искусство, как сам Эйнштейн перевернул науку. Но и здесь, я думаю, не обойтись без трагедии, без несчастия, без того, чтобы образ вызывал сострадание. Иначе — гончаровский Штольд в увеличенном виде...

В «поисках героя» (вы напрасно, Алексей Максимович, попрекнули Н. Тихонова стихотворением «Поиски героя»: кончается оно очень иронично, и автор явно издевается над рекомендованными и одобренными героями, покрытыми ранами, в орденах и звездах...), так вот, в «поисках героя» меня потянуло за границу. Я уже писал вам, что собираюсь выехать в конце апреля или начале мая. Маршрут — Осло, Берлин, Саксония, Бавария, через Тироль в Италию, на юг. Почему Осло? Очень мне любопытна Норвегия, и есть случай постранствовать по ней. Не там ли мой «герой»? Конечно, это — карманная Германия, и все там, вероятно, мизерно. Но там *камни и море* и люди сеют хлеб на *камнях*. Мне эти люди привлекательны.

Начал хлопоты о разрешении. Тут я должен, памятуя ваше обещание помочь мне в поездке, обратиться к вам. Не напишете ли вы Керженцеву (к которому я отнесусь сам), чтобы он помог мне заполучить визу в Италию? Будьте добры, Алексей Максимович. Италия — мой конечный пункт, я собираюсь побродить по ней и очень хотел бы повидать вас, если это возможно. И потом. В прошлом году вы любезно предложили мне свою протекцию у А. И. Рыкова. Возможно ли это теперь? Если да — прошу вас черкнуть ему, чтобы он распорядился ускорить выдачу мне паспорта. Пожалуйста. Простите, что я затрудняю вас своими просьбами, которых у вас и без меня много. Но поехать мне необходимо, а я не уверен, что без вашего содействия сумею получить разрешение на въезд в Италию.

За обещание ваше — попытаться послать мне «Дело Артамоновых» из Берлина — очень благодарю.



С IV «Ковшом» положение в данный момент неопределенно: нас «закрывают» по два раза на номер! Но надежда сдать в набор в феврале — есть. «О тараканах» переписана и сверена. Оригинал вам отошлет Груздев.

Будьте здоровы! Жму руку.

Ваш *Конст. Федин.*

Как в Неаполе? Расцвет? Здесь — вьюги, горы снегу, морозы. Зима жестокая. Костры. По ночам у костров — милиционер, стрелочница, проститутка; топчутся, курят; разговор:

— Ну, а сколько ж — на круг — выходит?

— Когда как...

— Чижолое дело...

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

(Ленинград) 23.II.1926

Пишу вам, дорогой Алексей Максимович, только для того, чтобы уведомить вас о получении «Дела Артамоновых» и вашего последнего письма. Другое письмо — небольшое — также дошло, и я очень благодарен вам за все.

Сегодня начну читать «Д[ело] Арт[амоновых]» и попробую написать об этой книге вашей подробно и «не стесняясь».

Жму крепко руку, желаю здоровья!

Ваш *Конст. Федин.*

На письме Федина Горький написал: Вам, молодым, надобно читать нас, стариков, очень внимательно, очень *придирчиво*. Очень. Не упуская из виду некоторых достоинств наших, вы все же ищите — где, в чем недостатки? Это, наверное, не позволит вам повторить ошибки наши. Да ведь и достоинства тоже — не вечны; прочность, надобность их должна быть исследована. Лучшим критиком художника может быть лишь художник.

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

3.III.1926 (Неаполь)

Дорогой мой Федин, — нашу беседу об искусстве мы — истинно по-русски — свели к вопросам морали. Ваше тяготение к «ничтожным клячам» и «досада

на рысака» — это уже из области морали, и боюсь, что это путь к утверждению необходимости тенденции в искусстве, уступка требованиям времени. Акакий Акакиевич, «станционный смотритель», Муму и все другие «униженные и оскорбленные» — застарелая болезнь русской литературы, о которой можно сказать, что в огромном большинстве она обучала людей прежде всего искусству быть несчастными. Обучились мы этому ловко и добросовестно. Нигде не страдают с таким удовольствием, как на святой Руси. От физических страданий нас, все более успешно, лечат доктора, а от моральных — Толстые, Достоевские и прочие, коих, в сем случае, я бы назвал деревенскими «знахарями», они тоже бывают и мудры и талантливы, однако же чаще усугубляют болезнь, а не излечивают ее.

Аз есмь старый ненавистник страданий и физических и моральных. И те и другие, субъективно и объективно взятые, возбуждают у меня негодование, брезгливость и даже злость. Страдание необходимо ненавидеть, лишь этим уничтожишь его. Оно унижает Человека, существо великое и трагическое. «Клячи» нередко рисуются им, как нищие — своими язвами, «клячи» очень часто путают и ломают жизнь таких «рысаков», как Ломоносов, Пушкин, Толстой и т. д. Милосердие — прекрасно, да! Но — укажите мне примеры милосердия «кляч»! А милосердием, любовью «рысаков» к людям творилось и творится в нашем мире все, что радует нас, все, чем гордимся мы.

Гуманизм в той форме, как он усвоен нами от евангелия и священного писания художников наших о русском народе, о жизни, этот гуманизм — плохая вещь, и А. А. Блок, кажется, единственный, кто чуть-чуть не понял это.

Нет, дорогой друг, мне с вами трудно согласиться. На мой взгляд, с людей страдающих надобно срывать словесные лохмотья, часто под ними объявится здоровое тело лентяя и актера, игрока на сострадание и даже — хуже того.

Мне думается, что вас, «художника», не «клячи трогают до слез», а вы волнуетесь от недостаточно понятого вами отсутствия смысла в бытии «кляч». Поймите меня — я смотрю на сию путаницу не с точки зрения социальной неразберихи, а глазами инстинкта, биологической силы, которая внушает мне вражду ко всякому страданию.

Крепко жму руку. Будьте здоровы.

*А. Пешков.*

Ленинград. 27.III.1926

Получил ваш портрет, дорогой Алексей Максимович, душевно благодарю вас за память! Как, однако, вы похудели, видно, здоровье ваше не очень хорошо, или чересчур много работаете? Вы никогда ничего не напишете попросту о своем самочувствии, если и упомянете о здоровье, то вскользь, между прочим. Думаю, что вы слишком переутомляете себя. Последнее время я часто видался с Валентиной Михайловной<sup>1</sup>, она много рассказывала о вас, о вашей тамошней жизни. Говорит, что — иной раз — почту привозят к вам на извозчике, а вы аккуратнейше все прочитываете, книги и рукописи, расставляете запятые малограмотным авторам, сердитесь, но все же читаете, ночами напролет. У меня волосы стали дыбом, когда я подумал, что этакая война с рукописями и письмами тянется у вас всю жизнь! Ведь от одного этого не поздоровится! Признаться, подумал я и о себе грешном: не слишком ли много отнимаю у вас внимания? Вот даже затеял какое-то подобие спора о вещах, давно для вас решенных, и вы правы, что свели все дело «к вопросам морали». Признаю, что неудачно выразил свою мысль, потому что — конечно, — я далек от «утверждения необходимости тенденции в искусстве». В 4-й кн. «Нов[ого] мира» пойдет моя статья об искусстве, написанная 2½ года назад (тогда ее не напечатали). В ней есть о «тенденции». Если это можно было заключить из моего последнего письма, — значит, письмо это никуда не годно (с моей точки зрения!). Очень хорошо вы говорите в конце вашего письма о «биологической силе», которая внушает вам *вражду* ко всякому страданию. Я завидую такой силе, потому что не обладаю ею. И вся моя мысль о «клячах и рысаках» (ей-богу, в последний раз о «клячах»!) сводилась к тому, что я — по-видимому — биологически неспособен действительно *ненавидеть* страдание, но только всегда *сочувствую* ему. Художник же, думаю я, обращает свой взор преимущественно туда, где есть простор и почва для его «сочувствия». Вот почему я часто вижу себя в кольце: о чем ни начал бы я говорить, я говорю только о страдании.

Не писал вам долго по многим причинам. Давно уже прочел и перечитал «Дело Артамоновых», и мое впечатление об этой книге вполне отстоялось. Попробую передать вам его.

---

<sup>1</sup> В. М. Ходасевич, художница, в 1925 г. посетила Горького в Сорренто.

Совершенно изумительно начало романа. Илья Артамонов — старик поражает, *подавляет* своею жизненностью. С первых строк книги и до самой своей нелепой смерти он *движется* по книге, так что страшновато и сладко *за ним глядеть*. Замечательно вот что: когда я прочел *его* (это именно так), мне показалось, что я — выше ростом, что у меня очень широкие плечи, что я силен и невозможно неуклюж. Я поймал себя на том, что у меня переменялся голос, я помню, как заговорил с дочерью — по-новому, — со странным чувством превосходства отца. Мне стало казаться, что я наплюжу много детей и они будут грубоваты, я буду с удовольствием и видимой строгостью понукать ими. А жену свою я совсем по-особому в этот день похлопал по плечу. Это длилось, конечно, недолго, минуту-другую, когда я, оторвавшись от книги, вышел в соседнюю комнату, *к семье*. Это заражение, исходящее от Артамонова Ильи, по-моему, решает все: книгу уже нельзя не полюбить. Хорош Тихон Вялов, и совершенно неожиданно открывается — кто он, так что только в конце книги понимаешь всю силу этого человека. Думаю, что Вялов искуснее других героев раскрыт читателю; он все время — загадочен и кажется «хорошим человеком» неспроста, но почему — так и не знаешь; конец же подымает его на голову выше «хорошего человека», делает его героем, вся его жизнь у Артамонова, у «убийцы», становится послухом, борьбою с искушением. Образ Наталья хорош вначале, так же — Алексея (Никита от начала до конца сделан очень сильно, человек «во плоти»). К концу Алексей как будто туманнее, его превращение в либеральствующего дельца воспринимается сухо, это что-то головное. Наталья-невеста — прекрасна, первая ночь ее с Петром (и Петр в эту ночь) — взволнованная, чистая и мастерски совершенная сцена. Не знаю, была ли это ваша композиционная задача: строить первые части романа на «людях», вторую — на «деле». Это совпадает с темой (я понимаю ее так: дело, движимое вначале волею человека, постепенно ускользает из-под его влияния, начинает жить само собою, *своею* волей, более мощной и непреборимой, пока — в революцию — окончательно не освобождается от человека). Но такое построение романа привело к тому, что он стал несоразмерен в частях, ибо вам пришлось во второй половине либо кратко упоминать об обстоятельствах и условиях роста «дела», либо повествовать о людях (излагать), тогда как в первой половине вы *изображаете* людей. Ведь то, что происходит на протяжении 90-х — 917 годов, несравненно больше *количественно*, чем в 60-е — 80-е годы. Основание «дела» Артамоновыми, его первые шаги заняли, примерно, лет 7, т[о] е[сть] к 70-му году «дело» уже вертелось. На изображение этого ушло полкниги, а в другую половину

книги уместено 47 лет (приблизительно, конечно), причем в эти 47 лет происходит *тематически* самое важное: «дело» становится действующим лицом, «дело» сминает породивших его. Мне думается, этот композиционный недочет заметно повлиял на эффект конца: книга под конец схематичнее и суше. С этим обстоятельством совпадает другое. Характеры артамоновских внучат мельче и случайнее, чем — деда, отцов. Это так и должно быть, так и есть (к несчастью). Но это усугубляет разряжение конца романа.

Замечательно в книге то, что вы выступаете в ней с новой, молодой мощью. При чтении ускользает от внимания *род* материала, он кажется невиданным, небывалым в литературе. Только вдумавшись — видишь, что это материал Горького — уездное, Окуров, Гордеев, российское купечество из разночинцев и богатеи из мужичков. Но Дрёмов совершенно заново поставлен перед читателем, обернут такой стороной, которую мы ни разу прежде не примечали. Очень сильно и молодо.

Вот что мне грустно и больно видеть в вашей книге: ведь старик-то, поистине, великолепен, Илья старший! Ведь он *умел и сумел*. А сыны? У Петра все катится потому, что не может не катиться. Алексей форсит и сюсюкает (в Нижнем Петр хорош, Алексей отвратителен). А внучата дрянь. И «дело» — под конец тоже дрянь. Вот разве Илья-внук? Да ведь он *так и не появился на «деле»* и, надо думать, — ходит нынче с портфелем, заседает, «прекрасен в абстракции». Я не насчет идеологии, а насчет «дела».

Серафим хорош, но из «утешителей» у вас лучший в рассказе «Отшельник». Серафим циничнее, суетливее, не излучает того света, что Отшельник. Никита очень примечателен. Жалко, что он слегка глуповат: поумней — восстал бы.

Ну вот. Простите мне мои неловкости в отзыве. Книгу эту вашу я полюбил.

Жму вам руку, от всей души желаю здоровья и сил.

Ваш *Конст. Федин*.

В «Нов[ом] мире» А. Белозеров пишет о вас. В 4-й кн. будет окончание. Там же отзыв на книги о Горьком.

Жена моя просит передать вам привет и свое восхищение вашими двумя последними книгами.

О загранице очень мечтаю. В мае надеюсь двинуться. «Гор[ода] и годы» вышли 2-м изданием.

23.IV.1926 (Сорренто)

Дорогой Федин,  
спасибо за Ваш отзыв об «Артамоновых». Я считаю, что Ваши указания на недостатки конструкции — совершенно правильны. На это же — почти вполне согласно с Вами — указал мне и М. М. Пришвин, художник, которого я весьма высоко ставлю, и человек насквозь русский. Даже — слишком, пожалуй. Он по поводу «Безответной любви» пишет мне: «Это и французы написали бы». Чувствуете высоту тона? Знай наших! А для меня его «и французы» — лучший комплимент, какой я когда-либо слышал.

Кое с чем в письме Вашем я не согласен, но это для Вас не интересно. А вот хороший, серьезный и открытый голос Вашего письма очень дорог мне. Я, видите ли, не только мастеровой-литератор, но прежде всего человек, *верующий* в литературу и — простите слово! — даже обожающий ее. Книга для меня — чудо. И мне потому было приятно читать письмо В[аше], что в нем физически ощущим человек, тоже влюбленный в свое дело.

«Молодым» писателям следует читать «стариков» придирчиво. Достоинства — как и все в мире нашем — подлежат исследованию наравне с недостатками. Живет немало достоинств, слишком изношенных и подлежащих искоренению.

Что же четвертый «Ковш»?

Правда ли, что в Петербурге группа литераторов — имена не названы — затевают чисто литературный журнал типа «Современника»?

Какие вообще у Вас новости?

Будьте здоровы. Спасибо.

А. Пешков.

В. М. Ходасевич встречается? Передайте ей прилагаемую записку. Хорошо?

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Ленинград, Литейный, 33, 13  
4.XI.1926

Послал вам, дорогой Алексей Максимович, свою книжку, в которой вы не знаете одной повести (в книжке — две) — «Трансвааль». Все ждал, когда выйдет сборник последних моих вещей, но

вдруг обнаружилось, что ГИЗ, с коим я подписал договор на сборник, восстал против «Трансвааля» (дважды напечатанного в России, т[о] е[сть] у нас, т[о] е[сть] в СССР, т[о] е[сть] под наблюдением Главлита), находя эту повесть зловредной и еретической. Откуда мне сие? Ни сном ведь, ни духом! Ан нет! Дискуссия в редпланах, коллегиях, кабинетах редакторов и прочее длилась многие месяцы. Москва собиралась изничтожить остатки ленинградского своеволия, обрушив на мою голову великое множество канонических отзывов весьма почтенных редакторов. Я буквально подломился под тяжестью поучительств всякого рода надзирателей, пока, наконец, Ленинград не пересилил. Дело, однако, конечно же!! в режиме экономии, не позволившем ГИЗу выкинуть на воздух мой аванс, а вовсе не в победах и триумфах так называемого здравого смысла. Я же проявил никак не похвальное упрямство, не согласился ни на купюры, ни на перемену названия книги. Так она и будет называться «Трансваалем», обобщая этим именем все мои рассказы о русской деревне наших дней. Кстати, об опасностях обобщений. Вместе с книжкой я послал вам оттиск рассказа «Мужики», названного «Новым миром» поскромнее «Пастухом». Это последнее название, изобретенное лукавым умом, говорит о том, что в нашей деревне *может случиться* история, описанная в моем рассказе, — и только. «Мужики» же — это дело серьезное, бог знает, что под сим именем таится, может, чего доброго, автор хочет сказать, что история, описанная в рассказе, как бы перманентно *случается*. Впрочем, все эти соображения — сущие пустяки, и не нам, российским писателям, говорить о них хотя бы даже вскользь. Сообщаю вам эти ничтожности просто в качестве, ну, скажем, подстрочных примечаний к истории текстов...

Пока суд да дело — сборник мой выйдет не скоро, поэтому и отослал вам разрозненные свои вещи.

Самая большая моя новость — я свободен от всяких «служб». Далось это ценою продажи на корню нового романа, над которым сейчас тружусь. Чувствую, что с выходом этого романа обрушится на меня поток шишек, и не потому, что опасаясь литературной неудачи, а просто таковы уже нравы Растеряевой нашей улицы: на втором или третьем шагу писателя надо его бить дубьем, батогами, кольями, кнутовищами, сапогом, лучше всего — в морду, в самое хайло, чтобы чувствовал, паскуда, что над ним есть управа! Признаюсь, ожидаю такого самосуда даже с некоторым удовольствием. Ведь приятно как-никак приобщиться к сонму великомучеников и на каком-нибудь небесном конкурсе оспаривать первое место: а и меня кипятили во смолушке горячийей, и меня жарили на сковородочке, да и не мне ль вогнали под ногти да дюжину

булавочек, да не меня ли подтянули на дыбушку, не меня ли клеймили клеймами железными? А и спросит тут небесный отец: а и кто ты будешь, раб наш, добрый молодец, какого роду, какого племени? И ответит добрый молодец: а и роду мы расейские, а и племени рабоче-крестьянские, а по промыслу да по отхожему — писатели! И простятся тут все грехи наши, все прегрешения, да и вольные и невольные...

Думаю, впрочем, что казнить меня будут нешибко, потому что величали меня невысоко, и падение будет не бог весть сколь сокрушительное. Но уж побранят со вкусом и расстановочкой!

Вся «вышеизложенная» апелляция касается больше не меня, а моих друзей, я же все это лишь только предчувствую.

Опасений за литературную неудачу, говорю я, у меня нет, хотя это только внешне. До сего дня не могу понять я формулы об «установившемся писателе». Кажется, придумана эта формула людьми религиозными, любящими спокойствие, подобно тому, как отцами церкви решены все вопросы душеспасения и основ. И вот не могу я «установиться» и в каждой новой работе своей «мятусь», так что дни мои исполнены сомнений, и так я живу. Может быть, это слегка и глуповато, но верно вы сказали о моей «одержимости».

В романе будут у меня такие люди: «иногородние» уральцы т[о] е[сть] купцы Нижне-Уральска, казаки с ф[о]р[ф]осов (ф[о]рпостов), немного волжан, много столичной интеллигенции — питерцев, иностранных людей немного; зверств тоже немного, смертей среднее количество, ужасов — в меру. Время наше, т[о] е[сть] и предвоенные годы, и теперешний Ленинград, и даже гражданская война, но тоже в умеренной дозе (будет бой сынов с отцами на реке Чагане). Вообще хочется сказать о времени такое, что оно вовсе не нарублено кусочками, как капуста, а целостно, и что так называемая современность деликатно заготовлена нам нашими многоуважаемыми родителями. Трудность тут в композиции, черт ее знает, как свернуть в трубку конец прошлого века с пятым и двадцать пятым годами! Надеюсь, что сравнительная независимость, которой я ныне добился, поможет мне справиться с работой. А впрочем — как знать?

Заграничные мечтания мои, как видите, и в этом году не осуществились. Вместо всяческих Европ смотрел я снова и снова обычаи и норы нашей родительницы, проникаясь к ней ненавистнейшей ненавистью и другими чувствами, которых в письме не выразишь. Проплыл на лодке много сотен верст по Угре и Оке, в губерниях Смоленской, Калужской, Тульской, Московской. Был на Волге. В Нижнем, на ярмарке, думал о той поре, когда там



«лечился» ваш Артамонов. Думал так: попади Артамонов вот теперь, на эту ярмарку (я бывал в Нижнем в 1904, 1908, 1912 гг.), сразу бы старик исцелился! Знаете, как дети говорят: это что — дяденька, или нарочно?.. Был в Черемшане, под Хвалынском, у староверов, в скитах. Замечательный народ! Испытав необычайные «утеснения» (из всех скитов остался один, наибольший, где старцы живут вместе со старицами, с беглыми купцами, а схимники, заготовившие себе гробы, — рядом с молоденькими послушницами), староверы наипаче всего помнят обиду искомную, от «ваших попов», рядом с которыми какой-нибудь коммунистический Мельников-Печерский — ангел во плоти! Отец Серафим — существо беззлобное, хотя шумливое, как все «австрийцы», — разоткровенничавшись со мною, вдруг улыбнулся ненавистно, почти демонически, и прошипел: «Ну, да теперь им тоже попало, получше, как нам» (это «вашим попам»). Крепкий народ, стоящий!.. В самом Хвалынске, при зоологическом музее, принадлежавшем правнуку Радищева, основан богатейший музей икон, изъятых из скитов. Заведует музеем корреспондент академии, немец, ботаник Варшавского университета Гросс. «Страшен вид этого человека!» Эвакуированный в войну из Варшавы, он застрял на Волге, пережил голод, но остался нерушим и тверд. По виду похож на святого римской церкви: худ до ужаса, брит гладко, обсырожен базедовой болезнью, высок необычайно. За всю революцию музеем не получал *ни одной копейки*, заведующий же состоит на окладе в 18 рублей и часть этого оклада уделяет на нужды музея. Так вот этот Гросс — тайная привязанность всего скитического люда, ибо он, Гросс, хотя и «не наш», больше того — как бы агент нечистого, приставленный к благочестию, — но все же бережет от гнуса поповского святыню. Пскропят потом (когда-то?) музейные иконы святою водицей и спрячут подальше. А пока пусть — лучше уж у немца, состоящего на жалованье в Совете, чем еще где!..

Был я, конечно, и в «настоящих» волжских городах — в Самаре, Саратове. Все так же на тротуарах взвозов режется «помидора», так же отсыпаются на земле полуголые «галахи», такая смертная безотрадность, такая пьяная тоска!

И вот, два месяца побродив по Руси, опять я дома, в евразийском своем кабинете. Ничего не привез я нового, все то же! Как и те свечи горят по земле меркло, от свечки до свечки сотня верст, «тлеют по господу богу», а кругом великая скука, великое «зачем?». Эх, если бы вы, дорогой Алексей Максимович, опять все это увидели!

Простите, что пишу вам ни о чем и обо всем. Но, как всегда, пишу вам с радостью.

Как ваше здоровье? Ходит слух, что вы чувствуете себя хуже, верно ли это? Работаете ли над большим романом, о котором тут писалось? Есть ли новые издания, после «Артамоновых», не приплете ли?

От всей души желаю вам здоровья, жму руку.

Любящий вас *Конст. Федин*.

#### ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

Дорогой мой друг — замечательно интересное письмо прислали вы. И написано оно — прекрасно. Гневно-тоскливый тон его тоже как нельзя более оправдан. Для меня в этом письме вы встаете прежде всего как художник, очень серьезный, талантливый и зоркий. А как сегодняшний русский человек — вызываете такие размышления: жизнь — алогична, и нет и едва ли может быть такая идеология, которая могла бы удовлетворительно объяснить все алогизмы. Они мучительны, да! Но ведь именно они главный и ценнейший материал художника. Когда предо мною некто очень мудрый трясет решето идеологии — все равно какой — я не всегда ясно понимаю, что для меня питательнее: мука или отруби? Чаще мне кажется, что именно — отруби. Консерватор Хвалынского музея, Сваакер «Трансвааля», Игнатий «Наровчатской хронки» — отруби, не так ли? Но ведь:

На них-то всю историю  
Построила судьба! —

как писал Добролюбов, по поводу спора Погодина с Костомаровым о происхождении Руси<sup>1</sup>.

Процесс осваивания художником действительности — тяжелый процесс. Жизнь, оплодотворяя его опытом — не церемонится, не щадит его души, но ведь только это ее безжалостное своекорыстие и насыщает художника волей к творчеству. Это говорится мною не ради утешения, а беседы ради, хотя признаю, что я несколько встревожен, вам, видимо, очень нелегко.

И «Трансвааль» и «Мужиков» я читал, конечно. Сваакер показался мне сделанным несколько суховато, вы недостаточно

<sup>1</sup> Горький приводит неточно строки из стихотворения Н. А. Добролюбова «Два порога», которое вошло в статью «Наука и свистопляска, или Как аукнется, так и откликнется». У Добролюбова: «На них мою теорию поставила судьба».

подчеркнули смешное в нем, это его смягчило бы. А «Мужиков» прочитал тотчас же после романа Клычкова «Чертухинский балакпрь». Значительно ваше разноречие с Клычковым, и, конечно, это разноречие — надолго. Как спаять сталь с медью? Город и деревня все более озорно дразнят друг друга.

Пишу — торопясь, ждут американцы, а ответить вам хочется сейчас же.

Очень рекомендую вам изданную «Временем» книжку Стефана Цвейг[а] «Смятение чувств» — замечательная вещь! Прочитайте. Этот писатель растет богатырски и способен дать великолепнейшие вещи.

Где Груздев? Я писал ему об одном предложении немцев, — он не ответил мне, что неважно, но — ответил ли он им?

Если встречаете Каверина — попросите его прислать мне «Конец хазы» и «Щиты и свечи» — это нужно для одного «поклонника его таланта».

Крепко жму руку.

*А. Пешков.*

13/XI.26. (Сорренто)

Кем-то издан мой рассказ «О тараканах» — не могу ли я получить его? Интересно.

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Ленинград, Литейный, 33, 13  
4.III.1927

Дорогой Алексей Максимович,  
позвольте прежде всего сказать о том деле, по поводу которого я тороплюсь написать вам. Группе здешних писателей, после долгих стараний, удалось получить разрешение на создание в Ленинграде товарищеского (кооперативного) «Издательства писателей»<sup>1</sup>. Инициаторами дела были Семенов, Груздев, Слонимский, я и др. Очень помогли нам М. А. Сергеев (сейчас он заведует «Прибоем», который много внимания уделяет новой русской прозе), Ф. Э. Кример, которых мы привлекаем к участию в работе. О намерениях наших организовать такое изд[атель]ство вы — помнится — знали хорошо, и мои товарищи писали вам об общей нашей надежде, что вы не

<sup>1</sup> Федин был председателем правления издательства,

откажетесь поддержать дело своим участием в нем. Позвольте мне еще раз просить вас, дорогой Алексей Максимович, о вступлении в будущее «Книгоиздательство писателей в Ленинграде». Желательнее всего для нас и ценнее всего для изд[атель]ства было бы ваше согласие войти в редакцию и возглавить ее. Прошу вас об этом убедительно: одно вхождение ваше в редакционный совет принесло бы великую пользу и решило бы все дело наилучшим образом. В зависимости от участия вашего находится самое формирование редакции, и было бы хорошо, если вы, согласившись войти в изд[атель]ство, сообщили бы мне свое мнение о составе редсовета, желательном и полезном для успеха работы. Другая важнейшая часть дела заключается в просьбе к вам дать что-нибудь для издания в этом писательском издательстве. Тут я не решаюсь говорить пространно, потому что только вы один в состоянии решить вопрос наилучшим для вас и для издательства образом. Но сугубо прошу не отказать!

Хлопоты о разрешении начаты были в сентябре прошлого года. К концу февраля разрешение оформлено. За это время многое изменилось, особенно по части рукописей, которые могли бы нас интересовать: писатели — народ нетерпеливый и голодный, ждать нельзя, и все распродано старым изд[атель]ствам. Таким образом дело приобретения рукописей и накопления т[ак] н[азываемого] «портфеля» — это дело сейчас становится трудным. Люди же практические, знающие книжный рынок, не только не боятся приближения летнего «мертвого» сезона, но всячески стремятся употребить его для издательской работы, говоря, что русская беллетристика «идет» теперь лучше другой литературы и не знает никакого «мертвого» сезона. (Пример — изд. «Прибой», на складах которого по беллетристике 1,5% остатков, или, как говорят книжники, «затовариванья».) Как видите, трудность дела обнаруживается с неожиданной стороны: раньше рукописей некуда было девать, а нынче их негде стало взять. И основная работа будущей редакции нашей будет состоять *в борьбе за рукопись*, т[ак] к[ак] ее — рукопись-то — придется почти что отбивать у конкурирующих издательств, кинувшихся за беллетристикой ввиду ее «рентабельности»! Что до денежных средств книгоиздательства, то их у него нет. И тем не менее: 1) мы не будем искать ни ссуд, ни субсидий; 2) мы не будем нуждаться в деньгах. Вот схема отношений, которые должны помочь нам осуществить эти два сакраментальные пункта. Наше изд[атель]ство заключает с «Прибоем» договор, по которому «Прибой» дает изд[атель]ству аванс под тираж такой-то книги. Изд[атель]ство оплачивает из этого аванса приобретенную рукопись и сдает выпущенную на средства «Прибоя» книгу на

склад «Прибой», который распространяет ее по соглашению с издательством. Часть тиража, таким образом, гарантирует «Прибою» получение выданного изд[атель]ству аванса и затраченных на выпуск книги денег, а другая часть тиража приносит известный доход издательству, который идет на усиление его средств. При таких условиях через какой-то промежуток времени мы накапливаем оборотные средства и можем работать вполне независимо. Чем заинтересован «Прибой»? Тем, что его типография получает «нагрузку», т[ак] к[ак] наше издательство увеличивает число выпускаемых «Прибоем» листов, и тем, что он увеличивает свои оборотные средства. При нынешних условиях это — такая выгода, что «Прибой» идет на наше предложение (на первый взгляд — бездоходное) с большой охотой. (Не могу не рассказать, а прогос, про словечко, придуманное совсем недавно нашими издателями: «листаж». Слышали вы что-нибудь подобное? Это означает «количество листов», выпускаемых изд[атель]ством. Говорят: «а у них какой листаж?», «мы увеличили листаж в два раза». Тут издателям не дают спать лавры кинорежиссеров, давно уже употребляющих такое слово: «типаж», — «у него типаж неврастеника...».)

Хорошо было бы начать работу изд[атель]ства весною, чтобы к сезону выпустить сразу несколько книг. Но добрые люди торопят, говорят — надо выпускать скорее, теперь же, весной. Думаю, что лучше не спешить. Если нам удастся выбрать наилучшее из того, что в ближайшем будущем окажется у писателей, — мы обеспечим успех писательского дела. Но оно легко и конфузно может прогореть, если мы поведем его, сообразуясь только «с листажом»...

Весьма вероятно, что в Ленинграде удастся организовать журнал. Об этом часто говорит Сергеев (он хотел вам написать на этих днях), припоминая, что полученное когда-то разрешение издавать журнал (под редакцией вашей, Ольденбурга, Вяч. Иванова и др.) пропало всуе. Многие надеются на возможный ваш приезд в Россию на будущий год, ко дню шестидесятилетия вашего, и рассчитывают, что такой приезд ваш мог бы оказать большую услугу и радость литературе. Может быть, и правда соберетесь? Очень, очень было бы хорошо. Разрешите, к слову, поздравить вас с приближающимся днем рождения и пожелать вам всего хорошего. Я часто вспоминаю свое восторженное и глупое письмо, какое послал вам семь лет назад вскоре после знакомства с вами. Письмо было совсем гимназическое (хотя я был очень взрослым человеком), я был болен тогда и жил очень трудно, но мне очень легко и хорошо было писать вам — просто так, по-глупому, — и поздравлять вас с днем рожденья. За письмо это, если бы показать его стороннему человеку, мне было бы сейчас очень неловко. Но когда

я думаю о вас, я и сейчас чувствую все то же, и вот эти мои слова, которые я пишу, — такие же наивно-неуклюжие и смешные слова. Но перед вами мне даже не стыдно, и я с непонятной радостью говорю вам это.

Не писал я вам с осени. За эти месяцы я успел очуметь от работы и безалаберной, путаной российской жизни: так, наверно, и умрешь где-нибудь на полпути, на полуслове, все будет некогда, недосуг. Трещусь над романом. Он пойдет в третьей книге «Звезды» (плохой журнал, единственный, впрочем, в Питере), которая выйдет скоро. Самое страшное: начинаю печатать его, не дописав, и работы еще очень много. Так вышло, к несчастью. От города бегу, заточаюсь, да будет он треклят... пока я не кончил писать!

У вас, наверно, давно не стало веры в меня, а я опять и опять пишу вам, что осенью хочу поехать на Запад, между прочим, — на юг, в Италию. За деньгами и прочим, как будто, дело не станет: продал Собрание — четыре книги. Продал «Прибою», а нужно было бы нашему изд[атель]ству, и «Прибой» переуступил бы, вероятно, если бы не Госиздат, с которым я поссорился.

Если мои книги выйдут под маркой «Книгоизд[ательства] писателей», Гос[ударственное] изд[ательство] не спустит это ему и мне, ибо считает меня своим крепостным. А хорошо бы, лучше бы печататься в своем изд[атель]стве!

Жду вашего ответа, дорогой Алексей Максимович, и — еще раз — всего хорошего!

Любящий вас *К. Федин.*

Привет вам от жены.

#### ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

Дорогой мой Федин — согласитесь, что быть редактором номинально — я не могу, а фактически редактировать — как же это возможно? Затем: примите во внимание мою загруженность работой и корреспонденцией. Вот это письмо вам — сегодня одиннадцатое. И, наконец, вот что: если б я был в Петербурге, то и тогда отказался бы от редакторского чина, ибо не чувствую себя способным на это дело, особенно трудное и глубоко серьезное в наши дни.

Не могу я и дать вашему издательству какую-либо свою книгу, ибо — связан договором с Госиздатом. Да и нет еще у меня никакой книги.

Почему бы вам не привлечь Сергеева-Ценского, если не в качестве редактора, то участником издательства, сотрудником? И — Пришвина? Это писатели более талантливые, чем я, и люди более тонкого литературного вкуса, — они оба умеют брать литератора чужо, как такового, а мне за рукописью всегда виден человек, и это мешает правильной оценке его работы. Пришвин особенно мощно растет как художник, его искусство уже почти волшебство. То же можно сказать и о Ценском.

Вы, Федин, знаете, что я не ленив, работы не бегу, но мне так сейчас много нужно свободного времени, что, право же, я отказываюсь от предложения вашего на основаниях солидных для меня. И — повторяю — отказался бы, даже будучи в Петербурге.

Не сердитесь на меня.

Крепко жму руку. С нетерпением жду вашего романа.

А. Пешков.

16.III.27 г. (Сорренто)

Какая интересная книга «Республика Шкид».

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Саратов. 8.III.1928 г.

Дорогой Алексей Максимович, сегодня я кончил своих «Братьев», и вот пишу вам первому об этой радости. Право, давно я не чувствовал такого счастья, и ни разу за истекшие полтора года не мог бы написать вам с таким легким сердцем. Только поэтому и не писал. Я привык обращаться к вам или с решенной или с безнадежно брошенной задачей, как прилежный ученик — к учителю. А последнее ваше письмо (весной прошлого года, правда, — по второстепенному «деловому» поводу) немного напугало меня тем, что уж очень вы утруждаете себя ответами даже на «коротенькие» письма. Я тогда же положил не писать вам, пока не решу своей «задачи». А сегодня не могу удержаться — пишу беспредметно, ни о чем, просто вот «так»! Уж очень хочется сказать, что я рад! Радость, конечно, не от того, как я выполнил работу, а от того, что *выполнил*. Сейчас я вовсе не спо-

собен судить о сделанном. Однако я знаю твердо: работал я над романом, пожалуй, так же упрямо, как мой Никита над музыкой, и теперь у меня вместо сердца — дырявый мешок и вместо головы — пустое ведро. Жить же мне вкусно, как никогда!

Груздев говорил мне, что за «Братьями» по журналу вы не следили. Я рассчитываю на скорый выход отдельного издания (раньше, наверное, в Берлине) и пошлю вам книгу, как только она выйдет. Тогда буду просить вас уделить роману свободный вечер. Пожалуйста, не считите мою просьбу докукой.

Простите бестолковую мою неловкость: я хотел начать письмо с приветствия по поводу вашего юбилея<sup>1</sup>, но непосредственность сегодняшних моих чувств оказалась сильнее моих намерений.

Настолько сильнее, что вот... я простодушно сознаюсь в этом!

Я очень хочу присоединиться к самым искренним поздравлениям, которые вы получаете теперь, дорогой Алексей Максимович. Но только один способ сделать это кажется мне сердечным: я просто еще раз благодарю вас за все, что вы сделали для моей личной судьбы и для судьбы литературной. Чувство настоящей человеческой признательности к вам и есть мой привет ко дню вашего рождения.

У меня большое желание повидать вас, Алексей Максимович. Вы изверились, конечно, в том, что я когда-нибудь выберусь за границу, и махнули на мою болтовню рукой. Но теперь у меня найдутся и деньги и другие возможности поехать. Однако здесь уверенно пишут, что весной вы собираетесь в Россию. Будьте добры написать мне, когда вы поедете и каким путем. Весною я буду в Германии. Если ваш путь лежит через Берлин, то я постараюсь встретить вас там. Впрочем, все зависит от того, когда вы поедете: возможно, что я буду еще в России.

Очень прошу сообщить мне ваш маршрут и сроки поездки.

Желаю вам всего, всего наилучшего. Как вы теперь чувствуете себя и не боитесь ли нашей капризной весны?

Будьте здоровы!

Любящий вас *Конст. Федин.*

Адрес мой прежний: Ленинград, Литейный пр., 33, 13.

Простите за торопливость письма: уж очень я к себе не требователен сейчас!

---

<sup>1</sup> 28 марта 1928 г. Горькому исполнилось шестьдесят лет.



Более м[еся]да тому назад получил ваше письмо, читал и сомневался, чувствуя в словах и за словами вашу, очень понятную мне, радость. Это всегда хорошо — кончить какое-нибудь трудное дело, но у меня к радости примешивается еще и тревожный вопрос: а еще что ты можешь? И — можешь ли уже? Недоверчив я к себе. Этим, наверное, можно объяснить торопливость и шероховатость моего «творчества», как теперь говорят.

А «Братьев» прочитать мне, кажется, не суждено. Начал в «Звезде», но некто взял «почитать» две книжки и, разумеется, не возвратил их, а увез в Турцию. Начало мне очень понравилось строгим тоном, экономностью слов, точностью определений. Жду отдельного издания. М[ожет] б[ыть], оно уже вышло и послано мне, но — до меня не дошло. Тут со мной невесело играет почта. Вот уже более м[есяца] я не получаю из Рос[сии] ни одной газеты, ни журналов, ни книг, хотя, по письмам, знаю, что все это мне послано и посылается аккуратно. Писал в полпредство: в чем дело? «Спросим», — ответили мне. Странно. Писем получаю полсотни — в среднем — ежедневно, простых и заказных: на многих конвертах адреса пишутся только по-русски, карандашом, безграмотно, а все это — доходит. Книг, журналов, газет — ни одной!

В Россию еду около 20-го мая. Сначала — в Москву, затем — вообще. Обязательно — в Калугу<sup>1</sup>. Никогда в этом городе не был; даже как будто сомневался в факте бытия его, и вдруг оказалось, что в этом городе некто Циолковский открыл «Причину Космоса». Вот вам! А недавно 15-летняя девочка известила меня: «Жить так скучно, что я почувствовала в себе литературный талант», а я почувствовал в ее сообщении что-то общее с открытием «Причины Космоса».

Вообще же наша Русь — самая веселая точка во Вселенной. «Я человек не первой молодости, но безумно люблю драмы писать», — сказал мне недавно некто. Никто в мире не скажет этого!

До свидания! Обязательно встретимся, да?

*А. Пешков.*

21.IV.28 Сорренто.

---

<sup>1</sup> 28 мая 1928 г. Горький приехал в Москву. В июле — августе им была совершена поездка по Советскому Союзу: Курск, Харьков и другие города, но в Калуге он не был.

Ленинград. Литейный, 33, кв. 13  
3.VI.1928

Дорогой Алексей Максимович,  
поздравляю с приездом и благодарю за поклон, который привез мне от вас Груздев. Надо же случиться такой незадаче: я рассчитывал, что вы приедете в Ленинград до 15-го июня (да и все здесь ждут вас недели через полторы), а вы — как будто — не очень торопитесь и, судя по тому, что рассказывает Груздев, может быть, поедете сначала по провинции (мы ведь упрямо считаем Ленинград столицей).

Мне *очень* хочется увидеть вас. А тут, как на грех, именно в середине июня, я получаю заграничный паспорт, и нужно будет, не теряя времени, ехать. Ведь к поездке этой я готовился добрых пять лет.

Очень прошу вас написать мне (поскорее) — могу ли я приехать в Москву с тем, чтобы отнять у вас часок времени (если вы не соберетесь в Ленинград до 15-го). *Пожалуйста!*

Ваш *Конст. Федин.*

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Ленинград. 26.X.1930

Дорогой Алексей Максимович,  
просьбу, изложенную в «официальном» письме изд[атель]ства<sup>1</sup>, я очень усердно поддерживаю уже от себя лично, не в ипостаси «председателя». Мне кажется, издание будет очень хорошим; нужда в нем большая, так как Блока сейчас не достать. Ваша статья необходима! Пожалуйста, не откажитесь! Груздев писал уже вам, просил о том же.

*Пожалуйста!*

Ваш *Конст. Федин.*

Я все хвораю, без конца лечусь, ничего не выходит. Однако работаю: сижу над романом, современным и страх каким трудным! Не знаю, что получится.

<sup>1</sup> В письме от 26 октября 1930 г. Федин от имени правления «Издательства писателей в Ленинграде» просил Горького написать вступительную статью к Собранию сочинений А. А. Блока.

Дорогой Константин Александрович!

Я уже сообщил И. А. Груздеву, что не [в] силах написать об А. А. Блоке, ибо уверен: написал бы что-нибудь грубоватое и несправедливое. Мизантропия и пессимизм Блока — не сродны мне, а ведь этих его качеств — не обойдешь, равно как и его мистику. К тому же я сейчас живу в мыслях злых и с миром не в ладу. Поэзия Блока никогда особенно сильно не увлекала меня, и мне кажется, что «Прекрасную даму» — начало всех начал — он значительно изуродовал, придав ей свойства дегенеративные, свойства немецкой дамы конца XVIII в., а она, хотя и гораздо старше, однако — вполне здоровая женщина. Вообще — у меня с Блоком «контакта» нет. Возможно, что это — *мой* недостаток. По этим причинам — отказываюсь писать, не сердитесь!

Прочитав «Старика» Вашего, хотел написать Вам о том, как хорошо Вы сделали эту вещь, но, будучи обременен «делами», так и не собрался написать.

Будьте здоровы! Жму руку.

А. Пешков.

9.XI.30. Соррепто.

#### ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Ленинград. 26 мая 1931 г.

Дорогой Алексей Максимович,  
со мной случилась беда: заболел туберкулезом. В апреле был грипп, в какой-то неподобной форме, а потом обнаружилось, что в обоих легких активно-прогрессирующий туб[еркулезный] процесс; анализ — до 50-ти палочек Коха в поле зрения; рентген устанавливает явления свежего распада в левом легком и старый процесс — в правом. На днях открылось кровохарканье. Конечно, температура (невысокая, впрочем, — 37,5, а сначала доходила до 39), пот, усталость и все прочее.

Приказано мне немедленно ложиться. Я еду в Пушкинские Горы, ложусь (климата менять сейчас нельзя).

Тем временем товарищи начинают хлопоты о разрешении мне поехать за границу. Врачи гонят в Шварцвальд,

Я подал ходатайство в Культпроп ЦК. Убедительно прошу вас поддержать мою просьбу! Все дело в деньгах, в валюте. У меня никаких средств для заграничного лечения нет. На остатки германских гонораров (другие иностранцы не платят) я могу, в лучшем случае, купить полдюжины галстуков. А мне нужно тысяч десять германских марок: дешевле тысячи в месяц санатория не найдешь, а нужно пробыть не меньше десяти месяцев.

С ходатайством я обратился к А. И. Стецкому. Будьте добры поговорить с ним.

Жму вам руку, благодарю за папскую «буллу» (Груздев передал мне этот опереточный документ, и он пригодится мне).

Ваш *Конст. Федин.*

«Похищение Европы» (новый мой роман) застопорило, остановилось. Но все-таки надеюсь напечатать первую книгу осенью.

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

(Москва. Между 28 мая — 5 июня 1931 г.)

Дорогой Константин Александрович!

Крайне огорчен и напуган вашим сообщением о болезни. О необходимости отъезда вашего за границу говорил с кем следовало, и все, что для вас в этом случае потребно, мне обещали сделать. Но говорят, что немедленный отъезд может дурно повлиять на вас, а потому вам предложено будет полежать, кажется, в Петергофе.хлопот о валюте не прекращу, доколе она не будет в руках у вас.

Очень советую: не останавливайтесь в Сан-Блазиене в санатории проф. Бакмейстера, я у него жил, это весьма грубый и жадный человек: его считают опытным туберкулезником, но с больными он небрежен.

Если окажется, что вы останетесь на месяц, — не премину увидеться с вами, чтоб позжать вашу руку, заочно пожимаю ее и сейчас.

*А. Пешков.*

Питайтесь получше, пообильнее!

Деревня Вороницы, дом Черепнина, п/о  
Пушкинские Горы. Ленингр. обл.  
9 июня 1931

Большое спасибо за участие и помощь в моем невеселом деле, дорогой Алексей Максимович! Груздев переслал мне сюда ваше письмо, за которое особенно благодарю вас, потому что сочувствием вашим дорожу не меньше, чем деловую поддержкой. Второй раз за истекшие десять лет, и в самое неблагоприятное — в бытовом отношении — время, я попадаю в беду из-за нездоровья, и второй раз вы мне так живо и действительно помогаете. В 21-ом году, когда меня наново перекроил и перешил Греков, я ведь быстро и хорошо поправился только благодаря вашему «миллиону», обеспечившему мне нужный стол. Сейчас наступило дело, как будто, более затяжное. Но я слегка надеюсь на свой возраст (мне уже сороковой год!), не очень, словно, опасный по туберкулезу, хотя у меня и отвратительная наследственность.

Почему Пушк[инские] Горы? Прежде всего — потому, что *питание*. Я здесь *утоаю* в молоке, сливках, сметане и других молочных произведениях, ем сколько могу (и сколько не могу) яйца, получаю кур. Местность тут высокая, сухая, открытая, вне влияния капризов нашей Маркизовой лужи. Таких условий питания нигде под Питером получить нельзя. Потом: я устроился во вполне человеческих условиях — в смысле чистоты, услуг. Уход за мной обеспечен, — я живу с женой. Петергоф? Я не знаю, чем прославлен Петергоф, кроме фонтанов и Дома ученых, говорят, — очень плохого. Речь может идти — кажется мне — о Детском Селе. Там есть туб[еркулезный] диспансер, я бывал в нем. Но заведующий этим санаторием — д[октор] Крижевский — лечит меня. Он не рекомендовал мне поселиться там, потому что в этом, в общем хорошем учреждении сейчас из рук вон плохо с питанием. Это сейчас повсеместная и главная беда. Именно по настоянию Крижевского я и поехал в деревню, благо мне посчастливилось найти хорошие условия. Пишу вам так подробно об этом, чтобы вы не беспокоились о моем теперешнем положении. Доктор, лечивший меня последнее время, должен приехать сюда, посмотреть меня и переменить лекарственные назначения, ежели понадобится.

С каким-то странным недоумением привыкаю к состоянию человека, который чувствует себя иногда совсем неплохо, но опасно болен и должен лежать на воздухе, прикрыв ноги и тело пледом, поплеывая в плевательницу, нося эту плевательницу повсюду с собою, раздумывая о сквозняках, о погоде, о непостоянстве

ветров и прочем. Нельзя подойти к дочери так, как привык подходить к ней, нельзя не думать о своей ложке, чашке, подушке. Странно. Мучит меня кашель. Половина Ленинграда мобилизована мною, чтобы достать тиокол. И вот все жду. Наверно потом сразу посыплется со всех сторон, так что можно будет открыть свою аптечку. Режим я соблюдаю педантично, одно несчастье — не могу бросить курить. Довел свой паек до 10—12 папирос, а надо бы еще меньше, да не в силах. Хороших папирос нет, достал немного перед отъездом — теперь они на исходе, и надежда только на одного благородного голландца (моего эксперта по голландской части «Похищения Европы» Пельтенбурга, которого вы, к[ак] б[удто], знаете). Пожалуйста, не сочтите это за неловкий намек: мой голландец *наверно* пришлет папирос, и я обойдусь.

Страшно тоскливо, что нельзя как следует работать. Вся история разразилась в разгар работы; я довел ее до такого уровня, что оставалось только писать — все было слажено, пригнано, заготовлено, и осенью я хотел начать печатать. А теперь не знаю. Боюсь страшно, что немцы запретят мне писать, пока буду в санатории. Я тогда совсем свяну. Вообще немного побаиваюсь немецкой санаторной тоски. Если буду погибать, — выпишу туда жену, тогда не откажите, Алексей Максимович, помочь ей в получении паспорта, если ей будет трудно добиться и она обратится к вам. Она могла бы тогда поселиться неподалеку от санатория, да и я, после нескольких месяцев санаторного лечения, вероятно, получу возможность перебраться в пансион, — надеюсь, по крайней мере.

Сейчас мне, конечно, трудно ехать. Из Псковской губернии в Шварцвальд — не такой простой путь. Но через месяц я окрепну, и тогда можно будет трогаться. Главное — к этому времени оформить дело с получением валюты. Я поручил вести все дело (то есть формально-бумажную, техническую сторону дела) Михаилу Алексеичу Сергееву. Если бы вам, Алексей Максимович, понадобилось узнать что-нибудь о ходе и движении хлопот или же — сообщить что-нибудь со своей стороны — вы можете написать Груздеву: он связан с Сергеевым и может быстро обо всем разузнать.

Писали мне о литературном собрании у вас, на Никитской. И — не знаю, как пришлось это собрание вам, — мне оно вчуже показалось тяжким. Словно у людей начисто выхолощена любовь к литературе (экое старое слово!), всякое чувство к ней. Словно распахнулась дверь в кино, и люди табуном кинулись занимать нумерованные места, чтобы усесться на передних стульях. Зачем? Может лучше-то видно со средних или с задних? Это нелепое состязание за первенство — в чем, где, зачем?! Эта всеобщая свалка, называемая литературной борьбой, причем за свалкой уже

не видно литературы! И эти скучные страстишки, страстишки.. Впрочем, может быть, я не знаю всего, может быть, было и хорошее. Но вряд ли было. Правда?

Сердечно рад, что вы хотите повидаться со мной, и сам очень, очень хочу увидеть вас! Но как это сделать? Сюда вас невозможно пригласить — далеко и крайне неудобно ехать. Когда вы будете в Ленинграде? Не совпадет ли ваш приезд туда с моим отъездом в Германию? Вот было бы чудесно! Напишите, пожалуйста, буду ждать. Есть у меня одно сокровенное желание — *прочитать* вам несколько глав из «Похищения». Да едва ли это удастся.

Будьте здоровы и — еще раз — благодарю вас за помощь!

Ваш *Конст. Федин*.

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

(Горки. 16 июня 1931 г.)

Дорогой Константин Александрович — деньги обеспечены в размере тысячи дол[ларов] на первые два-три месяца; потребуется еще — сообщите заранее письмом, отсюда не замедлят выслать, ручаюсь. Лучше всего — пишите об этом на мое имя, я из Москвы не уеду все лето, а если и уеду, так в Ленинград, на несколько дней. Значит: одновременно пишите И. А. Груздеву.

Слышал, что здоровье ваше не столь плохо, как вы пишете, однако же, если б захотелось возвратиться в октябре — ноябре, предположим — так возвращайтесь в Крым или Абхазию, сиречь в Гагры.

О том, что лит[ературное] собрание было сумбурным и грустным, — вам сообщили правильно, о том, что «любовь к литературе выхолощена», — вы пишете верно. Никто не умеет говорить о литературе как целом, всякий говорит только о себе, точно он и есть — вся литература. Очень скучно! И очень плохо знают люди жизнь, да как будто и знать ее не хотят, а если и хотят, так с каким-то судейским — судебным следователей — садизмом ищут в ней преступного, ищут черты отрицательного значения. Очень удивляет меня эта профессиональная склонность к поискам всего, что, так или иначе, способно обидеть работу дня, дело жизни.

Невразумительно говорю? Устал очень.

Крепко жму вашу руку и усердно советую: не увлекайтесь думами о болезни, ставьте против ее вашу волю к жизни. Это — неплохой совет.

*А. Пешков.*

Вороничи. 11 августа 1931

Дорогой Алексей Максимович, вчера меня известили, что паспорт и разрешение на валюту получены, и таким образом мой отъезд на лечение стал реален. Еще раз крепко благодарю вас за помощь в этом моем деле. Последнюю неделю мне стало опять хуже, я лежал с темпер[атурой] до 38,4, кашель дергает и треплет до изнеможения. Надеюсь, что этот приступ утихнет, и числа 17-го я перееду в Ленинград, где пробуду дня четыре. Хотелось бы с первого сентября уже залечь в санатории. Думаю, что удастся.

Трудно строить к[акие]-н[ибудь] планы перед тем, как на полгода собираешься в санаторий, но по привычке неизбежно заглядываешь вперед. Мне очень хотелось бы, напри[мер], быть в курсе работы по изданию «Истории гражд[анской] войны». Первоначальный проект, видимо, изменился, и должны возникнуть новые задачи для редакторов. Пожалуйста, скажите кому нужно из товарищей по работе в этом издании, чтобы меня не забывали извещать о ходе работ и прежде всего о том, что будет делаться в художественной редакции. Я сейчас разыскиваю одного человека, который много может помочь в воссоздании интереснейшей страницы, из истории анархо-бандитизма на Волге (Пугачевск, Хвалынский). Такой материал можно было бы, по-моему, поднести и в повествовательно-художественной форме. Не так ли?

Связь со мною можно будет поддерживать через И. А. Груздева или адресуясь прямо на мою квартиру: Ленингр[ад], пр[оспект] Володарского, 33, 13. Желаю вам всего хорошего!

Ваш *Конст. Федин.*

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

Дорогой Константин Александрович — не отвечал вам до сего дня, потому что надеялся увидеть вас в Ленинграде, но поездку пришлось отложить на несколько дней. Прибуду в конце месяца, привезу план издания «Истории гр[ажданской] войны», побеседуем.

Очень советовал бы вам: нездоровьем вашим — не смущайтесь. Вам за 30, а в этом возрасте Коховы палочки милостивы, ибо сла-



босильны. У меня правое легкое совсем кончилось, не дышит, а — жпву и даже очень.

Почему вы пишете «залечь в санаторию», — разве решили не ехать в Шварцвальд? Или вы его и подразумеваете?

Впрочем, обо всем этом поговорим лично, а до той поры — умолкаю.

Если увидите даму Форш, — скажите ей, чтоб она не сердилась на меня, я не ответил на письмо ее тоже потому, что надеялся увидеть. И — увижу.

Кренко жму руку.

А. Пешков.

18.VIII.31. (Горки)

#### ФЕДИН—ГОРЬКОМУ

(Давос. 29 октября — 5 ноября 1931 г.)  
Davos-Platz. Sanatorium «Helios»  
29.X.1931

Дорогой Алексей Максимович,  
мне писали из Питера, что вы справлялись о моих делах, стало быть, — знаете, что немцы меня направили в Давос и что я здесь с начала сентября. Если принять в расчет немецкий патриотизм, то направление больного в чужую страну, когда санатории и пансионы Германии пусты, надо признать образцом беспристрастия. Шварцвальд оказался для меня «низок», а здесь, в поднебесье, мне дышится действительно легко, как никогда в жизни. Вот уже почти два месяца я не вылезая из кровати, и только в дневные часы и в хорошую погоду меня вывозят на балкон. Результаты этого скучнейшего лежания пока не велики, но я доволен ими, мне кажется, что меня держат в постели не напрасно. В самые последние дни я стал меньше кашлять, значительно меньше — это почти чудесно, потому что до сих пор кашель не поддавался никаким увещаниям. В ближайшие недели решится вопрос о пневмотораксе, мне кажется — отрицательно, так как появляется надежда на заживление каверн без помощи пневм[отора]кса, и так как, несмотря на похвальную свою отвагу, здешние врачи больше *говорят* о двустороннем пневм[отора]ксе, чем делают его, а в моем случае неизбежен именно двусторонний. Признаться, я думаю о пневм[отора]ксе без всякого воодушевления. Я стараюсь не смущаться болезнью — как вы пишете — и очень рассчитываю на то, что в моем возрасте «кохова палочка милостива». О да, Алексей Максимович, мне «за тридцать», мне настолько сильно за тридцать, что через три месяца

будет сорок. Вы меня всегда считали моложе, чем я есть (?), и я нахожу это чрезвычайно деликатным выражением того, что вы еще не отчаялись в моих писательских способностях. Как только это случится, вы мне напишете: «Ну, Федин, теперь, когда вам стукнуло пятьдесят...»

### 5.XI.31

Вот так пишутся теперь у меня письма — с недельными перерывами и соответственно бессвязно: подвинулась температура, пришлось отказаться даже от тех немногих и несложных занятий, какие в моем лежачем положении возможны. Нет, видно, не удастся отвертеться от пневмоторакса — доктора клонят к этому. Быть по сему.

Страшно я здесь досадовал, что мне не довелось присутствовать на заседаниях нашего изд[атель]ства, на которых были вы (или — которые были у вас). Ведь до весны этого года я, в чине и почете председателя Правления, тянул весь этот бумажный кораблик противу вод, ветров и многих других стихий нашего отечества. Я убежден, что это одно из самых любопытных издательских предприятий за все время революции и что, хотя оно долго еще будет черпать поочередно носом и кормом, ему — право — предстоят славные дела.

Но еще раньше и еще больше досадовал я, что мне так и не удалось вас увидеть! Я уехал из Ленинграда 22.VIII, так что даже ваше последнее письмо не застало меня дома, и мне переслали его в Берлин. То, что никогда нельзя высказать в письмах и что обычно откладываешь до личной встречи, так и осталось у меня «отложенным» — не знаю, до какого срока.

Как ваше здоровье? — напишите. Из Питера мне сообщали, что вы там хворали.

Шлю сердечный привет!

Ваш *Конст. Федин.*

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

Запоздал ответить вам, дорогой Константин Александрович, все еще не мог опомниться от Москвы, отлежаться, разобрать почту и т. д.

Очень обрадован мужественным тоном вашего письма, — хорошее настроение это как раз то, что определено и серьезно помо-

гает в борьбе с надоедливой этой болезнью. У меня было три рецидива да воспаление легких, не считая ежегодных бронхитов, — вот и летом схватил в Ленинграде грипп с температурой до 40 гр[адусов], и, знаете, мне кажется, что я преодолеваю эти нападения не столько с помощью медиков, как напряжением воли. Назойливая и кокетливая болезнь, есть в ее характере нечто от старой девы.

Я тоже несколько раз и вслух сожалел о том, что вы не могли быть на некоторых заседаниях по делам литературно-издательским. Мне кажется, что у нас не плохо выйдет «Библиотека поэта» и альманах «День»<sup>1</sup> — мировой день. Мы решили построить альманах этот так: взять крупнейшие газеты всех стран за *один* день, — скажем: 6-е XII или 1-е января, и обработать бытовые, политические, научные события этого дня в форме художественных миниатюр по 10 т. букв, гонорар за эту 1/4 листа — 250 р. Я настойчиво прошу вас «включиться» в эту работу. В сущности, не обязательно писать на темы избранного дня, ибо есть ведь темы неизбежные «по вся дни» — не так ли? Вот вы и напишите на одну из таких.

— Работа по «Истории гражданской войны» начата и движется, хотя и не с тою быстротой, как хотелось бы. Вы намечены литредактором на 1-й т[ом] — Октябрь — и на Урал.

Очень дружно и горячо взялись рабочие за «Историю заводов», — в первую очередь мы наметили 102 завода старых и новых, но работу начали на всех. Идут опросы старых рабочих, стенографирование их рассказов о прошлом, разрабатывается материал архивов и т. д. Вообще: «дело взято за рога».

А потому — выздоравливайте! Вы — крупная культурная сила, талантливый человек, ваше участие во всех этих начинаниях — необходимо. Это — не комплимент, а скорее — просьба товарища о помощи, вот что это! В истекшее лето удалось начать много, но — необходимо продолжать и надо кончить. Сил у нас — мало-вато, каждый человек — на счету.

Обнимаю вас, очень хочу весною встретить где-либо на юге. Будьте здоровы! Напишите — обрадуете.

А. Пешков.

15.XI. 31. (Сорренто)

---

<sup>1</sup> Книга «День мира» вышла в свет после смерти Горького.

Давос. 22.III.1932

Дорогой Алексей Максимович, из Ленинграда, с которым я поддерживаю живейшую связь, дошел до меня слух, что в этом году вы поедете в Россию, уже в апреле месяце. Верно ли это? Если верно, то каким путем собираетесь вы ехать — не через Швейцарию ли? И ежели да, то не через Энгадин ли? Вы, вероятно, знаете эту дорогу — *Ferrovia del Bergmina* — идущую от Тирана до Сант-Морица, — нечто сумасшедшее по техническому мастерству (как, впрочем, большинство альпийских дорог) и живописности (ледники — как на ладони). Пишу вам об этом потому, что страшно хотел бы увидеть вас, судьба же моя в этом отношении удивительная: начиная с 28-го года, я никак не могу с вами встретиться, и — так или иначе — виною тому «заграница». Теперь мне с вами повидаться надо бы и по литературно-деловому поводу и в силу личной необходимости. Я же боюсь, что если я вас не «изловлю» где-нибудь здесь, в Европе, и именно весной, то осенью, когда я соберусь домой, вы, пожалуй, как раз снова уедете за границу. Если бы вы поехали через С.-Мориц, от которого дороги ведут во всех направлениях, в частности — Цюрих, Базель, Берлин и т. д., то я встретил бы вас где-нибудь на границе, около Тирана и проехал бы с вами часа два по этой самой *Ferrovia del Bergmina*. Дело в том еще, что я дорогу эту знаю; т[ак] к[ак] на днях совершил первую экскурсию, продолжавшуюся целый день, с утра до вечера. Это была *проба* моему здоровью, я ее отлично выдержал, и потому нахожу встречу и свидание с вами в пути вполне для себя доступными, не знаю только, удобен ли такой план для вас. Право, я охотно напросился бы к вам в Сорренто, да боюсь юга, боюсь резкого перехода от гор к морю. Вряд ли когда доведется жить так близко к Италии, тут до нее рукой подать. И соблазн велик. Я никогда не бывал в романских странах, хотя бы только поглядеть на них — давнишнее и жаркое мое стремление — и немного утолить его сейчас, как никогда, возможно. Если для вас, Алексей Максимович, мой «энгадинский проект» неудобен, напишите, пожалуйста, что вы думаете о прыжке к морю, на недолгое время, весной. Само собою, я без совета врача никаких таких головокружительных предприятий совершать не буду: слишком трудно дался мне успех лечения, который позволяет вообще разговаривать о каких бы то ни было предприятиях.

Четыре месяца я не вылезал из постели. В начале января начал выходить — спустя два месяца после наложения пневмото-

ракса. Ваше чудесное письмо, которое во многом очень лестно для меня, пришло в «нужный» момент — когда я привыкала к новому, неловкому и неприятному состоянию: воздух стал для меня нормированным продуктом (теперь я уже приспособился к «пайку»). Я не отвечал вам до сих пор, не желая надоедать своей болезнью. Теперь же поворот к здоровью очевиден и объективно, и по моему личному, очень хорошему, самочувствию. Объективные показатели улучшаются с каждым месяцем — палочки исчезли, эласт[ические] волокна — тоже, кашель почти сошел на нет, так называемый *Blutsenkung* (не знаю, как переводится этот термин — «оседание» красн[ых] кров[яных] шариков) разительно уменьшилось, рентген очень благоприятен. Дело не только в удаче пневмоторакса, но еще и в том, что другое легкое выдержало нагрузку и, несмотря на свои дыры, работает молодцом и одновременно поправляется. Словом, мое состояние наилучшим образом выражается небезызвестной формулой: «оп-ля, мы живем!»

Но живем мы пока довольно странной жизнью, т[о] е[сть], главным образом, в горизонтальном положении, под надзором ревностных глаз, испытующих не только здоровье, но и кошелек. Тут решительно ничего не поделаешь: санаторий — это аппарат, выделяющий из коховых бацилл швейцарские франки. Сделать можно, пожалуй, только одно: к скандальной славе Томаса Манна («Zauberberg») прибавить если не славы, то скандала<sup>1</sup>. Мне в этом смысле повезло: владелец санатория, в котором я лечусь, превзошел по лицемерию, ханжеству, подлому стяжанию самого Иудушку. Представьте себе этакое создание на фоне нынешнего кризиса — красота! Не потому ли он меня старательно удерживает от работы, что ждет от нее «возмездия»? Впрочем, речь только о нем — собственнике санатория. Лечит же меня не он, а превосходный врач и тонкий человек. Мой здешний быт зависит, конечно, больше от него, а не от Иудушки.

Пробуду я здесь еще месяца два с небольшим, до июня примерно. Потом думаю перебраться в Шварцвальд — так, по крайней мере, советует направивший меня сюда берлинский врач. Там я надеюсь устроиться не в санатории, а в пансионе или в частной квартире. Но до сих пор не знаю — когда мне можно будет вернуться в Ленинград и можно ли будет постоянно там жить. Как ваше мнение по этому поводу? Не плохо было бы поселиться в Детском Селе, думаю я. Но у нас ведь страшно трудно с жильем, удастся ли?

<sup>1</sup> Роман Т. Манна разоблачал шарлатанские повадки врачей-коммерсантов в туберкулезных санаториях Давоса. Роман не продавался в магазинах Давоса, и его запрещали читать больным.

У меня на записочке ряд вопросов, с которыми я думаю обратиться к вам. Но вижу, что они заняли бы много места и отняли бы у вас много времени. Поэтому — до встречи.

«Изд[атель]ство пис[ателей] в Лен[инграде]» все расширяет свою работу. Тут есть известный риск — может получиться разрыв между хозяйств[енно]-организационными возможностями изд[атель]ства и общественными обязательствами, которые оно на себя берет. Векселей мы выдали много, а вот год прошел, и нам нужны дикие средства, чтобы вертелось колесо производства, между тем реально выпущенных книг *маловато*. Это не... «оппортунизм», прости господи, а *расчет* или, что то же, хозрасчет. Вот, напр[имер], такие вопросы и куча других.

О сборнике «День» ничего не слышно. А этот замысел очень хорош. Ах, сколь часто хорошие замыслы пребывают и остаются замыслами! «Серия поэтов» будет наверно осуществлена. Но она *явно застопорилась*. Был момент, когда в изд[атель]стве назревала угроза захвата этой серии формалистами и превращения всего изд[атель]ства в... серию поэтов. Теперь это прошло. Теперь изд[атель]ство, испугавшись, что его проглотит серия, кажется, само проглотило серию!

Все чаще мы замалчиваем хорошие книги или вовсе не выпускаем их. Я очень рад, что вам понравилась книжка Н. Вагнера — «Человек бежит по снегу». Несмотря на стилистическую зыбкость, это — одна из лучших книг о нашей борьбе за Север. А ее как-то старались засунуть куда-нибудь под стол, под прилавок, да и автор был «на подозрении», да и мне, многогрешному, чуть-чуть за нее не попало: зачем издал? Я как раз в ту пору, расхвалив Лаврухина, увидел, что моя похвала — не столько на пользу, сколько во вред. Так от похвалы Вагнера (и еще двух-трех молодых) я уж воздержался.

Читаете ли вы когда-нибудь «Neue Züricher Zeitung»? Это «Русские ведомости» и вместе с тем — стальной сейф швейцарских филистеров. Однажды там была напечатана статья, доказывавшая, что в СССР чудовищно тоскуют по индивидуализму и что, наконец, *вы* это признали и... начали выпускать романы о «Молодом человеке 19 века». Вообще газетка в некотором смысле забавная. Ее, пожалуй, следует иметь в виду для «Дня».

Прошел слух, что в Берлин приехал Толстой. Когда-то он говорил мне — или писал, — что собирается к вам. Ждете ли вы? Между прочим, он советовал мне поговорить с вами о возможности полечиться мне у Манухина. Вот... разыскал его письмо: «В 13 году Алексею Максимовичу было совсем плохо. Манухин в месяц довел его с кровати — до двух бутылок красного вина в день». Я слышал,

конечно, об этом. Не о вине, а о вашей болезни, излеченной Манухиным. Но вино меня тоже прельщает. Не напишете ли вы мне два слова и по сему поводу?

Пожалуйста, простите за мучительную длину письма! Не утруждайте себя пространным ответом, напишите в стиле телеграммы.

Желаю вам здоровья и всего, всего доброго!

Ваш *Конст. Федин.*

#### ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

Дорогой Федин,  
в Москву я отправляюсь 20-го апреля, есть такой вагон — Неаполь — Берлин. Очень тороплюсь и поехал бы раньше, но в течение этого месяца было два кровохарканья, потому что погода идиотская. В моем возрасте кровохарканье — пустяки, да легкое-то у меня тоже — одно, и приходится беречь его. Так что — хороший ваш проект встретиться в Швейцарии — отпадает, к сожалению, и встретимся мы в Москве или в Ленинграде. Чертовски рад, что здоровье ваше восстановилось; не получая от вас писем, я думал, что вам — плохо.

У вас нет охоты съездить к Роллану? Вы очень обрадовали бы старика и развлеклись бы, послушали хорошей музыки, он ведь музыкант и, говорят, серьезный. Если поедете в Шварцвальд — рекомендую Фрейбург. По трамваю, 15 минут от города, есть местечко Гюнтерсталь, а за ним — пять минут пешком — отель «Кибург», уединенный, приличный и дешевый. Хозяин его — Трешер — в противоречие с фамилией своей небогат и не жаден.

Манухина я потерял из вида. Знаю, что он все еще в Парже, но в институте Пастера — не работает, некоторое время путался среди эмигрантов, уверовал во Христа и «православие», был членом какой-то церковной организации, затем будто бы откачнулся от всего этого, и теперь о нем ничего не слышно. Его метод лечения туберкулеза освещением селезенки рентгеном, видимо, не привился, хотя в Сан-Блазиене Бакмейстер освещал мне рентгеном, но — не селезенку, а легкое; Манухина — жаль, человек — талантливый, и лечение его давало отличные результаты. Если б не он, я уже 19 лет имел бы чин покойника, а благодаря ему состою в живых. Лечат меня — непрерывно, и это вызывает мое весьма почтитель-

ное отношение к науке медицине. Д-р Белоголовый, сын автора известных «Воспоминаний», однажды обмолвился экспромтом:

Таинственна наука медицина!  
И достоверно в ней — одно,  
Что иногда при помощи рицина  
Мы можем получить (...).

Этот скептицизм спеца-шалуна не очень нравится мне, я шучу иначе: напр.:

Зная, что такое клетка,  
И — ее работа — ткань,  
Убеждаешься нередко,  
Что и ткань и клетка — дрянь!

или:

О смертный! Если ты здоров —  
Не бойся докторов!  
А заболев — открой им дверь,  
Но — осторожно верь!

Сборник «День» заморозили. Вероятно — потому, что увлеклись «Библиотекой поэта», а м. б., и потому, что сборник этот требует весьма серьезной работы. Летом попробуем оживить сие дело.

Книга Вагнера выходит 2-м изданием. В[агнер] написал еще книгу, на днях получу рукопись. «История молодого человека XIX столетия» поссорила меня с Ионовым, сумасбродом и самолюбом. Это очень печально. Толстой — приехал, здесь Афиногенов, через несколько дней явится Фадеев. Живут у меня бр[атья] Корины, замечательно талантливые художники из палехских «богомазов». Отличные люди, трогательно влюбленные в свое искусство.

Народа в эту зиму перебивало здесь — множество, сухопутного и морского, и народ отборно интересный. Хороших людей родит страна Советская, дорогой мой Федин, я жадно люблюсь ими, и страстно хочется прожить еще лет пять, посмотреть, каковы они будут, сколько сделают. Но — пяти лет я не проживу, да три года — не удастся, устал я.

Закключаем с Италией крупнейший торговый договор, французы — озвереют, когда он будет опубликован. Японцы, в союзе с англичанами, действуют все более нагло, цинично, и ничего! Никто не препятствует, ибо все завидуют.

Настроение «интеллигенции», особенно — американской, становится как будто все более тревожным, она, кажется, впервые ставит перед собою вопрос русской интеллигенции 70-х годов: как



жить, что делать? Мне приходится отвечать на эти вопросы, ибо — спрашивают и меня.

Читали вы книгу Ричарда Олдингтона «Смерть героя»? Весьма грубая, злая и «отчаянная» книга, вот уж нельзя было ожидать, что англичане доживут до такой литературы! И, пожалуй, еще более красноречиво говорит о процессе распада буржуазии английская книга Лоренса «Любовник леди Чаттерлей». Книга посвящена вопросам пола, и в ней все слова, не произносимые вслух, произнесены, да — как еще громко! Но это делается не для скандала, а в целях проповеди «половой морали», и впечатление такое, что автор — поп одной из английских церквей. Бездарный поп.

Ну, вот сколько я наболтал.

Будьте здоровы, дорогой! Поверьте мне, что это «объективно» важно, ибо вы еще только начали вашу работу.

Крепко жму руку.

*А. Пешков.*

### 29.III.32. (Сорренто)

P. S. Если Лоренс интересен вам, — напишите в Берлин «Международной книге», там есть хороший товарищ Тер-Григорьян, он вышлет вам эту книгу. И — всякие.

*А. П.*

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

*Давос. 5 апреля 1932 г.*

Дорогой Алексей Максимович — как жалко, что из моей фантастики ничего не получится, — что встречу с вами приходится отложить до осени! Как бы мне опять не разминуться с вами где-нибудь в дороге...

К Роллану я охотно поехал бы, хотя меня смущает боязнь чересчур обеспокоить его: я для него вполне незнакомый человек. Да и достаточно ли будет для общения с ним моего немецкого языка? Напишите мне — вы отлично знаете Роллана.

Весною я, по-видимому, никуда не двинусь. Здесь, правда, черт знает что делается — какие-то уральские бураны! — и чувствую я себя хуже, чем зимой, но полагаю, что эти месяцы «внизу» еще хуже. За справку о Шварцвальде большое спасибо. Ваш совет совпадает с тем, который мне дал мой немецкий (берлинский) врач: он тоже рекомендует Фрейбург, окрестности Фрейбурга.

О книге Лоренса много слышал, а Олдингтона вы называете мне первый. Воспользуюсь тем, что вы пишете о Тер-Григорьяне, и попрошу у него эти книги.

Скажите, Алексей Максимович, знаете ли вы Акселя Мунте — шведа, живущего на Капри? Его книга о «San Michele» пользуется чудовищным интересом. Я только что достал ее. По началу — нечто мистическое и напыщенно сентиментальное. Не знаю — как дальше.

Ваш «Ответ америк[анским] корреспондентам» в «Известиях» я читал с увлечением и радостью. Это очень хорошо! — не только потому, что вынуждает зарубежную, заокеанскую интеллигенцию подумать «с кем она?», но также потому, что широко и просто раскрывает «с кем и против кого мы?» — та часть трудовой русской интеллигенции, которая никогда не обольщалась никакими буржуазными коврижками. Это очень *просто* раскрыто, так как найдена конгениальная идее форма — форма, избранная вами давно и сейчас — по-моему — засверкавшая со всей силой. «С кем вы...?» — самый действенный из ваших памфлетов, где разнородные факты служат обобщающей мысли и мысль объясняет каждый факт. По-моему — великолепно! А самое обилие фактов поражает меня в сотый раз — когда и каким образом успеваете вы разбираться во всех этих Альпах материала?..

Разрешите мне, ни к селу, ни к городу, сообщить вам следующие курьезы:

В г. Филадельфии в городск[ое] самоуправление внесен законопроект об отпуске средств на кимоно для статуи Дианы, находящейся на городской площади. То, что Диана стоит совершенно голая, обнаружила женщина-священник д[окто]р Муррей Эллис. После чего женщины Филадельфии признали, что Диана оскорбляет их чувство стыда, и побудили своих депутатов в городск[ом] парламенте положить конец безобразию.

Французские врачи Морис Гарсон и Жан Веншу выпустили в Париже (изд. Gallimard) «научное» сочинение под названием: «Исторический, критический и медицинский опыт. — *Дьявол*. М[ежду] пр[очим], в сочинении устанавливается, что «староцерковный метод заклинания и изгнания бесов представляет собою средство, которое и теперь, как когда-то, приносит если не исцеление, то облегчение».

В Лондоне, в изд[атель]стве «Chatto and Windus», вышла книга критика В. Льюиса «The diabolical Principle», в коей устанавливается (на основе анализа современной художеств[енной] литературы), что, так же как и в *средние века*, *дьявол* обретается среди нас — *во плоти и крови!*

Да-с!

А вот нечто юбилейное. Немецкий поэт Отто Франц Гензихен, 85-ти лет от роду, написал 3-х томную биографию Гете *в стихах!* Точка. (Ей-богу!)

Будьте здоровы. И счастливого пути!

Ваш *Конст. Федин.*

Когда появится о договоре с Италией?  
Очень здорово!

#### ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

Дорогой Константин Александрович — написал Роллану, чтоб он пригласил вас, и буду очень рад, если это свидание состоится. Мне, почему-то, думается, что между вами и Ролланом есть — кроме идеологически общей умонастроенности — еще и субъективно сходные черты и что свидание ваше с ним будет приятно и полезно для обоих.

Спасибо за сообщение анекдотических фактов «культурной жизни» Европы, — какой это был бы отличный материал для альманаха «День»! Но, пока этого альманаха нет, я предполагаю завести в «Известиях» отдел «Новости культурной жизни Европы» или что-то в этом роде и пользоваться фактами типа сообщенных вами. Так что — если вам не лень — снабжайте!

В Москву еду с проектом: отобрать человек 20—25 наиболее талантливых литераторов, поставить их в условия полнейшей материальной независимости, предоставить право изучения любого материала, и пусть они попробуют написать книги, которые отвечали бы солидности запросов времени. Здесь, у меня, Афиногенов, автор «Чудака» и «Страха», они<sup>1</sup> с этим проектом согласны. Возражение: создастся литературная аристократия — недействительно, «спецы» всюду необходимы. В области литературы — особенно, ибо нашего читателя обременяют словесным хламом, а подлинным нашим литераторам — нет времени учиться и работать, им слишком много приходится тратить сил на завоевание примитивных удобств в жизни: поиски дач, питания и т. д.

Я думаю, что этот проект пройдет.

---

<sup>1</sup> Возможно, Горький имел в виду и А. Н. Толстого, гостившего в Сорренто,

Лоренс, это — недавно умерший Лоуренс, автор романа «Жезл Аарона» и др. Его «Любовник леди Чаттерлей» явился в результате пари, заключенного Лоуренсом с Норманом Дуглас[ом]: кто сумеет написать наиболее эротическую книгу? Выиграл пари Дуглас, ибо его книгу никто не решается печатать, тогда как роман Лоуренса — напечатан, хотя «в общую продажу не поступает». Я не понимаю, что значит «общая» продажа. Я прочитал «Любовника» в русском издании, точнее — пробовал прочесть. Это очень плохо сделанная, очень скучная книга, скука ее кажется вызванной отчаянием и глубокой душевной усталостью. Ее соль — откровенное и детальное описание полового акта; повторенное несколько раз, оно вызывает чувство недоумения какой-то внутренней незаинтересованностью автора и отсутствием в нем эротического пафоса. Возможно, что русский перевод обесцветил, заморозил книгу, возможно, что перевод уничтожил ее иронию. Очень странная, плохая и, знаете, печальная какая-то книга. А ведь Лоуренс — талантлив был.

Крепко жму вашу руку. Толстой и Афиногенов посылают вам приветы.

Будьте здоровы.

*А. Пешков.*

*9.IV.32. (Сорренто)*

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

*Давос. 11.IV.1932*

Дорогой Алексей Максимович,

так как у вас, перед отъездом в Москву, должно накопиться много всяких дел и забот — пожалуйста, не отвечайте мне на это письмо.

Но прошу вас не позабыть о следующей моей просьбе. При первой удобной для вас возможности попросите рассказать вам о положении дел «Издательства писателей в Ленингр[аде]». Это может сделать Груздев, напр[имер], как председатель. За последние два месяца чудовищно разваливается работа изд[атель]ства, подменяемая двумя прогрессирующими маниями — говорения и проектирования. За истекший год не реализовано или — не начато реализацией — ни одно из ценных прошлогодних начинаний. Технический аппарат — превосходно поставленный, состоящий всего из 4-х человек (при обороте свыше 600 000 и чистой прибыли за прошлый год в 120 000!!!) — втягивается в дискуссии, перестает работать. Между тем, если изд[атель]ство существовало как общественное целое, то только благодаря своей хозяйственной «базе», благо-

даря тому, что оно было здоровой «хозяйственной единицей». Если сломать эту ось — мгновенно рассыплется вся общественность, а с нею исчезнет возможность заработка для 150 литераторов и художников. Все это — детски просто. Однако, подите-ка, об этом приходится мучительно много говорить.

Я не сомневаюсь, что вам удастся осуществить проект «о 20 литераторах». Это *решиительно необходимо* сделать и притом — как можно скорее. В январе 31 года со мною говорил о подобном проекте Халатов. Речь шла тогда «о 50—60» литераторах. ЦК был вполне за это дело. Но оно свелось, кажется, к семге или к лососине — точно не знаю. Из 60-ти литераторов стало 160, потом — 260, потом, кажется, еще больше. Семги не хватило. И, вероятно, поэтому никто ничего не написал, т[о] е[сть] из литераторов...

Чтобы не получилось анекдота, надо, по-видимому, упор делать на работу, на задания, которые писатели должны выполнить. Надо сказать: дорогой друг, мы ждем от вас *книгу*, достойную нашего времени и вас самих; не беспокойтесь о говядине, о дровах, об образовании детей и о башмаках для них; напишите *книгу*, больше от вас ничего не требуется. Иначе — как бы не повторилась история с семгой (о ней — чудесно может рассказать Толстой).

«Новости европ[ейской] культуры» охотно буду сообщать вам.

За письмо к Роллану благодарю. Буду ждать приглашения и, м[ожет] б[ыть], в мае съезжу к нему.

Искренний привет. И будьте здоровы.

Ваш *Конст. Федин*.

P. S. Я ставлю перед собою задачу — окончить в нынешнем году свой новый роман — «Похищение Европы». Это — по случаю выздоровления.

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

(Сорренто. 15 апреля 1932 г.)

Дорогой Константин Александрович!

Вместе с вашим письмом — от 11.IV — получил письмо Роллана, он сообщает, что рад будет познакомиться с вами, и просит вас сообщить ему, когда собираетесь приехать?

Писать ему можете по-русски, секретарша у него русская, из Москвы, Мария — кажется, Павловна — Кудашева<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Мария Павловна Кудашева — впоследствии жена Р. Роллана.

Халатов — ушел. Вы это знаете? На его место назначен М. П. Томский, человек энергичный, мне кажется, что в его руках дело пойдет лучше.

Груздева увижу тотчас по приезде в Москву. Понадобится — съезжу в Ленинград. Вообще я преисполнен добрых намерений и вполне готов мостить дороги в аду.

Афиногенов уехал в Париж, Толстой — кланяется вам, отправляемся в Москву 19-го.

Очень рад, что вы чувствуете себя хорошо, и впредь желаю вам того же.

Ваш А. Пешков.

15.IV.32. (Сорренто)

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

С[ан]-Блазнен. 17 июня 1932

Дорогой Алексей Максимович,  
очень благодарен вам за помощь, которую вы оказали моей жене в хлопотах ее о поездке за границу. Мы сейчас поселились вместе, и летние месяцы жена пробудет тут, а затем — уедет домой, — устраивать мне подходящее жилье. К сожалению, в моем положении вопрос о месте жилья и о самом жилье — капризная вещь и решить этот вопрос можно будет только с помощью соответствующих организаций. Лучше всего было бы поселиться под Москвой. Югу я не доверяю, т[ак] к[ак] вырос на Волге, в климате суровом, не изнеживающем, к югу мне пришлось бы долго приспособляться. Что же до гнилой нашей Маркизовой лужи, то ее приходится вовсе исключить: жить в Ленинграде врачи мне запрещают. Если не под Москвой, то буду стараться устроиться либо в Луге, либо в Детском Селе. Все эти «проблемы» должны практически решиться осенью.

Здесь пришлось остановиться на С[ан]-Блазнене, потому что в других местах Фрейбургской округи (напр[имер], в Hintergarten'e) немецкие полицейские взяли на себя санитарный надзор и проводят его так усердно, что разогнали всех больных. Для местных самоуправлений выгоднее, видите ли, здоровые, чем больные, т[о] е[сть] туристы, спортсмены, так что все кругом переделывается в парадоксальные курорты для здоровых. Но у С[ан]-Блазнена слишком уже велика туберкулезная слава, и его не «переделаешь». Одной из жертв санитарной распорядительности полиции оказался, между прочим, младший Маршак (Ильин)<sup>1</sup>, которого выжили из

<sup>1</sup> Ильин М. — псевдоним Ильи Яковлевича Маршака.

Гинтердартена, и он сейчас тоже тут, по соседству со мною, у «самого» Бакмейстера. У меня еще нет врача, — не успел обжиться, — ездить во Фрейбург отсюда не имеет смысла, к «самому» же идти мне неохота: помню хорошо ваш отзыв о нем, да и давосские врачи предупреждали меня о его пристрастии к эксперименту. Ильин слегка влюблен в него, даже не «слегка» и, по-моему, ежели принять в расчет состояние Ильина, — без видимых оснований. Впрочем, говорится же, что любовь всегда слепа...

Перед тем как расстаться с Давосом, я съездил на Женевское озеро, к Роллану. Бесконечно благодарен вам за это знакомство. Как жалко, что вы знаете Роллана только по переписке и книгам. Он произвел на меня большое впечатление. В нем какое-то странное соединение детскости с бесстрашием, мягкость замечательных светло-синих глаз соединена с холодностью, какая бывает у людей очень фанатичных и смелых. Он очень хорошо меня принял, я был у него дважды и подолгу, и в разговоре он касался множества тем. (Замечательно, что мы совсем не говорили о музыке, чем я даже, как будто, доволен, потому что боялся, что Роллан может принять меня (?) за знатока музыки, а я, рядом с ним, куда как мало понимаю в ней.) Роллан расспрашивал меня о вас, удивлялся, что вы живете в Италии, где «нечем дышать» (из-за фашизма). Я сказал, что по тактическим соображениям мы вынуждены поддерживать государственную дружбу с Италией и что вы там — наш «неофициальный посол». Он с глубоким возмущением рассказал случай из вашей переписки с ним, когда ваше письмо к нему шло, кажется, несколько месяцев, и о том, как вы отнеслись к этому факту («царский деп[артамент] полиции работал куда хуже итальянских фашистов...»). Я сказал по этому поводу, что такое отношение к вашей почте только подтверждает взгляд итальянцев на вас как на советского посла: дипломатической почтой интересуются ведь всегда сугубо...

Между прочим, Р[оллан] интересовался тогда еще очень новым вопросом о ликвидации РАППа<sup>1</sup>, и ему казалось странным, что как раз в это время во Франции состоялись новые выступления пролетарских писательских организаций.

Мне кажется, Алексей Максимович, что некоторые темы, которых касался Роллан, и некоторые факты, которые мне стали известны из разговора с ним (о Ганди, Ж. Ромене, Дюамеле), наконец — отдельные черты биографии Р[оллана] могут быть интересны для

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций».

советской общественности, и я решил написать о своей встрече с Ролланом хотя бы фельетон, или — м[ожет] б[ыть] — просто — заметки. Как считаете вы? Я сейчас занят этим и через несколько дней смогу послать рукопись в Москву, лучше всего, пожалуй, в «Известия», не правда ли?

Собираетесь ли вы открыть в «Изв[естиях]» отдел «Новостей культ[урной] жизни Запада»? Я подговариваю Маршака послать вам «новости», собранные им в Германии. Есть прекомичные, например в области астрологии, которой в Европе последних лет чудовищно везет...

Как вы чувствуете себя под Москвой? Ведь уезжали вы в плохом состоянии. Как кашель? Долго ли вы собираетесь прожить в этом году в России?

Шлю вам привет и желаю здоровья.

Ваш *Конст. Федин*.

Вот мой адрес: St. Blasien, Bad. Schwarzwald, «Deutsches Haus (Bourgin)» — мне.

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

St. Blasien (Schwarzwald),  
Pens. «Deutsches Haus».  
24.XI.1932

Дорогой Алексей Максимович, на днях узнал, что вы опять в Сорренто. Здоровы ли вы? Не привезли ли с севера какого-нибудь бронхита?

Надеялся скоро увидеть вас, да вот и этот раз на моем желании приходится поставить крест. Я собираюсь домой, в Ленинград, и уезжаю отсюда 1-го декабря. Результат лечения *очень хороший*, пневмоторакс протекает гладко, доволен не только я, но и врачи. Дело теперь в сохранении и укреплении этого результата. Если бы я остался на предстоящую зиму здесь, то мне пришлось бы возвращаться в Лен[ин]град весной (так устроено у меня с деньгами), что, конечно, — смертельная беда. Чтобы избежать этого, я и решил ехать сейчас, — на зиму, которая, обычно в Л[енин]граде не плоха, — а весной (март — май) приехать в Давос, на трехмесячный курс. Такие «курсы», к сожалению, придется проделывать от времени до времени, это неизбежно — особенно при пневмотораксе.

Возвращению своему я очень рад; тут я устал и слегка одичал из-за отсутствия товарищей и в атмосфере повального бедствия —



национал-социализма. У Бакмейстера (к которому я никакого отношения не имею) националят решительно все — от курьера до «знатнейших» пациентов (там есть какой-то немецкий график, состоящий тоже в этой «рабочей» и «социалистической» партии). Но националят не только «знатные» дома, а решительно каждый пансиончик, и горстка изнуренных людей (бывших рабочих прогоревшей мануфактуры Крафта) прячется в сырых и бесконечных коридорах католических корпусов. Мрак! Да тут, правда, и не может стать иначе — уж слишком отстоялось это местечко как курорт: все делают деньги, а чтобы обеспечить сию профессию — запасаются связями с будущим вероятным хозяином — фашистом.

Так, как я работал прежде — в редакциях, издательстве и пр., — мне сейчас работать нельзя (писать я пишу). Но ведь у нас и воздух-то другой! — и какое движение во всем, какой гул! Я сейчас своей поездке рад, кажется, больше, чем когда-то — своему возвращению из плена. Правда — я ведь поправился, и здоровье ощущается мной как счастливый дар...

Значит, я вас опять долго не увижу, дорогой Алексей Максимович. Для вас я в числе многих, которым вы, так или иначе, помогли. Но для меня — вы — такой помощник, какого у меня не было и не будет. Поэтому у меня всегда потребность — поблагодарить вас как-нибудь получше. К сожалению, «лучше» не получается!

Ив[ан] Ив[анович] Греков сделал однажды смелую и эффективную операцию одной 20-летней девушке, развитие которой остановилось лет с 14-ти. Беда состояла в том, что тазобедренные суставы пациентки были посажены чересчур близко друг к другу. Греков выдолбил в тазу новые места для бедровых костей и расставил, посадил их шире. Девушка поправилась. Года через три Греков получил от нее письмо. Она сообщала, что за это время выросла на шесть дюймов, год назад вышла замуж и недавно *родила!* К письму прилагались две фотографии его авторши — до операции и после, уже с ребенком...

Я не хотел бы проводить полной параллели между этой счастливницей и собою (аналогия не во всем была бы в мою пользу, особенно там, где говорится об... остановившемся развитии девушки). Но вы помогали мне всегда радикально, как Греков. И вот мне приходит на ум послать вам две своих фотографии: *до* Давоса и *после*. Если бы после Давоса я был снят во весь рост... впрочем, тут аналогия опять может стать сомнительной!

Я уезжаю отсюда в Берлин, где пробуду со 2-го до 12-го декабря. Как всегда, я был бы счастлив получить от вас несколько строк. Если вы вздумаете ответить в Берлин, вот мой адрес: Veg-

lin W. 15, Fasanenstr., 31, Pension Körber. В Питере мой адрес прежний (*Ленинград, 28, просп. Володарского, 33, кв. 13*), потому что переезд в Детское, где мне, конечно, будет легче и лучше жить, пока не состоялся из-за отсутствия квартиры. К тому же тяжело заболела жена, на которой лежали все заботы о переезде. Еду я с хорошим чувством, надеясь, что зимой мне ничего не повредит, ни наши жилищные беды, ни другие недостатки и трудности.

Жму вам крепко руку, дорогой Алексей Максимович, желаю здоровья и всего хорошего.

Преданный вам ваш

К. Федин

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

К. Федину

Третьего дня послал вам книжку, а ответить на письмо удосужился только, вот, сегодня. Воет ветер, как 16 тысяч кошек, изнемогающих от любовной страсти, стреляют двери, на чердаке воются крысы, второй день не получаю московских газет, какие-то черти клетчатые прислали сегодня две толстущих рукописи и одну — не очень. Когда я буду их читать? Нет у меня времени! И — охоты нет рукописи читать! Начитался я, довольно!

Пожаловался и — стало легче. Не знаю, получали ли вы московскую прессу и знаете ли о «новых веяниях» в литературе? О пленуме Оргкомитета и прочих событиях, кои угрожают весьма интересными и культурно ценными результатами? Подробно писать об этом я не стану. Вы сами увидите, в чем дело. Лично мне оживление в области нашей кажется весьма серьезным и глубоким. Конечно, есть люди, которые попытаются измельчить и скомпрометировать это оживление, — я говорю не о «райповцах», которые, к сожалению, внутренне разбиты и раскололись, но могли бы сделать много доброго по новой линии, если б не этот «раскол».

Авербах — талантливый парень, хороший организатор и хотя чрезмерно тороплив на выводы, но способен учиться. (...)

Чрезвычайно юмористически выступил на пленуме Андрей Белый и хитро «сорадовался» Пришвин. Все-таки пленум обнаружил много хорошего и — готовность дружески работать. Посмотрим...

Оживление в литературе является отражением оживления в среде ученых. Вот это, новое настроение людей науки — факт крупнейшего смысла, как мне кажется.

Очень жаль, что и в будущем году мы не встретимся. А — может быть? Я человек весьма подвижной и, кажется, у меня будущее лето окажется менее загруженным. Спишемся и устроим встречу.

Вам следовало бы пожить на юге Италии, весна здесь — отличная!

Крепко жму руку. Если напишете из Берлина — поблагодарю! Очень интересно, какое впечатление вызовет у вас этот город.

*А. Пешков.*

*30.XI.32. (Сорренто)*

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

*Berlin. 13.XII.1932.*

Дорогой Алексей Максимович, в Берлине меня ждал ваш «Булычов», а день спустя после приезда — получил от вас письмо. Большое спасибо за книгу и дружескую надпись на ней. О московской постановке «Булычова» много читал, буду в Москве — непременно посмотрю (уверен, что в Ленинграде — хуже). В «Булычове» меня опять поразила какая-то соблазняющая тайна ваших российских купцов — Бутровых, Морозовых. Щукин лечил свою печень картинами Пикассо. Если бы в трубе не было «всеуслышания», если бы, как Щукин — картинами, Булычов мог бы лечиться трубой потихоньку ото всех, он, думаю, с радостью поверил бы в нее. Изумительно это отсутствие веры и — в то же время — тоска по ней у всех «зпидителей» нашего прошлого. Вероятно, здесь — одна из сторон трагедии больших ваших «купеческих» характеров и «соблазны» их как литературных типов.

Газеты все время получал и за литературными делами следил. Опять у нас начинают увлекаться разговорами. Пусть бы половину, даже четверть того, что говорилось на пленуме, попробовали обосновать в статьях. Великая была бы польза. Писатели же явно мало пишут. Рассуждать в литературе и о литературе словно отведено критике. Т[ак] к[ак] сейчас критика в известном расстройстве, то развитие литературной мысли застопорилось. Между тем такое развитие было целью апрельского решения, наряду с другой целью — чтобы писатели писали, а не заседали.

Я не брзжу, а так мне представляется дело по нашим газетам. Оживление должно сказаться, думаю я, в предстоящем «сезоне», т[о] е[сть] оживление собственно литературное, а не заседательское.

Говорил по телефону с Ленинградом: там слякоть и умопомрачение природы. Но сейчас, как будто, наступил поворот (тут стало морозно), и я думаю — можно смело ехать. Завтра отправляюсь.

На этих днях на Курфюрстендамме налетел на Вс. Иванова — чудеса! Он поехал в Париж, оттуда собирается к вам. Значит, паломничество к вам уже началось, и я боюсь, что к тому времени, когда я соберусь в Сорренто (если соберусь), вы уже успеете устать от визитов. Но благодарю вас за приглашение и очень ценю его!

Весною я должен непременно в горы, в Давос или еще куда. Вот мне и хотелось бы тогда съездить к вам. Жму крепко вашу руку, желаю здоровья и всего, всего хорошего.

Ваш *Конст. Федин.*

На всякий случай еще раз — мой адрес:

Ленинград, 28. Просп. Володарского, 33, кв. 13.

#### ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

Не совсем понимаю, дорогой Федин, чем может «соблазнять тайна» моих купцов? Тайна-то ведь очень проста. Доктор Макаров в 3-м т[оме] бесконечной «козлиной песни» Клима Самгина объясняет ее неуверенностью купца в прочности его социальной позиции. «Прадеды и деды были крепкими земле» мужиками, веровали в законность рабства, ясно видели беззаконие дворянской свободы, сами — при Екатерине — добивались права иметь рабов, а позднее и осуществляли право это, покупая мужиков на имя помещиков. Мужичья жажда «воли» была жаждой права на беззаконие, ведь выгодность-то несправедливости вполне очевидна! Всклами воспитанный раб крепко сидит в человеке, церковь же укрепляла его идеей рабства богу. И вот, «в страхе рабьем-пребывая», не верит человек в прочность «свободы», все ищет предела ее, все пробует: а так — можно? а — эдак? Погружение в искусство, в филантропию не всякого купца удовлетворяло: Савва Морозов, калужанин Горбунов, пермяк Мешков и многие другие искренно и без риска для себя помогали революционерам. Затем: ежели возможны были «кающиеся дворяне», почему же не быть кающе-

муся купцу? И — далее: так же, как в С. Ш. С. Америки, наше купечество давало в третьем поколении очень много недорослей и дегенератов, — это объясняется истощением биологической энергии в погоне за быстрой наживой. Взгляните-ка, как сказочно быстро богатели московские текстильщики, поволжские лесопромышленники и судовладельцы. И, право же, перед каждым стоял вопрос: все ли позволено? И, «со страхом испытую милость господню», позволяли себе все.

Литература наша пристально купцом не занималась. Для дворян-писателей купец — не герой, для разночинцев — хозяин и враг. Островский, «обличая» московского купца, умилился: свинья человек, а забавный! Андрей Печерский, обличая в купце «раскольника», преклонялся перед «деловитостью» купца. А — кто еще серьезно писал о нем?

Иногда я воображаю, что мне удалось сказать кое-что значительное о людях этого ряда, но сопоставляя сказанное с тем, что мне известно, — впадаю в уныние, ибо: знаю — много, а умею — мало. Да и трудно рассказать в приемлемых формах, напр., о купце Ал[ексан]дре Петр. Большакове, строителе храма и старосте его, грязном распутнике, растлителе несовершеннолетних девиц. Муж сей, опасно заболев, позвал священника — не своего, а чужого прихода, — своему попу пришлось бы покаяться в том, что это именно он, Большаков, «совратил» его племянницу, сироту-епархиялку.

Призвал чужого попа — спрашивает: «Верно, что я развратник и сволочь?» Поп утвердил: таков общий глас народа. «А — простит меня господь?» — «Покайтесь искренно — простит, ибо он многомилостив». — «Простит? Так ты ему... скажи, что ежели бы я, Александр Большаков, тоже каким-нибудь турецким или мордовским богом был, я б ему... морду разбил и бороду вырвал за милости его, так его мать и эдак! Милостив, — так его и эдак, — ни в чем запрета не полагает, какой он — бог?» Выгнав попа матерщиной, он приказал жене и дочери — полуидiotке — снять и вынести из горницы все образа и на другой день, во время обедни, умер, почти до последнего дыхания творя сугубую матерщину. Видите, какая штука? Васька Буслаев — не выдумка, а одно из величайших, и, м. б., самое значительное художественное обобщение в нашем фольклоре.

А вот Афиногенов рассказывает нечто иное: Париж, доклад Марины Цветаевой: «Искусство при свете совести». Бывший юрист Стремоухов рассказывает старинную легенду: душа у ворот рая. Ключарь Петр спрашивает: «Разбойник?» — «Да». — «Убивал?» — «Да». — «Раскаиваешься?» — «Да». — «Иди в рай».

Далее Стремоухов извращает легенду так: душа писателя Льва Толстого или кого-нибудь вроде него. Не убивал, но — развращал. Не раскаивается. Будет развращать еще двести лет после смерти. Петр посылает его в ад: «Кипи там, в смоле, двести лет». Вот куда метнуло гг. интеллигентов эмиграции. И вот как в них рабство звучит.

Ну — извините, что-то уж очень длинно расписался я. Как здоровье? Как встретил вас Ленинград? Что нового видите? Как «Похищение Европы»?

Крепко жму руку.

*А. Пешков.*

21.XII.32. (Сорренто)

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

(Москва. 24 мая 1933 г.)

Дорогой Константин Александрович —  
очень обрадован вашим письмом, и еще больше обрадовало бы свидание с вами, но ехать в Москву я вам решительно не советую, ибо: погода здесь осенняя, холодная и уныло гниленькая. А повидаться нам, вероятно, запретят: ко мне никого не пускают по причине гриппа, который держит меня в изоляции, в горизонтальном положении с идиотски упрямой  $t^{\circ}$ : 37,7—9. Вот уже 5-й день в Москве, а ни души не вижу. Голова болит, руки трясутся и вообще: «печали и болезни вон полезли».

В Ленинграде я думал быть между 5—10 июнем, но грипп спутал мои карты, и уже не знаю, когда попаду к вам. А видеть вас и других ленинградцев необходимо до Съезда писателей. Нужно устроить ряд частных совещаний, чтоб объединить наиболее толковых и честных людей, нужно поговорить о множестве вопросов, которые должны быть поставлены перед Съездом. Говорят, будто дня через три, пять я буду работоспособен. Есть ли у вас в Москве удобное место, где вы могли бы остановиться?

Как строго поступили с вами швейцарцы! <sup>1</sup> Вот идиоты. И откуда у них такая наглость?

Крепко жму руку. До свидания.

*А. Пешков.*

---

<sup>1</sup> Федину было отказано в визе на въезд в Швейцарию для лечения в Давосе. Отказ мотивировался самовольной поездкой Федина к Ромену Роллану — из Давоса в Вильнёв (другой кантон).

Ленинград. 30.V.1933 г.

Дорогой Алексей Максимович, жизнь требует, чтобы вы почаще и побольше передвигались, а ваше здоровье — чтобы вы сидели на одном месте: почти каждый приезд «домой» вы отмечаете какой-нибудь болезнью, и это — право! — весьма нехорошо! Лучше ли вам сейчас? Надеюсь, предсказания докторов сбылись и вы уже поправились.

Как всегда, был рад вашему письму и особенно рад тому, что вы с такой теплотой говорите о вероятной в недалеком будущем встрече со мной. Повторяю, что — если вам будет *удобней* — я охотно приеду в Москву, буде ваш приезд сюда откладывается надолго. Свое здоровье я берегу, но поездка в Москву *летом* вряд ли повредит ему. Я останавливаюсь в Москве у знакомых в очень хороших условиях м[ежду] пр[очим] — на Машковом, рядом с домом, в кот[о]р[ом] живет Екат[ерина] Павловна.

Тем временем Съезд писателей оказался отложенным. Хотя тут не известны никакие подробности, думаю, что дело идет не о неделях, а о месяцах: раньше сентября вряд ли созовут. По сугубо эгоистическим видам это хорошо, так как заседать и «съезжаться» не легко, летом же лично я неплохо всегда тружусь и уставать не хочется. Но в общественном отношении затычка повредит: немного упадет «настроение», зарядка ослабится. Между тем Оргкомитет как учреждение *временное* не всех располагает к пристальной работе, занятия его иногда слишком вялы и все еще чересчур много организационной суеты.

Кажется, действительно интересной становится работа по написанию «Истории заводов». Знаете ли вы, что завтра в Ленинграде — большое собрание в связи с «Ист[орией] зав[одов]»? Област[ная] редакция выпустила даже специальный сборник статей, пробных глав и материалов. Книжку наверно вам пришлют. Много и успешно работают Шкапская (она целиком ушла в «Историю», бросив все: подумать только, что она начинала с эротико-мистических и физиологических стихов), Мария Левберг, Антон Ульяновский. В деле этом все больше проявляется подлинной литературности, оно набирает соки, и уже чувствуется, что становится культурным явлением неизмеримой силы. Интересно! — Будьте здоровы!

Ваш К. Федин.

Дорогой Константин Александрович, получил письмо ваше как раз в начале обострения болезни: грипп переходил в воспаление легких. Осмелюсь доложить, что это было крайне паскудно, дважды я вполне определенно почувствовал, что вот сейчас задохнусь и — навсегда! Отвратительная штука бунт птички, которая именуется сердцем, — 65 лет вела себя прилично и вдруг обнаружила желание вылететь куда-то к черту на кулички! Но сейчас все у меня снова в порядке, становлюсь работоспособен и задыхаюсь — умеренно.

В Ленинград я, вероятно, не скоро попаду, из дома меня никуда не пускают и намерены увезти под Москву, где мы с вами и встретимся, если это вас не затруднит. Так что — покамест: до свидания, очень приятного для меня, ожидаю его нетерпеливо. Крепко жму вашу руку. Авербах говорил мне о встрече с вами, о выступлении вашем на собрании по «Истории заводов», — очень приятно было узнать о живейшем участии вашем в этом деле. Впрочем, вы и в письме свидетельствуете о вашем интересе к этой затее — удачной, не правда ли?

Затеваю еще два предприятия<sup>1</sup>. Работать хочется — как младенцу материнского молока!

Всего доброго вам!

*А. Пешков.*

9.VI.33, (Москва)

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Детское Село. Екатерининский дворец.  
Зубовский подъезд. 18.VI.33

Дорогой Алексей Максимович, рад, очень рад, что вы справились с болезнью и «бунт птички» подавлен. Поздравляю вас!

Вы, вероятно, уже перебрались за город. Если отдохнули от гриппа, переезда и прочее, — напишите, какого числа (скажем, — июля?) вам удобнее принять меня.

<sup>1</sup> В письме Ромену Роллану от 6 мая 1933 г. Горький писал: «В Москве буду заниматься организацией литературы для детей... Затем будем строить Институт по изучению всемирной литературы и европейских языков. Работы в Москве — гора!»



Буду ждать письма.

А пока — благодарю вас за радужное приглашение и еще раз — радуюсь, что вы поправились!

Преданный вам

*Конст. Федин.*

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Детское (Село) 31.VIII.1933

Дорогой Алексей Максимович,  
хочу попросить у вас совета. Мне, по-видимому, удастся провести самые плохие месяцы (октябрь — декабрь) за границей: разрешенные мне уже дали, не вполне ясны кое-какие «технические» вопросы. Предполагаю в самом конце сентября выехать из Лен[ин]града. Но место пребывания за границей я намечаю пока еще только приблизительно. Отпадают Германия и Швейцария: немцы меня «сожгли»<sup>1</sup> (как говорится — считаю за честь), а швейцарцы закрыли мне свои границы (что, собственно, говорит только об их глупости, а вовсе не о «дальновидности» и пр.). Летом я был, по вашему совету, у Хольцмана. Между прочим, я вспомнил, что о нем мои давосские врачи говорили мне как об известном им превосходном московском враче: он, оказывается, работал в Давосе. Он нашел мое сжатое легкое в удовлетворительном состоянии, а про очаг в другом сказал, что «этот вулкан может начать действовать в любое время». Но, по мнению Хольцмана, в санаторном лечении сейчас нет надобности и следует лечиться, переменяв режим на более подвижный: надо непременно укрепить несжатое легкое. Конечно, «подвижность» дело условное. Тем не менее уже и то, что я не связан при выборе места лечения определенной высотой, много значит. Я намечаю поэтому либо австрийский Тироль, либо Северную Италию, район Мерана. Как ваше мнение о последнем варианте? Хороша ли именно осень в районе северных озер, например? Юг мне, к сожалению, «противопоказан», хотя Хольцман как будто не согласился с этим... Не напишете ли вы, дорогой Алексей Максимович, мне два слова по этому поводу?

Будьте добры также написать — не поможет ли вы в получении итальянской визы, если я остановлюсь на Италии? Я по сему

---

<sup>1</sup> Речь идет о сожжении немецкого перевода романа «Города и годы».

скучному вопросу запрашивал П. П. Крючкова, но он... просто не ответил.

С громадным удовольствием вспоминаю проведенные у вас в Горках дни! Это было хорошей наградой за — годами недостающее личное общение с вами. К тому же мне повезло: у меня давняя «слабость» к Вас[илию] Ал[ексееви]чу Десницкому, и он мне... не мог «помешать». (Другие мешали!)

Что вы скажете о «Библиотеке» поэта? Она рождалась мучительно, но — как будто — не даром. Видели ли вы уже Давыдова Дениса? К сожалению, оформление начинает торопиться, небрежничает народ. Надо сказать, вообще много у издательства технических и хозяйственных препон и бед, множество надделано ошибок.

Желаю вам всего лучшего. Как ваше здоровье и самочувствие? Когда собираетесь в Сорренто? Если вы поедете осенью, не разрешите ли присоединиться к вам, чтобы вместе «переехать» границу? В тех местах я совсем чужой.

Искренно преданный

*Конст. Федин.*

Ленинград 28. Пр. Володарского, 33, 13.

Я прожил все лето и еще живу в Детском. Лето было вполне милостиво.

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

Дорогой Федин —

о Тироле ничего не могу сказать, не бывал там, а от лечившихся слышал рассказы неодобрительные: места — капризные, погода ноября — декабря шаловлива. О Меране говорили врачи, как о месте «заплеванном» и гораздо более удобном для спортсменов обоего пола, чем для больных. И, будто бы, дорого. Почему бы вам не попробовать Кавказ, Теберду, Нальчик? Устроили бы вас там удобнее и, уж наверное, лучше в смысле питания. Съездили бы туда, посмотрели, не понравится — уедете за границу.

Я в Италию и вообще за рубеж больше не поеду, остаюсь в родных палестинах, в октябре отъеду в Крым, в декабре — вернусь в Москву. А то — уедешь на зиму, и — обязательно замедляются темпы всех затеянных мною работ! К тому же и подготовка к Съезду писателей требует «оседлости» в Москве. Визу в Италию

добудем немедленно, как только вы потребуете. Сижу в Москве, погода — мерзейшая, неукротимый дождь, ему уже скучно, идиоту, а он все еще «идет». Не хорошо, не правильно говорят о дожде — «идет».

Очень удручен смертью Гольцмана и Горбунова<sup>1</sup> — отличные люди были они!

Очень советую вам: познакомьтесь с Алексеем Дмитриевым Сперанским и Львом Николаевым Федоровым, — крупные люди.

Крепко жму руку вашу, от всей души желаю здоровья. Берегите себя. Туберкулез в вашем возрасте — не велика опасность, но — все-таки вы за ним послеживайте. Болезнь иезуитская.

Привет. А. Пешков.

8.IX.33. (Москва)

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Ленинград. 4.V.1934

Дорогой Алексей Максимович, «почта» моя к вам идет с некоторым запозданием, по вине праздников и неожиданного дела с «Библиотекой поэта», взволнованной и слегка растерявшейся из-за вооруженного и беспринципного наступления «Academia». Из прилагаемой записки «Библиотеки» вы увидите, так сказать, всю глубину «падения» нашего соперника. Очень просим вас поддержать «Библиотеку», проделавшую большую научную подготовительную работу, которая даст в ближайшее время свои результаты.

Затем — самое важное: вы обещали написать несколько слов на моей записке товарищу Жданову в поддержку автономности «Издательства писателей в Ленинграде». Очень прошу вас сделать это и, по возможности, лично вручить тов. Жданову записку. Если можно, пожалуйста, пришлите мне копию вашего отзыва об издательстве.

Посылаю бандеролью рукопись М. Шкапской «Диспозиция боя» (ист[ория] завода им. К. Маркса — б. Лесснер) и прилагаю письмо от автора. «Диспозиция» в выборках и с сокращениями должна

---

<sup>1</sup> Абрам Зиновьевич Гольцман — начальник Главного управления Гражданского воздушного флота, был заместителем редактора журнала «Наши достижения». Сергей Петрович Горбунов — инженер, директор авиационного завода.

Гольцман и Горбунов погибли 5 сентября 1933 г. в результате авиационной катастрофы.

идти в «Звезде». Но вы, вероятно, дадите этой работе известный резонанс в Москве.

Лучше ли вам теперь и миновала ли тревога в легких? Можно ли вам работать?

Я убегаю 8-го мая в Детское, потому что здесь некогда писать и потому что Москва успела наделить меня бронхитом.

Будьте здоровы. Жму крепко руку.

Ваш *Конст. Федин*.

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

Тов. Федину (г. Ленинград)

Дорогой товарищ!

Я прошу вас взять на себя редактирование сборника воспоминаний об Октябре в Питере. Материал будет критически выверен у нас в Секретариате «Гражданской войны». На вашу долю падет только литературная редакция.

Сборник мы думаем опубликовать к годовщине Октября.

Привет.

Главная редакция *М. Горький*.

11 июля 1934 г. (Москва)

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Ленинград. 8 августа 1934

Дорогой Алексей Максимович,

посылаю вам рукопись своего доклада, который только что кончил читать на конференции<sup>1</sup>. Если он вам может пригодиться как «сырье»<sup>2</sup> — читайте, нет — не утруждайте себя.

Много за это время здесь произошло грустного — с издательством etc.

Жму вам руку и желаю всего доброго.

Ваш *Конст. Федин*.

Простите за убогость бумаги и пр.

<sup>1</sup> На ленинградской писательской конференции 8 августа 1934 г. Федин прочел доклад «О прозе ленинградских писателей».

<sup>2</sup> То есть как материал для доклада Горького о советской литературе на Первом Всесоюзном съезде советских писателей.

Детское Село, Екатерининский дворец  
21.IX.1934

Дорогой Алексей Максимович, посылаю вам интересное письмо — предложение Елены Данько, являющееся одновременно конспектом книги о Гос[ударственном] фарфоровом заводе. На мой взгляд, никто не мог бы сделать такой книги так хорошо, как Ел[ена] Як[овлевна] Данько, работающая на заводе как художник-производственник с начала революции. К тому же Данько отменный литератор, со вкусом и хорошей техникой. Писательница-художница-производственник — сочетание редкое.

Вопрос о том, возможно ли включить такую книгу в план изданий по «Истории заводов»? Если — нет, то нельзя ли заказать Ел. Данько книгу о Фарфоровом заводе *вне серии* по «Истории»? Здешний ОГИЗ это предприятие мог бы поддержать — я говорил с тов. Рафаилом. Но ваша поддержка, Алексей Максимович, только и могла бы решить дело правильно, дав ему настоящую почву и основу.

Такая моя судьба — рекомендовать, «подряжать» авторов по истории заводов, да притом — все женщины! Слава богу, они оправдывали себя. Грустно только, что одна из них неожиданно приказала работать и жить без нее (вы наверно слышали о смерти Марии Евген[ьевны] Левберг?..). Мне почему-то кажется, что если Ел. Данько будет дана возможность по-настоящему взяться за дело, то у нас будет любопытнейший образец работы по «Истории заводов».

Прошу вас, Алексей Максимович, написать мне по этому поводу, и если предприятие покажется вам ценным, то не откажите отозваться и на конспект Данько.

По моим сведениям, вы — в Форосе. Хорошо ли у вас? Не можете представить себе, до чего фантастично здесь бабье лето! Вот уже двадцать дней, как безоблачно небо и не шелухнет! Опять пошла трава, на сирени лопаются почки, стали петь птицы, расплодилось насекомые, стрекозы летают толпами, комары-толкуньи подпирают столбами твердь. Ничего не поймешь! Но так хорошо, что, видно, и впрямь изменяется на земле весь климатический режим.

Я сижу за второй частью «Похищения», пишу о нас, о наших людях и советской земле, пишу с чувством какого-то обновления и с молодым интересом.

Взялся за редактуру книги «Октябрь в Петрограде» — по истории гражд[анской] войны. Книжища толстая, страсть. И довольно, как будто, пестрая.

Будьте здоровы, дорогой Алексей Максимович, и всего вам лучшего.

Ваш *Конст. Федин.*

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ

Дорогой Константин Александрович — план Данько весьма одобряю, готов всячески помочь ей, о чем завтра извещу её.

Пишу из Крыма, только сегодня приехал сюда и — попал на хорошую погоду. Намерен отдыхать здесь месяц, а с первым снегом — в Москву. Очень устал.

Виноват перед вами — не ответил на письмо ваше по поводу «Ленинград[ского] изд[ательст]ва писателей». И сейчас не могу ответить, ибо И[осиф] В[иссарионович] — в отпуску, а без него — толка не добьешься.

Сердечно приветствую, желаю доброго здоровья.

*А. Пешков.*

27.IX.34. (Тессели)

Вы гордитесь вашей ленинградской погодой, которая — наверно — уже испортилась, нет, вы посмотрели бы, что делается здесь! Никогда еще не видал Крыма таким великолепно нарядным осенью. Здесь хвастаются чудесным урожаем фруктов. Лето было сухое, и виноград очень вкусен. Тепло, красочно, море — тихое. И множество птиц, особенно — перепелов.

*А. П.*

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Ленинград. 27.XI. 1934 г.

Дорогой Алексей Максимович, до вас, вероятно, докатились вопли историков, критиков и исследователей литературы — редакторов и сотрудников «Библиотеки поэта», о гибели этого издания.

Из многих предприятий, которые обязаны своей жизнью вашему почину, «Библиотека поэта» была и остается любимейшим среди писателей. Причин тому много. Не говоря о близости писателю самой идеи великолепного дела, его осуществление было начато с очевидной удачей. Выполнить план в той форме, какую приняла уже проделанная (большей частью — подготовительно) работа, означало бы создать замечательный памятник оценки нашей эпохи всего исторического прошлого и настоящего русской поэзии. Никогда в начале работы над «Библиотекой» лично я не думал, что она примет такой размах.

«Библиотека» сейчас передана издательству «Академия» и с первых же шагов новый хозяин начал раскидывать самое основание идейного предприятия. «Хочу — бяру, не хочу — не бяру!» — таков критерий, применяемый «Академией» к книгам и планам «Библиотеки». Можно быть различных воззрений на издательскую деятельность «Академии». Это издательство насаждает хороший вкус не только своими переплетами и суперобложками. Оно отвечает перед нами, в конце концов, и своими планами. Как бы они ни были достославны, на этом основании нельзя разрушать другие планы, научно и практически апробированные. Издательству «Академия» передана «Библиотека поэта» в целом как плановое единство, а не обрывки по принципу «хотешь — бярешь!». Формальные условия выхода «Библиотеки» не играют роли: она может выходить под любой советской маркой. Но она должна остаться *библиотекой*, как представляли себе ее вы, какой она вырабатывалась в руках ваших весьма опытных, знающих литературно-научных сотрудников. Само собою, бытие «Библиотеки поэта» не может отразиться на возможном издании других серий книг о поэзии, для других читателей и в других целях. Ведь литераторы никогда не станут возражать против количества изданий (и даже издательств!). И не зачем запутывать новыми проектами (как это делает «Академия») ясный и действительно важный вопрос о том — существовать «Библиотеке поэта» или погибнуть. А именно так стоит этот вопрос.

Прошу вас, дорогой Алексей Максимович, остановиться на печальном для литературы деле «Библиотеки». Убежден, что очень скоро все мы сильно «прослезимся», когда наступит час «подсчитывать» плоды объединительной, монополистической нашей деятельности в издательской области во второй половине 1934 года. Особенно же много слез будет пролито у надгробной плиты «Библиотеки поэта», заготавливаемой сейчас «Академией» в древнерусском стиле Каразина, с фестоном и бутончиками. К сожалению, это не шутка, а истинная бытовая правда.

Есть два возможных решения.

1. Оставить «Библиотеку поэта» сектором издательства «Советский писатель». То есть — статус-кво.

2. (Если решение ЦК о передаче «Библиотеки» изд[ательству] «Академия» состоялось; документально такое решение нам неизвестно.) Включить редакционную ячейку «Библиотеки поэта» в издательское хозяйство «Академия» для плановой реализации идей об издании «Библиотеки» под редакцией М. Горького.

Всякое другое решение упраздняет ваш замысел выпуска для литераторов исчерпывающего пособия по истории поэзии в научно проверенных и комментированных образцах.

Простите, что я так много написал. Вероятно, по поводу издательских дел я обращаюсь к вам последний раз, потому что, как видно, все ленинградские литераторы и писатели увольняются от редакционно-издательской работы на покой.

Поверьте, я говорю это без малейшей горечи или «уязвленности». Я очень рад за себя как писателя. Но именно как писатель я не в состоянии быть равнодушным к судьбе больших и увлекательных литературных планов. Отсюда это письмо.

Мое собственно писательское дело за последнее время угнетает меня здорово: работа над материалом *сего дня* в условной форме «беллетристики», «художественной литературы» и т. д. сверхмучительна. Весь я ободрался, словно об гвозди, и этой добровольной вивисекции не видно конца-края. Все это может стать интересным не «страданиями» и прочим, но уже объективным опытом, вырастающим из практики сражений за искомое «новое качество» литературы. И тут не теоретизирование важно, а именно опыт.

Остальное у меня по-старому, если не считать того, что, платя дань ноябрю и поголовному гриппу, я лежу с температурой, кашлем и проч.

Как вы чувствуете себя? Отдохнули ли от Москвы и здоровы ли?

Спасибо за последнее письмо. Ваш интерес к труду Елены Данько помог ей заключить нужные условия с издательством и Фарфоровым заводом.

Будьте здоровы, приветствую вас!

Ваш *Конст. Федин*.

От жены поклон.

Простите за машинку, — лежа могу писать только кое-как карандашом.

P. S. 27. XI — уже написав письмо, обнаружил в «Лит[ературном] Ленингр[аде]» прилагаемую дельную статью,



(Между 2 и 25 декабря 1934 г. Тессели.)

Дорогой Константин Александрович — получил ваше письмо с вырезкой из «Ленгазеты», а кроме того — два документа: один подписан группой лиц, работающей по изданию «Библиотеки поэта», другой — группой работников библиотечных. Оба документа написаны весьма солидно и в строгом тоне.

Библиотекари убеждают меня, что изданные ленинградцами книжки серии «Б-ка поэта» весьма популярны и доходят до публики, а книги, изданные москвичами, — не доходят, да и не популярны. Но при наличии у нас книжного голода популярность книги не говорит о ее качестве и о ее полезности, — у нас и «Угрюм-река» популярна.

Группа ленинградцев, работающая по «Б-ке поэта», убежденно отмечая научность своей работы, выражает «серьезные опасения за дальнейшую судьбу данной серии» в том случае, если ленинградцы и москвичи объединятся в «Академии» для совместной работы. Опасение — не совсем понятное мне. Предполагая, что в той и другой группе работают люди серьезные, искренно озабоченные успехом своей работы, освоившие ее культурное значение, я не вижу причин, которые помешали бы этим людям договориться о типе издания книг по истории дореволюционной поэзии нашей и о том, чтоб придать книгам этим характер действительно научный, «педагогический».

Возвратимся к «началу начал». «Библиотека поэта» была задумана как история русской поэзии XVIII—XX вв. в образцах, биографиях, очерках эпох — именно так, а не иначе.

История всякого процесса имеет свое начало. Я неоднократно говорил и писал о том, что «Библиотек[у] поэта» следует начать с народной песни, с былины, с Тредьяковского, т. е. именно «научно» и строго хронологически. Нужно показать, как и чего ради Дмитриевы, Цыгановы, Мерзляковы и прочие многие причисывали народное творчество культурным гребнем «православия, самодержавия, народности», как барон Розен «создавал» либретто оперы «Жизнь за царя», и показать прочие многочисленные анекдоты, «имевшие место» в процессе стирания подлинного лица народа сел, деревень, казенных фабрик и промыслов. От этого порядка и плана работы молча отказались. Работа сразу же приняла характер работы «по линии наименьшего сопротивления», по силе симпатии каждого «единоличника», по принципу «всяк молодец на свой образец». Одному приятен Рылеев, другому — Державин, трет

тѣму — Бенедиктов. Получился хаос, который мне приходится наблюдать не только по линии этой работы. А вместе с тем получилось хвастовство, которое я чувствую в словах ленинградцев, сказанных в письме ко мне: «Популяризировать можно только твердые достижения научных изысканий» и — далее: «Мы считаем совершенно необходимым приступить к изданию популярной серии». Значит: утверждается, что уже есть «твердые достижения». А я не верю в это, ибо таковые достижения могли бы явиться лишь в том случае, если работе была бы придана историческая последовательность в изображении процесса развития поэзии.

Я очень прошу вас, К. А., сообщить это мое письмо ленинградской группе, работающей по изданию старой поэзии. Мое окончательное мнение по этому вопросу таково: совершенно неважно, в какой издательской организации будет издаваться «Библиотека поэтов» в данном ее виде и будет ли она издаваться самостоятельно, одновременно и подробно в Ленинграде, Конотопе, Москве, Обдорске и других местах.

Но было бы крайне важно и очень полезно, если б обе группы, отказавшись от смешного, старенького, традиционного «партикуляризма», попытались объединиться и придать работе своей по истории русской поэзии хотя бы и не очень «научный», но серьезный, стройный характер. Работа по идее своей заслуживает иного отношения, чем то, кое проявлено. Значит — вопрос таков: возможно объединение или «Нева с Москвой-рекой — увы! — непримиримы»? Есть опасность, что, прожив еще лет десяток и оглянувшись на то, каковы они были до 34 г. включительно, — литераторы увидят себя очень смешными людьми.

Я совершенно подавлен убийством Кирова, чувствую себя вдребезги разбитым и вообще — скверно. Очень я любил и уважал этого человека.

*А. Пешков.*

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

(Ленинград. 29 декабря 1934 г. — 8 января 1935)

Дорогой Алексей Максимович,  
я получил из Москвы копию с вашего письма мне, написанного в Крыму. Не сердитесь на мое неисправимое, впрочем, не совсем серьезное «упрямство», но и в этом случае Москва оказалась предпочтенной: копия должна была бы остаться там, а оригинал — попасть в мои руки. Но случилось наоборот, так что у меня впер-

вые за всю переписку с вами (которой я необыкновенно дорожу) появилось письмо от вас без даты и подписи.

Большое спасибо за подробный ответ касательно «Библиотеки поэта». Я передал его редакторам этого издания, так что в дальнейшем они могут вести свою работу, сообразуясь с вашим мнением о ней. Скорее всего, разумеется, «Нева с Москвой-рекой» тихо примирится...

Я не думал, что вы так невысоко расцениваете «Библиотеку» и что редакция настолько отдалилась от вашего замысла, что стало безразлично — где будут выходить книги в нынешнем их виде — в Ковотопе или еще где. Я не был связан с «Библиотекой», а ее редактора никогда не излагали ее плана так, как он вырастает из вашего письма. Лично я представлял себе «Библиотеку» пособием для современного поэта. Вероятно, этим моим недоразумением порожден был излишне «воинственный» тон последнего моего письма, который — возможно — был вам неприятен. Если так — извините, это вышло невольно.

Однако, увы! — мне что-то жалко в исчезновении «Библиотеки». Да и вы, Алексей Максимович, вряд ли были бы против, если бы появился еще пяток-другой толстых томов с именами крупных поэтов прошлого...

Конечно, я согласен с вами, что работе по плану помешал неистребимый «самотек», что каждый стремился издать «свое», не считаясь с тем, нужно ли оно для общего замысла, для целого. Это, действительно, беда всех плановых предприятий. Но человека, подготовленного университетом к работе над началом XIX века, не так-то легко пересадить на середину XVIII, и потому что он не хочет и потому что — не умеет. Нехотение же здесь, думаю я, больше именно от неумения, а не от какого-нибудь умысла.

Но все же, не находите ли вы огромной разницы между этой новой, отнюдь не «совершенной» формацией литераторов и той, которая вступала семнадцать лет назад в революцию вполне сложившимися людьми? Ну, хотя бы — насколько же велика разница между коллегией «Всемирной литературы» и редакцией «Библиотеки поэта»? Неужели они одинаково «партикулярны» и противны общей работе в общих целях? Я часто вижу в наших литераторах, особенно — в ученых литераторах, что-то смертельно схожее с былыми сюртуками большого и маленького «Олимпа». Но это — на минуту, на час, и только в одном-двух «мужах». А потом врывается целая волна новых людей, легко смывающая поверхностный налет чванного олимпизма, да и сами сюртуки распахнутся, а под ними — славная и простая гимнастерка. Оказывается: интерес к общему,

делу есть повсюду и литературный человек сильно изменился. Хотя возможно, что через десять лет он покажется себе — в нынешнем его виде — недостаточно изменившимся и даже смешным.

Надеюсь, что вы здоровы, и желаю вам этого со всей искренностью. Когда собираетесь в Москву?

Ваш *Конст. Федин.*

Письмо съездило в Крым и вернулось, из чего следует, что вы уже в Москве, дорогой Алексей Максимович. Приветствую вас и желаю всего доброгo!

*К. Ф.*

8.1.1935

ФЕДИН, СЛОНИМСКИЙ, ТИХОНОВ — ГОРЬКОМУ

(Ленинград. 22 мая 1935 г.)

Дорогой Алексей Максимович,

у нас к вам большая просьба: предоставьте нам для печатания в журнале «Звезда» четвертую книгу «Клима Самгина». С середины этого года журнал повышает качество по всем отделам. Ваша поддержка нам необходима. Мы твердо надеемся на ваше участие. Если вы, кроме романа, предоставите нам другой материал — рассказ, статью или пьесу, мы будем вам очень благодарны.

Пожалуйста, ответьте нам.

Будьте здоровы.

*Конст. Федин*  
*М. Слонимский*  
*Н. Тихонов.*

22.V.1935.

ГОРЬКИЙ — ФЕДИНУ, СЛОНИМСКОМУ, ТИХОНОВУ

Тт. Федину, Слонимскому, Тихонову

Уважаемые товарищи — вторую половину третьей книги «40 лет» я в этом году — не кончу, а отрывки печатать — не стану. Напечатал один и жестоко изругал себя.

Год у меня — трудный: надобно поставить на ноги «Колхозник», организовать «Библиотеку колхозника», начать «Историю деревни» и еще много прочее, а тут вот надо к парижанкам ехать на старости лет<sup>1</sup>.

И рассказа дать — не в силах, ибо если и напишу рассказ, так отдам в «Колхозник». Деревня хочет книжки читать и «чтобы хорошие, как для господ писали».

А кроме всего прочего — Роллан приедет<sup>2</sup>.

И начинаю дряхлеть. Обидно: по всему корпусу, с головы до пят шерсть рыжего цвета начинает расти. А сны снятся — ужасающие: будто бы выстроил я себе дом, а в нем поселились сколопендры тысяч 16 — ни сесть, ни лечь! Вот и живи!

Крепко жму ваши руки

*А. Пешков.*

4.VI.35 (Тессели)

ФЕДИН — ГОРЬКОМУ

Ленинград. 7.I.1936

Дорогой Алексей Максимович, третьего дня послал вам вторую (последнюю) книжку «Похищение Европы». Невероятно много сил отнял у меня этот роман, и результаты работы очевидно не соответствуют израсходованной энергии. Я был занят им пять лет; правда — около двух лет скушала болезнь, вообще понизившая мою работоспособность. Но так или иначе я довел дело до конца и чувствую себя сейчас так, словно перешел сомнительный мосточек через коварное ущелье. Работу я кончил в октябре, и тогда же, на радости, отправился на юг, чего до сих пор не решался делать из-за легких. Почти месяц я прожил в Сухуми и успел увериться, что пребывать мне в таких местах не следует: с утра до ночи я должен был приспособливаться к самым капризным сменам температуры, от жары до холода, к целой гамме

---

<sup>1</sup> В июне 1935 г. Горький должен был поехать в Париж на Международный конгресс писателей в защиту культуры. Он был избран главой делегации советских писателей. Из-за болезни поездка Горького не состоялась.

<sup>2</sup> Р. Роллан приехал в Москву 23 июня 1935 г. Вскоре же, 9 июля, Федин вместе с другими писателями — С. Маршаком, Ю. Тыняновым, М. Ильиным и А. Прокофьевым — был приглашен на дачу Горького, где в то время находился Р. Роллан.

влажностей, ко всевозможным оттенкам комбинаций из этих двух факторов, плюс ветер, плюс солнце, плюс бог знает что! В конце концов, меня буквально кинуло в пот, а этого удовольствия я уже очень давно не испытал. Мне явно следовало бы отступить, но так был велик соблазн увидеть побольше, что я решил исполнить давно задуманный план поездки в Армению и двинулся на Эривань. К сухумским капризам термометра прибавились высоты перевалов, высота самой Эривани при умопомрачающей неустойчивости южной зимы. После этого путешествия ленинградская постоянная и равномерно-подлая слякоть мне показалась раем, — я действительно почувствовал себя превосходно! Но, увы, рентген установил неприятные изменения в левом легком, в то время, как правое у меня все еще сжато. Снова приказано мне перейти на «нормальный» режим.

Зато ожидания, связанные с поездкой в Эривань, во многом оправдались, несмотря на краткость моего гощенья там. Изумителен Эчмиадзин с его 10 000 рукописных книг такого виртуозного красочного изящества и такой совершенной техники, что когда я сидел с лупою в руке, прогуливаясь по миниатюрам и листовым рисункам, мне казалось, будто я разъезжаю по Персии и Турции и передо мною живут ориентальные дворцы и храмы. Замечательны (вернее: особенно меня поразили) две вещи: истоки армянской архитектуры, сейчас возрождающейся в работах Таманяна, все запечатлены в миниатюре и явно указывают на восточную интернациональность зодческой эстетики; и еще: весь животный мир (хищники, фауна) по своей экспрессивной форме, по трактовке индивидуальных качеств необыкновенно напомнили мне мозаики Помпеи и Геркуланума. Это чудесно, когда зрительно «ощущаешь» связь эпох и частей мира, и, конечно, ничто так выразительно не говорит в этом смысле, как искусство!.. Словом, я не раскаиваюсь в поездке!

Как чувствуете себя вы и неужели опять приедете в Москву во время холодов, чтобы опять захворать? Берегите себя и будьте здоровы!

Ваш *Конст. Федин.*

P. S. Вам из Сухума должны послать сборник абхазских сказок. Получили ли? Сказки есть великолепные. Но перевод настолько убог, что зло разбирает смерть как! А ведь в Сухуме можно было найти недурного редактора — есть там такой русский — Новодворский, вполне грамотный человек.

Дорогой Константин Александрович —  
разумеется, очень нехорошо, что я только сегодня собрался ответить вам, но — в этом не только моя вина. Мне захотелось поскорее устроить вам переезд в Москву — т[о] е[сть] — под Москву — я предложил П. П. Крючкову «принять меры», но тут пленум и всяческое прочее, и нет Щербакова. Только вчера получил сведение, что для вас отводят хорошую и, кажется, уже «обжитую» дачу на Сетунь. Там — говорят — сосновый бор и вообще — удобно. Если окажется неудобно — найдем другое место, но — только скорее уезжайте из Ленинграда.

Книгу вашу все еще не прочитал. Это — простительно, ибо у меня совсем уже не остается времени для чтения! — И — устают глаза.

Будьте здоровы, простите, что пишу кратко, очень устал.

*А. Пешков.*

*23.II.36. Тессели*

## **КОММЕНТАРИИ**





## СОЧЕТАНИЕ ЛЕТ

### ГОРЬКИЙ СРЕДИ НАС

#### Картины литературной жизни

Намерение написать книгу «Горький среди нас» возникло у Федина в 1934 году, еще при жизни Горького; в то время в планах писателя книга значилась под условным названием «Горький в моей жизни». И хотя к работе над ней Федин приступил значительно позже (сначала необходимо было завершить «Похищение Европы», а затем много сил и времени отнял «Санаторий Арктур»), замысел книги о Горьком, как свидетельствует написанная весной 1937 года статья для многотиражки Кировского завода в Ленинграде, по-прежнему продолжал оставаться в числе первоочередных.

«Кроме того, — рассказывал писатель о своих планах на ближайшее время, — в этом году я намерен написать о своих встречах и переписке с Максимом Горьким. Знакомство с ним началось у меня в 1920 году и продолжалось более шестнадцати лет. У меня была с ним большая переписка, в разные годы, я много и иногда подолгу видался с ним. Я предполагаю подробно прокомментировать большое количество писем Алексея Максимовича ко мне, в воспоминаниях же — рассказать о Горьком-писателе, Горьком-человеке, Горьком-друге. Это — большая и трудная работа, не знаю, скоро ли я ее выполню»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> «Кировец», 15 апреля 1937 г.

Первая часть под заголовком «Двадцатые годы (из книги «Горький среди нас»)» впервые была напечатана в 1941 году, в июньском номере журнала «Новый мир»; вторая часть, работа над которой велась в Москве, затем в Чистополе (в эвакуации) и снова в Москве, была опубликована сразу в виде отдельной книги (Гослитиздат, М. 1944).

В 1943 году, в предисловии к отдельному изданию первой части, Федин писал:

«Книга, названная мной «Горький среди нас», представляет собой картины литературной жизни, в центре которой стоит Горький.

Первая часть книги, предлагаемая в настоящем издании читателю, рисует историю моего знакомства с Горьким и встречи с ним на протяжении двух лет гражданской войны — в 1920—1921 годах и касается тогдашнего писательского быта и движения литературной мысли.

В основу следующей части будет положена переписка Горького со мною периода его пребывания за границей в 1923—1928 годах и первый его приезд в СССР в 1928 году. Заключительная часть связана с последними поездками Горького в Сорренто и с его работой на родине в 1930—1936 годах, до дня смерти.

Имя Горького раздавалось среди нас годы и десятилетия, его образ проникал в самые недра нашего сознания. Я хочу показать это в свободной форме, сочетающей портрет с рассказом, воспоминания с критическим очерком, биографию с документом. Вот почему многое из того, что я сейчас публикую, найдет свое разрешение лишь в дальнейших картинах<sup>1</sup>.

К сожалению, завершить работу тогда же, в сороковые годы, писателю не удалось; одна из причин этого — в 1944 году книга подверглась резкой критике, несправедливость и во многом предвзятый характер которой сегодня очевидны.

В 1967 году книга «Горький среди нас» вновь увидела свет, причем впервые обе ее части были напечатаны под одной обложкой («Молодая гвардия», М.). Готовя книгу для этого издания, писатель предваряет ее предисловием «К замыслу книги» и дополняет опубликованной к этому времени в 70-м томе «Литературного наследия» (Изд-во АН СССР, М. 1963) перепиской с Горьким. С этого же времени в книгу входят написанная в 1942 году для третьей части «Горький среди нас» и тогда же напечатанная в журнале «Октябрь» (1943, № 3) статья «Егор Булычов», а также за-

---

<sup>1</sup> Конст. Федин, Горький среди нас. Картины литературной жизни. Вторая часть. 1921—1928, Гослитиздат, М. 1944.

ключающая книгу статья «Дни прощания», вобравшая в себя выступление Федина в 1936 году в Колонном зале Дома Союзов у гроба Горького и опубликованную к 10-летию со дня смерти писателя, 18 июня 1946 года, в газете «Известия» статью «Наш долг перед Горьким».

### Ш А Г   З А   Ш А Г О М

Раздел «Шаг за шагом» содержит публицистические выступления Федина, публиковавшиеся в периодической печати на протяжении 1920—1965 годов. Разумеется, два десятка статей и выступлений — лишь очень малая часть из написанного Фединым публицистом. И все же они дают известное представление о широте интересов и о круге занимавших писателя проблем, убедительно свидетельствуют о внимании его к важнейшим событиям в жизни страны.

Великое таинство. — Впервые — в газете «Петроградская правда», 1920, 7 марта.

Жажда (На выставке Народного Образования). — В газете «Петроградская правда», 1920, 5 декабря.

О том, как Васька-ходок букварь достал (Сон фельетониста). — Впервые — в газете «Петроградская правда», 1921, 16 января.

Землетрясение в Ялте. — Впервые — в газете «Ленинградская правда», 1927, 18 сентября.

Заброшенный сад. — Впервые — в газете «Правда», 1937, 16 сентября.

Поездка на Север, к Белому морю. — Впервые — в газете «Правда», 1938, 29 сентября.

Поездка на Север, к морю Баренца. — Впервые — в газете «Правда», 1938, 16 октября.

Молодежи Чистополя. — Впервые — в газете «Прикамская коммуна» (Чистополь), 1942, 26 ноября.

Музыка Победы. — Впервые — в газете «Правда», 1943, 6 августа.

По следам врага. — Впервые — в газете «Правда», 1943, 19 сентября.

С праздником, товарищи! — Впервые — в «Литературной газете», 1952, 26 июля.

Хозяин советской культуры. — В газете «Советская культура», 1953, 7 ноября.

Уроки, которые нельзя забывать! — В газете «Правда», 1956, 14 сентября.

К звездам. — Впервые — в газете «Правда», 1957, 12 октября.

Нам сорок лет. — В «Литературной газете», 1957, 5 ноября.

Встречи с И. Г. Лютером. — Впервые — под названием «Иван Генрихович Лютер» в «Дружбе народов», 1961, № 4.

Летом в Ясной Поляне. — Впервые — под названием «Летом в Ясной Поляне. Из записок» в «Литературной газете», 1959, 20 июня.

«День мира» — книга вторая. — В газете «Известия», 1960, 11 сентября.

Мне видится книга... — В газете «Советская Россия», 1963, 4 сентября.

Высокий долг культуры. — Речь на Международной встрече писателей в мае 1965 года. Напечатана в сб. «Международная встреча писателей. Берлин и Веймар. 14—22 мая 1965 года. Протокол», Изд. Союза немецких писателей, Берлин (на русском языке).

## **АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ**

*ПРОИЗВЕДЕНИЙ К. А. ФЕДИНА,  
ВОШЕДШИХ В 1—10 ТОМА СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ*



	Т.	Стр.
Абхазские рассказы	2	432
«Академик Иван Павлов»	9	560
Александр Афиногенов	9	219
Александр Блок	9	47
Александр Фадеев	9	141
Анатоль Франс	9	94
Анна Тимофеевна	2	71
Апри Барбюс	9	311
Аркадий Гайдар	9	197
Бакунии в Дрездене	2	7
Бальзак	9	77
Бертольт Брехт	9	296
Блинки	2	461
Борис Житков	9	193
Бочки	2	432
Брат и сестра	2	502
Братья	3	7
В защиту мира	8	390
В парижских театрах	9	551
В порядке анкеты	9	345
Великое таинство	10	213
Вершина	8	269
Весна	8	390
Вечные спутники	9	7
Виктор Гюго	9	90



	Т.	Стр.
Вилли Бредель	9	302
Во времена блокады	8	342
Во имя счастья народов	8	398
Война	8	239
Всеволод	9	183
Встреча с прошлым	2	476
Встречи с И. Г. Лютером	10	287
Высокий долг культуры	10	312
Вячеслав Шишков	9	164
Гармонь	2	517
Гоголь	9	17
Города и годы	1	61
Горький среди нас (Картины литературной жизни)	10	7
Дальний прицел	8	355
«День мира» — книга вторая	10	305
День оккупанта	8	346
Дни прощания	10	205
Драма Стефана Цвейга	9	256
«Егор Булычов»	10	195
Еж	2	457
Жажда (На выставке Народного Образования)	10	218
Живые стены	8	338
Жители	8	288
Заброшенный сад	10	237
Записная тетрадь	9	358
Землетрясение в Ялте	10	230
Илья Эренбург	9	154
Интеллигенция в борьбе за мир	8	395
Иоганн Вольфганг Гете	9	53
Иоганнес Бехер	9	278
Искусство Льва Толстого	9	30
Испытание чувств	3	375
Иступленный цирюльник и Европа	8	257

	Т.	Стр.
К дискуссии о языке	9	350
К замыслу книги	10	7
К звездам	10	277
К образу Ленина в литературе	9	443
К писателям новой Германии	9	421
К соратникам по литературе	9	465
К читателю	9	123
Карикатуры Радлова	9	587
Клеймо гитлеровской Германии	8	260
Командир дивизии	8	316
Конец мира	2	353
Костас Варналис	9	322
Костер. Книга первая. Вторжение	7	7
Костер. Книга вторая. Час настал	8	7
Ленинградка	8	350
Леонгард Франк	9	261
Летом в Ясной Поляне	10	294
Мальчик из Семлёва	2	497
Мартин Андерсен-Нексе	9	307
Мелок на шубе	9	329
Михаил Булгаков о Пушкине	9	544
Михаил Зощенко	9	169
Михаил Козаков и его «Крушение империи»	9	223
Мне видится книга...	10	309
Молодежи Чистополя	10	251
Молодость и сила	10	260
Молодость и талант	9	432
Москва — великая столица	8	254
Музыка Победы	10	255
На марше	8	306
Нам сорок лет	10	284
На Нюрнбергском процессе	8	355
На разбитом баркасе	8	361
Наровчатская хроника	2	137
Необыкновенное лето	6	7
Николай Алексеев	9	572
Николай Погодин	9	213
Николай Тихонов	9	150

	Т.	Стр.
Новиков-Прибой	9	210
Норвежцы. Рассказ для экрана	3	449
О долге	8	239
О книге академика В. В. Виноградова	9	459
О мастерстве	9	378
О Пушкине	9	7
О своей работе	9	335
О том, как Васька-ходок букварь достал (Сон фельетониста)	10	223
Об искусстве	9	539
«Оливер Кромвель» Луначарского	9	539
Ольга Форш	9	186
Он	8	274
Оружие	8	299
Освобожденная орловщина	8	274
Павшая крепость	8	284
Памяти Алексея Толстого	9	132
Партизаны на Невском проспекте	8	333
Пастух	2	403
Первые радости	5	137
Переводчик — художник	9	455
Переписка К. А. Федина с А. М. Горьким (Приложение)	10	319
Писатель, искусство, время	9	3
Письмо аспиранту	9	365
Письмо Фаворскому	9	580
Поездка на Север, к Белому морю	10	243
Поездка на Север, к морю Баренца	10	247
Помни!	8	330
По поводу дилогии	9	374
По следам врага	10	257
Похищение Европы	4	7
Препграда войне	9	591
Приговор истории	8	268
Признания пленных немцев	8	241
Рабы Гитлера	8	244
Развеянный дым	8	381
Разговоры с самим собой и письма	9	491
Разогнутые дуги	8	262

	Т.	Стр.
Распахнутые окна	9	482
Рассказ в письмах	2	510
Рассказ об одном утре	2	333
Рассказ о дворце	2	523
Рисунки Кузьмина к «Левше»	9	583
Рисунок с Ленина	2	466
Ромен Роллан	9	97
<b>С высоты последней ступени</b>	8	374
<b>С праздником, товарищи!</b>	10	264
Сад	2	323
Сазаны	2	488
Санаторий Арктур	5	7
Свет шевченковского слова	9	24
Свидание с Ленинградом	8	333
Сказочки	2	457
Слава городу Ленина!	8	255
Слово к литовским прозаикам	9	408
Слово об Ивашкевиче	9	316
Слово о Шолохове	9	188
«Слово правды» Михаила Пришвина	9	200
Современники	9	123
Соколов-Микитов	9	204
Солдаты	8	323
Сочетание лет	10	5
Старик	2	216
Старший комендор	2	365
Ступени	8	239
Судьба романа	9	473
Суук-су	2	441
Сызранский эпизод	9	392
<b>Тишина</b>	2	376
Томас Манн	9	68
Трансвааль	2	170
Труд писателя	9	329
1920—1921 годы	10	12
1921—1928 годы	10	103
<b>У истоков сказок</b>	9	576
<b>У могилы Чернышевского</b>	9	20
<b>У порога</b>	8	264

	Т.	Стр.
Уроки истории	8	411
Уроки, которые нельзя забывать!	10	272
Утро в Вяжном	2	393
Утро мира	8	402
<b>Факты истории</b>	8	407
Федор Гладков	9	191
Фридрих Шиллер	9	63
Фроман	9	245
Халлдору Лакснессу	9	313
«Хождение по мукам»	9	126
Хозяин советской культуры	10	268
Художник и критик	9	400
Часики	2	506
Чехов	9	36
Член делегации	2	451
Чувствительность и жестокость	8	249
<b>Шаг за шагом</b>	10	213
<b>Юрий Тынянов</b>	9	179
<b>Я был актером</b>	2	253

#### ИСПРАВЛЕНИЕ

В томе 9-м на стр. 600, 11 строка сн., следует читать: «...в связи со смертью Вс. Иванова,

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

### СО Ч Е Т А Н И Е Л Е Т

#### ГОРЬКИЙ И СРЕДИ НАС

*(Картины литературной жизни)*

К замыслу книги . . . . .	7
1920—1921 годы . . . . .	12
1921—1928 годы . . . . .	103
«Егор Булычов» . . . . .	195
Дни прощания . . . . .	205

### ША Г ЗА Ш А Г О М

Великое таинство . . . . .	213
Жажда (На выставке Народного Образования) . .	218
О том, как Васька-ходок букварь достал (Сон фельд- тониста) . . . . .	223
Землетрясение в Ялте . . . . .	230
Заброшенный сад . . . . .	237
Поездка на Север, к Белому морю . . . . .	243
Поездка на Север, к морю Баренца . . . . .	247
Молодежи Чистополя . . . . .	251
Музыка Победы . . . . .	255
По следам врага . . . . .	257

Молодость и сила . . . . .	260
С праздником, товарищи! . . . . .	264
Хозяин советской культуры . . . . .	268
Уроки, которые нельзя забывать! . . . . .	272
К звездам . . . . .	277
Нам сорок лет . . . . .	284
Встречи с И. Г. Лютером . . . . .	287
Летом в Ясной Поляне . . . . .	294
«День мира» — книга вторая . . . . .	305
Мне видится книга... . . . . .	309
Высокий долг культуры . . . . .	312
Приложение. Переписка К. А. Федина с А. М. Горьким . . . . .	319
Комментарии . . . . .	433
Алфавитный указатель . . . . .	439

*Константин Александрович*

Ф Е Д И Н

*Собрание сочинений, т. 10*

Редактор

*И. Чеховская*

Художественный редактор

*В. Горячев*

Технический редактор

*С. Ефимова*

Корректоры *Г. Асланянц* и *Н. Гористова*

Сдано в набор 4/II 1973 г. Подписано  
к печати 20/III 1973 г. А04082. Бумага  
типогр. № 1. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. 14 печ. л.  
23,52 усл. печ. л. 22,961 уч.-изд. л. Заказ  
№ 651. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 10 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ле-  
нинградская типография № 1 «Печатный  
Двор» имени А. М. Горького Союзполи-  
графпрома при Государственном коми-  
тете Совета Министров СССР по делам  
издательств, полиграфии и книжной тор-  
говли, Ленинград, Гатчинская ул., 26



